



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

1-2 (478)

2019

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Альбина Борбат. «Синхрон» и др. стихи.....	3
Григорий Стариковский. Родео. Повесть.....	9
Богдан Агрис. «О эти выросшие навзничь города...» и др. стихи.....	33
Алексей Порвин. Стихи памяти О. Ю.	37
Николай Фоменко. Коллекция. Рассказ.....	42
Иван Макаров. Музыка. Рассказ.....	91
Катя Капович. «Рынок, очередь» и др. рассказы.....	105
Елена Сунцова. Небесным головокруженьем. Стихи.....	117
Дмитрий Брисенко. «Бэбитай» и др. рассказы.....	124
Андрей Пермяков. Как починить свет. Стихи.....	131
Вадим Шамшурин. Беспмятство. Рассказ.....	138
Феликс Чечик. «Говоря о цене, и не только в базарный...» и др. стихи.....	141

NON-FICTION

Вадим Ярмолинец. На грани забвения. Реконструкция семейной биографии писателя А.М. Федорова.....	145
--	-----

РЕТРОСПЕКТИВА

Сергей Боровиков. Лодки.....	250
-------------------------------------	-----

ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

Татьяна Грауз. Имена и лица. Разрозненные заметки о некоторых особенностях заглавий в книге Владимира Аристова «Открытые двory».....	256
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Игорь Караулов. Развозчик тепла Андрей Пермяков. Белые тепловозы.....	263
---	-----

Марина Кузичева. Стриж Марианна Ионова. Мы отрываемся от земли.....	265
---	-----

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

Вячеслав Лопатин. Происхождение Радищевского музея. Продолжение.....	267
---	-----

Альбина БОРБАТ

Синхрон

рощи не взять знаешь единым планом
кадры неряшливо склеены сцеплены кое-как
но говорить о монтажном принципе немного странно
не ты владеешь им не тебе и списывать пленку в брак

ты выходишь затем чтобы он тебя отрезвил и выправил
эти неловкие склейки против соскальзывания в автоматизм
стараний по бюджету чтобы ни единого имени в титрах и
только эти объемы воздуха манифестации памяти на пути

горизонталь ствола отдельного довлеет мелкой моторике
ветра лепящего лепечущего некий болезненно желтый куст
двадцать или тридцать шагов и на этот ритм наложен
брандмауэр в питерском дворе
крыса резвящаяся в мусорном баке как охотящийся мангуст

я думаю это наложение маркирует что-то вроде обморока
невыносимого ожидания куста проступившего целиком
на тридцать шагов до крупного плана тебе не хватает воздуха
куст нужен срочно как на пожаре емкость с песком

куст гасит удушье и давление нужно стравливать
поэтому – в серое небо на расходящиеся по нему
ветки эти векторы разнонаправленные
рассеивающие яд от укусов этих «зачем» «о господи» «почему»

Невемайнд

всё пространство сна
вдается в чей-нибудь сон
какие-то пики конкретики или невнятицы
рука в перчатке

и строка – зазеркалье слышимости
с её глумливыми или возвышенными двойниками
ртутными озерцами
и поверхностным натяжением
фразы

может показаться
что мир есть теснина языка
и память событие языка
или вдруг: текст – это контекст

всё что угодно

Линзы

когда начала подбирать слова
в этих поворотах –
линзы –
растенье апельсиний открытый преломится

если можно говорить так
зачем говорить как-то ещё
если свет – хлеб
если живое пьет свою тень
и краски не блекнут
на плодах под марокканским солнцем
как это знали фовисты

когда начала себя оплакивать
в счастливом ступоре различив

Вбок

рост размыкается и – тень
ну а теперь смотри
белка о рыжем своем хвосте
себя не перемудрит

растенье – беличий станок
о беличьем станке

а это скок куда-то вбок
без факела в руке

Быть

– есть емкое русское слово «юрод»...
– знаю знаю ну что ты мама
я простыни расписал как Хоан Миро
эллипсами и крестами

я знал – это будет звучать так
ты будешь смотреть и голуби порхнут

когда весь в разводах синих
я выйду к мусорным бакам сияние расточать
разгораться ворохом
из слов и махов
и надо мной целая осень будет молчать
как любящий перед прахом

мама я ждал ее и я ждал себя
я был вложен в нее как пружина
за тех кто смотрит сквозь нас
за тех кто спят –
живут словно жуют резину

кого нам стыдно мама
мы одни
я делал свою работу – быть
это светло и ловко
мама ложись ты усни поспи
я на кухне тихонечко как полевка

снеговал и пульс частит
на одышливых часах
восемь ты меня прости
не умею написать

не сумела ни строки
не тебе за столько зим
только на одной ноге
дым по воздуху скользил

Лист

достаточно осознать что ты покойник
и жизнь налаживается
уже не важно идешь ли ты куда послали
или идешь куда позвали
ты можешь испытать множество эмоций
и все они будут как рябь на воде при слабом ветре
ты пишешь стихи словно составляя остов
избегаешь деталей
воображение и опыт – это пространство и
оно тебе не принадлежит
ты только напоминаешь себе о том
что оно возможно

пиши и помни
что самый маленький камушек

стыда или укоризны
притопит тебя так
что воды будет по края
а небо все равно будет держать ладони ковшом над тобой
словно ты чистый лист

Елена

когда говоришь о нелюбви люди замыкают слух
сорок лет отрицания и брезгливости
к городу в котором живешь
я уже не умею иначе

меня потрясает и завораживает способность
отрицать очевидное
если кто-то говорит о нелюбви – это не вся история
зрелая уже сорокалетняя нелюбовь
и никогда она не будет достаточно сильна
чтобы хоть как-то приблизиться к пятилетнему ребенку
с его маленькой Святой Еленой
сестрой
островом

мой голос останется раздраженным
и раздражающим
голосом не способной к ассимиляции беженки
различившей уже
где ее вечная ссылка
а где место захоронения

Реверберацио

снеговал на улице дичайших
лезвий не почувствуешь почти
времени сиртаки / черный ящик
заливает музыка настил

в сумерки вывернут кошмары
и потемки вывихнут – гляди –
твой не обязательно кустарный
и не отменяет ни один

От потемок

неявное движение в маленьких канальцах
шлюзах колбочках лимфы воспоминаний
иначе как свету преламываться добираться

до хрусталика
человек от потемок он не устанет

смотреть и не видеть ни дерева ни цветка
катая по извилинам «цветок» и «дерево»
и обрывать откусывать от мотка
что-то высчитывая что-то вымеривая

но отчего-то потемкам нужно совсем чуть-чуть:
звука запаха сбивки недоумения
непреднамеренности способной разомкнуть
затершееся слово и – увидеть растение

человек от потемок в фасетках пляшущей стрекозы
наживленный на этот неразменный опыт
слово «быть» тянет за букву «ы»
волоча его в потемках через субои

Ножницы

бог у благодарности на краю
облачка проплывают над буквой «ю»

в распадах слов двусложные души их
пойди попробуй растение растени
легче неба достигнуть и гад морских
чем эти ножницы развести

так и нечем дыхание разомкнуть
и в распадок ныряет сердце седым – седым
и выныривает беспамятный отрок юн
неизменно радостным и пустым

там освободительное зияние нас насти –
гает и всё – дурачок с письмом –
и несешь затем что прочитать не смог
радуйся дурачок тебя уже не спасти

Речь

так разрежен воздух
что речь не искрит и не греет
она в пограничье быть внятной
едва зарождаясь
не будучи обращенной
не веря что кто-то услышит
бормочет не остывая
почему-то еще живая

с каждым могло случится
отвалился кусок пространства
в котором не сомневался
а с ним обломилось время
наверное кто-то умер
так думаешь – кто-то умер
но не вполне уверен
в смерти своей и смотришь
в разлом и он тебя опаляет
речь продолжает себя продляет
на разломе разрастается белый ягель
карликовые кусты березы
солнце не заходит
радужка речи темнеет
оттого что себя исчерпать не в силах
она бы кого-нибудь попросила
но все ей кажется кто-то умер
зуммер только тревожный зуммер
смеет в этих молочных сумерках смеет
сокращать побуквенно до «скажи»
тонкий болезненный жгутик речи
словно императив исполним
без наречий
это – «скажи навстречу»
ужас и гул
речь – больше ничего не умею
речь – ничего не могу

Григорий СТАРИКОВСКИЙ

РОДЕО

Повесть

*But this world also that seems to us a thing of
stone and flower and blood is not a thing at all
but is a tale.*

Cormac McCarthy. The Crossing¹

I

по четвергам работают на огородах. штанины закатывают до колен, оголенный живот обвязывают рубашкой; рукава раскачиваются, соединяясь в безруком пожатии. жарко, душно. пот облепляет спины; на туловище вырастают капли, как прозрачные насекомые. любимая поза: ноги на ширине плеч, в легком наклоне упираются грудью в резиновую шишечку на черенке лопаты; упор по центру между сосками. лопата устойчива, выполняет функцию дополнительной ноги. копнут два-три раза, покромсают земляной ком, устраивают передышку. в этот раз работали, как обычно, после завтрака. один сказал: *жара сучья, октябрь еще называется. хоть бы воды глотнуть*. остальные согласились: *да, воды бы*. послали за водой. вода из колонки с железным привкусом. пили по очереди, сначала главный, медленно, основательно, обтирая пухлые губы запястьем. варгас выпил последнее, что осталось.

главный подошел к варгасу и спросил: *ты вроде в прошлый раз был в паре с лопухим. не знаешь, где он?* варгас, отвлеченный от вскапывания, распрямился, ответил: утром видел его в столовой... варгас рассеянно огляделся. надзиратель подъехал на холеной кобыле, в седельном чехле блестел приклад карабина.

– *эй, у вас одного не хватает... куда он пропал?*

главный пожал плечами:

– *я что, сторож ему или нюшка его?*

остальные ослабились, представив, что они – нюшки лопухого, зайники из душевой. лопухий в их группе был чем-то вроде плевательницы, мишенью-бычий-глаз. *эй, пойдя сюда, башка-два-локатора*. главный звал его *дамбо*, другие – *коала*, хоть был лопухий щупл и длинен, как собачий глист. надзиратель прогалопировал метров двести до аппарата экстренной связи. позвонил, не

¹Но этот мир, который представляется нам сделанным из камня, из цветов и из крови, вовсе не сделан, а рассказан. Кормак Маккарти. За чертой.

Григорий Стариковский родился (1971) и вырос в Москве. В США с 1992 года. Закончил Колумбийский университет (кафедра классической филологии). Переводил «Одиссею» (песни 9-12), Пиндара, Вергилия, Проперция, Авла Персия. Сборники стихов «Левиты и певцы» (2013) и «Автономный источник» (2017). Живет в пригороде Нью-Йорка. Препо-дает латынь и мифологию. В «Волге» публиковались стихи (2014, 2016, 2017) и повести (в том числе под псевдонимом Герман Бер: 2015, 2016). Предыдущая публикация в «Волге» – «Плоскогорье: боливийский дневник» (2018, № 1-2).

слезая с седла. варгас видел, как стремительно он возвращался, подгоняя кобылу, как сливался с ней в неделимое целое. он осадил её вблизи огородов и крикнул: *быстро в шеренгу!* группа лениво построилась. надзиратель просмотрел список, пересчитал присутствующих. *в медпункте его нет*, – объявил он нехотя, почесывая в затылке.

в прошлый четверг варгас работал с лопоухим, вернее, варгас мельчил комковатый краснозем, а лопоухий стоял рядом и разглагольствовал. полупрозрачные хрящики ушей, выпиравших под прямым углом, мерцали на солнце, как две золотистые рыбки. на склонах холмов яркой, еще летней зеленью наливался лес, деревья вздрагивали от порывов ветра. река стояла свинцовой излучиной, затвердевая по ходу течения. баржа на середине фарватера, казалось, завязла как муха в тарелке с патокой. вышки над заграждениями пахли сосновой доской. охранники в солнцезащитных очках и синих бейсболках несли службу, сжимая снайперские винтовки.

– *мы здесь, как рабы на плантациях*, – сказал лопоухий и многозначительно взглянул на варгаса, – *как будто мы меньше людей... я не останусь здесь, я убегу, варгас*.

– не сбегешь, пристрелят, как зайца, или волкодав перегрызет горло. тут всё как на ладони. место ровное, проволока подсвечивается ночью... никуда ты отсюда не денешься.

– *зачем мне лес*, – прищептывал лопоухий, наклоняясь к варгасу, опуская голову на его плечо, – *легче уйти рекой*.

– ты спятил, лопоухий, тебя же гаторы сожрут.

– *не сожрут, не бойся*.

– мне все равно, сожрут или нет.

варгас продолжил дробить земляные комья... лопоухий тоже сделал вид, что занят делом. рядом загарцевал надзиратель: *что, лопоухий, опять халтуришь?*

теперь варгас стоял, упираясь грудью в черенок лопаты, и ждал, что будет дальше. надзиратель прыгнул на землю и вразвалку, неуклюже затрусил навстречу начальнику тюрьмы эдварду кейну. тот решительным шагом направлялся к огородам. на кейне была тонкая бежевая рубашка и фиолетовый жилет с грудным карманом, из которого выглядывала серебристая авторучка. галстук в полосках и звездочках. аккуратно выглаженные летние брюки бирюзовой расцветки; кожаные в мелкую дырочку туфли, зауженные спереди. в уголке тонкогубого рта помещалась дамская папироска. надзиратель остановился перед ним и развел руками. кейн поморщился:

– *ну что, не нашли?*

– *нет, сэр, не нашли. прикажете дать сигнализацию?*

– *лайфер?*¹

– *да, сэр, в этой группе все лайферы*.

– *сигнализацию не давать, мы и так его найдем. возьми одного на опознание*.

надзиратель ткнул пальцем в варгаса, – *пойдешь на опознание, когда все соберутся*.

– он что, умер? – спросил варгас.

– *если еще жив, умрет обязательно*, – мрачно ответил надзиратель.

приехали спецназовцы в черных комбинезонах. высыпали из фургона вальяжно, не без позерства, будто работали на публику. шлемы болтались на ременных петлях. один спецназовец держал немецкую овчарку на эластичном поводке. овчарка легла на траву. равнодушно поглядывала на варгаса и пускала слюну. варгас посмотрел в ее бессмысленные глаза и произнес: жарко тебе, псина хорошая? командир спецназовцев загадал загадку: *эй, мужики, знаете, зачем цыпленок переходил дорогу?* остальные молчали, их откормленные физиономии выражали смесь почтительности и отрешенности. командир ответил сам: *чтобы оказаться на той стороне*. подчиненные понимающе ухмыльнулись, овчарка оскалилась. *ну, что, ребята*, – начальник тюрьмы обратился

¹лайфер (амер.) – осужденный на пожизненное заключение.

к спецназовцам, вытянув папироску изо рта, – *соберем по косточкам, что осталось от мерзавца?* кейн обвел рукой огороды, кирпичный флигель, в котором хранится инвентарь, соседнюю конюшню, где содержат породистых жеребцов, приобретенных на весенней ярмарке. *всё, казалось бы, делаю для них,* – сетовал кейн, возводя очи в душное небо, – *господи, вразуми подонков.* веселой, гутаперчивой походкой он повел отряд к излучине. варгас замыкал шествие.

они двигались прогулочным шагом. овчарка бежала вровень со своим хозяином, поводок провисал в бездействии. обошли главные корпуса, направляясь к реке. проходили лугом, на котором пасется тюремное стадо. здесь не было ни коров, ни заключенных, обязанных присматривать за коровами. луг казался обширным. гладкая поверхность, заросшая травой по колено. совсем еще юный спецназовец произнес: *что-то не видно здесь охраны и проволоки, у вас вроде тюрьма строгого режима.* кейн остановился, повернулся вполщеки: *это я приказал снести вышки и вырвать к чертовой матери колючую проволоку... знаешь, зачем? не нужны они здесь.* кейн растопырил пятерню в сторону излучины.

чем ближе они подходили к реке, тем отчетливей варгас различал воду, загустелую на зное, жирные взлобья невысоких волн, которые медленно проскальзывали к берегу. казалось, река наморщивала серое лицо. противоположный берег подвисал в воздухе, насыщенный влагой. ничего нельзя было рассмотреть, кроме нескольких парящих строений и водонапорной башни, похожей на неочиненный карандаш. небо, дымчатое и трудное, оползнем входило в реку, не оставляя промежутка между собой и водой; справа, вдали, росли несколько высоких деревьев. птицы-стервятники кружили над отрядом, неторопливо барражировали, расправляя широкие крылья. по вторникам и субботам, ближе к вечеру, когда на двор тюремной скотобойни выносят неплотно закрытый чан, прилетят несколько птиц, сдвинут крышку, усядутся на ободу, как на ветке, и поклевывают лоскутья говядины на коровьих костях. черные с красным головы уродливы и высокомерны. варгас смотрел на траву, присвистывающую под ногами, и думал, что все-таки неплохо он устроился: вместо четырех углов камеры и фрамуги с видом на грязный песок волейбольной площадки – территория от леса до реки, и небо, небо, конечно.

река окружала их, горизонт проглатывался лоснящейся водой, и ничего не оставалось для взгляда, кроме разморенной серости. скоро они ступят на берег, он услышит плеск и увидит коряги, отшлифованные до костяной гладкости. прикоснется в воде, зачерпнет немного и омоет лицо, отщипит привкус береговой гнили. река текла вниз. в кустах гудели цикады. они спустились по отлогому склону, цепляясь за стволы и ветки низкорослых деревьев, чтобы не поскользнуться. деревья гнулись, стволы, испещренные желобками и ямками, согревали ладонь в касании. идущие впереди остановились возле тростников, закрывавших собой воду. кейн прошел немного вдоль реки и крикнул: *эй, сюда, здесь трава примята.* в проеме между тростниками они увидели заводь, выставленную тиной с черными прорехами воды. несколько гаторов выдвинули бугорчатые, склизкие головы со вздутиями немигающих глаз, как изношенные резиновые сапоги в потоках мягкой выпуклой грязи. спецназовец, хозяин овчарки, свободной рукой сорвал свисающий с дерева клочок испанского мха, сжал полупрозрачное, как фата невесты, вещество, подмигнул варгасу: *мягкая штука, ничего лучше в природе нет, чтобы подтереться.* последовал смех, похожий на кашель. тогда кейн указал на бревно, застрявшее в тростнике, неглубоко выдолбленное в середине; лопухий мог бы расположить в углублении лишь свой костлявый зад, ноги пришлось бы держать в воде.

овчарка вскинулась и рванулась прочь. спецназовец выбросил испанский мох и ухватился за поводок двумя руками: *куда ты, бестия, рвешься?* кейн сказал: *тут из гаторов можно понтон выложить до того берега. кажется, сожрали мерзавца.* варгас подумал, что ноги и руки, и всё остальное, из чего состоял лопухий, теперь упаковано в гаторском животе, и не в одном, наверное. *всё*

ясно, – продолжил кейн, – мы его уже не найдем, если только не захотим выпотрошить несколько этих монстров. есть желающие? – он оглядел группу, сплюнул, бросил окурок в воду и повел отряд обратно к корпусам, по притоптанной траве. овчарка снова залаяла и натянула поводок. спецназовец со вздохом отпустил ее (давай, вперед, может, найдешь чего). овчарка понеслась вверх по склону; поводок скользил, извиваясь. спецназовец помедлил немного и побежал за собакой. скоро они скрылись из вида. когда остальные поднялись на выпас, неподалеку заметили огромный вяз. оттуда доносился собачий лай. варгас подошел ближе и увидел овчарку, которая прыгала возле дерева. спецназовец прыгал вместе с ней, пытаясь ее урезонить: сидеть... загрызешь его. лопухий лежал, привалившись к стволу, и скулил; из бедра текла кровь, плотные арестантские штаны висели ключьями. тщедушное тело дрожало. он защищался тонкими руками, скрещенными возле лица. овчарка – теперь она была на поводке – норовила схватить его за икру или за колено. кейн приблизился к дереву, засунул руки в карманы тщательно выглаженных летних брюк и скорректировал тонкие губы в кривую улыбочку.

2

заведующий тюремным хозяйством дефорет инструктировал варгаса: ты в корпусах с кровью работаешь или с говном, а здесь, – объяснял, будто пел песню, остроносый потомок гугенотов, – чистота должна быть. видишь, как все блестит, тут даже дверные ручки сияют, издалека посмотришь на такую, кажется, лампочка светит. если хочешь зацепиться, – не будь дураком, усердствуй, друг мой, и тогда кейн для тебя сделает хорошее что-нибудь, свиданием наградит или позволит прокатиться на мустанге... для тебя это, – сказал дефорет, обводя рукой кабинет кейна, – святая святых, скиния завета, твое дело благоговеть и усердствовать. приходишь будешь раз в неделю, когда закончишь мытье полов в корпусах.... парень, который до тебя здесь работал, запах въедливый от него оставался, кейн жаловался: чем это у меня пахнет, как будто обмочился кто-то. я его спросил: парень, ты хоть раз в своей несчастной жизни в душ заглядывал? он отвечает: не люблю я воду, в детстве чуть не утонул в ванне, мать еле вытаскила. я говорю ему: ты, парень, знаешь, что такое дезодорант? натришь с головы до ног. ну, натерся, а кейн опять жалуется: – дефорет, что это ты ботанический сад тут развел? парень был неплохой, пришлось уволить, теперь за псами присматривает... в общем, слушай внимательно: перед уборкой идешь в медпункт; мочалку, полотенце и сменку берешь с собой. тщательно моешься в душевой, всё тело; куда мочалкой залезешь, то и моешь, одеваешься в чистое, как в церковь. руки моешь отдельно: у медсестры в коробке возле стеклянной двери ящичек с губками; берешь одну, медленно проводишь по рукам, от кончиков пальцев до локтей, с внешней стороны и с внутренней, не забудь между пальцами поскоблить и под ногтями; нальешь воды в ведро, возьмешь швабру. надзиратель проводит тебя в кабинет кейна. полы моешь так: смачиваешь швабру в теплой воде, делаешь влажную уборку, вытираешь паркет насухо; особой тряпочкой – стол и кресла, и бюстик на столе, стеклянные дверцы шкафов и трофеи, они на специальной стойке; каждый протираешь отдельно. не забудь дверные ручки, до блеска. кейн любит, чтобы вокруг сияло. ангола, говорит, исключительное заведение, других таких нет, ко мне приезжают со всей страны, мой кабинет – это, так сказать, парадный вход в нашу обитель... вопросы есть?

кресло с мягкой начинкой; высокие, как бы надувные, подлокотники. кейн сидит удобно, всей своей фигурой показывая, что ему приятно сидеть. курит папироски, коричневые и тонкие; дымок сочится сквозь щелку тонкогубого рта. между несколькими затяжками кладет папироску рдеющим, тающим краем в пепельницу, отпивает кока-колы; прищуривается от удовольствия, которое доставляет сменный ритм затяжек и отпивания. пустые жестянки кидает в картонный ящик. снова затягивается. слегка замедляет дыхание. так дышит человек, который любит себя во всех своих проявлениях. рубашка и жилет облегают плотное туловище, подчеркивая телесную

спелость. иногда он приходит в шортах, тогда варгас видит его короткие ножки пороссячьего цвета (*тело должно хоть немного дышать*, – любит повторять кейн). на столе опрятность и чистота, ничего лишнего; слева небольшой компьютер, на экране – тропическая зелень и тень какого-то животного. справа стоят несколько стеклянных баночек с яблочным пюре. после выкуренной папироски, в перерыве между жестянками кока-колы, кейн открывает баночку, зачерпывает немного пюре чайной ложечкой с вензельком анголы; втягивает ртом, подчищая верхней губой, медленно проглатывает. методично съедает всё, до стеклянного блеска. когда баночка пустеет, отодвигает ее от себя.

если баночка опорожнена, надо приблизиться и, не мешая кейну, даже, если возможно, не попадаясь ему на глаза, схватить ее быстрым движением. варгас нервничает. рука, хватающая баночку, дрожит. кейн читает газету, скашивает глаза на варгаса: *как тебя зовут?* варгас сообщает кейну свое имя. кейн кивает: *хорошо, хорошо*. потом спрашивает:

– *ты в бога веришь?*

варгасу сказали, что на этот вопрос следует отвечать утвердительно. он говорит не задумываясь:

– конечно, верю.

– *а в церковь ходишь?*

– да, обязательно, на воскресную службу, в октябре – по субботам, из-за родео.

– *какое место в священном писании тебе нравится в особенности?*

и на этот вопрос варгаса научили давать безупречный ответ.

– послание к римлянам, глава девятая, стих пятнадцатый.

иногда, предупредили варгаса, кейн просит процитировать любимый стих; к этому испытанию варгас тоже подготовлен. кейн кивает в такт своим мыслям.

– *как, говоришь, тебя звать?*

– варгас, сэр.

– ну, продолжай, варгас.

выпускает дымок ртом и немедленно втягивает ноздрями. нос крючковат и занозист. жадно втягивает, тонкие сужаются ноздри. туловище обмякает на выдохе, он становится похож на сдувшийся воздушный шарик. кейн держит газету бесстрастно и настойчиво, будто отдает приказ всему, что там написано. газета похрустывает в руках. *эй, варгас, ты слышал, президент на библии клялся и соврал, знать такого поганой метлой; с другой стороны*, – подхихикивает себе кейн, – *если знать только за то, что он развлекся с этой чернявенькой, мне нужно уволить половину моих подчиненных, а где я других возьму? ты, если что*, – он принимает выразительную осанку, – *говори мне сразу, в обиду не дам*. варгаса научили: жаловаться нельзя, кейн не любит жалоб. глаза кейна серые с холодным блеском; кажется, на тебя смотрят пристально; на самом деле никуда не смотрят. кейн давно про себя решил, что он желает видеть и на что глядеть не собирается.

странная особенность взгляда... когда вычищают из печек золу, в тачках отвозят на огороды и жирным слоем сыплут на красноватую почву, а потом перекапывают и поливают водой с такой тщательностью, что не остается сухого места, тогда смесь земли и золы, посеребренная эта земля смотрит на варгаса таким же холодным скользким взглядом. лишь на папиросный дымок кейн смотрит ласково, прямо в глаза дымку. веки у кейна обветренные, ресницы выцветли, их почти не видно. волосы, тоже выцветшие, как подгнившая солома или февральская жухлая трава, зачесаны аккуратно на бок. смазаны кремом, поэтому хорошо пахнут и блестят на электрическом свете.

на правом краю стола небольшой бюст линкольна. варгас протирает его, от бронзовой копны волос до узкой, подстриженной бородки, придающей бюсту петушинный вид. президент-освободитель смотрит подслеповато, тоже, как кейн, не в глаза, а на лоб варгаса. варгас работает влажной

тряпочкой. кейн то и дело кладет левую руку на голову линкольна, будто хочет разворошить его волосы. от постоянных прикосновений кейна на бронзе образуются желтоватые залезы.

звонит телефон. кейн осторожно снимает трубку. жилетка и рубашка странным образом отстают от тела и напоминают парус в безветрие. прижимает трубку к левому уху, держит левой рукой, помогая правой ладонью (она собрана лодочкой), почти лепечет: *хеллоу... да, это я. последние слова произносит старательно, как тетка варгаса, лусия, которая не умела говорить на английском связно и разборчиво, а в те слова, которые знала, вбивала весь пыл дурного произношения. не-которое время кейн молчит, внимательно слушает, потом вкрадчиво подхватывает нить беседы: знаете, я ждал вашего звонка... да, конечно, вы понимаете меня прекрасно... мы еще не собрали, но стараемся... работают они...* кейн переводит взгляд на варгаса. тот протирает влажной тряпкой деревянные рамочки, в которые втиснуты грамоты, выданные кейну официальными и благотворительными организациями. в данный момент варгас разглядывает три золоченых креста на грамоте евангельского союза «путь истины» и делает вид, что ничего не слышит. *работают они недобросовестно, по-другому не могут... давайте немного подождем, дней через пять соберем и отправим...* кейн замолкает, щурится на телефонную трубку. *нет, обещаю вам, не испортится, переложим сеном, чтобы не сгнило, у нас никогда не гниет... ни одного плода... я сам спущусь и прослежу за погрузкой... да, в понедельник присылайте фуры... хорошо, хорошо... да, без дистрибьюторов и без лишних глаз, зачем нам лишние глаза... нет, здесь никто ничего...* он снова смотрит на варгаса. варгас занят делом, он не понимает значения сказанных слов... *они все равно что слепые, упакут, погрузят и разойдутся... кому они скажут? сказать-то некому, мне если только... не пожалеете, что работаете со мной... да, жду транспорта, благодарю за звонок, – произносит он вкрадчиво, почти нежно... да, вот еще что... когда всё сделаете, позвоните моей жене, как мы договорились, она будет ждать вашего звонка... да, и вам тоже всего доброго...* кейн говорит быстрее и уверенней. *подождите-подождите... чуть не забыл спросить: вы к нам в воскресенье собираетесь? вот хорошо, тогда и увидимся... рдео будет такое, лучше не было никогда...* кейн аккуратно возвращает трубку в исходное положение, как живое существо. записывает что-то в блокнот.

кейн выходит на залитое солнцем крыльцо административного корпуса. напяливает бежевую шляпу с широкими полями и отправляется осматривать огороды. варгас видит его сквозь оконный проем, продолжая наводить чистоту в кабинете. от обвального солнечного света рубашка кейна приобретает желтый оттенок, а жилетка темнеет. грузный кейн купается во влажном свете. лайферы кланяются и говорят «сэр». он приветливо отвечает. усмешка благодущия подрагивает на губах. он подходит к огуречным грядкам, останавливается возле группы, которой поручено прополоть несколько грядок. люди отлынивают от работы. кейн прикусывает нижнюю губу, наблюдает за ними молча, потом говорит: *привет, ребята! вы работаете как сонные тетери... помните, это – ваши огурцы, ваши витамины... вот ты, –* обратился он к маленькому кривоногому китайцу, *– разве так пропалывают? дай-ка сюда инструмент.* кейн берет тяпку, наклоняется, истребляет несколько сорняков под корень, мельчит землю. два темных потных пятна выступают возле лопаток. кейн достает платочек из кармана жилетки, стирает капли пота со лба и говорит китайцу: *ну что, понял, как надо? теперь ты попробуй, а я рядом постою, поаплодирую, чтобы работалось веселее. а ну, ребята, пусть этот цыпленок генерала цоя помашет инструментом, а вы похлопайте ему. итак, хлоп, и ты, пекинская утка, поднимаешь тяпочку, хлоп – срезашь сорняк, срезашь другой... землю любить надо, генерал мао.* кейн заливается смехом.

3

кровать – шесть бетонных блоков, высота два фута, угол между боковой стеной и стеной задней. сосед чистит гнилые зубы, сплевывает белое с красным. сгибает шею вниз и набок, ртом набирает воду из-под крана, мотает головой, похожий на лошадь после купания. опорожняет полость рта.

вода тычется в оцинкованную раковину, как рука слепого. сосед заводит разговор: *перед судом отец послал тысячу долларов адвокатам, просил помочь, если смогут... потом вообще пропал... ни одного письма за восемь лет.* варгас молчит, смотрит себе под ноги. сосед продолжает: *один раз – я школу только закончил, поехали с приятелями в сан-франциско. машина сломалась в вайоминге, кажется, или в монтане. звоню ему с дороги, говорю: пришли, пожалуйста, денег. мне не деньги его нужны были. я просто хотел, чтобы он сказал «люблю» или «скупаю».* сосед спрашивает варгаса: *у тебя был отец, в смысле, в доме был?* варгас избегает разговора. тюремный репродуктор начинает вещать голосом кейна. транслируют утреннее приветствие: *для меня главное, чтобы вы нашли себе достойное применение, на полевых работах (свежий воздух, ветер с реки, мягкий солнечный свет), или в мастерских, где вы можете заработать немного денег и послать что-нибудь родным, или в новой церкви, которую специально для вас построили, или в клубах по интересам, или во время осеннего родео. только помните, что вы здесь – гости, уважайте наши порядки. мягкий солнечный свет гораздо полезней слезоточивого газа.* сосед предлагает кофе: *налить немного? понюхай только, какой аромат, – настоящий, бразильский.*

варгас не хочет слушать соседа, надевает наушники. включает плеер. песня как голоса двух чело-век, разговаривающих за стеной; можно вникнуть в смысл беседы, а можно впитывать убывание и наплыв голосов, не разбирая слов. вникнуть не получается. варгас подлаживается под мелодию, заискивает перед ней в ожидание, что она поведет его за собой. песня остается снаружи. варгас не понимает, почему, ведь все двери и окна открыты навстречу ее течению. музыка отталкивается от него, как муха, путающая стекло с воздухом, только здесь всё наоборот, песенный мотив отстра-няет от себя прозрачность намерений варгаса. варгас снимает наушники.

что, послушал свою музыку? – спрашивает сосед. теперь он занят делом, сидит сгорбившись над раскладным хлипким столиком, ножичком вырезает шахматные фигурки; древесная стружка сле-тает на пол. сосед любит рассказать что-нибудь, в который раз повторить слышанное: *ангола для меня теперь – вроде второго дома, а раньше я дерганый был, хамил, вязывался в драки, как-то раз дал в морду надзирателю. меня обвязали цепями и в подвал, душу чуть не выбили, потом от-волокли в корпус «д», к смертникам, заперли в клетке на краю коридора; там летом жарче, чем в долине смерти... август, зной, обливаюсь потом, гнию изнутри, как дерево на болоте, а тут кто-то фрамугу в коридоре открыл, не знаю, кто. думаю, вот, мол, есть все-таки бог, присмотрел за мной, не дал подохнуть. вижу, на край фрамуги садится птичка. свиристит залиvistо. я уже две недели в клетке, ни одной души не видел, сам себе отвераен, а тут птичка, сидит, поет. у меня как камень с сердца... надзиратель дежурный подходит к моей клетке, спрашивает, почему фрамуга открыта. говорю, сэр, воздуха нет совсем, гнию изнутри, не могу больше, позвольте немного поды-шать чистым. он не ответил даже, сорвался с места, подбежал к фрамуге и захлопнул, с жалющим металлическим звуком. птички перья облепили стекло, кровь струилась гнутыми линиями. над-зиратель повернулся ко мне, осклабилсЯ: вот тебе, мазафакер, свежий воздух в летнюю ночь, а у меня, говорит он, смена заканчивается через пять минут, приду домой, открою все окна, бабу свою – знаешь какая она у меня (показал жестами) – мать буду, а потом еще и еще, а ты подыхай тут.... мне тогда жалко стало убитой птички, зачем она пела мне.*

в октябре, по воскресеньям, когда гости съезжаются на родео, сосед продает шахматные наборы на тюремной ярмарке. варгас любит шахматы, не столько саму игру, сколько ее лакированных участников. он рассматривает фигурки, еще не покрытые лаком, пахнущие деревом. варгас берет их в руки, чувствует зазубрины на короне ферзя, ощупывает тонкие талии пешек. переворачивает их, сжимая двумя пальцами. поглаживает покатые конские морды. сосед вырезает башенку ла-дьи, она похожа на тюремную вышку, округла, с небольшим наростом. тихие фигурки, оживаю-щие в гладкости, мертвеют на доске, когда чья-то рука передвигает их с места на место, подталки-вая вперед, к другому краю, или проводит маневры, в ходе которых они исчезают одна за другой.

ладно, – говорит варгас, – мне пора на смену. работает он уборщиком, ходит по корпусам, метет, подтират и моет. люди заговаривают с варгасом, рассказывают свое. смена начинается мытьем сортиров и душевых. мимо варгаса шествует надзиратель, распространяя вокруг себя мужественную, снисходительную вонь. надзиратели мочатся мимо, не специально, просто не попадают в узкий, низко поставленный писсуар. у варгаса не переводится работа. он наклоняется и разбирает подсохшие разводы, читает странные иероглифы: это – очерк лодки, она скособочилась, зачерпнула рыжих волн треснувшей кафельной плитки; вот – заводская труба, и дым почти весь выдохся; вот – сохранившийся контур казенного ботинка с неровной подошвой, а вот и сама подошва, ее подробности – крестики-ромбики, как тюремное кладбище, где зарывают лайферов ровными рядами и ставят над ними каменные кресты. варгас вымачивает тряпку и стирает потеки.

желтое пластмассовое ведро на колесиках, с осклизлым утолщением по ободу, с самодельной проволочной дугой, вдетой в кошачьи ушки с обеих сторон, прихваченной валиком посередине (он прокручивается, когда пытаешься сжать его). пустое ведро раскачивается в руке, бьется по ноге, отскакивает и прочерчивает гнутую линию в воздухе, возвращается. подрагивает шаткая проволочная дуга, размывая сжатие. ведро он тащит в одной руке, в другой – швабру *с косичками*, короткими прядками из плотной ворсистой ткани. варгас поглядывает на швабру, влажные прядки прирастают одна к другой, или пританцовывают в такт его движениям, как змейки в разворошенной куче осенних листьев. варгас вступает в сумрак подсобки, прореженной мутным светом, люющим сверху, от лампочки слабого накала. ведро издает глухой жалобный звук. варгас подходит к бетонной стене, из которой торчит ржавый хоботок крана, он ощущает резкий холод железа на уровне живота. варгас ставит ведро под кран, придерживает его ногой, чтобы не укатилось от напора воды. обжимает вентиль и пробует, поддастся ли, но вентиль туго закручен утренним уборщиком. пальцы варгаса проскальзывают по маховику в форме цветка из пяти сросшихся лепестков с отверстиями посередине каждого. до бесчувствия ноет ладонь. варгас берет тряпку, влажную после уборки в надзирательском сортире; обматывает маховик, несколько раз быстро сгибает и разгибает пальцы, набирает побольше влажного воздуха в грудь. маховик издает свистящий звук и поворачивается. из ржавого хоботка появляются первые капли воды и глухими шлепками падают на дно ведра. капли сменяются тонкой, издающей хлорный запах струйкой. ведро отвечает влажным цоканьем, струйка превращается в нечто более связанное, плотное, в натянутую веревку ангольской воды. ведро отвечает шершавым, иногда шелепавым звуком. варгас вслушивается в напористость воды, вспоминает, как стояли они – он и мелисса – на набережной и смотрели на закат, и он сказал, что солнце начинается здесь и продолжается в мексике, а на следующий день пришел к ней в бассейн, и увидел ее в купальнике, в яркой резиновой шапочке, из-под которой выбивалось рыжие прядки, и улыбка ее тоже была прорезиненная, деланная. она сказала ему, что он – ужасно скучный тип, и отвернулась. он отправился на набережную. солнце садилось в залив сквозь облака, варгас смотрел на маслянистую воду и ненавидел эти облака и это солнце, похожее на ее купальную шапочку.

вода, осевшая в ведре, разговаривает с собой, льющейся из-под крана. мы все говорим с собой, думает варгас, потому что кому же еще говорить с нами; у каждого свои мысли, своя непонятная жизнь... постепенно ведро наполняется. брызги перелетают через край, несмотря на утолщенный, выгнутый обод. вода оплевывает бетонный пол, рваненькие кроссовки варгаса и брючины тюремных штанов. варгас держит ведро ногой, пока оно не наполнится на три четверти. он закручивает маховик, кран пустеет, несколько слезинок ложатся на пол. варгас осторожно откатывает ведро от стены. хлористые испарения щиплют глаза. он достает из фанерного шкафчика канистру с моющим санитарно-профилактическим средством, добавляет немного, на воде выступает пена. варгас наклоняется, одной рукой берет швабру, другой – проволочную дужку и тянет ведро за собой. ведро поддается и катится следом. поскрипывают колесики.

много работы в корпусе «д». смертники гадят нарочно: плюются, испражняются, бросают объедки. бывает, вешаются или перегрызают себе вены от безысходности; или хотя бы доказать, что у них тоже есть выбор. тогда вызывают тюремного доктора, который констатирует факт смерти или увечья, ставит подпись и уходит, довольный собой, насвистывая бойкое что-нибудь из оперы. тело уносят в тюремный госпиталь. варгас работает с тем, что остается после. варгасу нравится запах пролившейся жизни. он ничего не видел чище человеческой крови, ее запекающейся вязкости. он устраняет кровавые лужицы и выводит бурые родинки с бетонного пола.

сегодня он должен начать уборку с пристройки корпуса, почти всегда пустующей комнаты, похожей на больничную. дежурный напутствует: *вылижи дочиста, чтобы она тебе снилась*. у варгаса маленький праздник. он остается один в любимом помещении, проводит здесь полтора-два часа. комната с трех стен, выкрашенных в голубоватый цвет, специально подобранный; расцветка не раздражает, скорее успокаивает, *как свежего воздуха глоток*, по слову кейна. *смотришь, как дышишь*. не стена, а отлив горизонта; чем дольше смотришь, тем – дальше и дальше. кейн говорит: *необходимо создавать иллюзию покоя*. поэтому стены такие; лампы тоже, светят мягко, как бы с внутренним задымлением. сперва кейн хотел изобразить море и пальмы на песчаном берегу, как на экране компьютера, но потом передумал.

варгас вспоминает: лет пять или шесть назад он наводил чистоту в комнате, когда вдруг появились – ему показалось, ниоткуда, как сквозь стены – кейн и новый капеллан, поступивший в анголу после семинарии. молодой капеллан был полон розовых замыслов и говорил с апломбом юношеской убежденности. *господин кейн, – наставлял он, – комната эта – не пеленальная, тут вершится, так сказать, правосудие, осуществляется приговор. зачем солнце и пальмы этим, которых вы... подберите лучшие спокойный колор, снижающий напряжение*. капеллан замолчал. варгас выжал набрякшие прядки швабры и взглянул на него. капеллан сайрил корчио имел овальное лицо, как в школьных учебниках геометрии, т.е. овал совершенный; толстые, чуть оттопыренные, обидчивые губы, будто он все время хотел поцеловать воздух, но тот не отвечал взаимностью. извивы малянистых волос, зачесанных на левую сторону; между одной прядью, доходившей до очков с толстыми линзами без оправ, и соседней, отвесно падающей на ухо и на край щеки, на лбу мерцал лососевый треугольник кожи. шея была плотной, бычьей, округлой, как цветочный горшок. одет в черное: черная рубашка, черные чуть смятые брюки. на шее болтался черный шелковый шарфик.

корчио глубоко вздохнул и на одном дыхании вымолвил:

– *неужели всё будет происходить прямо здесь?*

– *что – всё?* – переспросил кейн, разминая дамскую папироску между указательным и большим пальцами.

– *то есть, – уже без прежней уверенности произнес корчио, – их будут убивать здесь?*

– *а мы их не убиваем, – парировал кейн с напускной веселостью. острый нос кейна чуть покраснел, на щеках выступили багровые пятна.*

– *как это не убиваете? что же вы тут с ними делаете?*

– *освобождаем от грязи, которая накопилась в их сердцах.*

варгас знает то, что знает о кейне каждый в анголе: примерно раз в месяц, часа в два ночи, он вкапывается в комнату, раздаривает рукопожатия: *доброй ночи, и тебе и тебе, а, вот он ты... готово? проверь? на тебя вся надежда, дорогуша, смотри, не подкачай. где техник? что-то не видно его. а, вот и он, хорошо, хорошо. все готовы, ну, везите клиента*. рассказывают, что кейн подсаживается к смертнику. тот, привязанный к носилкам, чуть приподнимается, нервничает, потеет, хотя воздух

в комнате охлажденный. кейн расторопно успокаивает лежащего, как сиделка – больного: *тебе лучше не нервничать, говорить не надо, ты молчи, думай о главном, о покое всей твоей жизни.* кейн поглаживает его руку как раз в том месте, куда через минуту введут иглу и пустят снотворное. *думай*, – говорит кейн, – *о долгом-долгом сне, который предстоит. дуновение жизни останется с тобой навсегда, везде, где бы ты ни был. есть чистая сила, которая прощает того, кто обращается к ней, она не держит зла. помолись там за наши грешные души.* кейн кивает технику, тот пинцетом выуживает проспиртованную ватку из спецпакета. Смертник чувствует острый запах спирта, влажное прикосновение ваты на сгибе своей руки, как будто у него должны взять кровь на анализ.

– *ты в бога веришь?* – поинтересовался кейн.

– *какое это имеет значение?!* – повысил голос корчио и почему-то указал на свою голову, как если бы этот жест являлся неоспоримым доказательством его служения.

– *значит, не веришь*, – ослабилась кейн рыбьим ртом, раскатывая дамскую папироску перед потерявшим дар речи корчио.

– *как зовут-то тебя, капеллан корчио? напomini имя.*

– *имя – сайрил, сайрил корчио*, – растерянно ответил капеллан и добавил, вспыхнув, как девушка,

– *как я могу в него не верить, если я – капеллан этой тюрьмы. неужели вы думаете...*

кейн перебил капеллана:

– *имя у тебя странное, сайрил, будто ты – зверек какой-то... у моего сына был африканский ежик. тоже сайрилом звали. три года прожил и сдох.*

– *что вы себе позволяете!* – запротестовал корчио и вскочил со стула. – *я подам жалобу в управление...*

кейн тоже встал и, как ни в чем не бывало, похлопал корчио по плечу:

– *а про пальмы ты верно заметил, зачем нам пальмы, тут и так рай на земле. ты коров моих видел? першеронов новых видел?*

побагровевший корчио рванулся из комнаты, прихватив свой портфельчик. краем шарфика зацепился за дверную ручку; дернулся и чуть не задохнулся, закашлялся хрипло и беспомощно, как ребенок. кейн, с папироской в зубах, подкатил к двери, распутал шарфик. *тебе воды поить бы в самый раз, капеллан.* протянул ему бутылочку «аквафины». капеллан приложился к горлышку, пил горячо и зычно; бросил пустую бутылочку в контейнер для медотходов и, еще раз пообещав жаловаться, выбежал. кейн, шумно вздохнув, закурил.

вместо четвертой стены – плексиглас, выводящий взгляд в небольшое помещение с несколькими рядами стульев; за ними закуток с пюпитрами для прессы, *чтобы они*, говорит кейн, *по свежим следам.* стекло тоже нужно помыть тщательно, до полной ясности, *чтобы людям с той стороны казалось, что они находятся с этой.* обманчивый плексиглас, как лоснящийся на мягком свете объектив. человек, который смотрит сквозь, с какой бы стороны не смотрел, сначала не понимает, видит ли собственное отражение или изнанку стекла. смотрящий спрашивает себя, почему, названный кейном на экзекуцию, он сидит на пластмассовом стуле и обдумывает репортаж, если – вот он, в белом халате натягивает резиновые перчатки по самый локоть. с какой бы стороны он ни помещался, он – соучастник действия, даже если он – родственник или журналист; каждому отведена роль в происходящем.

варгас отодвигает штатив капельницы, колесики проскальзывают по влажному линолеуму. штатив подрагивает, начинает крениться. полиэтиленовая емкость, или подушечка – так называют ее здесь – ещё немного, и сорвется с крючка. серебристый ствол наклоняется низко. варгас подхватывает, сначала подушечку с раствором, потом – штатив с алюминиевыми козлиными рожками, на одном из которых и висит емкость с отводной трубкой, похожей на обрубленный проводок игрушечного телефона.

варгаса несет на гнutoй волне памяти; он отчетливо вспоминает, как однажды, в детстве еще, родственники подарили ему и брату на рождество два телефона, связанных проводом. дядя луйс, мамин двоюродный, тыкал нестриженным ногтем в коробку и, коверкая слова, фиглярствовал: *соединяю вас, молодой человек, с луной. армстронг на проводе*. аппараты были красные, провод цвета яичного крема, которым мать прослаивала праздничные торты. когда застолье выдохлось, они с братом размотали провод, один потащил свой телефон на кухню, другой – в спальню, пока провод не натянулся до такой степени, что начинал тенькать, если к нему притронуться. братья переговаривались между собой. варгас спрашивал:

– ты чего видишь?

брат отвечал:

– *я вижу дерево в окне.*

– какое дерево?

– *обычный тополь, какое еще? а ты чего видишь?* – спрашивал брат.

варгас сквозь дверную щель видит дядю, мамино двоюродного. он поглаживает огромный, тыквообразный зад своей жены, тетки лусии. дядя нашептывет тетке пьяные глупости; лусия хочет и отмахивается от него, как от мухи. варгас слышит дыхание брата как половину своего вдоха-выхода, будто без брата не может услышать себя целиком. так верх тополиного листа, сочно-зеленый, помнит о своём серебристом испode.

варгас окунает швабру с кудельками в желтое ведро, где пенится вода, подкормленная моющим средством; выжимает над ведром и домывает пол, несет чистоту позади себя, как королевскую мантию. влажной тряпочкой протирает плексиглас. каждой своей бородавкой, каждым клопным укусом впитывает тишину помещения. он не хочет расставаться с комнатой, тащить на плече швабру и везти ведро, чуть наклонясь, по кишке, длинному коридору в корпус «д», вдоль стен, затертых патокой желтого мела, мимо крошечных, с детский мизинец, камер наблюдения: из мониторинговой за варгасом присматривают охранники; ноги на столе, в руке чашка кофе со сливками, на бумажной тарелке бутерброд: два слипшихся, ноздреватых куса яичного хлеба, в середине – густые слои арахисового масла и клубничного джема. они дежурят по двое, и один говорит другому, дожевывая: *смотри, как он изогнулся весь, как волочит он свое ведро, гребаный клоун*. другой ухмыляется и теребит перхотные космы на затылке. варгас похож на горбатую старуху, которая тянет за собой тележку с продуктами, и никто не поможет ей.

5

камеры-клетки, вмурованные в бетонные стены. варгас ополаскивает грязноватый пол, размазывает воду. от пола к потолку тянутся прямоугольные столбы с пучеглазыми заклепками. всеядный гул голосов и вещей. протяжное настойчивое как бы металлическое мычание. несколько клеточников стучат алюминиевыми чашками о прутья решетки, требуют дежурного надзирателя. варгас выплескивает остатки воды перед шестью крайними клетками. его окликают:

– *эй, варгас, подойди сюда. не узнал, что ли?*

– узнал, узнал, – успокаивает говорящего варгас и останавливается в трех шагах от клетки.

тощий негр с козлиной бородкой сидит на раскладном стульчике, боком к решетке, приблизив лицо к экрану телевизора с выпуклым монитором. он смотрит сериал и смеется мелким лиственным шелестом, когда коротенькая юбка главной героини задирается; наружу выглядывают точечные девичьи ляжки. негр вскрикивает от восторга, произносит сбивчивым голосом, обмазывая слова похотью: *эй, варгас, ты бы прочил на неё?* негра зовут джузеппе; «джузеппе» – скорее кличка, чем настоящее имя. он ненадолго отвлекается от сериала:

– *я видел, как ты вышел оттуда. комнату, что ли, готовил? знаешь, для кого готовил?*

– знаю, – отвечает варгас. вчера в кабинете кейна варгас слышал радио-интервью с губернатором.

когда того попросили отсрочить исполнение приговора, он ответил холодно, отчеканивая каждое слово: *я бы вернул веревку и мыло, лишь бы видеть, как этот тип (он имел в виду джузеппе) болтается на перекладине.*

– сам знаешь, – сказал варгас, – через три дня тебя убьют, а ты всё равно смотришь свой сериал, как будто там покажут продолжение.

– может, и покажут... никто не знает, что будет там, – ответил джузеппе и приник к экрану.

первые три месяца в анголе варгас провел с джузеппе. по утрам и перед сном джузеппе чувствовал прилив сладострастия. прикладывал женские трусики к физиономии, внюхивался, чуть ли не съедал их своим носом. распался и вводил свою набухшую плоть в бутылку с широким горлышком, обтянутым мягкой, слегка увлажненной материей. усердствовал последовательно и рьяно, пока не достигал разрядки. женщины волновали его. бутылку свою называла «кисулей». каждый вечер, перед тем как заснуть, говорил варгасу: *я бы даже бензоколонку трахнул.* джузеппе сидел за убийство. подозревали в тройном, но не было доказательств. потом увезли в город на дораследование. он действительно зарезал троих – родителей и ребенка. увидел часы с камушками. вот, подумал, «лед» настоящий, деньги в руки текут. отца оставил лежать там, где убил, мать с ребенком закопал за гаражами. часы показал знакомому ювелиру-скупщику; тот говорит: *подделка это, продашь долларов за двадцать, если повезет.* он не поверил. оказалось, камушки стеклянные, а серебро рисованное. подарил подружке, а она говорит: *это же мужские, зачем они мне?* он ответил: *бери, бери, смотри, как сверкают камушки.* уговорил ее, взяла. потом они лежали вместе, и кровать постанывала под ними. она шептала ему в губы: *ну и шустрый же ты, головастик.* он гладил ее по спине и повторял навстречу: *потаскушка моя.* в дверь постучали. он натянул шорты на голые бедра и пошел открывать. на пороге стояли двое; они сразу спросили совпадающими голосами, как только оба втиснулись, как два сросшихся тела, в дверной проем.

– это ты убил?

– нет, – он помолчал и растянул губы в глупой улыбке, – это кто-то другой.

– ладно, живи пока, мы только пальчики снимаем...

– снимайте на здоровье, хоть пальчики ног.

– нам только руки... да, вот еще, плюнь в пробирку.

– видишь, дерево наклеено?

джузеппе отвлекается на рекламную паузу. на столбе перед клеткой висит бумажное что-то.

– это я вырезал, сначала ствол, потом ветки, ветки зеленые, волнистые, склеил ствол и ветки, белые, вроде снежные. позвал надзирателя. эй, парень, можешь приладить всё это к столбу, будь братом.

тот пожал плечами:

– зачем тебе дерево в октябре?

– может, последний раз праздную...

покочевряжился, потом сдался, наклеил дерево. джузеппе нашел кусок красной бумаги, сделал звездочку. получилось похоже. на следующее дежурство охранник пришел с крепким «обезьяньим» скотчем, добавил украшения: две пары наручников, зажимы для ног и цепи.

– рождество в октябре, – улыбается джузеппе сквозь решетку, – мэрри кристмас, варгас.

в клетке наискосок, прильнув к жирным прутьям, стоит человек в очках. окликает варгаса: *читаю много, а поговорить не с кем.* его называют доктором, хотя никакой он не доктор, такой же клеточник, как остальные. *я вот о чем всё время думаю, – у меня нет имени, оно раньше было, а теперь его нет.* я – это мой приговор, номер клетки. я – больше не сын, не отец, я – дата, которая назначается и переназначается. я сросся со своим преступлением, но раскаяния не ощущаю. я – тяжесть себя самого, неумение быть, длиться в каждодневной рутине, тяжесть своего тела, которое больше не вмещает меня.

жизнь, конечно, можно наладить, где угодно, даже на луне. встаю рано, делаю зарядку, завариваю кофе, раскрываю книгу. хорошо, если интересная, чаще – трэш; трэш тоже читаю. потом рисую. лошадей рисую. мне кажется, что у меня есть психологическое родство с ними. каждый, кто берет в руки мое письмо, видит лошадиную голову на конверте и сразу понимает, что письмо от меня. мне нравится, когда мне пишут. нравится помогать детям. у меня есть приятель, мальчик из огайо; я учу его рисовать комиксы. он нарисует что-нибудь и пошлет мне, а я посоветую, что он может сделать, чтобы улучшить рисунок.

водятся у нас «волчьи» пауки, мохнатые, глаза зеленые. поймал одного такого, посадил в банку рядом с тараканом. странное существо паук, побегает по банке, поймет, что оттуда не выбраться, начинает строить себе жилище, место для сна. поймал ещё одного и подсадил к первому. всегда интересно, как они выживают вместе. потом выпустил, пусть поползает по руке. я выставял карандаш; паук пятился, защищаясь. для нас пауки – вроде собак, мы дружим с ними.

люди надоедают. отвратительные лица. сборище уродов. я принимаю душ одним из последних. сперва моюсь целиком, потом отхожу немного в сторону, набираю воду в горсти, оплескиваюсь, втираю воду в лицо, продолжаю, пока надзиратель не скажет – хватит, одевайся. душевая – единственное место, в котором чувствую себя свободным. иногда разговариваю с водой, – эй ты, водичка. мне кажется, я понимаю шепот воды. когда возвращаюсь в клетку, говорю себе: вот, все летучие мыши и медведи – по своим пещерам. прохожу мимо джузеппе и говорю: улыбнись, джузеппе, покажи свои жемчужные зубы, хочу убедиться, что ты в самом деле существуешь. он огрызается: доктор, вставь клып в свой позаный рот... хотелось бы, чтобы всё наконец кончилось, чтобы назначили дату. это хоть какое-то прояснение, другое состояние. всем страшно, а я не боюсь, просто сложно представить себе, что приходит почта, а тебя нет.

сосед мой, – доктор показывает на левую стену, – сошел с ума. в соседней клетке варгас видит рыжего парня. он шатается от стены к стене, гнется туловищем, садится и встает, ложится и вспрыгивает. рваный ритм движений. он похож на подгнивший матрас, из которого выползла желтая, зассанная начинка. человек прикасается ко всему, к вырезкам из журналов (николь кидман, юная еще сюзан сарандон), наклеенным над раковиной, к чайничку прикасается, к стакану и ложечке, углу кровати, мягкой, замызганной подушке, к своим щекам, шее, груди, как будто не знает, что он – это он, а не кто-то другой. на полу валяется половина кекса, которую он мозжит носком кроссовки.

когда его привезли, – продолжает доктор, – все время улыбался, будто чему-то радовался. братом называл. брат то, брат сё, делился сигаретами и кофе. вот, мол, качественное курево... попробуй, брат, этого шоколада, из дома прислали. настроение поднимает. однажды ночью постучал в стену.

я спросонок говорю:

– что, брат, случилось?

– брат, перемолвиться надо.

я встал, подошел к решетке.

– говори, брат.

– брат, я скоро домой поеду.

терпеть не могу, когда говорят глупости. отвечаю:

– брат, расслабься, тебя отсюда вынесут вперед ногами в мусорном мешке.

– да нет, брат, я серьезно. посмотри, я уже сумку собрал.

я выставил зеркальце наружу, посмотрел... действительно, набил спортивную сумку вещами.

утром потребовал дежурного надзирателя. приходит надзиратель, он говорит ему:

– сэр, меня скоро отправят домой.

тот даже не удивился.

– ты не переживай, мы разберемся. если должны отправить, так, значит, тому и быть. когда дежурный ушел, он постучал в мою стенку и крикнул:
– видишь, я тебе говорил.

теперь уверяет, что в его унитазе живут зеленые человечки. иногда он с ними беседует: привет, привет, давно вас не было... ну, что нового? отвечает за них, меняет интонацию, словно он там действительно не один. тонким голоском сообщает последние известия: в балтиморском зоопарке родился львенок, назвали эдгаром; чикаго снова обзгился кровью, на городских перекрестках усилены полицейские патрули; в калифорнии горят леса, пожарники тушат пожары с вертолетов... или поет на несколько голосов. песню тянет все время одну и ту же. и тут человек за стеной запел, как по заказу: ведь это всего лишь бумажная луна, которая плывет над морем, сделанным из картона, но ты, конечно, не поверишь, что это все настоящее, если бы ты не верила в меня; это всего лишь полотняное небо плывет над муслиновым деревом, но все это не было бы настоящим, если бы ты не верила в меня; без твоей любви – это всего лишь мелодийка, которую наигрывает радиолa. доктор быстро надевает наушники. я сам сойду с ума, если еще раз услышу эту идиотскую песню.

пение прекращается. варгас снова заглядывает в соседнюю клетку. человек прижимает к задней стене пятерню с выпяченным большим пальцем и обводит ее белым мелком, старательно, как первоклассница. закончив, поворачивается к варгасу. варгас видит одутловатое, бледное, заросшее рыжей щетиной лицо, даже не лицо, а пустоту лица. человек кивает на изображение, похожее на скособоченную звезду, сгибает руки в локтях, двигает ими взад-вперед, подражая индюшачьему крику: *габбл-габбл-габбл*. варгас берет швабру и желтое ведро и уходит вглубь по коридору.

6

сначала варгас видит их головы, кисти рук и волейбольный мяч над хлипкой сеткой. потом – фигуры играющих, и других, которые подтягиваются, приседают, поднимают ноги в положении лежа, и третьих, которые сидят на скамейках по периметру площадки. варгас узнает знакомого лайфера: на левом запястье он носит браслет из змеиной кожи. высушенная змеиная головка подвешена к дешевому ожерелью, качается вместе с пластмассовой мишурой. змеи часто заползают на территорию и лежат, свернувшись, на грядках, пока не приходит дежурная группа с лопатами или мотыгами. они убивают змею; договариваются, кому достанется кожа, а через неделю запястья счастливица обхвачены бугорчатой змеиной кожей с коричнево-желтым отливом; или приятель из мастерской по дружбе pošьет прохладную на ощупь косметичку, подарок дочери или супруге.

в кармане синих арестантских штанов варгас носит полиэтиленовый пакет, плотный, из фирменного магазина, в котором мелисса принесла ему конфет и печений, когда навестила в первый и последний раз. сладости отобрали в коридоре: набросились, сбили с ног, выхватили пакет. варгас лепетнул, почувствовав острие заточки возле горла: забирайте конфеты, только пакет оставьте... когда подходит его очередь вскапывать, мотыжить, пропалывать или собирать овощи, надзиратели знают: варгас не расстанется с пакетом. только единственный раз лейтенант о'спайки закобенился во время досмотра.

они вышли из корпуса и построились. надзиратели, как положено, обыскали каждого с брезгливой тщательностью, с головы до ног, – карманы и все телесные отверстия. варгас разделся, повернулся к надзирателю спиной, расставил ноги пошире, нагнулся и через силу начал кашлять. надзиратель светил в отверстие серебристым фонариком, как за минуту до этого светил в раскрытый рот варгаса, из которого изливалась жгучая вонь. варгас перестал чистить зубы, когда мелисса – теплая, сладкая, распаренная, он понял это по её телефонному голосу сквозь помехи

– сказала ему, что он ей больше не нужен. теперь, наконец, она нашла нормального человека, который будет жить с ней, а не гнить в анголе. надзиратель привычно ворчал: *ты бы хоть, сука, зубы почистил.*

дежурный офицер лейтенант о'спайки, бывший рейнджер, армейская разведка (*бывших рейнджеров не бывает*, напоминала наколка на запястье), сверлил варгаса детским пытливым взглядом. когда варгас натянул штаны, из левого кармана выпал пакет. надзиратель, который хорошо знал варгаса, крикнул: *подбери свой пакет.* лейтенант запротестовал, проведя рукой сверху вниз, отсекая любую попытку неповиновения: *по уставу анголы*, – мрачно сказал он, не сводя с варгаса детских пытливых глаз, – *параграф такой-то, статья такая-то, заключенный не имеет права носить в карманах посторонние вещи, то есть вообще ничего.* варгас опустил на землю, заплакал от отчаяния и начал упрашивать бывшего рейнджера, прижимаясь правой щекой к начищенным офицерским ботинкам: ну что вам стоит, сэр, это всего лишь пакет полиэтиленовый, дорог как память, никогда не расстаюсь с ним, sentimentalную имеет ценность. о'спайки почувствовал нечто, похожее на жалость, и взглянул на надзирателя. тот развел руками, *мол, стоит ли связываться с варгасом, этим куском дерьма?*

варгас любит змей из-за их странных привычек и удивительной окраски. на полевых работах трудится с особым усердием, чтобы увидеть змею первым, пока точеную змеиную головку не отсек кто-нибудь огородным инструментом. народ в группе ленивый (*будем еще спину гнуть, мы, блядь, не рабы... у нас тоже есть достоинство*, – объясняют они нерадение). пьют воду, разговаривают, отдыхают от несделанной работы. надзиратель с карабином разъезжает на откормленной лошади. варгас трудится без передышки. когда ему говорят *отдохни, варгас*, он отвечает: рано еще. нагибается над грядкой, вскапывает или окучивает.

он видит ее. она греется на солнце, уходя скользящей мудростью в обратную сторону своего стеклянного взгляда. несколько колец, одно поверх другого, мерцающих особым светом. варгас останавливается, отступает назад, чтобы не спугнуть змею. оборачивается, убеждается, что никто из группы на него не смотрит, а если и смотрит, то – вполвзгляда. берет пустой тазик, в который сыпают сорняки, подкрадывается к змее, зачерпывает эмалированным бортиком, поджигая скользкую кожу налопатником мотыги. рывком вбрасывает всю ее радужность на дно. она течет по эмали, поднимает голову и шипит, угрожая варгасу. он говорит ей что-нибудь: «моя маленькая радуга» или «моя хорошая». любование длится недолго. остальные видят: варгас, который всегда при деле, перестал работать и разговаривает как бы с самим собой. они, конечно, догадываются, с кем он говорит, и некоторые уже бегут в его сторону, размахивая мотыгами, как копьями, готовые к расправе. тогда варгас выхватывает пакет из кармана, наскоро распаковывает его, как рот чудовищной рыбы. змея соскальзывает в пакет, крутится, клубится, будто задыхается в собственных кольцах. они кричат ему на бегу: *брось пакет, сволочь.* он срывается с места, бежит в сторону леса. они гонятся за ним. пожива совсем близко, надо только поравняться и выхватить. надзиратель скачет рядом, не вмешиваясь в погоню.

варгас уходит от одышливых преследователей. добегают до проволочных заграждений, выворачивает пакет наизнанку. змея вываливается и медленно, как бы нехотя, скрывается в кустарнике, с другой стороны проволоки. варгас обтряхивает пакет, будто проверяет, есть ли там кто еще; вытирает капельки пота со лба рукавом рубашки. остальные захлебываются, не достигнув проволоки; садятся в траву и сквозь тяжелое, гулкое дыхание проклинают варгаса. он возвращается на огороды, к комковатой, теплой земле. когда заканчивает мотыженью или прополку, поднимает голову и видит всё сразу: излучину реки, холмы и лес, грядки, сады, конюшню, свинарник и хлев, гаражи, где начальство держит свои машины. варгасу кажется, что свобода – вот она перед ним, как на ладони. потом группа возвращается в корпус; их снова обыскивают, ведь бывает же, уходят

ни с чем, а под занавес огородных работ – в кармане заточка, а в заднем проходе – промасленный пакетик с героином.

возле волейбольной площадки варгас задерживается, наблюдает за игрой. мяч подают медленно. подающий будто раздумывает, расставаться с мячом или нет, смотрит по сторонам, расплывая внимание. несколько раз мяч влетает в сетку, растягивает её, она дергается и дышит. покачиваются железные стойки. когда, наконец, мяч перемахивает через сетку, на другой стороне вбивают его под углом в воздух. возле сетки подпрыгивает человек и перебрасывает мяч, прихлопнув его ладонью. мяч, избегая соприкосновений с руками другой команды, зарывается в песок. человек, прихлопнувший мяч, переминается с ноги на ногу, будто не он ловко ударил по мячу, а кто-то другой.

люди на площадке стоят, отстраненные от самих себя. как стоят на похоронах, привыкая к отсутствию того, чье тело лежит в обитом мягкой тканью сосновом коробе; голова – сдувшийся мяч на белой подушечке. весь день – постепенность, накопляемость дня – возвращается сквозящей вестью, сделав несколько перелетов над волейбольной сеткой памяти. будто открыли потайную дверь и потеряли ключ... утром побреешься чисто, наденешь костюм, взглянешь на себя в зеркало. подумаешь, что еще нужно, – зонт не забыть, обещают грозу, вымокну весь. завязать шнурки на два узла, а то развяжутся, изваляются в грязи; трение ускользает из них. выходишь из дома медленно, смотришь вокруг, вот – воробей, состоящий из слипшейся пыли, сбивчивости тонкого голоса, собственной нечуткости к этому дню, вообще ко всем дням. надо же, думаешь, птица такая, назови ее воробей или другим именем. воробей клюет хлебные крошки; деревья стоят в ряд, вяза, акации, что у нас еще здесь растет. они топырят голые ветки. ветра нет, неба нет, жалости тоже нет. домой вернешься, отстояв под зонтом, выразив свои глубокие (сердечные, млечные) соболезнования. переоденешься, посидишь немного, отдышишься от длиннот деланной скорби... ничего хорошего, мог бы жить еще, человеком был замечательным. лошадки с расчесанными гривами и гирляндами цветов, и повозка в гирляндах, и сосновый футляр, открытый наполовину, и он – в чужом пиджаке, первые три пуговицы на виду. голова, как мяч, на подушечке, смотрит всей своей слепотой вверх, а ты идешь следом, дышишь осторожно, как церковная мышь, и думаешь: а что у него на ногах, неужели босой, а штаны, может быть, он там лежит вообще без штанов, в семейных трусах в синий горошек. представишь себе всё это, и – легче становится, и хочется улыбнуться. вспоминаешь случайные слова *они с любовью смотрят на наши страдания*, и еще больше хочется вытянуть в стороны уголки губ, но нельзя быть таким дурачком, это же – горе, воробьиное горе, и тогда берешь квартирный ключ и надавливаешь под сустав большого пальца, чтобы не дай бог не скривить рот в ухмылке насчет штанов. вечером придет мелисса, и вы будете пить чай с мармеладом на кухне, и она закинет голову, пряди рыжих волос зашевелиятся, как живые. она скажет: *варгас, давай уедем куда-нибудь, возьмем напрокат трейлер и уедем, хоть в пустыню... налей мне виски, варгас*. ты забудешь всё, как будто не было этих медленных, вымеренных шагов и всхлипываний, и подумаешь, что на самом-то деле неважно, умер он или жив еще, да и вообще, причем здесь он. ты ответишь: о'кей, бейби, мой лакомый кусочек фруктового пирога, я готов хоть сейчас. сколько тебе налить, сладенькая? мелисса захмелеет и улыбнется. ты на руках отнесешь ее в спальню, разденешь. она укусит тебя, нет, не укусит, проведет зубами по краю твоей нижней губы. когда она хрипло и жалостливо начнет повторять твое имя, ты вспомнишь лошадей с расчесанными гривами и гирляндами полевых цветов, запах свежееобструганной сосновой доски, и лицо, глядящее наверх, туда, где деревья топырят голые ветви, будто просят милостыни, и он, лежащий в сосновом коробе, с подушечкой под головой, сейчас раскроет рот и скажет медленно, вслед твоим судорогам: *даже не проси, у меня для тебя ничего нет*.

варгас прибирается в холодильной комнате. пар идет изо рта, как одно бесконечно-застывшее эхо, дымчатая зыбь, мертвеющий шепот. варгас мерзнет, надевает брошенную кем-то ангольскую куртку, но она не греет. тогда он вспоминает запах сухих листьев, речного берега и гладких коряг, на которые выползают гаторы; запах сена в хранилище, оно продувается ветром. варгас слышит отрывку собственных слов; сквозняки холодильной слизывают фразы и память о них; в промерзшее окно варгас видит деревья, перехлесты света и тени и помахивание тонких, гибких веточек. он вдруг чувствует себя сильным. вместо слов рождается в нем песенка. он хочет выйти наружу и рассмотреть солнце, вышептать свои слова, чтобы они дотянулись куда-нибудь.

он выходит из холодильной и слышит разговор двух лайферов. один говорит другому: *земля рассыплется в прах и уравниет всех, лайфера и надзирателя*. варгас не думает о начале и конце, ведь прежде было не больше начала в вещах, чем теперь, и в начале тоже какой-нибудь лайфер в другой анголе поливал грядки из алюминиевой лейки или окучивал огороды, и так будет всегда, потому что мир настоян на лепестках похоти, как вечерний воздух. неотвязчива липкая тяга, мучительное желание размножить свою негромкую жизнь, продолжить породу сумерек. варгас – одинокая тварь со шваброй и ведром, в котором грязная вода пенится мыльной живостью.

варгас видит цветок и проходит мимо. память о нем выветривается, будто его вообще не было. завтра наткнется на тот же самый и скажет себе: боже мой, какой красавец; неужели я этого не замечал раньше? прежнюю жизнь он может упрятать под матрас, как старое письмо. мелисса умерла, говорит он себе каждый вечер перед сном, мелиссу сбила машина, она попала под поезд, в ее доме случилась утечка газа, и все погибли, даже тараканы и пауки. так повторяет он себе, пока сосед покрывает лаком шахматные фигурки. каждый вечер варгас убивает мелиссу. её больше нет, мелисса – пепел, мелисса – перемолотые кости, череп с раскрытым ртом. варгас, не сумев забыть, фантазирует: когда он выйдет, ведь бывает же, что выходят, купит розы, найдет её могилу, встанет над ней, оборвет лепестки и обсыпет землю; пусть она подавится *там*. по ночам варгасу снится другое: он держит её за руку, они идут по темнеющему городу. она говорит ему: *взгляни, как светятся фонари и окна домов, странное это время, когда красноватые холмы видны вдалеке, но всё настоящей кажутся чужими автомобили и люди, сидящие в них, и город обростает плюшевой тайной; когда толком не знаешь, что там коричневеет над тобой, подъемный кран или огромное распятие, потерявшее полруки*.

иногда в его снах она превращается в муху, мелисса-муха, и он пытается проглотить ее. мушиного было в ней много, бывают такие – тонкие, почти прозрачные, со вздернутым носом, жилки видны на руках. идешь рядом и спрашиваешь себя, – неужели она такая же как все? он боялся сломать ее тонкие руки, сухие косточки, поэтому держал осторожно, как взятое взаймы. мелисса говорила нараспев, будто с чужого голоса. пока она проговаривала какое-нибудь длинное слово, например, «не-при-спо-со-блен-ная», он успевал поцеловать ее несколько раз в лоб, в кожу лба, тоже почти прозрачную, будто целовал хрупкую папиросную бумагу, и в переносицу, нежную горбинку, маленькую выпуклость под кожей. на ее губах вспыхивала улыбка, не принадлежавшая никому. солнце садилось, он протягивал руку в сторону заката: смотри, как красиво и далеко оно садится, наверное, в техасе или где-нибудь еще дальше. она смеялась и хватала его за воротник рубашки, и он не понимал, что, собственно говоря, смешного в том, что солнце убывает в залив, промасленный исчезновением дня, и он говорил ей осторожно: если ты веришь в бога... она не слушала, смеялась, тростинка-мелисса, легкая дудочка, и он спрашивал её снова: ты могла бы закрыть глаза и вообразить всё это? она отвечала: *я закрываю глаза и вижу бильярдный стол и слышу удар кия*

о слоновую выпуклость шара и шорох зеленого обивочного сукна. варгас не умел объяснить себе, почему он тянется именно к ней, к ее ломкости, прозрачности, прохладе, зачем она нужна ему. он сравнивал ее с другими, которые ходят в юбочках; их бедра светятся сытостью, как вода залива. он провожал их плотоядным взглядом; следил за проходящими мимо телами, как если бы они были голые. в них, как чайный пакетик, настаивалась звериная теплота.

мелисса носила шортики с цветочками, маечки с розовыми единорогами, летящими над радугой в золотой россыпи звезд, красила волосы в жгуче-рыжий цвет и губы – в жгуче-алый, иногда приходила на свидание, одетая как мальчик, и он не сразу узнавал ее, а ещё эти танцы, на которые бегала через день. чувственные латиноамериканские танцы. варгас видел однажды, как в красном каскадном платье она кружилась с каким-то вертлявым типом вокруг пустого стула, как склоняла голову чуть набок, работала ножками.

в детстве мать брала варгаса за руку, и они шли в магазин. надо было ухватиться за правую, липкую ладонь, пахнущую смесью острой карибской приправы и посудомоечной жидкости. надо было держаться за правую, потому что при встрече с кошками, перебегающими улицу, мать оставалась и совершала три плевка через левое плечо, вернее, не совсем через, как надо было бы, а в сторону, над плечом; её слюна была густа, тягуча, с частицами съеденного бутерброда (хлеб, колбаса, острый соус «табаско»). если варгас шел слева, она ненароком окатывала его слюной; он отирался рукавами рубашки, и долго потом источал запах её бутербродов. варгас учился в старших классах, когда мать попала в больницу. он приходил к ней, она смотрела на него и не узнавала, т.е. делала вид, что не узнает, отворачивалась в сторону и плакала, а потом протягивала руку, и он не мог не взять ее, хоть и было противно, отвратительно даже сжимать тонкую, обтянутую желтой кожей убывающую жизнь. варгас не понимал, как память о чужом теле способна так ощущаться в твоём собственном, где-то глубоко внутри, до такой степени, что ты уже не принадлежишь себе в полной мере. варгас боялся чужих прикосновений и, когда кто-нибудь случайно хлопывал его по плечу или, сидя напротив, прикасался к колену, он мысленно вздрагивал; даже к рукопожатиям готовился заранее, привыкая к присутствию посторонней ладони в своей, опасаясь нечаянно навязанной себе воли другого тела.

с мелиссой он хотел быть рядом всегда, повторять сближения до бесконечности, прикасаться к ней, чтобы его руки полнились ее фаянсовой хрупкостью. мелисса сумела вытеснить всю тлевшую в нем память о чужих людях. ее присутствие стало обязательным, как навязчивая мысль, которая жалит в висок или звенит бесшумным колокольцем. теперь, просыпаясь посреди ночи, он думает, как отомстит ей, если его все же выпустят, – он плеснет серной кислотой в ее мушиную мордочку, пусть всё выгорит, лоб, нос, щеки, подбородок. останутся одни глаза. когда она подойдет к зеркалу взглянуть на изжеванную себя, там, в зеркале, она увидит его лицо, прямо смотрящее на нее.

8

в октябре собираются в тюремной церкви по субботам. на сцене появляется капеллан. у нас, – говорит он, – традиция: каждую неделю один из братьев произносит речь на заданную тему. сегодня очередь варгаса. он сбивчиво тасует индексные карточки, не может найти вступление. наконец отыскивает. зачитывает прерывисто, штрихпунктирным захлебыванием: душа – это сжатие воздуха, до тесноты. душа – это птица сова с глазами-блюдцами; это подвальная мышь, которая скребется по ночам, это роба дорожных рабочих, световые полосы на руках и на спине. душа – это то, что съедает нас изнутри; без нее нам лучше, чем с ней. душа путешествует, перемещается, например, в мертвый вольфрамовый червячок лампочки, он рвется от напряжения; или она уходит в обмякший обрубок железа, опущенный в ледяную воду, он шипит от беспомощности и злости;

мало ли где она может обитать. варгас заканчивает свою речь и покидает эстраду, пробирается к своему месту в зале. в спину летят рваные аплодисменты.

они смотрят вбок или на темную зелень ковролина. один взбудоражится, выдавит из себя несколько слов; другой говорит проворно, свободно скрепляет фразы, и лицо его разглаживается и краснеет: *господи, позволь нам уменьшить, чтобы ты увеличил. господи, прикоснись к нам, чтобы хватило веры принять всё по твоей воле, слава тебе, господи, аллилуйя; помоги нам, боже, надеть твои доспехи, чтобы побороть верещание плоти, сделай нас духом единым, сделай нас лучше, чем мы есть, закрой нас щитом твоей веры, напхни нам, что, даже если целый мир желает нашего падения, там, наверху, есть твои соглядатаи, они помогут нам стать как выводок волн, как звезды.* они говорят вместе и розно. зычные выкрики кривыми шпильями нарастают над общим гулом. голоса с горловой ржавчиной.

корчио спускается в зал, подходит к молящимся. его белоснежные зубы, как фотовспышка, прохватывают тусклость помещения. он здоровается со *славящими* и с другими, даже с теми, кто зашел сюда просто так, из любопытства. корчио останавливается в центре зала и опускает влажные веки. *мы принимаем тебя, господи, славословим тебя, превозносим тебя, любим тебя, пусть каждый, кто любит тебя, подарит тебе подношение волн.* тогда почти все начинают поднимать руки и раскачиваться, лишь сидящие сзади продолжают сидеть; они пришли сюда побыть в прохладе, источаемой кондиционером. *да проснется каждая душа от гибели, воспарит в небеса всепрощения,* – восклицает капеллан и подает знак музыкантам, и машет рукой *славящим*, чтобы те подхватили его слова: *мы поднимаемся в места вышние, мы поднимаемся в места вышние, чтобы раздавить царство дьявола.* голос капеллана похрустывает, как свежая оберточная бумага. *славящие* хлопают, пританцовывают в такт хлопкам. один из *славящих*, парень лет девятнадцати, высоко подпрыгивает, подгибая ноги; пятками он почти касается ягодиц. *славящие* накатывают рефреном: *спешите, дети мои, спешите, настало время верить.* слова и телодвижения ускоряются, двое лайферов бегают кругами, следуя за циркулирующей голосом капеллана: *танцуйте, дети, танцуйте, настало время верить.* парень, который раньше подпрыгивал, отводит плечи назад и приседает низко, вытянув руки, как физкультурник. бегущие передвигаются скачками, в стороне кто-то сгибает-разгибает пальцы на поднятых к потолку руках. *пойте, дети, пойте!* – теперь уже воемво вопит корчио. он хватается гитару, поет размашисто и сочно: *прикоснись к моим рукам, рту, сердцу, наполни мою жизнь, господи, каждую часть её.* корчио срывается с песней; он спеленут ее набухающим смыслом: *я управляю царством дьявола, останься со мной сегодня вечером, останься со мной. мы не знаем, как молиться, но входим благодаря нашей крови.* седой негр, стоящий рядом с варгасом, притоптывает, завывает: *ядариба, яшида, о бадатымба, кимба, абинда, бинда, бинда, бинда... господи, войди в наше присутствие, о ядариба.* некоторые отворачиваются к стене, подняв ладони, будто хотят нащупать свои тени или размазать себя по пшеничному хлебу молитвы. седой негр баюкает голову на сгибе руки, напевает: *шастада кундо кундо по ли ри ри кундо кундо кундо.* хныкальщик, он просит что-то, жалобно и беспомощно, убывая в окончательное безмолвие.

корчио мотнул головой, и прядь, нависшая над правой бровью, ушла в сторону. он раскрывает тетрадку в кожаном переплете, читает проповедь: *некоторые из вас находятся в безвыходных, мертвых обстоятельствах, мертвых, мертвых,* – повторяет он, белоснежные зубы сверкают, – *даже хуже, чем мертвых, вы теперь в пещере, и это еще не всё, огромный камень привален к проему; вы не можете сдвинуть его, он лежит на ваших сердцах и давит, не дает выкарабкаться. камень мозжит вас; вы беспомощны, потому что вы мертвы. теперь всё, что вы должны сделать,* – его голос становится тонким, почти женским, на мгновение он превращается в учительницу подготовительного класса, рассказывающую детям, как правильно обращаться с безопасными ножницами, – *всё, что вам следует сделать,* – сказать «я верю», и ничего больше. некоторые смотрят на корчию с умилением, как влюбленные девочки, глазами страстного беспамьяства. их фигуры костенеют

в восторге. остальные скучают, не вникая в проповедь. глядят по сторонам, перешептываются, пощипывают или толкают друг друга, разглядывают свои физиономии в дешевых зеркальцах, оправленных конфетной фольгой. двое, сидящие сзади, дремлют под ровный гул кондиционера. две слюнные ниточки синхронно выползают у обоих из правого уголка губ, спускаются по краю подбородка, метят синие арестантские штаны.

славящие в глубине эстрады поднимают руки. корчио произносит: *расплата за грех – смерть*. он обращается к собравшимся и требует покаяния: *господь явил нам свою любовь, когда мы были грешниками*. голос его наливается, как плод на ветке. на щеках выступает румянец. *вы слышите меня? мы все пали, когда дух божий покинул адама в саду, мы все провалились в наши могилы*. корчио прерывает проповедь, спускается со сцены, мягкой звериной поступью идет в сторону дверей; там надзиратель в парадном кителе несет дежурство возле столика, на котором темнеет литровый термос со свежим кофе для капеллана. *сегодня, – корчио подхватывает свою мысль, – кому-то не-здоровится, – электрический орган заходится свистящим порывом, – у кого-то болит внутри*. он приближается к лайферу, кладет ему руку на живот: *– я вызываю любой недуг на бой. бог хочет сделать вас сильнее; ваши мысли терзают вас, обновляясь поспешно, мысли повторяются и гложут; во имя господя я изгоняю эти мысли*. варгас думает о себе, мысли его легки, почти неосязаемы. корчио останавливается возле варгаса: *если у тебя одна нога короче другой, помолись, и одна догонит другую*. нормальные у меня ноги, – думает варгас и улыбается широко и глупо, но вскоре его уносит в сторону общего гула. он выкрикивает вместе со всеми, запинаясь и проглатывая звуки: *миловани зависи неот желающ, неот подвизающе, аот бог милующе... когохочет милуе, когохочет жестокает. делие скажет лисделавшего: зачем т'меня так сделал? не власт лигоршоч над глино? вить богат славы своей над сосуда лосердия, котор он пригоготов к славе*.

корчио подходит к столику, наливает кофе в пенопластовый стаканчик. ароматный пар поднимается над жидкостью, над толстым пенопластовым нимбом. воздух благоухает вокруг. корчио осторожно дышит на поверхность, пытается отпить немного. кофе горячий еще, обжигающий. корчио оставляет стаканчик возле термоса; дует на нижнюю губу, выпитив верхнюю. бычью шею капеллана обматывает черное шелковое кашне. бежевый вельветовый пиджачок, черная рубашка с запонками. галстук тоже черный. черные облегающие брюки, узкие туфли-лодочки. глазки корчио подпрыгивают вместе со знаками препинания в тетрадке, из которой он читает. стекла очков поблескивают. кожа на бычьей шее краснеет до густоты. корчио продолжает: *что-то скрипит над моей головой, открылись ворота в небе, они источают благовония...* варгас не слушает, отвлеченный навозной мухой, которая летает над теменем капеллана, пытаясь пристроиться на рдеющей проплешине. животик подрагивает под вельветом. варгас мысленно отгоняет муху. он думает о неграх из своей огородной команды, у них руки длинные, как ветви или провода, или как растопыренные жерди огородных пугал, которые ставят весной против птиц. варгас думает о капеллане: есть ли у корчио женщина или что-нибудь в этом роде?

9

на плоскую крышу ближнего корпуса ложится солнечный луч. поддувает с реки; ветер гонит обрывок бумаги от бетонной стены к заграждению. влажное солнце вдавлено в полость неба. илистые низины, заросшие серой травой, корявые стебли сорняков, грязь и кустарник. река течет медленно, с одышкой. приезжие оставляют машины на гостевой парковке, торопятся к билетным кассам. женщины возле киосков и стендов, сколько их тут обретается, каждая похожа на цветок, флокс или маргаритку. корпуса и задворки. человек – не просто шаги по асфальтовой дорожке в сторону арены, а мой глаз и твой глаз. глаз отражает линию горизонта. горизонт сливается с рекой. горизонт, как марлевый бинт, который забыли переменить.

фотографируются в киоске. окошко забрано решеткой, держатся за пластмассовые прутья, лнут лбами, носами, губами; позируют, тянут улыбку, когда фотограф кричит им: *изобразите-ка ртом «моцареллу»*. на снимке остаются смятые волосы и (белая-матовая-коричневая) полоска лба; родители рассматривают снимки детей и усмеваются. фотограф (вооруженное ограбление, двадцать без досрочного) вьется возле новенькой камеры, насаженной на треногу: *оу, бэйби, сегодня вы – под замком, а я – свободен*. после фотосессии парень шепчет подруге: *слушай, а ведь он совсем не похож на убийцу, – приветливый, симпатичный даже*. подруга, тоненькая, лоскутная *bitch-in-training*, не возражает, только ввертывает свое: *кто их разберет, приветливых этих*.

на середину арены выходит человек в соломенной шляпе с широкими, помятыми полями. полы белого балахона обметают песок. в руке он держит медную трубу, начищенную до блеска. он дует в трубу с такой надсадой, что замолкают все – заключенные по одну сторону решетчатых ограждений и гости по другую. ошеломленный резким трубным звуком, варгас слышит тишину, осязает ее напряженную ясность...

внезапный рождается образ. такая же тишина висит в воздухе, как зрелый плод, когда они приходят и берут тебя в кольцо угрюмой своей правоты. разговоры и ругань прекращаются. слышно, как на другом конце здания откатывается электрическая решетка. каждый обитатель корпуса досрочно поминает твою несчастную душу и ждет развязки. несколько молчаливых типов обступают тебя, ведь это *ты* – причина их блеклой пантомимы. во рту становится горько. что-то искривилось в тебе и снаружи: напортил, наверно, сказал глупость, со всеми бывает; надо бы извиниться, но извиняться теперь поздно. тебя перестали замечать, твое присутствие истончилось. утром на площадке попросил приятеля: *постой рядом, придержи штангу, если начнет выскальзываться*. он не ответил даже, отошел в сторону, будто увидел тебя впервые. другая близится тишина, мазок безмолвия. их лица неоправимо сливаются в одно; из рукавов выныривают заточки, легкие, алюминиевые, в прошлом вилки-ложки, украденные из столовой. обступившие начинают торопливо всаживать заточки в твою шею, грудь, спину, будто спешат доесть обед, и ты думаешь: *я –дохлая муха, крылышки мои высохли, и надо закрыть глаза руками, потому что как же я без глаз появлюсь перед всеми*. ты сползаешь на пол, захлебываясь кровью. они стоят рядом и молчат, смотря на тебя черным зрачком убийства. теперь они навсегда братья по крови и беспамятству, а ты свободен, твое тело не принадлежит тебе, и кто-нибудь говорит, наступив ботинком в темно-красную лужицу: *измарался, мать твою...* они разбегаются по камерам. заточки, брошенные в унитаз, уходят с водой, звякнув о металлические стенки.

вот о чем думает варгас, пока трубач рассказывает по арене и песок съедает его подшаркивания. он снова подносит трубу к губам, и снова вытягивает из неё громкое дыхание, которое рождается то ли в самой трубе, то ли в его туловище; потом поднимает голову, обращаясь к душному октябрьскому небу: *внимание, дамы и господа, внимание*, – произносит он с негритянским ужимистым выговором, *внимание-манеэ*, – *сейчас на арене появится господин кейн, начальник анголы, устроитель упомопращительного представления*.

варгас вспоминает, что видел трубача на курсах грамотности, организованных капелланом. варгас драил линолеум, когда корчио обратился к своим питомцам, пятерым высоким неграм и одному рябому, зобастому ирландцу: *напишите что-нибудь, в прозе или стихами*. трубач спросил его: – *как это, стихами?*

корчио пояснил осторожно:

– *начни с одного слова, которое лучше всего описывает твое состояние...*

– *мое что...?*

– *ну, настроение, то, как ты себя ощущаешь...*

– *херово я себя ощущаю, сэр...*

– ну вот и напиши, что не очень...

негр зачитал написанное:

сегодня мне совсем херово,

снился дом, жена и дочь,

потом я проснулся и понял, --

у меня нет ни жены, ни дочери, ни дома,

у меня вообще ничего нет.

– вот видишь, ты написал стихотворение. тебе стало легче?

– откуда я знаю, сэр, стало или не стало?

– ты, главное, не останавливайся, – подбадривал корчио.

румянец удовольствия выступил на щеках капеллана...

трубач скрывается в проеме приоткрывшейся калитки, полы балахона исчезают последними, будто он и его просторный плащ – два разных существа. там, куда он уходит, спина к спине преют лошади и отбиваются хвостами от оводов. варгас видит, как створки ворот вздрагивают, вертикальные штыри запоров не хотят вылезать из песка, два привратника-лайфера с трудом поднимают их. ворота отворяются с тонким поскрипыванием, переходящим в писклявый напев, будто ребенок затащил свое *мерцай-мерцай-звездочка*. ворота раскрываются настежь. на арену неторопливо выезжает колесница, которую тянет пара лошадей с цветками в густых гривах, на груди у каждой болтается веночек из жимолостной лозы, на пополах вышито пурпурными нитками «начальник анголы». вожжи держит вертлявый негр небольшого роста. ему хочется покуражиться, он крутит головой и кивает в сторону трибун, будто это он – начальник анголы.

бывший учитель агрономии, эдвард кейн стоит в колеснице. на его плечах – зеленый плащ тонкого бархата с логотипом тюремного цеха по производству игрушек, на голове – берет, тоже бархатный. кейн поднимает правую руку в приветствии. рост – пять футов шесть дюймов, седые волосы скользят по лбу; лоб кругленький, как хлебный катыш. лайферы рукоплещут, варгас тоже хлопает и свистит что есть силы, взвизгивает вместе со всеми: *о-го-го, кейн!!!* две лошади тянут колесницу. из репродукторов доносится: *на арене – начальник анголы господин кейн*. на арену выбегают барабанщики в разноцветных курточках, сыпется дробная трель. *леди и джентль, перед вами – редчайшие бельгийские брабансоны. они выбрали в себя всё лучшее из арденских тяжелоупряжных. господин кейн приобрел их для анголы. один из брабансов, тот, что справа, взял первый приз на выставке в денвере, штат колорадо.*

10

солнце лезет в лицо. гости надвигают бейсболки на глаза... *здесь уже битый час, – слышит варгас, сидящий неподалеку от гостевых трибун, – непонятно, когда вообще начнут. не хотите ли кусочек, а то мне много... вот отсюда отщипните, нет-нет, давайте делиться... сколько еще придется ждать, нельзя же голодом себя... вы откуда? у меня там двоюродные, а мы – в батон руже, дом с бассейном, надувным, но это не важно. знаете, хорошо так посидеть на террасе возле воды, особенно в такую погоду, когда припекает. вам не жарко? а мне жарко. надо было взять лимонаду... нет, просто воду не пью. откуда вы узнали о родео? я тоже из газет. не думал, что такое бывает. а это что там за человек на арене? варгас не может разглядеть говорящего, мешает солнце. он различает лишь очерк корпулентного мужчины, который как бы завис над своей хрупкой соседкой и поэтому заслоняет ее от яркого света. когда она наклоняется вперед, варгас видит ее пышные волосы, облизанные сединой. корпулентный продолжает: *заведение, говорят, образцовое. некоторым даже убийцам, насильникам разрешают свободно перемещаться по территории... насильников я бы в реку бросал – гаторам на прокорм, а вы бы? надоело сидеть, обещали развлечь, а этот колобок**

еще катится по кругу, клоун, ей-богу, и руку поднял как цезарь какой-нибудь... вы остаетесь на барбекю? я остаюсь. говорят, у них здесь мясо свое, парное. ярмарка тоже. поделки хорошие и недорого, вы покупать будете? я бы купил что-нибудь жене и детям. у вас есть дети? у меня трое, младший просил-просил «возьми с собой», а куда я его возьму, тут же сплошные убийцы. он, кудрявенький, показывать будет и спрашивать: «этот почему здесь, а другой – почему? ну, скажи, папочка». а что я ему скажу, этот – убийца, а тот – насильник... нет, ни за что. ребенка должны окружать порядочные люди.

четыре всадника в парадной униформе носятся по арене. останавливаются, двое напротив двоих. кони и всадники вышколены, стоят как вкопанные. один держит звездно-полосатое знамя, другой – флаг конфедерации, остальные – флаги луизианы: на синем фоне белая пеликаниха сидит в гнезде с тремя птенцами; они смотрят на мать с просительным любопытством. наряженный ковбоем лайфер поднимается на деревянную тумбу в центре арены. всех просят встать. они держат руки за спиной на уровне поясицы, крестообразно, или кладут правую ладонь на грудь, возле сердца. играет тюремный оркестр. лайфер поет бархатистым, осенним баритоном: *скажи, ты видишь ли в ранних лучах рассвета... публика подхватывает последние слова: над землей свободных, на родине бесстрашных.* кейн обращается к зрителям. он говорит о мужестве и новой жизни. начинается представление.

на невысокой платформе – ярко-красный стол. четыре пластмассовых стула. четыре лайфера выбегают трусой на арену, занимают места, делают вид, что играют в покер. деревянные карты в масштабе пять к одному. на головах круглые шлемы; в шлемах их головы похожи на перегоревшие лампочки. смотрят друг на друга. враждебности не испытывают. кожаные, «безопасные» жилеты напряжены, как и туловища под жилетами. по арене бежит заводила в замшевой курточке с бахромой на рукавах. он подкидывает ковбойскую шляпу, которая переворачивается в воздухе и возвращается к хозяину. *пригласите дилера!* – кричит заводила. ворота открываются. на арену влетает бык, наклонив голову, готовый к удару. песок брызжет из-под копыт. бык высматривает мишень. не найдя, на что бы истратить свой пыл, останавливается, переминается. четверо сидят неподвижно, будто под ногами у них ползет змея. бык не реагирует на сидящих. они уже не делают вид, что играют; растерянно смотрят друг на друга. бык прохаживается по арене вокруг платформы, с интересом разглядывает ее. высидеть надо три минуты, потом дадут свисток и кинут жребий. победителя наградят сотенной. тогда заводила бросает шляпу на стол. бык резко разворачивается и врывается в пластмассу ближнего стула. сидевший на стуле вскакивает, как ужаленный, перепрыгивает через стол, сбивает того, кто сидит напротив. оба валятся на песок, и барахтаются там, сплетаясь ногами и руками, как двое влюбленных, и один проклинает мать другого, а другой только сопит и отталкивает от себя обмякшее тело, которым придавлен. лежащий сверху оборачивается и видит над собой бычью морду. бык крутит головой в наклоне. лайфер рывком поднимается на ноги и бежит к воротам, а тот, который барахтался под ним, откатывается в сторону, и вовремя, потому что бык с места берет разгон и преследует беглеца, и легко настигает его, и вонзает левый рог в правую ягодицу несчастного. бегущий с воплем перемахивает через борт и расплывается по земле. к нему спешит тюремный фельдшер. раненый постанывает, на трибунах смеются, забыв о двух игроках, оставшихся на арене, вернее, остается только один, а другой сначала ерзает, потом не выдерживает и пускается наутек, не дождавшись быка; просачивается за калитку. бык уже бежит обратно: шляпа, снова брошенная на стол, щекочет взгляд. бык вспрыгивает на платформу, и всё летит к чертям: стол, три пустых стула, победитель...

мустанг водит головой, тянется укусить кого-нибудь или ударить задними ногами. держат его крепко, в узком пространстве между решетчатыми барьерами, слева – постоянный, справа – съемный. взобраться несложно, спина – гладкая, прохладная. полы черно-белой полосатой ру-

башки обметывают вздрагивающий круп. варгас, как ребенок, которого привезли на ярмарку покатать на послушной лошадке. он сидит, выпрямив спину, сжимая уздечку потными, испуганными руками, и отец улыбается ему, и тетка лусия кудахчет *загляденье, истинный кабальеро*, а ребенок ждет, когда всё закончится, и отец приподнимет его над седлом и поставит на землю, и лошадка поведет ушами и, кажется, почует унылой шеей его липкий страх.

наконец выпускают варгаса. правый барьер уходит в сторону, мустанг, подсакивая и борзея, выносится на арену. варгас сидит, чуть наклонясь вперед, левой рукой держится за веревку, привязанную к шее мустанга. полы рубашки хлопают по бокам. он подплясывает, следуя взбрыкам дикого скакуна. ноги проскальзывают вверх, он почти зависает в воздухе, ощущает необычайную легкость, будто ветром приподняло. через мгновение он снова чувствует скользкую спину обезумевшего существа; рука еще сжимает веревку. варгас больше не номер, не статья, не литеры в приговоре, он – нечто другое; челюсть его отвисла, язык ловит пыльную охру октябрьского дня. еще мгновение, и он уже не может подладиться, уследить за подскоками мустанга; варгас – монета, которая крутится вокруг своей оси, а потом падает, но перед падением вздрогнет несколько раз, пока не затихнет. внутри выгорает всё, и сердце трепещет, летит на стрекозых крылышках отчаянья. варгас хочет настигнуть свое бесстрашие, но сбивается ритм. ритм, как рыба, пойманная и выскользнувшая из руки. варгас не может вернуть отвагу. теперь два чужих друг другу тела – мустанга и варгаса – действуют вразнобой. мустанг будто хочет взобраться на небо. рыжина гривы хлещет по щекам. варгас не видит трибун и навеса над ними, теперь он один во всем мире; нутро давит наверх – к горлу, дыхание затрудняется, тошнота подступает к сердцу. варгасу вдруг опротивело всё – он сам, стремящийся удержаться там, где можно только упасть, сломать шею, и все эти люди, глядящие на него с трибун, на его беспомощность, жующие сэндвичи, запивающие пивом жижицу лоточной пищи. в мгновенном озарении варгас сознает, что этим людям всё равно, есть ли он или нет; он сам уже не знает, есть ли. тогда он отпускает веревку и начинает неуклюжее падение, и арена принимает его своей мягкой кожей. он падает на живот, несколько секунд лежит неподвижно, ожидая, что мустанг вобьет копыто в его спину. он готовится к боли, но мустанг летит дальше, оставив варгаса позади. на трибунах кричат: *отлично прокатился, парень*. варгас не слышит похвал. рукавом полосатой рубашки он размазывает прилипший песок по вспотевшим щекам и подбородку. репродуктор объявляют имя следующего наездника. с гостевой парковки доносится запах жареных каштанов. играет легкая музыка.

нью-сити, 2018

Богдан АГРИС

О эти выросшие навзничь города,
идущие под скос, под конское копыто,
где глина волгла под ливнем духовита,
и падает внезапная орда
из корневых лакун чужого алфавита.

И мне ли здесь идти наперекор и вкривь,
когда отточенная октябрём солома
дрожит на сквозняке немыслимого дома
и прорываюсь я уже почти на срыв
к окраине голосового кома.

Несуществующее время вопреки
Мы запросто берём из неба корневого,
Чтобы взойти по стебельку строки
К троякой паузе текущей в кровь реки –
Реки из отсвета и слова.

А время – что оно? Ни мнимо, ни право.
Но, как птенца, мы можем взять его,
Чтобы с руки кормить до времени и срока.
Но выпустить его, как встанет на крыло,
Уже немыслимо – оно здесь прижилось,
Но не грусти о нём – ему не одиноко.

Двустиишия

I.
Ты мне даёшь обернуться, всмотреться и быть.
На городах корневые вспухают грибы.

На световых, обнадёженных, пухлых корнях
Время стояло, а после встревало в меня.

Богдан Агрис родился в 1973 году в пос. Голицыно. С 1981 года проживает в городе Химки. Учился на философском факультете МГУ. Работал преподавателем философии, журналистом, системным администратором. Публиковался в журнале «Плавучий мост». В издательстве «Русский Гулливер» готовится к выходу книга стихотворений.

Полно, – не вереск, не смута, не сон корневой.
Время меня с корневищ отрясает с лихвой.

Что бы то ни было – но по околице лес.
Видит меня, отрицает меня наотрез.

2.
За выпяченной из небес луной
Стоит затяжной,

Стоит затяжной, как старушачий перст,
Крест.

Се галочки всходы и всхлёт весны
У той вон сосны.

В её коре говорят муравьи
Мои.

3.
Зимней поэзии пособирай с куста –
Волей клеста.

Пробуй, как тонкую кровь, пробуй на вкус
Кривду рябинных бус.

Будем еще, будем еще наравне
С тем, что роится вне.

С тем, что щебечет, бормочет вон в той крови, –
Губы-то не криви...

4.
А в инаковой тверди всё взято с лихвой и нараз.
На пшенице стоит безвозвратный и сумрачный Спас.

И лежит огневица в июльской своей колыбели.
Колесо распоясалось в точные отзвуки хмеля.

И недели дают нам растущий в предсердьё отчёт,
А ещё говорят, что река по ладони течёт.

Может, это и правда, но что, если эта река –
Тоже просто рука, отражающая облака?..

Как в первообраз озера вотще
втекают голубиные кометы, –
и вдруг темно во всех пяти проёмах света,
и проступает вновь на жилистом хвоще
Луны тягучая отмета.

К чему и эта речь? Но в полое «всегда»,
как в рыбы пастбища, бросается вода,
которой понята и звёздный свет, и хвоя,
и даже птичья мгла опавших городов.
Чего же здесь ещё? Вода идёт на зов
отверстого стекла, где – то один, то двое.

Я как будто устал без твоих разнозначных полей,
О пространство, что шло по объёмам ночных журавлей
И рвалось пополам на шоссейных встревоженных стыках.

Над шоссейной травой становилось оно безъязыко
И шаталось, как вереск в закраинном доме своем.
И росло с перебоями. И отдавалось внаём.

Птицы **(По мотивам Горация)**

В мире, которого не случилось,
Мы поднимались на долгое время,
Смотрели вокруг обоюдоостро,
Верили чёрным глазам из стали.

Новое кончилось. Время вышло.
Зряче осваивая промежуток,
Мы открываем иные двери.
Осень нам в помощь – пора остаться.

Мы остаемся – и станем птицей,
Ветреной птицей с семью глазами,
Кладущей на землю свой отпечаток,
Кладущей в осень свое очертанье.

Полно, нам не пристало плакать
О том, что было, о том, что будет.
Сосуды слез разом все не выпить,
Это напиток одних крылатых.

Будем мы вместе, покуда время
Не постареет до очертанья
И не впадёт в затяжные реки
Имён пернатых и запоздалых.

О этих эллипсов плакучих кривизна...
Они всё кружатся, вращаются и стонут.

По вектору Луны – святая тень вороны.
Опустошается полночная казна –
А какова была во время оно!

Богатства трав твоих уже наперечёт,
О ты, моя насквозь и мыслящая местность...
На башни ломкие вступает звездочёт
И падает в тебя сухим изломом жеста,
А золото не знает – и течёт.

Не отболи себя, пока ещё зима.
Не проворонь себя в косматые дома,
Двоякодышащие, с кровью чуть зелёной.
Они карабкаются по большому склону,
А как вскарабкаются – будет кутерьма...

Но ты иди туда, где кровельные кроны
Стоят на лезвии просторного ума,
Где город ветвяной, где чёрный клюв вороны
И воздуха простые закрома.

И в этом городе, растущем
На смертный грех и квёлый сон, –
Диапазоном рек текущих,
Самосознанием крыл несущих
Я тяжелею испокон.

На смех, дождями перебитый,
На стерха ломкую печать –
Идти шагами следопыта,
Но даже конского копыта
В большой траве не примечать.

Да здравствуют мои слепоты,
Мои затверженные ноты,
Мой безнадежный перехлест.
От певчих горл я строю к тверди,
Шутя насвистывая Верди,
Колючий и ершистый мост.

О, как однажды он встряхнётся,
Расправит крылья, шевельнётся
И пролетит, как некий дым,
Страной большого листопада,
Где ничего уже не надо,
И перечёркнуты сады.

Алексей ПОРВИН

СТИХИ ПАМЯТИ О. Ю.

Прожорливый камень: внутри него
причине сквозняка входного – пылать,
то в трубе ожиданием копотным воя,
то золой оседая на темень платья.

Заслонок бежать, назначать их лязг
последним ритмом, означающим лаз
к тишине: полотном ли дверным затопили
истукана, дающего силы?

От сердца людского откусит печь
ночные всполохи: доныне блохи
не обидели в деле пылающей речи,
а сегодня на их стороне стихия.

На месте укуса сочишься, слог,
а лучше ливнем задымлённым приляг
как замена минуты в ладонях, какими
не сжимать драгоценное имя.

Цепкостью заменив многосилие чувств,
обрывали ягоды, бросали в голод
ртовый, помнящий эту фразу лучу:
нечего слушать душу иголок.

Соснами продлевалась земля в тишину,
где полёт испачкан непосильным дымом –

Алексей Порвин родился в 1982 году в Ленинграде. Публикации в журналах «Нева», «Дружба народов», «Воздух», «Новая Юность», «Носорог», «Урал», «НЛО» и др. Автор стихотворных книг «Темнота бела» (М.: Арго-Риск, 2009), «Стихотворения» (М.: Новое Литературное Обозрение, 2011), «Live By Fire» (Cold Hub Press, 2011), «Солнце подробного ребра» (СПб.: ИНАПРЕСС, 2013) и «Поэма обращения. Поэма определения» (СПб.: MRP, 2017). Лауреат премии «Дебют» в номинации «Поэзия» (2012), входил в шорт-лист премии Андрея Белого в номинации «Поэзия» (2011, 2014). В «Волге» публикуется с 2008 года. Живет в Санкт-Петербурге.

знай, колючее тело древа: войну
трудно вместить огнём нелюдимым.

Знавшие, чем вбирать переменный ответ,
и не взглянут на дивизию побережья,
дрожа хотят сохранить, как будто в родстве
звенья иные больше не брезжат.

Шарили по кустам, собирали озноб
перезрелый, истекающий пейзажем,
словно соком: смотри, измазала лоб
птица себе простором, как сажей.

Чей выпотрошен вдох, лежит рекой попятной
и просит называться кое-как:
ему бы выбрать имя, но вокруг нещадный
встаёт простор, переходящий в знак.

Когда оттают льды, освободится всякий,
прозрачностью захваченный: тепло
стремится к небу и земле, воздав двоякий
прибрежный путь, что назван «ремесло».

Кусочки говорят (да, воздух на кусочки
разбит одним ударом, ставшим *весть*)
друг другу только свет, чуть заострённый к ночи,
вспоровший всю готовность помертветь.

Пузырики во льду рассыпаны, как щебет,
в который видно темень? Глубину?
Пузырики, вам поры в ленинградском хлебе
нашёптывают тёплую вину.

Лучи не спешат отстирать мазут:
уборка территорий, звуком своим твори
ступени, по которым до рассвета уйдут
кусочки музык знать другие пустыри.

Небесной складкой, сглаженной уже,
бывала речь, неровностью пернатой,
но после стирки всё расправилось в душе,
и тканям – гладью быть, рисунком сада.

Стремиться к чему – уравнилась высь
с низинами: один и тот же материал
выталкивает воду, на верёвке повис,
сплетённой из всего, что человек не знал.

К метле прильнут обрывки словаря:
шуршанье, по тебе взбираться к сердцу
умеют: ливень, листья, чувство – несмотря
на небо, что решило отвисеться.

От облака отрезана тропа завываньем,
ветер подвержен правде сгорания вглубь,
лучик ночной прозревает мгновеньем
ухода от происков, но во мглу –

Раскопки излучают затмеваемый город,
тяпочный ляг не ярче, чем разговор,
в яму ведёт балаган крутогорый,
песчинки бесшумно галдят в простор.

Из этих клоунов, из черепка шутовского
армию сплавить, пламя себя раздув,
нынче песок не чурался отлова
и сыпался сам, позабыв звезду.

Обломки Аполлона – никому полководцы,
зренье своё обломкам дадут дожди,
сердце с последней атакой сживётся,
где с небом срastутся твои пути.

Въедливо трогают пылинки
означающий шорох трав,
а чтенью одни лишь блики
подвластны, себе решимости набрав.

Светом ли выбран вновь окольный
человек? На его благих
обочинах слишком больно
пылится ковыль, не дышащий ни зги.

Норы, залепленные пеплом,
запечатанный плотью крик,

вы – письма, в каких окрепло
стремление адресоваться напрямик.

Выдох – замена зрению если,
то увидеть легко следы
идущего: не исчезли,
не стали душой прочитанной беды.

Плевков, лети неожиданной белизной,
как память о зиме, что всякой боли тверже,
скелет прочнейший или временной
потребен тишине, себя разверзшей?

Пусть люди вслед за маленьким теплом
сжимают челюстями всё, что не проходит
со временем, спешащим в долгий дом:
пропеты стены облачной свободе.

Прозрачны челюсти весны: жуют
капельным рядом звонкой красоты резцовой –
любые льды, что в помысле живут
(в глаза сомнению выплунуто слово).

Кто буквы складывал в холодном рту,
надеялся на значимый жевок весенний –
строку вживлял в дневную пустоту;
строка есть кость для бесхребетной тени.

Находка – ерунда, комок любви латунный,
забывший форму пули и просящийся в огонь:
«я позвучу, как слово, правдой накануне
великих перемен: сомненье, сгинь».

Здесь каждый лист наточен: лишь бы воздух легче
взрезать как пласт земельный, продвигаясь в глубину,
поближе к выдоху, что корнем лёг на плечи,
обвив последнюю войну.

Вздывалось небо нерассказанной мозолью
когда? Когда бывала речь облезлым черенком
лопаты, отзвеневшей почвенную волю
в разрытом веке золотом.

Задержан высотой остаток листопада,
переплавляется сквозь шелест, к смыслу несводим,
покажет, как среди пейзажного упадка
воспрянуть временем своим.

Лекарство срезанной траве найти бы:
воспрянет, ухватившись за восток
молчальным корневищем, сделанным из глыбы
людской покорности, решившей так –

«Шуршат страницы, падая под взглядом,
заточенным о воду лучше, чем
о душу ближнего: ты, небо, падай следом,
скопившись в проговоренном луче.

Тебе ли светит мрамор, чтобы легче
нашарен был словарный сенокос..
А кто стога от неподвижности излечит,
подняв их ближе к сердцу, как вопрос?

Держаться поздних клёнов индевелых,
по-римски взявшихся белеть в слова,
в каких, как в поле, темноту несут на вилах,
свой голос колосившую едва».

КОЛЛЕКЦИЯ

Рассказ

I.

В Алексеевск приехала семья не совсем обычная. Весь её багаж состоял в основном из книг и картин. Когда содержимое контейнеров подняли на четвёртый этаж в двухкомнатную квартиру, в ней негде было стать. Книги лежали на полу, стульях, на подоконниках, закрывая собой окна. Вдоль стен, во всех коридорах, на кухне стояли пачки связанных картин. У хозяина имущества длинные волосы, одутловатые щёки, холёный подбородок. Он заметно прихрамывал, опираясь широкой ладонью на чудную самодельную палку. Просторная рубаша и широкие брюки в полоску скрадывали большой живот. Его жена была похожа на учительницу музыки, библиотекаршу, смотрительницу музея, детскую писательницу и просто на молодую еврейку.

На второй день он зашёл в исполком, чтобы записаться на приём к городскому начальнику.

– Ваша фамилия? – спросила секретарша, крупная женщина, похожая на породистую лошадь.

– Рылов Пётр Андреевич.

– По какому вопросу?

– По личному.

– О чём будете просить?

– Просить? Почему вы решили, что я буду просить? Дело в том, что мы с женой недавно приехали в ваш город и ещё никого здесь не знаем.

– Это не повод сразу идти к мэру.

– Мы приехали не с пустыми руками. Видите ли, у нас коллекция картин и мы привезли её в ваш город. Мы хотим здесь жить.

– Так вы по жилищному вопросу?

– В известном смысле – да. Только жильё нужно не нам, а картинам.

– Жилищными вопросами занимается жилищный отдел.

– Я хочу познакомиться с мэром.

– Мужчина, вы в своём уме. Как я ему доложу? Тут один гражданин хочет с вами познакомиться?

– Вы обязаны записать меня на приём.

– Что я обязана, я знаю лучше вас. Хорошо, сформулируйте ваш вопрос.

– По поводу размещения в городе коллекции картин.

Она записала в блокнот и, как показалось посетителю, обвела запись размашистым овалом.

Рылов возвратился домой. Вытер платком лицо в прихожей.

– Дуся, здесь можно сделать полки, – сказал он.

– Представляешь, в доме нет горячей воды. И холодной тоже, – ответила Дуся.

Николай Николаевич Фоменко родился в 1953 году в г. Россошь Воронежской области. Окончил театрально-декорационное отделение Ростовского художественного училища им. М.Б. Грекова. С 1978 года живёт в Артёмовске Донецкой области. Рассказы публиковались в журналах «Союз Писателей», «Новый мир», *Esquire* (Украина), «Новый журнал», «Крешистик», «Отражение» и др. Лауреат литературной премии имени О.Генри «Дары волхвов» (2011), литконкурса «Русский Stil» (2012), лонг-листер «Русской Премии» (2014). В «Волге» публиковались рассказы (2016, № 1-2 и 2017, № 9-10).

– Нас, кажется, об этом предупреждали.
– Я не помню.
– Зато я помню. Кажется, был разговор про воду. В Донбассе, Дусенька, с водой всегда были проблемы.

– Но это же очень неудобно. Что тебе сказали в исполкоме?
– Оказывается, у них тоже теперь мэр. В четверг у него приёмный день. Я записался. Будем надеяться, что он окажется интеллигентным человеком или, во всяком случае, хочет таким казаться. Я заметил, что люди, стремящиеся кем-то казаться, более правдоподобны. О настоящем бандите и не подумай, что он бандит, зато тот, кто хочет казаться бандитом, бандит на все сто процентов.

– Так что лучше, я что-то не поняла.
– Я сам не знаю – всё имеет обратную сторону.
– Сегодня на улице очень жарко. Я даже вспомнила Ташкент.
– Зимой, когда будет слишком холодно – ты вспомнишь Магадан.
– А ещё я могу вспомнить Кемерово, Бийск, Челябинск, Дербент.
– Ну вот, а ты жалуешься на память.
– Что мы забыли в этом Алексеевске?
– Тихий приятный город. Тебе здесь понравится.
– Для этого мне как минимум нужна вода.
– Надо спросить у соседей, как они обходятся без воды.
– Зачем?
– Может, они нас научат.
– Думаю, я не научусь жить без воды.
– Ты прекрасно понимаешь, о чём я говорю. И ещё: надо кого-то пригласить, чтоб собрали нам книжный шкаф. Как трудно начинать жизнь на новом месте.

– Впервые слышу.
– Я видел вывеску художественной мастерской. В городе есть художники, Дуся.
– Для начала мне нужна маникюрша – я обломала об книги все ногти.

Рылов заглянул в туалет.

– Здесь тоже можно сделать полки. Так, как у нас было в Бийске. Помнишь? – спросил он.
– И в Дербенте, – сказала она.
– Ну, в Дербенте вообще было шикарно. У нас там стоял Стендаль.
– Да, в Дербенте в туалете поместилась почти вся французская литература. Это был самый лучший туалет в моей жизни, а здесь даже нечем смыть унитаз, – сказала она.

– Вот бы удивились древние римляне. Как ты думаешь, что здесь было во времена Римской империи? – спросил Рылов.

– Я сварила рыбный суп.
– Ты не ответила.
– Мне трудно это представить, – сказала она.
– Мне тоже. Дуся, мы с тобой постарели – у нас кончились фантазии.
– Скоро у нас закончатся деньги.
– Деньги заканчивались много раз, – махнул рукой Рылов. – Я сейчас позвоню кому-нибудь из соседей, узнаю насчёт воды.

Рылов вышел на лестничную площадку и позвонил в самую опрятную дверь. Подождал. Позвонил в другу. И снова на звонок никто не вышел.

– Петя, люди на работе.

Он позвонил в третью дверь. Самую обшарпанную. Из двери высунулась старуха. Она, видимо, давно стояла под дверью.

– Вам кого надо? – У неё были редкие седые волосы, сквозь которые просвечивала необыкновенно розовая кожа.

- Мы ваши новые соседи. Хотели узнать насчёт воды.
- Старуха молчала.
- Её каждый день не бывает? – спросил Рылов.
- А что вы хотели? – сказала старуха.
- Нам бы хотелось понять, как вы обходитесь?
- С шести до десяти, набирайте в вёдра или кастрюли и пользуйтесь.
- Так всегда? – удивился Рылов.
- Может вообще не быть.

Рылов поблагодарил соседку и вернулся в квартиру. Старуха закрыла дверь, но потом открыла опять и поглядела Рылову в спину.

- Теперь понятно, почему ванна рыжего цвета – в ней постоянно держали воду, – сказал Рылов.
- Кто тебе открыл?
- Какая-то старушка.
- Ты с нею познакомился?
- Не успел. Я только спросил про воду. Воду подают вечером и надо запастись на целый день.
- Возьми мокрое полотенце и вытрись.
- Чем ты его намочила?
- Минеральной водой.

На следующий день Рылов поехал в художественную мастерскую. Троллейбусная остановка оказалась дальше. Пришлось возвращаться пешком. Это была оформительская мастерская в старом одноэтажном здании с запylёнными окнами и просевшей крышей. В первой комнате, совершенно пустой, с телефоном на стене, вокруг которого, словно огромная татуировка, были карандашные записи и рисунки, он никого не застал. Открыл следующую дверь. Но и там людей не было. Стояли большие фанерные столы, стеллаж, у стен подрамники и планшеты. На сероватом потолке салатные разводы от воды. Пришлось возвратиться и заглянуть ещё в одну дверь. Там была комната поменьше с канцелярским столом, жёлтыми шкафами. На столе закуска, висел слой табачного дыма. Три человека разговаривали. Один наклонился, видимо пряча под стол бутылку. Тот, что сидел спиной к двери, повернул голову. Под футболкой на спине выступили лопатки. Ему было неудобно так сидеть, и он повернулся вполоборота вместе со стулом.

- Что вы хотели? – спросил мужчина, прятавший бутылку.
- У вас случайно нет столяра? – спросил Рылов.
- Вам зачем?
- Мне нужно собрать книжный шкаф.
- Вообще-то у нас не столярная мастерская.
- Я подумал, что в художественной мастерской должен быть столяр.
- У нас, конечно, есть столяр.
- Да нет, Фёдорович не возьмётся, – сказал тот, что повернулся со стулом.
- Почему ты так думаешь? – спросил прятавший бутылку. – Вы зайдите в пятницу. Столяр бывает здесь по пятницам, – сказал он.
- Зачем ждать до пятницы? Неужели в городе мало столярных мастерских? – сказал третий.
- Да, – согласился Рылов. – Но, если я никого не найду, я зайду в пятницу?
- Ради бога. Договариваться будете сами.
- Спасибо, – сказал Рылов. Он попрощался и, по-королевски выбросив вперёд руку с палкой, вышел из комнаты. В последний момент ему бросился в глаза школьный глобус, стоявший высоко на шкафу. Он парил выше слоя табачного дыма, как воздушный шар над облаками. На улице Рылов пнул палкой пустую сигаретную пачку, постоял в раздумье и пошёл обратно к остановке. Над старыми домами распластались клёны. Стволы клёнов были в узлах и наростах. Казалось, деревья росли скачками, и каждый такой скачок был в противоположную сторону.
- Застал кого-нибудь? – спросила жена.

- Я пришёл не вовремя.
- Почему?
- Застолье.
- Так рано?
- Дуся, одиннадцать часов. Если это рано, то я ничего не понимаю в художниках.
- Зачем же ты ходил?
- Я не думал, что буду добираться так долго.

Рылов переступил через книги, сел в кресло, поднял на себе рубаху и сделал в живот инъекцию инсулина.

– Представляешь, там, в мастерской, глобус. Это напомнило мне вечернюю школу. В вечерней школе, где я учился, на шкафу тоже стоял глобус, а за стеклами шкафа скелеты каких-то птиц. Может, там был скелет обыкновенной курицы. Никто ничего нам о скелетах не рассказывал. А в глобусе была дырка, поэтому он всегда стоял одной стороной, как луна. Знаешь, Дусенька, всё в моей жизни с этой самой дыркой, с изъязном, так что тоже всего не покажешь и не расскажешь.

- И я у тебя с изъязном.
- Это ещё почему?
- Ребёнка так и не родила.
- Но мы же не знаем, кто в этом виноват. И вообще, разве это можно называть виной.
- Насыпать суп?
- Тебе не кажется, что кухня здесь меньше?
- Ужасно маленькая. Натюрморт с гранатами в ней не поместится.

В четверг Рылов пришёл на приём к мэру. Людей, несмотря на лето, собралось много. Все не очень благополучные по виду. Старики, неизвестно как добравшиеся до исполкома, молодые женщины, плохо одетые, с дебильными лицами, инвалиды, люди после операций: с повязкой на глазах, с гипсом на ноге, с клапаном в горле. Стояли молча и напряжённо, с холодным отворачиванием друг к другу. Рылов подумал, что надо было попасть к мэру как-нибудь иначе. Он даже решил, что сейчас уйдёт, но его сразу пригласили в кабинет. Он узнал секретаршу. Она посмотрела на него очень приветливо, как смотрят на человека, которому только что сделали приятное. Рылов немного нервничал, поэтому ответной улыбки не вышло. Вокруг мэра сидело прилично народу. Целая свита. Руководители городских служб. Рылов как-то не ожидал этого, и смутился ещё больше. Зачем ему они все. Мэр был большой, коротко стриженный, с щетиной седеющих усов. Он курил, стряхивая пепел в стеклянную пепельницу. Дым уплывал в приоткрытое окно.

– Садитесь. Я вас слушаю.

– Видите ли, мы с женой жили в Актюбинске, а до того в Бийске, Дербенте, вернее, сначала в Дербенте, потом Бийске и ещё в нескольких городах. Я большой любитель живописи. У нас собралась коллекция картин. Понятно, не шедевры, но всё же.

В свите была женщина, похожая на маленькую надувную лодку. Она так строго смотрела на Рылова, что он запнулся, как школьник на уроке.

– Ну и что? – сказал мэр.

– Да, что вы хотите? – поддакнули в свите.

– Мы решили переехать в Алексеевск. Мы давно мечтали поселиться в каком-нибудь небольшом тихом городе. У нас двухкомнатная квартира и она тесна для нашей коллекции, поэтому мы решили подарить картины городу.

Рылов замолчал, молчала и свита. Кто-то переглянулся. Большинство смотрело на мэра. Мэр смотрел в стол. На лице крупные складки, как траншеи.

– Какому городу? – неожиданно спросил мэр.

– Вашему.

– Нашему? Нам нужны картины? – спросил он, видимо, обращаясь к свите. У него почему-то был довольный вид, а свита, наоборот, вся напряглась и беспокойно водила глазами. – Пусть этим займётся отдел культуры, – сказал мэр и посмотрел на стройную женщину.

– Зайдёте ко мне после приёма или завтра или в любое удобное для вас время, – сказала Рылову женщина и искоса посмотрела на мэра. Мэр снова закурил. Рылов вышел в приёмную. Он ожидал другого. Не ясно чего, но другого. Он думал, что будет с мэром один на один, и они поговорят о жизни. И только потом о картинах. Было досадно. На ступенях исполкома лежали на солнце с полдюжины бродячих собак. На газонах росли голубые ели. Начиналась полуденная жара. Собаки как по команде перекочевали под деревья. В фонтане перед исполкомом зелёная вода и ржавые трубы. Голубь сел на трубу и наклонился к воде. Рылов сел на скамейку, достал из кармана конфету, потом долго и сосредоточенно складывал фантик, разворачивал и опять складывал. Вокруг ног собрались голуби. Мамаша водила маленькую девочку по гранитному парапету фонтана. Небо было по-летнему выгоревшее.

- Ну и как тебе мэр? – спросила Дуся.
- По-моему, он зоотехник.
- Ты имеешь в виду профессию?
- Нет, я имею в виду наклонности.
- И чем нам это грозит?
- Возможно, нас отбракуют или, наоборот, зачислят в элитное поголовье.
- Ты сам говоришь как зоотехник.
- Что поделаешь. Фамилия у начальницы отдела культуры – Журавлёва. И она действительно похожа на журавля. Помнишь, мы видели в Бакинском зоопарке с пучком перьев на голове?
- Что, у неё тоже перья?
- Не перья, конечно, но похоже. Кстати, возможно нам придётся пригласить её к себе.
- Сначала надо всё тут расставить.
- Завтра меня обещали познакомить со столяром.

Рылов вышел остановкой раньше. Купил в гастрономе водку и закуску. Шёл по тенистому тротуару сонной улицы. Народ наверно разъехался в отпуска, перепоручив своих кошек и попу-гаев одиноким соседкам. Художники были в большой комнате. Каждый что-то малевал на планшете. Молодой и длинный художник сидел за мольбертом и, откинувшись, с прищуром смотрел на холст. Рылов видел обратную сторону холста, на которой от небрежности проступил грунт. Рылов поздоровался.

– Пойдёмте, столяр в подвале, – сказал знакомый, прятавший прошлый раз водку.

Они обошли вокруг дома. Со двора был вход в подвал. Через полчаса все сидели в комнате с глобусом. На столе были хлеб, колбаса, кабачковая икра и водка. Рылов спросил про туалет. Закрыв за собой дверь на шпингалет, огляделся. Вокруг унитаза стояли ведра с водой, висело мутное зеркало. Рылов достал шприц-ручку и, стараясь ничего не коснуться, сделал укол. Ещё через полчаса за столом уже громко говорили. У столяра были печальные глаза с коричневыми зрачками, как у рыжей козы, перебитый нос, и на правой руке не хватало двух пальцев. Живописец оказался нахалом. Он приставал со своими картинами. Выпив по две или три рюмки, пошли смотреть, что там у него.

– Могу продать эту и эту.

Потом выяснилось, что он может продать всё.

– Прилично написано, но я сейчас не покупаю, – сказал Рылов.

Несколько раз бегали за водкой. Пришли ещё двое. В комнате накурили.

По стуку палки Дуся поняла, что Рылов напился. Она бросила книжки и заторопилась в прихожую.

– Дусенька, я...

– Можешь не объяснять. Боже мой, у тебя растёгнута ширинка.

– Что ты говоришь, Дусенька.

Наутро у Рылова было серое лицо и опухшие веки. Слезились глаза, словно в них накопили воды. Из-под одеяла торчала нога с широкой пяткой. Возле тахты лежал маленький коврик, а вокруг всё ещё громоздились стопки книг.

- Дуся.
- Что, Дуся, что, Дуся! Ты наберёшься когда-нибудь ума.
- Эти художники везде одинаковые.
- Это ты со всеми одинаково наливаешься. Что ты тягаться с ними – ты же знаешь, что тебе нельзя пить. Сдохнешь к чёртовой матери, и что я буду делать одна в этом Алексеевске?
- Дуся, не ругайся, пожалуйста.
- Как не ругаться, объясни. Как можно не ругаться?
- Принеси мне лучше чаю.

После обеда пришёл молодой нахал. Приволок с собой две картины.

- Вчера вы их не видели, – сказал он.
 - Ну, показывайте, – сказал Рылов. – Приличная живопись. Дуся, посмотри, правда, хорошо? Дуся посмотрела, скосила глаза на мужа. Рылов сидел, оттопырив губы.
 - Неплохо, – сказала Дуся.
 - Покупайте, – сказал художник Саша.
 - Что, обе? – спросил Рылов.
 - Если хотите.
 - Хотеть мало.
 - Тогда одну.
 - Сколько стоят ваши картины?
 - Двести пятьдесят.
 - Вместе?
 - Почему? Одна.
 - Какая именно?
 - Без разницы.
 - Это же много, Саша.
 - Много за картину!
 - Я не говорю, что картина не стоит этих денег. Просто, много для меня. Я не покупаю картины за такие деньги. Мы вообще покупаем очень редко. Чаше нам дарят.
 - Знаю я, какие картины дарят.
 - Вы не правы. Обычно – это хорошие картины.
 - Подарить я всегда успею, – сказал Саша, заматывая картины в скатерть.
 - Но у вас я купил бы вот эту. Только не за двести пятьдесят, а за сто.
- Саша фыркнул и собрался уходить. Потом, вдруг, освободил от скатерти картину и поставил к стене.

- Хорошо. Только сто рублей сразу. Мне нужны деньги.
 - Пятьдесят сейчас, а ещё пятьдесят через две недели.
 - Ладно.
 - Дусенька, дай нам пятьдесят рублей.
- Саша взял деньги.
- Пусть и вторая картина побудет у вас. Мне надо сейчас в одно место.
 - Саша, у нас и так тесно.
 - Я вечером заберу.
 - Петя, это были последние деньги.
 - Что я мог поделаться, ты же сама видела. Лучше скажи – стоит она пятьдесят рублей?
 - Ты же купил за сто. По-моему, парень слишком торопится, – сказала она.
 - Что поделаешь. А ещё он, конечно, большой нахал, – сказал Рылов.
 - И худой очень. Наверно, плохо питается, – сказала Дуся.
 - Дусенька, о чём ты говоришь. Кто сейчас плохо питается. Это от нервов и нетерпения. Но как он нас нашёл?

– Значит, ты называл свой адрес. Пьёшь, а потом ничего не помнишь.

Пётр Андреевич лёг на кушетку. Жена присела рядом, положила руку на его грудь, на седые колечки волос. Не глядя на мужа, спросила:

– Это последний наш город?

– Почему ты об этом спрашиваешь? Мы же всегда принимали решения вместе. И потом: переезд никогда не был для нас самоцелью. Разве не так?

– Так. Я обратила сегодня внимание, как здесь говорят на рынке. Когда-то так разговаривала моя тётка, Роза Мироновна.

– А мне рассказывали, что нас эвакуировали из Смоленска. Всю жизнь мечтал побывать в Смоленске. Где только ни был, а в Смоленске – нет. Странно, правда?

– Не знаю.

Во вторник Рылов пошёл в исполком. Кабинет Журавлёвой был закрыт. Он заглянул в комнату напротив. За столом сидела полная озабоченная женщина. Тыкая в калькулятор, переспросила:

– Закрыто? Только что была.

Рылов извинился. Прошёлся по коридору, изучая таблички на дверях: Специалист 1к., Специалист 2к. На двери, за которой сидела озабоченная женщина, было написано: ст. бухгалтер. Он подошёл к окну. За окном верхушка берёзы. Ветер тербил мелкие листья, и в них отражалось голубое небо. А там, где небо не отражалось, листья были почти чёрные. За спиной послышались шаги. Рылов оглянулся.

– Вы ко мне? – спросила Журавлёва, отмыкая кабинет.

– Да. Я пришёл пригласить вас посмотреть нашу коллекцию.

В кабинете было пустынно и уныло, как в каком-нибудь проходном помещении. На стене одиноко висела небольшая картинка, выкрашенная в ярко-салатный цвет. Такие картины обычно пишут интеллигентные дамы на пенсии. В круглых часах отражалось окно.

– Садитесь, – сказала Журавлёва.

Рылов сел, выставив вперёд ногу, на которую хромал. На секунду оглянулся на картинку. Журавлёва открыла папку, собираясь заняться какими-то документами, но, словно вспомнив о посетителе, подняла голову.

– Ваши картины действительно хорошие? – спросила она.

– Как вам сказать? Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

– Я не могу. Сейчас не могу. Вы не возражаете, если вместо меня посмотрит наш сотрудник.

– Нет, не возражаю, но я думал, вам будет интересно.

– Мне интересно. Только дел невоворот.

Она подняла телефонную трубку, набрала номер.

– Юра, зайди ко мне.

Вошёл Юра, уже лысеющий, но в джинсах и модной водолазке, обтянувшей круглый животик.

– Ты сейчас чем занимаешься? – спросила его Журавлёва.

– Ну, ты же сама говорила, чтобы я...

– Отложи. Вот, Пётр Андреевич передаёт городу свои картины.

– Свою коллекцию картин, – поправил Рылов.

– Надо посмотреть.

– Сейчас? – спросил Юра.

– Сейчас можно посмотреть? – спросила Журавлёва.

– Конечно, – пожал плечами Рылов.

Журавлёву Рылов повёз бы на такси. И доехал бы сам. Всё-таки те пятьдесят рублей, за картину, не были такими уж последними. Но везти на такси Юру? Интересно, он специалист 1к. или 2к., подумал Рылов и влез с Юрой в переполненный троллейбус. Юра, по-видимому, испытывал ту приятную скуку, когда ты вроде бы на работе и в то же время можешь ничего не делать. Он даже в троллейбусе, где со всех сторон толкали, зевнул и почмокал губами. В квартире Юра отказался

сесть в кресло. Стоя легче бороться с сонливостью. Он положил руки на спинку кресла и приготовился смотреть картины. Рылов взял на кухне нож и разрезал бечеву на связке картин. В ней были полотна новокузнецкого художника, напоминавшего братьев Ткачёвых. Рылов ценил такую живопись – не слишком суровую, но и не очень цветистую. Он считал, что она должна нравиться многим. Юра молчал. Следующими были натюрморты Крыловой – художницы из Бийска. Она писала так мягко и сама была такой мягкой, что по отношению к ней и к её живописи нельзя не испытывать умиление, как перед мордашкой ребёнка. Юра молчал. В углу стояла уже распакованная картина Нариманбекова. Это была самая дорогая картина во всей коллекции.

– Сколько на ней краски, – сказал Юра.

– Да, Нариманбеков всегда пишет пастозно, – сказал Рылов. – Это любимая картина моей жены – она обожает темпераментную живопись.

– Краски много, – повторил Юра.

Они посмотрели ещё десяток картин. Рылову надоело молчание.

– Одним словом, вот такая живопись, – сказал он.

– Да, – сказал Юра.

– Вам понравилось, что-нибудь?

– Неплохо, – сказал Юра.

– Все эти картины мы хотим передать городу.

– Хорошо.

Пришла из магазина Дуся. Тоже спросила:

– Как вам наши картины?

– Хорошие, – сказал Юра.

– Вы с нами пообедаете?

– Спасибо, у меня много работы.

– Вы давно работаете в отделе культуры? – спросил Рылов.

– Не очень.

Юра ушёл. Рылов был в растерянности. Он так и не понял, продвинулись они в решении своей задачи или нет. Что значит этот Юра и его мнение?

– Сдержанный молодой человек, – сказала Дуся.

Рылов с озадаченным видом сидел в кресле.

– А что он мог сказать? Представь себе – человек ничего не понимает в живописи – что он может сказать? – Рылов поднял плечи, и полные щёки навалились на воротник.

– Мог сказать: «ах, как красиво».

– Так говорят женщины, а мужчины, как этот Юра, просто молчат. И правильно делают – при чём тут красиво или не красиво? Скатерть тоже может быть красивой, но это же не картина.

На следующий день Рылов снова пошёл в исполком. Журавлёва подписывала документы. Главный бухгалтер нависла над столом в ожидании. Обе посмотрели на дверь. Поздоровались. Собрав листки, бухгалтер ушла. На ней была полупрозрачная розовая кофта, сквозь которую просвечивал бюстгальтер.

– Вы? – сказала Журавлёва.

Рылов сел на тот же стул, что и вчера.

– У вас в городе кто-то есть? – спросила она.

– Нет.

– А как же вы тогда... Почему вы решили приехать именно в Алексеевск, я хотела сказать.

– Вы хотели сказать, откуда мы взялись на вашу голову.

– Почему? Ничего подобного. Был у вас Юра? Я его ещё не видела. Ему понравились картины?

– Я не знаю. Он не сказал ничего определённого.

– Это похоже на него. Не обижайтесь – сейчас мы расспросим. Юра, зайди, – сказала она по телефону.

Юра зашёл в белой футболке с эмблемой американской баскетбольной лиги.

- Ну, расскажи мне.
- Надо чтобы посмотрел кто-нибудь из наших художников, – сказал Юра.
- А твоё впечатление – какое? – спросила начальник.
- Моё хорошее.
- Зачем же нам тогда художники? – сказала Журавлёва.
- Это же больше им надо.
- Почему? Это всем должно быть интересно.
- Кто-то любит картины, кто-то нет, – сказал Юра.
- Полезно для воспитания, – сказал Рылов.
- У вас современные картины? – спросила Журавлёва.
- Современные.
- Мне больше нравятся старинные. Сейчас используют слишком много краски. Пропадает ощущение правдоподобности, что ли. Выглядит как неумелая мазня. Я не знаю, отчего так происходит, может, краски слишком дешёвые?
- Ну, не такие уж они и дешёвые. Это поверхностный взгляд на живопись, – возразил Рылов.
- Я не спорю, – сказала Журавлёва.
- Я пойду, – сказал Юра.
- Подожди. Тут весь вопрос в чём, надо подыскать помещение для картинной галереи, – сказала Журавлёва. – У вас много картин? – спросила она.
- Около двухсот.
- Начальник вопросительно посмотрела на Юру. Он молчал.
- Какая нужна площадь? – спросила Журавлёва.
- Метров триста квадратных, – сказал Юра.
- Много. Ну, что же, будем искать. И не надошний раз ходить. Вы позвоните мне недели через две. Нет. С двадцатого я ухожу в отпуск. Давайте первого августа.
- Рылов склонил голову.
- Вы не расстраивайтесь, всё будет хорошо, – сказала она.

Мэр приезжал в исполком на серой волге. Машина останавливалась со стороны конференц-зала. Мэр обходил здание, поднимался по ступеням и исчезал за стеклянной дверью. Он не пользовался лифтом, потому что хотел похудеть. Последнее время у него началась одышка. Но что можно поделать с хорошим аппетитом? Не глотать же глистов. Перед входом его ждал Рылов. Рылова трудно не запомнить. Они поздоровались.

- Вы ко мне? – спросил мэр.
- Да.
- Почему не в приёмный день?
- В приёмный день у вас много народа.
- У меня каждый день много народа. Через два часа я должен быть в Донецке.
- Они остановились возле лестницы. Мэр знал, что подниматься по лестнице и разговаривать он не сможет.
- Я же поручил Журавлёвой. Что-то не получается?
- Она ушла в отпуск.
- Подождите, когда выйдет. Это её вопрос. Каждый должен заниматься своим делом.
- Я подумал, что вам, может быть, будет интересно самому узнать историю.
- Какую историю?
- Как коллекция собиралась, что в ней ценного.
- Мэр внимательно смотрел на Рылова, не находя слов. Потом, словно очнувшись, сказал:
- Так, – посмотрел на часы, – придите завтра часам к четырём. Если не лопнет где-нибудь водопровод, или, не дай бог, не взорвётся дом, или не нагрянет какая-нибудь делегация, мы с вами поговорим.

На следующий день ни в половине четвёртого, ни в четыре, ни в половине пятого мэра не было.

– Я же вам говорила, он может возвратиться поздно и сразу поехать домой, – сердилась секретарша. Сердилась нарочно, потому что этот чудной старик её развлекал. Он был как из кино. На улицах Алексеевска такие не встречались. Старик сидел в приёмной на стуле задумчиво, подставив под синий подбородок ручку палки. Потом уходил в коридор. Было слышно, как касается пола его палка. Видимо, из деликатности он прохаживался, не наступая на ковровую дорожку. Чудак, она всё равно грязная. Он снова садился в приёмной на стул. Благодаря ему секретарша переделала кучу дел.

– Ваши картины дорогие? – спросила она.

– Картины не бывают дешёвыми, – ответил он.

– Ну, сколько всё же стоит такая средненькая картинка в рублях? – она даже показала руками приблизительный размер.

– Я так не могу сказать. Дело не в размере.

– Бывают такие картины, особенно современные, смотришь и диву даёшься, что в них хорошего. Идёт, – неожиданно сказала она.

Видимо у неё хороший слух, потому что прошло минут пять, прежде чем в приёмную вошёл мэр. Казалось, только что он успел поиграть с мальчишками в футбол. Весь распарился и растрепался. Брюки сползли с огромного живота, галстук съехал под мышку. Лицо наполнилось кровью, и выпуклые серые глаза азартно блестели. Он поздоровался с Рыловым, вошёл в кабинет и уже оттуда почти крикнул в оставшуюся открытой дверь:

– Заходите. – Голос хриплый, давно прокуренный.

Рылов вошёл. Он увидел с противоположной стороны кабинета ещё одну дверь. Прошлый раз не обратил на неё внимания. Мэр был за той дверью. Слышно, как льётся вода. Хлопнула дверка холодильника. Мэр вышел причёсанный. На ходу поправил на поясе рубашку, подошёл к окну и открыл его. Окно выходило на центральную площадь. Мэр поставил на подоконник пепельницу, закурил, рассеянно глядя в окно.

– Присаживайтесь ближе, – сказал он.

Рылов пересел за стол. Почувствовал запах спиртного. Бросилось в глаза, что мэр курит слишком торопливо, порывисто, и прежде чем поднести сигарету ко рту, отставляет руку далеко в сторону.

– Так что вы хотели?

– Вы хозяин города. Я хочу, чтобы вы меня выслушали.

– Я раб на галере, а не хозяин, – прохрипел мэр.

– Я постараюсь коротко.

– Говорите, – махнул рукой мэр.

– Мы с женой специально искали в справочниках город без художественного музея. Остановились на Алексеевске. Обменяли квартиру, кстати, не без труда. Актюбинск, знаете, это не ближний свет. Другая республика. Нам повезло. Семья военного с тех мест захотела вернуться домой. Одним словом, переехали, привезли картины и вот теперь рассчитываем, что...

– Я бы на вашем месте поступил иначе.

– Как?

– Ну, я бы приехал и сначала обо всём договорился, а уж потом разменивался квартирами.

– Мы считали, что наше предложение настолько выгодно для любого города...

– Почему Алексеевск?

– Я же говорил: мы в справочнике прочли, что в Алексеевке нет ни музея, ни картинной галереи.

– Музей у нас есть.

– У вас краеведческий музей. Это две большие разницы.

– Знаете, тоже хлопот. Один ремонт обошёлся в сто тысяч. Вы выпить не хотите? Я сегодня был в районе.

Мэр встал, ушёл в комнату отдыха, опять хлопнул холодильник. Он вынес начатую бутылку коньяка и два толстеньких стакана.

- Олег Владимирович, мне можно уходить? – спросила секретарша.
- А что, уже? – мэр посмотрел на часы.
- Да. Без десяти шесть.
- Хорошо. Я задержусь.
- Ключи от приёмной на столе.
- Две недели внуков не видел. Нет такого времени года, чтобы отдохнуть.

Мэр плеснул по полстакана коньяку. Взяли стаканы в руки. Мэр отпил хороший глоток и сразу потянулся за сигаретой.

- Не курите?
- Бросил.
- Давно?

– Да, очень давно. Как-то я заболел пневмонией и, пока лечился, не курил, а потом уже и не хотелось. Говорят же: нет худа без добра.

- Какая приблизительная стоимость ваших картин?
- Кто его знает. Я как-то над этим не задумывался.
- Но нам же придётся ставить их на баланс, а как мы это сделаем без стоимости.
- Я об этом не думал.

– Ну, вот. Может, вы хорошо подумаете и передумаете. Потому что потом предъявлять претензии будет поздно.

– Для нас с женой первостепенное значение имеет не вопрос собственности, а судьба картин. Мы же смертны. Картины могут жить очень долго, если за ними приглядывать. Вы бы знали, сколько картин, хороших картин и даже, может быть, гениальных пропадает. Художники бывают очень безжалостны к своим работам: рвут, замазывают, выбрасывают на чердаки, в чуланы. Там они портятся. На полотна раскладывают картошку. Художник умирает, картины попадают в руки невежественных людей, для которых они меньшая ценность, чем новая клеёнка. Большинство картин в нашей коллекции – это спасённые картины. Они не стоили нам ничего. Мы подбирали их, как выброшенных котят. Потом, конечно, за ними требуется уход.

– Плохая картина или хорошая, или, как вы говорите, гениальная, это всё слова, понятия, но есть же какой-то способ оценки? Единица хранения должна иметь свою стоимость. Я когда-то был начальником автопарка. У нас на складе хранились запчасти, резина. В накладной указывалась цена. А как иначе – я не понимаю.

– Если я говорю, что не знаю стоимости, это не значит, что её нельзя установить. Я и богач, и нищий. Все, кто знаком с коллекцией думают, что я вложил в неё кучу денег. В то же время сами не дадут за неё ни гроша. Как говорил Бальзак, основная составляющая стоимости искусства – буржуазные предрассудки. Он называл это предрассудками. Я называю культурой. Чем богаче в картине культурный слой, тем дороже картина.

- Вы хотите, чтобы я в этом разобрался? – мэр потянулся к стакану.
- А вы не хотите? – Рылов тоже взял стакан.

Оба выпили. Мэр тут же налил ещё.

- Мне уже поздно, – сказал он.
- Почему?

– Я технарь, и, потом, нет времени. У меня телефон здесь не умолкает. Это удивительный случай, что нам ещё никто не помешал. Журавлёва компетентный специалист. Помещение, я думаю, мы найдём. Возможно, придётся сделать небольшой ремонт. Свободных средств, конечно, нет. Попросим кого-нибудь из директоров предприятий. А о статусе заведения надо будет говорить отдельно.

– Я понимаю. Стоимость можно определить произвольно. В конце концов, вам не придётся за них платить.

– В городском хозяйстве не может быть ничего произвольного. Давайте выпьем.

Мэр крякнул и снова потянулся за сигаретой.

– Олег Владимирович, наша с вами задача договориться, а юридические вопросы пусть решают юристы. У вас же есть в штате юрист?

– Есть. Вы сами кто по образованию?

– Педагог.

– Учитель? – уточнил мэр.

– Педагог, – повторил Рылов, высоко подняв подбородок. У него был крупный нос и две большие чёрные ноздри отчётливо выделились на мясистом лице. – Педагог по образованию, но в школе я никогда не работал. Был директором дворца культуры, директором народного театра, директором дома пионеров. Да чего только директором я не был.

– Баней не руководили? – засмеялся мэр.

– Вот уж нет.

– А то нам нужен заведующий баней. Давайте, – мэр поднял стакан.

Потом он позвонил по телефону. Ему никто не ответил. Он набрал ещё один номер, и снова на том конце никто трубку не снял. Посмотрел на часы.

– Разбежались, – сказал мэр. – В среду у нас аппаратное совещание – я дам поручение насчёт помещения, а вы подумайте, как лучше оформить своё предложение.

Городские куранты, установленные на центральном универмаге и напоминавшие аккуратную голубятню, пробомкали семь часов.

Рылова словно штормило. Он думал, что, в самом деле, очень богат и что это не имеет для него никакого значения. Если оценить каждую работу в пятьсот рублей и умножить на количество. Это будет... это будет... Могут подумать, что мы с Дусей подпольные миллионеры. На западе... да, на западе, говорят, на западе... Запад для Рылова не ближе, чем Луна. Мало ли, что может быть на Луне. Коньяк несколько уменьшил расстояние. Рылову даже показалось, что он имеет какое-то отношение к западу, что им могли бы даже там интересоваться. Им и его коллекцией. Ноги при каждом шаге разлетались, как половинки расшатавшихся ножиц. Он с особой остротой почувствовал, что расстаётся с богатством без сожаления, что его поступок естественен для человека, выросшего в этой стране, что он честен и благороден по отношению к ней и её народу. На луне нет воздушного пространства, на западе нет духовности, нет патриотизма. Рылов выпрямил спину, его переполнял восторг. Восторг от собственного поступка. Он щекотал нервы. Хотелось смеяться, петь и говорить. Но Рылов сдерживался, заставлял восторг бродить внутри себя для большего удовольствия.

Дуся встретила его с огорчением. Но он выкатил на неё свой восторг. Переодевался, напевал о сердце красавицы, забрызгал водой всю ванную.

– Вы так близко сошлись с мэром? – спросила Дуся.

– Сошлись... Слово какое-то.

– Чем оно тебе не нравится?

– Сошлись. Что-то в нём двусмысленное и старомодное.

– Лингвист отыскался.

– Нормальный руководитель. Без спеси.

– Это ты его угощал или он тебя?

– Я бы не посмел. Конечно, он.

– Приезжал художник Саша за своей картиной.

– Ты отдала?

– Нет.

– Почему?

– Он забыл, какую именно картину ты купил.

– Да? – удивился Пётр Андреевич.

Он встал из-за стола с чашкой чая и пошёл в комнату. Сашины картины стояли возле уже собранного книжного шкафа. Рылов внимательно посмотрел на них.

- Дуся, представляешь, я сам не помню. По-моему, они одинаковые.
- В каком смысле, Петя?
- Незаконченные. Посмотри, вот тут сырое место и здесь. Цвет слишком открытый, не разработанный.
- Зачем же ты купил?
- Я откуда знаю. Не хотелось огорчать молодого человека.
- Не поздно вернуть.
- Нет, что ты. Давай оставим вот эту. Кажется, она лучше.
- В таком случае, отнеси её в другую комнату, а то опять забудешь.
- Я посчитал, если оценить каждую картину нашей коллекции в пятьсот рублей, у нас картин на... забыл, что-то на очень большую сумму. На западе наследники передрались бы за это.
- У нас нет наследников.
- Прости, дорогая. Я к тому, как в этом мире всё условно.
- Дети не условны. Это самая очевидная реальность, которой у нас с тобой нет.
- Ну, прости, прости.
- За что ты извиняешься. Ты же в этом не виноват.
- Прости, что нечаянно напомнил. Пора с этим как-то смириться. Нам уже за пятьдесят. Только подумать.
- Жили-были старик со старухой, и так случилось, что бог не послал им детей... Петя, я забыла сказку.
- Какую?
- Про снегурочку.
- Ну, слепили они её из снега, а потом она растаяла.
- Может быть, и наша растаяла?
- Дуся!
- Что? Ладно, не буду. А всё-таки жалко.
- Дуся!
- Я о картинах. Жалко отдавать.
- А мне нет.
- Совсем?
- Совсем.
- Не ври.
- Не вру.
- Нет, врёшь.
- Откуда ты знаешь?
- Это твоё сегодняшнее настроение... Ты прячешь от себя свою жалость.
- Да?
- Конечно.
- Какая ты у меня пронизательная. Но почему же я не чувствую.
- Потому что ты это чувство залил сегодня коньяком.
- Откуда ты знаешь, что мы пили коньяк.
- Воняет ванилью.
- Мы пили хороший коньяк.
- Всё равно воняет.
- И уже начинает болеть голова. Всё же мэр произвёл на меня хорошее впечатление.
- Ты же обзывал его зоотехником.
- Зоотехник, механик, слесарь, водопроводчик – какая разница. Лишь бы человек был хороший.
- У тебя все хорошие, кто угощает.
- Дуся, вульгарно, согласишься?

– Зато правда.

– Неправда.

– Если бы ты меньше доверял людям, у нас не было бы столько неприятностей. Вспомни, как ты восхищался Самойловым, а он взял и подселел тебя.

– Я, по-твоему, с первого дня должен был это предвидеть?

– Другие предвидят.

– Значит, я всё делаю неправильно, значит, я старый наивный дурак. Значит, из-за меня одни неприятности. И ты всю жизнь терпела мои глупости, наши переезды, моих друзей. Дуся, почему ты не ушла от меня, почему ты живёшь со мной среди этого хлама? Почему ты ни разу не сказала: давай купим хороший холодильник, давай купим хороший телевизор. Почему ты не сказала мне, что Самойлов сволочь, если ты об этом знала?

– Ты не обратил внимания – я повесила картину Потапова на стену. Здесь такие стены, что в них невозможно забить гвоздь.

– Где? Ты ведёшь себя со мной, как с ребёнком. В конце концов, Дуся, это унижительно.

– Унижительно, когда тебя любят?

– Какой грустный камыш. Это потому, что он отражается в воде. Отражение всегда вызывает грусть.

– Да, ты, может, прав. Когда я смотрю на себя в зеркало, мне тоже становится грустно.

– Вот видишь – я прав, – сказал Рылов. Он обнял жену за плечи, и оба смотрели на картину.

Утром, когда Рылов проснулся, Дуся лежала рядом и читала книгу. Он тайком понаблюдая за её профилем, но ни о чём не думал. Просто смотрел, как скользит свет по горбинке носа, как эта светлая полоска очерчивает губы, подбородок. Книжка была пожелтевшая от времени в каком-то серо-синем потёртом переплёте.

– Что ты читаешь? – спросил он.

Она скосила на него взгляд, зачем-то заглянула на обложку, словно сама не знала, что читает, ответила:

– Евгения Гранде.

– Тебе не кажется, что хотя бы иногда надо читать современных авторов.

– Кого именно? – спросила она.

– Ну, Пелевина, к примеру.

– Пелевина я читала.

– Когда?

– Какая разница. Недавно. Ты выспался?

Рылов пожал плечами.

– Сделать на завтрак омлет?

– Сделай.

Оба продолжали лежать. Дуся читала, а Рылов смотрел на картину Потапова.

– Как же ты повесила картину, если в стены нельзя вбить гвоздь? – спросил он.

– Я просверлила отверстие дрелью.

– Дрелью?

– Да.

– А где ты её взяла?

– У соседей.

– У соседей есть дрель?

– Если я взяла дрель у соседей, значит, она у них есть.

Дуся снова покосилась на Петра Андреевича. В уголке её губ дрогнула улыбка.

– Вернее, у соседа.

– У соседа?

– Да.

– Почему же ты не повесила заодно Нариманбекова?
 – Он же всегда висел у нас на кухне, а здесь кухня очень тесная.
 – Действительно, тесная. Нариманбеков слишком пастозен. Ты не говорила соседу, зачем тебе дрель?

– Конечно, говорила.
 – Ты сказала, что хочешь повесить картину?
 – Нет. Я сказала, что мне надо просверлить стену. Он спросил: у вас некому просверлить стену? Я объяснила ему, что мой муж этим не занимается.

– А чем занимается твой муж, ты не объясняла?
 – Я сама не знаю, чем занимается мой муж. Когда-то он хотел преподавать, но в школе очень шумно. Потом он хотел стать художником, но ему было лень учиться рисовать. Он работал директором пионерского лагеря, но там слишком много молоденьких пионервожатых...

– Я знаю, ты давно разочаровалась во мне, – перебил Рылов. Он взял её руку и прижал к бедру, крепко сжимая пальцы.

– Я разочаровывалась и опять очаровывалась, потому что ты никогда не был безнадёжным. Мне всегда казалось, что я могу тебя исправить.

– Ну, это уж фигу, – сказал Рылов.

Дуся высвободила руку, встала, накинула халат и ушла на кухню. Пётр Андреевич продолжал лежать. Взгляд то и дело останавливался на картине.

– А японцы правы, – громко сказал он. – На стене должна быть одна картина.

Дождь шумел в деревьях. По стволам стекали струи воды. Неожданный сумрак опускался на улицы, но потом пробивалось солнце, и дождь превращался в позолоченное серебро, разлившееся по крышам ларьков, по тротуарам, бордюрам, ступеням магазинов. Гул в водосточных трубах замолкал, складывались зонты. Над асфальтом поднимался пар, а где-то вдалеке уже опять шумела в деревьях полоса нового дождя.

Тонкая рубашка на плечах промокла, и на кончиках волос висели прозрачные капли. Рылов шёл со стороны почты. За столами под летним навесом сидели люди. Рылов окинул их взглядом. Узнал Юру. Он был в чёрной футболке с золотистой надписью. Рядом с ним сидели две женщины. Яркие, зрелые, с наглыми глазами. Они смотрели вокруг чуть презрительно, с вершины своего опыта. Законченные стервы. Юра узнал Рылова и изобразил подобие поклона. Рылов ответил кивком головы. Он хотел пройти мимо, но неожиданно для себя остановился и повернул под навес. Подошёл к столу. Дамы его оглядели, как висающий на тремпеле костюм.

– Спрятались от дождя? – спросил Рылов, присаживаясь на деревянную скамью.

– Как ваши дела? – спросил Юра.

– Так вот я и хотел спросить: когда выходит из отпуска ваша начальница?

– Уже скоро, – сказал Юра и уточнил: – через неделю. Вы не нашли помещение?

– Как я мог его найти? – удивился Рылов. – Скорее я должен спросить: вы не нашли помещение?

– Я? – теперь удивился Юра. – Мне никто не поручал, – добавил он.

– А если бы вам поручили – вы могли бы найти?

– Я могу найти всё что угодно. Вот сегодня я нашёл спальный гарнитур, – он с улыбкой посмотрел на женщин.

– Найти мало, его ещё надо получить, – сказала одна из женщин. Она достала из сумочки пачку сигарет и закурила. Облизнула накрашенные губы, искоса посмотрела выпуклыми глазами на Рылова. – Почему ты нас не познакомишь? – спросила она Юру.

– Этот человек привёз в наш город коллекцию картин, – сказал Юра.

– Пётр Андреевич, – представился Рылов.

– Очень приятно, – сказала женщина и сложила губы так, чтобы дым из рта поднимался вверх.

– Что за картины? – спросила вторая женщина. Она положила локоть на стол, подпёрла голову и игралась золотым кулоном. В голосе было полно скуки. Это обидело Петра Андреевича, и он таким же скучающим тоном ответил:

– Так, пустяки.

– А зачем вам помещение? – спросила первая женщина.

– Для картин, – ответил Юра.

– Почему вы не повесите их у себя дома? – опять спросила первая женщина.

– Их очень много, – снова ответил Юра.

– Зачем вам много картин? – удивилась первая женщина и сама же предположила: – вы, наверно, богатый человек.

Рылов увидел, что она смотрит на его золотой перстень.

– Может быть, и богатый, – сказал он.

– Так может или богатый? Мы ищем для подруги богатого старпёра.

– Девочки... – сказал Юра.

– А что? – женщина опустила окурок в банку из под орешков. – Все что-то ищут, так почему об этом нужно шептаться. Тебе нужен гарнитур, Петру Андреевичу помещение, а женщине нужен спонсор.

– Вы, наверно, путаете спонсора с сутенёром, – сказал Пётр Андреевич, он поднялся, сердито посмотрел на Юру и пошёл под очередной дождь. Он услышал, как за спиной женщина сказала «козёл».

Пётр Андреевич резко выбрасывал палку вперёд, но, в общем, он устал, и даже злость не могла заставить его двигаться быстро. Поднимаясь по лестнице, остановился на площадке третьего этажа перевести дыхание. В грязное окно было видно улицу. Под ногами мчались автомобили. Первый раз Рылов подумал об Алексеевске как о чём-то неприятном, словно на новой одежде появилось пятно. Позвонил в дверь. Дюся не открывала. Рылов достал свои ключи и вошёл в квартиру. Разулся, заглянул на кухню и во все комнаты. Дуси не было. А ему так сейчас нужна была Дюся. Он рассказал бы ей, излил свою горечь, и ему бы сразу стало лучше. На телевизоре стояла ваза с розовыми пионами. В глубине цветка лепестки были сиреневые, а на кончиках почти белые. Оранжевый цвет вазы выглядел фальшиво. Рылов снова ушёл на кухню. На столе в восточной пиале был жареный арахис. Дюся жарила арахис для него. Когда Петру Алексеевичу нужно было что-то съесть, удобно съесть горсть арахиса. Он достал из холодильника минеральную воду, налил в стакан и оставил на столе, чтобы вышел газ. Рылов переоделся и лёг. Не заметил, как уснул. Но спал чутко. Услышал щелчок английского замка. Пришла Дюся.

– Ты что-нибудь ел? – спросила она.

– Принеси мне воды. Там, на кухне в стакане.

Дюся принесла. Наблюдала, как Рылов пьёт.

– Ты что-нибудь ел? – повторила она.

– Нет.

– Почему?

– Ждал тебя.

– Котлеты будешь?

– Свежие?

– Конечно свежие. Что случилось?

– Ничего.

– Не может быть.

– Я немного разочарован.

– Замечательно.

– Что же тут хорошего?

– Одной глупостью будет меньше.

– Эту глупость мы делаем с тобой вместе.

– Какую же, любопытно?

– Мы дарим картины этим хамам.

– Тебя обругали в троллейбусе? Одну котлету или две?

– Знаешь, обидно. Почему люди... Да нет, я этого никогда не пойму.

– Петя, чего ты не поймёшь, Расскажи.

– Встретил в городе Юру. Помнишь, из отдела культуры приходил к нам. С ним были такие вульгарные женщины. Просто, катастрофа. Катастрофа с этими людьми. Какие им картины, за чем им картины?

– Ну, так не будем дарить.

– Но мы же решили.

– Мало ли что мы решили. Я вот решила пирожные не есть – и съела два.

– Я серьёзно. Я серьёзно, Дуся, расстроен.

– Подумаешь, вульгарные женщины. Всё зло в мире от женщин. Как же они могут быть не вульгарными. Я тоже была вульгарная, пока на меня смотрели, как на женщину. Если бы ты знал, как мне иногда хотелось быть...

– Кем?

– Сукой. Чтобы я шла, а по моему следу бежала стая кобелей.

Рылов бросил на жену испуганный взгляд, наклонился над тарелкой и быстро, почти давясь, ел котлету. Проглотив очередной кусок, застыл, положил в тарелку вилку и сказал:

– Хотеть и быть разные вещи. Мне не интересно, кем ты хотела быть. Для меня ты всегда была умной и доброй.

– Правда, не интересно?

– Правда. Конечно, то, что ты сказала, меня удивило. Как-то неожиданно. Дуся, в самом деле, так было?

Она смотрела на него тёмными спокойными глазами. Глядя в эти глаза, Рылов всегда думал: какой у Дуся в голове порядок. Это было так удобно. Исчезало всякое беспокойство, как вечерами при запертой двери. И вот вдруг обнаруживается, что замок всю жизнь был ненадёжен. Рылов всё смотрел и смотрел в знакомые глаза, пытаясь увидеть в них что-нибудь для себя новое, но они были спокойны и тихи, как тёплая речная заводь.

– Не беспокойся, это было давно, – словно угадав его мысли, сказала она.

– Я подумал, я не смогу жить без наших картин, – сказал Рылов.

– Давай оставим всё как есть, – сказала она.

– Как? Картины в одной комнате, а мы с тобой – в другой? Нет. Картины придётся передать. Только надо поставить условие, что мы будем пожизненными хранителями. В конце концов, у галереи должен же быть директор. Ну и ещё какой-нибудь сотрудник. Правда, я хорошо придумал?

– Думаешь, в городе согласятся?

– А что они теряют? В любом случае без директора не обойтись.

– Надо заранее предупредить.

– Конечно. Через неделю выходит на работу Журавлёва, но я, может быть, до того ещё раз переговорю с мэром.

В дверь позвонили.

– Это Наталья Ароновна, – сказала Дуся, направляясь в прихожую.

– Кто?

– Соседка со второго этажа. Я пригласила её к нам.

Рылов застегнул на рубашке пуговицы и встряхнул волосами.

Гостью посадили в кресло, во второе сел Рылов, Дуся пристроилась на тахте.

Если Дуся была только похожа на еврейку, то Наталья Ароновна стопроцентная пожилая еврейка.

– Я сделаю кофе, – поднимаясь, сказал Рылов.

– Не беспокойтесь. Я уже давно пью цикорий. Вкус почти как у кофе, зато никакого вреда здоровью.

– Цикорий? Я помню это такое растение. У него ещё голубые цветы, – сказала Дуся.
– Да. Обычный сорняк. Здесь его полно, но я, конечно, покупаю в магазине уже готовый порошок.

– Петя, надо и нам попробовать. Вы говорите, он продаётся в магазинах?

– На вид и даже на вкус не отличишь от растворимого кофе, – сказала Наталья Ароновна.

– Кто бы мог подумать – сорняк, – всплеснула руками Дуся.

– Да и очень полезен, – сказала Наталья Ароновна.

– Ну, а чай? Чай будете? – спросил Рылов.

Гостья согласилась пить чай. У Дуси был приготовлен сыр и пирожные.

– У вас в Алексеевске есть родственники? – спросила Наталья Ароновна.

– Нет. Даже знакомых ещё не так много. Мы приехали в Алексеевск, чтобы подарить городу картины. Они у нас в той комнате, – сказала Дуся.

Наталья Ароновна многозначительно кивнула головой. Подумала и спросила: – Дорогие картины?

– Разные, – ответила Дуся. Потом тоже подумала и добавила: – Конечно, очень дорогих нет.

– Всё равно, наверно, это будет щедрый подарок, – сказала Наталья Ароновна.

– Вы знаете, для нас важно, чтобы картины попали в хорошие условия. Это не дело, когда они стоят вот так, у стен. Не хотите посмотреть? – сказала Дуся.

Дуся с гостьей встали и заглянули в соседнюю комнату.

– Видите, как у нас тесно, – сказала Дуся.

– Давно они у вас? – спросила Наталья Ароновна.

– Первые картины появились в Барнауле. Да, Дуся? Я даже помню самую первую. Натюрморт. Кажется, была зима. А фамилия художника Савичев. Но мы тот натюрморт забыли, когда пере-
езжали в Бийск.

– Какие подробности ты помнишь, – сказала Дуся. Они с гостьей вернулись за стол. Рылов удовлетворённо крякнул.

– Я даже помню, что на натюрморте был лимон. Один большой лимон на зеленоватом стекле. В стекле лимон отражался, и отражалось белое окно, потому что была зима.

– Припоминаю, что-то такое у нас было на стене, – сказала Дуся.

– Вы как, любите живопись? – спросил Рылов Наталью Ароновну.

– Я преподаю в школе математику. Вот уже сорок восемь лет.

– Какой кошмар, – сказал Пётр Андреевич.

– Петя, – сказала Дуся.

– И вам ещё не поставили памятник? – спросил Рылов.

– Где, в школе?

– Ну, хотя бы там.

– Меня ценят. Конечно, в школе работать непросто, но я привыкла. На убогих умом стараюсь не обращать внимания. Занимаюсь с теми, кто хочет заниматься.

– Такие ещё остались? – спросил Рылов.

– Вы несправедливы к нынешней молодёжи, – сказала Наталья Ароновна.

– Не обращайтесь внимания. Дело в том, что Петя по образованию педагог, но работать в школе не смог, – сказала Дуся.

– Произошла череда неприятных случайностей. Попадись мне другая школа, другой директор... А потом, географию как школьный предмет никто не воспринимает всерьёз, и, конечно, это коллективное обучение, когда их там сорок человек...

– Но вы же сами учились в таких условиях, – сказала Наталья Ароновна.

– Я учился в вечерней школе и, в общем, ничему там не научился. Всё, что я знаю, мне захотелось узнать самому.

– Часто люди спохватываются, когда учиться уже поздно, – сказала Дуся.

– Да, всему своё время, – согласилась Наталья Ароновна. – Мой муж так жалел, что не научился смолоду водить машину. Потом и деньги были, и была возможность купить автомобиль, а

за руль сестра уже боялся. Три года, как я живу одна. Сын в Израиле. Зовёт меня к себе. Мы были с Лёней у него. Нам очень не понравилось. Но, может, и уеду. Подумаешь, кому я здесь нужна. А у вас есть дети?

– Нет, – ответила Дуся.

– Вы знаете, в подъезде, когда увидели ваши картины, решили, что вы художники, и, я вам скажу, очень испугались.

– Почему? – удивилась Дуся.

– Ну, у художников такая репутация, и потом боялись, что будет вонять на весь подъезд краской.

– Что я тебе говорил, – Пётр Андреевич громко хлопнул себя по колену.

– Что ты мне говорил? – спросила Дуся.

– Ничего страшного в этом нет. Ну, поговорили, – сказала Наталья Ароновна.

– Вот именно, – поддержала Дуся. – Помнишь, как в Ташкенте все смотрели на мои шорты, а в Самарканде фотографии заговаривали с нами по-английски.

– В Самарканде фотографии знают английский? – удивилась Наталья Ароновна.

– Боже мой, по две-три фразы, как везде, – ответила Дуся.

– В Израиле английский язык знают почти все, – сказала Наталья Ароновна.

– Что вы сравниваете Израиль. У нас был знакомый художник – Жалковский. Так вот он уехал в Израиль нищим. Потом вернулся уже с деньгами, забрал все свои картины, даже те, что дарил, и уехал опять, но уже в Америку, – сказал Рылов.

– Мой сын зубной врач. Когда уезжал в Израиль, очень боялся, что не найдёт работу по специальности. «Мама, я как подумаю, сколько там зубных врачей!» Тем не менее работает в клинике. Правда, пришлось подтверждать диплом. Везде свои проблемы.

– Да, – согласилась Дуся.

Они просидели до вечера. Наталья Ароновна ушла. Дуся нагрела в кастрюле воду и мыла посуду.

– Удивляюсь я людям – есть возможность уехать в Израиль к сыну, а они сидят тут, греют в кастрюлях воду, преподают тупицам математику, – сказала Дуся на кухне.

Рылов, наконец, расстегнул на рубаше все пуговицы и сидел в кресле, перекосившись. Большой живот завалился набок, как верблюжий горб.

– Она же сказала, что, может, уедет.

– Нет, никуда она не уедет, – возразила Дуся.

– Почему?

– Мне так кажется.

– А мы могли бы с тобой уехать в Израиль?

– Не слышу, – сказала Дуся.

– Мы могли бы уехать в Израиль, – громче повторил Рылов.

Дуся пришла в комнату с полотенцем и чашкой. Внимательно посмотрела на мужа. Он поднял голову.

– А что?

– Ты обещал мне, что Алексеевск наш последний город.

– Ну, да. Мы же не евреи, – успокоил её Рылов.

На следующий день он узнал от секретаря, что мэр ушёл в недельный отпуск. Вахтёр в исполкоме подозвал его к себе и спросил, не служил ли он в Баку. Рылов ответил, что он вообще не служил. Тогда вахтёр попросил разгадать слово в кроссворде.

– Голову сломал, – пожаловался он.

Рылов посмотрел на голову. Она была круглая, большая и целая.

– Вот, – вахтёр ткнул пальцем в кроссворд. – Декоративный архитектурный элемент в виде женской фигуры.

– Кариатида, – сказал Рылов.

Вахтёр склонился с карандашом над журналом.

– Не подходит.

Рылов повесил палку на руку, достал очки и заглянул в кроссворд.

– Вы пишете слово с двумя ошибками, поэтому и не подходит.

– Первый раз слышу про эту кариатиду, чёрт её поберит.

– Бывает, – сказал Рылов и пошёл к стеклянной двери.

– Я сразу подумал, что ты знаешь, – сказал вахтёр.

– Почему? – оглянулся Рылов.

– Ходишь, как академик.

Рылов ничего не ответил, сделал вид, что не обиделся. Сам виноват, подумал он, зачем лез со своим ответом, но в следующую секунду злость победила – солдафон хренов, козёл, тупица. Дошёл до скамейки у фонтана. Несмотря на дожди, воды в фонтане не было. На самом дне плёнка серо-зелёной грязи, из которой торчали пластиковые стаканы. Пенсионерка высыпала из целлофанового пакета хлебные крошки. Голуби окружили старуху. Несколько голубей хотели сесть ей на голову, на плечи, на руку с пакетом. Они были жирные, а старушка худая. Древнее крепдешиновое платье висело на ней, как на швабре, на голове была какая-то пожелтевшая шляпка. Рылов сидел далеко от старухи и не видел лица, но ему казалось, что у неё накрашенные губы и брови. Какое несчастье быть в этой стране старым и знать, как пишется слово кариатида.

Съев конфету, он пошёл в узел связи. Рылов открыл дверь комнаты наугад. Женщины, а в комнате были только женщины, что-то писали и считали.

– Я насчёт установок телефона, – сказал он в пространство комнаты.

– Это бухгалтерия, – строго сказала женщина, сидевшая лицом к двери. Она оторвалась от бумаг лишь на секунду. Но, видимо Рылов её удивил. Она посмотрела на него внимательнее. За её взглядом потянулись взгляды других.

– Это бухгалтерия, – сказала другая женщина.

Рылов переложил палку из руки в руку, повернулся, чтобы выйти.

– Вы, в каком районе живёте? – спросили за спиной.

Рылов снова повернулся к комнате лицом.

– Вы, в каком районе живёте? – повторила женщина у окна.

– Пусть приходит в четверг, как положено в четвёртый кабинет, – сказала женщина, сидящая к двери спиной. Рылов видел только полную сутулую спину и копну волос.

– Может там тройка, зачем напрасно ходить, – сказала женщина у окна. – Вы в каком районе живёте?

– На улице Юбилейной, – сказал Рылов.

– На Юбилейной тройка, – сказала ещё одна женщина.

– Вот видите, – сказала у окна, – он бы зря тащился. На Юбилейной мы не устанавливаем.

– Но у наших соседей есть телефон, – сказал Рылов.

– Ну и что, что у ваших соседей есть телефон, – сказала женщина, сидящая спиной.

– Тройка перегружена. На АТС нет свободных номеров. Надо ждать, пока кто-нибудь откажется в нашем доме от телефона.

– Всё равно, пусть придёт и напишет заявление, – сказала женщина, сидящая к Рылову боком. Она смотрела на него, словно портной.

– Зачем, там и так очередь. Зачем обнадёживать человека, – сказала у окна.

– Вы поговорите с соседями. Может, кто собирается переезжать или кому-нибудь телефон не нужен, – сказала самая пожилая женщина.

– Какая ерунда, – сказала у окна.

– Почему? – удивилась пожилая.

– Квартиры обменивают с телефоном. Так они дороже стоят, – сказала женщина у окна.

– У вас раньше не было телефона? – спросила пожилая.

- Нет, – сказал Рылов.
- Тогда бесполезно, – сказала самая первая женщина.
- А я бы на его месте написала заявление, – сказала пожилая.
- Извините, – сказал Рылов и, вспотевший, вышел в коридор.

Дома были гости. Саша привёз худенькую девочку с красными прыщами на лице. Звали её Зоей. Дуся что-то рассказывала Зое. Она разложила на коленках блокнот и внимательно слушала. Саша сидел в кресле, перегородив ногами половину комнаты.

- А вот и Петр Андреевич, – сказала Дуся. Все встали, поздоровались.
- Зоя – корреспондент, – сказала Дуся.

Корреспондент покраснела, и прыщи превратились в пунцовые соцветия.

- Я сделаю кофе. Пётр Андреевич вам всё расскажет, – сказала Дуся.

Зоя перевернула в блокноте страницу. Рылов после всего, что с ним случилось, был не в духе. Он вышел вместе с Дусей на кухню. Вынул из пакета минеральную воду и поставил бутылку в холодильник.

- Что за корреспондент? – тихо, но сердито спросил он.

Дуся взглянула на мужа, покачала головой и так же тихо, но внятно сказала:

- Корреспондент местной газеты. Милая девочка.

Рылов возвратился в комнату. Милая девочка пришла в себя и спросила:

- Давно вы коллекционируете картины.
- Не хотите посмотреть? – спросил Рылов.
- С удовольствием.

- Вот тут они у нас пока хранятся.

– Саша рассказал, что вы собираетесь передать картины городу. Это правда?

- Ну, а зачем бы Саше врать? Собираемся. Вы же видите, как у нас тесно.

Зоя опять смутилась и от собственного вопроса, и от ответа.

- Вы садьте. Я вынесу несколько картин.

Рылов взял в руки сразу четыре картины, потом ещё четыре. Он поставил их к книжному шкафу. Отошёл к противоположной стене, искоса поглядывая на Зою. Зоя маленькой детской ручкой смахнула на лоб чёлку, прикрывая угри.

- Что скажете? – спросил Рылов.

- Красиво, – сказала Зоя.

- Петя, помоги мне, – позвала Дуся. – Ты поласковее, девочка смущается, – тихо сказала она.

Вынесли в комнату кофе, сахар, печенье. Придвинулись к журнальному столу.

- Вы давно в газете? – спросил Рылов.

- Я учусь на четвёртом курсе. У меня практика.

- Вы местная? – снова спросил Рылов.

- Да, конечно. Я уже два года печатаюсь в «Рассвете».

- Пишете о культуре?

- Пока пробую обо всём. Хочу написать о вашей коллекции и о том, что вы хотите подарить её городу.

Зоя потянулась за печеньем.

- Это замечательно, только, может, ещё рано об этом. Как такового события нет. Журналист должен освещать события, – сказал Рылов.

- А то, что вы приехали в наш город и привезли с собой картины, разве не событие? – не согласилась Зоя.

- Ну, это событие частного характера. На городе и горожанах пока никак не отразившееся.

- Пётр Андреевич, надо, чтобы газета написала о вас. Это прибавит значения, – сказал Саша.

- Если уж писать, то не о нас, а о том, что для картин необходимо помещение, – сказала Дуся.

Зоя взяла блокнот и что-то записала. У неё были пухлые, как у ребёнка, губы и большие глаза с бледными веками.

- Можно написать, что ваши картины ценные? – спросила Зоя.
- Ну, конечно, ценные, только делать на этом акцент не надо, – сказал Пётр Андреевич.
- Почему? – удивилась Зоя.
- Прочтут и обворуют, – сказал Рылов.
- Что вы! – сказала Зоя.
- Вы знаете, сколько картин каждый год пропадает из музеев? – сказал Рылов. – А у нас ни решёток, ни сигнализации.
- Неужели кому-то нужны эти картины? – спросила растерявшаяся Зоя.
- Пётр Андреевич и Саша переглянулись.
- Зоя, берите ещё печенье, – сказала Дуся. – Вы стихи пишете?
- Конечно, пишу, – сказала Зоя.
- А кто из поэтов вам нравится? – спросила Дуся.
- Обожаю Цветаеву, – ответила Зоя.
- Да, какая трагическая судьба у женщины. Вы, Зоя, не замечали, что с поэтами всегда происходит что-нибудь ужасное, – сказала Дуся.
- Замечала. Но я не собираюсь быть поэтом. Стихи я пишу для себя.
- Так не бывает, – Дуся улыбнулась и погрозила пальцем. – А несчастий не бойтесь. Волков бояться – в лес не ходить.

Зоя с радостью уходила от Рыловых. Она не могла этого скрыть. Торопливо положила блокнот в сумочку, скороговоркой попрощалась, выскользнула на лестничную площадку. Рылов задержал Сашу в прихожей и отдал пятьдесят рублей.

- Когда же вы заберёте вторую картину? – спросил он.
- Можете оставить её себе, – сказал Саша.
- Но я не могу за неё заплатить.
- Ну и не надо, – сказал Саша.
- Гости ушли.
- Тебя нельзя отпускать в город одного. Вечно возвращаешься в плохом настроении. Запутал девочку. Напишет какую-нибудь глупость.
- Она и так бы её написала. Ты не помнишь, как называлась газета в Александровске?
- Кажется, «Заря».
- Всё-таки «Заря». А здесь «Рассвет». Я помню, что-то похожее.
- Кто тебя сегодня обидел?
- Какой-то солдафон. Обозвал академиком.
- Что же в этом обидного?
- Ты бы слышала, как он это сказал.

Рылов задумался. Он сидел и смотрел на выставленные картины. Сначала рассеянно, но потом увлёкся красками, манерой письма. Вспомнил художника, оставившего ему одну, на первый взгляд, небрежную картинку. Именно оставил, а не подарил. Художник был ещё молодым парнем. На творческие дачи ездили маститые, а у него даже мастерской не было. Кем он потом стал? Он написал уборщицу Ларису в последний день. Краска на холсте в день отъезда ещё не высохла, и художник попросил сохранить работу до следующего приезда. Видимо, он думал, что будет приезжать не раз. В уголке картины стояла подпись, из которой можно было разобрать только первую букву «П». Рылов забыл его фамилию. Картина была написана в один приём, молодым воодушевлённым художником, и изображала простенькую девушку. Мечты сбылись, сбываются или обязательно сбудутся, так думал паренёк, щедро накладывая краску на холст. Пройдёт ещё немного времени – и сменится поколение, а художник и его натура останутся навсегда в начале своего пути, как молодой Рембрандт с поднятым бокалом, усадив на колени юную жену, продолжает оставаться счастливецом, несмотря на всё, что было потом. Уборщица Лариса месяца через три рассчиталась, и вообще, уборщицы в Доме творчества менялись часто.

Дуся управилась на кухне, вошла в комнату, остановилась возле кресла, положив руку на его плечо.

- Напрасно ты не разрешил Зое сфотографировать парочку работ, – сказала она.
- Зачем? Неужели картины можно печатать на газетной бумаге?

2.

Прошло лето. Вместо пионов у подъезда зацвели астры. Днём по-прежнему было жарко, но только в самый полдень в безветренную погоду. Ветер всё чаще вызывал озноб и желание спрятаться от него или надеть на себя что-нибудь теплее. Трава порыжелая, на тополях появились жёлтые косички, а каштановые листья очертило коричневой каймой, словно их опалил огонь. Супруги Рыловы продолжали жить в одной комнате. В другой так и стояли вдоль стен стопки картин, громоздился домашний скраб, в отсутствие шифоньера. Правда в прихожей и в туалете появились полки с расставленными книгами. Дуся устроилась уборщицей в филиал центральной библиотеки. Каждое утро она уходила на несколько часов мыть полы и вытирать пыль. Наталья Ароновна уехала к сыну в Израиль погостить, оставив на попечение Рыловым свою кошку. Два раза в день Дуся спускалась на второй этаж, отмыкала квартиру Натальи Ароновны. Кошка пряталась за диван. Дуся оставляла ей в блюдце сухой корм и воду. Иногда клала колбасу или нарезанную на куски сардельку. Если кошка съедала колбасу и сардельку, Дуся покупала этот сорт себе.

Определённости не было. Определённости не было в главном, хотя кое-что определилось. Ни о каком новом учреждении культуры речи быть не могло. Рылову дали понять, что такие вопросы решаются высоко, на уровне министерства, и на это могут уйти годы. Значит, картины отдадут на баланс библиотеки, дворца культуры, дома быта или ещё чёрт знает чего, чей директор позволит навязать ему картины.

Рылов лежал на тахте, закинув руки за голову, и смотрел на свои ноги. Он даже пошевелил ступнями, словно хотел убедиться, что они принадлежат ему. Дуся ещё была в библиотеке. Рылов ждал её возвращения, чтобы вместе пообедать и снова пойти к Журавлёвой. В голове крутился один вопрос: то ли всё вокруг лишено здравого смысла, то ли он дурак. И то и другое имело место быть. В пятьдесят с лишним лет это очевидно. Оставалось установить пропорции. Рылов вспоминал жизнь. В это время пришла Дуся.

– Я сегодня ещё никуда не выходил, – сообщил он.

Дуся промолчала, потому что не выходил, ну и не выходил. Что тут скажешь? Но Рылов слишком долго был один, и в нём накопилось желание говорить.

– Ты же знаешь, что фамилию мне дали в детдоме? – спросил он.

Дуся выкладывала на кухне продукты.

– Да, знаю, – сказала она.

– Наверно, я был круглолицым мальчиком. С большим рылом. Вот мне и дали фамилию Рылов.

– Ты это к чему?

– Да к тому, что я неизвестно кто такой. Я сам себя не знаю. Ты вдумайся в этот ужас – не знать самого себя.

– Глупости. Разве человек не тот, кем стал? Тебе нельзя долго лежать, – сказала Дуся.

– Я ждал тебя, чтобы вместе пообедать. Потом я пойду к Журавлёвой.

– Опять?

– Что делать? Я чего-то не учёл.

– Ничего удивительного.

– Значит, ты тоже считаешь меня дураком?

– А кто ещё так считает?

– Ага, считаешь.

– Ничего подобного.

– Ещё, кроме тебя, дураком себя считаю я. Может, мои родители были полуграмотные забытые люди. Откуда у них мог родиться умный мальчик? У толковых родителей была бы бронь, и они эвакуировались бы в Ташкент.

– Ты в самом деле решил разыграть из себя идиота. Мой дядя был доцентом и погиб на фронте. И почему бы тебе не думать о своих родителях только хорошее. Тебе это сделать проще. Ты их не знал и можешь просто фантазировать. А фантазии должны быть добрыми. Ну, что ты, Петя.

– Я уже нафантазировал, что наши картины кому-нибудь будут нужны. Добрая наивная фантазия.

– Сейчас мы пообедаем, и ты пойдёшь к своей Журавлёвой. Раньше ты добивался у женщин большего успеха.

– Раньше я был моложе, а теперь, знаешь, кто я – старпёр.

– Что это ещё такое?

– Старый пердун.

– О господи.

Рылов уже знал, что в исполком лучше приходить после обеда. Аппаратные и разные встречи обычно назначаются на первую половину дня. Правда, после обеда не всех можно застать, зато те, кого захватишь, не так заняты. В этот раз Рылов не угадал. Журавлёва сразу предупредила, что в четыре часа торжественное собрание по случаю дня бухгалтера. Было без четверти три.

– Мне мэр твёрдо обещал, что картины будут размещаться в отдельном помещении.

– Как вы не поймёте – в отдельном помещении они окажутся без присмотра. Или вы хотите, чтобы мы повесили на это отдельное помещение замок и всё. В чём тогда смысл?

– Неужели нельзя сделать две штатные единицы.

– Штатные единицы могут создаваться в рамках учреждения. Их надо профинансировать. Насколько проще выставить картины в фойе ДК или кинотеатра. Не поместятся все, можно со временем менять экспозицию. Так делают во всех музеях.

– Я знаю, что такое ДК! Это же проходной двор. И потом, я же вам говорил, что я сам хочу быть при своих картинах.

– Вы определитесь – «при своих» или вы дарите их городу?

– Конечно, дарю, но могу я себе позволить...

– Пётр Андреевич, мы с вами говорим об одном и том же уже много раз. Мне некогда сегодня.

Рылов посмотрел на эту худую, видимо, мучившую себя диетой женщину. Вспомнил домашний разговор и подумал, что старость не тогда, когда тебе прилично лет. Старость – если поступаешь как старик. Перед ним женщина сорока лет, а он смотрит на неё, как на указку.

– Что вы так на меня смотрите? – спросила Журавлёва.

У неё были серые глаза, и вся она была сухая, как чёрствый хлеб. То ли она в самом деле была костлявая, то ли казалась такой в глазах старика. Этот вопрос вдруг встал перед ним, отодвинув все остальные. Она не отводила взгляд. Серые глаза наполнились тревогой. Исчезла уверенность. Она сама это почувствовала и сразу насторожилась. Как боксёр, боялась пропустить удар. Рылов перевёл взгляд на плечи, шею, подбородок. Под кофтой была маленькая грудь в панцире бюстгальтера. Тонкие загорелые руки вызвали ощущение шершавости, словно она озябла и кожа покрылась пупырышками, как у девочки, что выскочила раздетая на зимний балкон. Кисти рук в мелких морщинках – всё-таки сорок или сорок пять. У неё наверно уже взрослая дочь или сын. Может, она уже бабушка, а Рылов никак не мог избавиться от воспоминания девочки на зимнем балконе. Она стоит и ждёт, когда следом выскочит худой Петька с длинными, как у «Битлз» волосами, обхватит её за талию и потащит назад в комнату.

– Когда-то у меня не было картин и, кажется, я был счастлив.

– Может, вы придаёте своей коллекции слишком большое значение?

– Как можно не придавать значения своему ребёнку?

– Я сказала – слишком большое. Ребёнка можно разбаловать, и он сядет на шею. По-моему, это с вами и произошло.

– Нет. Со мной произошло другое, – сказал Рылов.

– Что же?

Рылов наклонился к Журавлёвой и шёпотом сказал:

– Я глупый человек.

– Вы зря обижаетесь. Я уверена – мы с вами всё устроим. Извините, мне надо идти, – сказала Журавлёва.

Перед Дворцом культуры былолюдно, потому что прислали бюджетников. В самом ДК тоже стоял гул. Журавлёва прошла за кулисы. Ведущие просматривали текст. Журавлёвой не нравилась эта девочка. У неё была слишком большая грудь и широкие плечи. Ей бы работать на стройке. Но говорила она бойко, никогда не смущалась, даже когда ей не удавалось что-нибудь выговорить. Ведущий нравился больше, хотя в отделе его почему-то обзывали гомиком. Выходя на сцену, он делал быстрые короткие шаги, держал ровно спину, задира л нос. Он напомина л длинноногого цыплёнка, когда ещё не ясно, кто из него получится – петух или курица. Журавлёва поздоровалась. Спросила – всё ли у них готово. Директору ДК успели доложить, что пришла начальник. Директор отыскала её на сцене, приготовившись отвечать на вопросы. Но Журавлёва ни о чём не спрашивала, только предупредила, чтобы не получилось с фонограммой, как в прошлый раз. Потом Журавлёва пошла в фойе, встретить своё начальство. Вспомнила о цветах, поискала глазами директора ДК. Директор следила за нею и сразу подошла.

– Кто у нас вручает цветы? – спросила Журавлёва.

– Девочки из танцевального коллектива, – ответила директор.

– Они не слишком маленькие?

– Нет. Из старшей группы.

Через стеклянную дверь фойе Журавлёва увидела, что на пороге стоят мэр и Рылов. Олег Владимирович курил. Они разговаривали. В эту минуту Журавлёва задушила бы этого надоедлив ого старика. Откуда он взялся на мою голову, старый дурак. Она никогда не задумывалась – умный старик или глупый, но тут про себя подумала: старый дурак. Ещё на пороге мэра окружили и оттеснили от Рылова. В этом окружении он вошёл в фойе. Сказал кому-то – пора начинать. Члены исполкома всегда сидели в проходе. Мэр мог встать и выйти курить. Журавлёва сидела в одном ряду с мэром и видела только ступни ног и седой барашек волос на голове. Мэр не позвал её к себе, и оставалось только гадать, что за этим стоит и о чём они говорили с Рыловым. Текст ведущих она читала, но когда первые фразы прозвучали в зале, они показались Журавлёвой идиотскими. «Знайте взрослые и дети – бухгалтер лучшая профессия на свете». При чём тут дети! А детей становилось всё больше и больше. Младшая группа танцевального ансамбля «Алле-гро» станцевала танец цифр. Потом дети пели: «Дважды два – четыре. Это всем известно в целом мире». Когда на сцену вышла прозрачная девочка из циркового коллектива, Журавлёва увидела удаляющуюся сутулую спину в сером костюме. Если бы через пять минут мэр не вернулся на своё место, Журавлёва не спала бы.

У Рылова разболелась голова. На прошлой неделе он был у эндокринолога. Местный инсулин Рылову не нравился. Он стал хуже себя чувствовать. Но, может, виною была осень.

Дуся смотрела телевизор. Она, как девчонка, сидела на тахте, подвернув под себя ноги. Где-то он видел такую позу, на картине. У Петрова-Водкина или Чернышова. Попытался вспомнить, нет, болела голова. Переоделся. Сел в кресло, сделал укол, откинул голову.

– Телевизор не мешает? – спросила Дуся.

– Я сейчас пойду на кухню, выпью чая, – сказал Пётр Андреевич.

– Может, поешь?

– Позже.

Рылов ещё посидел с минуту и ушёл на кухню. На кухне висели два крошечных натюрморта. Нашлёпки, как их называют художники. Что-то вроде быстрых шахмат. Из хаоса мазков возникает форма, но какой ещё долгий путь от нашлёпка к картине, и как редко удаётся его пройти, не растеряв того, что уже было найдено. Поэтому не так просто выпросить у художника эти маленькие картинки, часто валяющиеся по всем углам мастерской. Подержав в руках под пристальным прищуренным взглядом, они часто говорят: это ещё может пригодиться.

– Петя, я забыла сказать, приходил какой-то мужчина. Он оставил свой номер телефона.

– Что за мужчина?

– Я так поняла, коллекционер.

– Дуся, коллекционер чего?

Дуся развела руками.

– Завтра позвонишь из квартиры Натальи Ароновны или из автомата и всё узнаешь.

– Это что же, у нас появились конкуренты, – сказал Рылов.

Дуся удивлённо посмотрела на мужа.

– Что тебе в этот раз сказали в исполкоме?

– То же, что и раньше.

– Давай оставим у себя с десяток лучших работ, а остальные отдадим на любых условиях.

– Разве мы этого хотели? Вспомни, как мы себе это представляли? Картинная галерея, экскурсии, благодарные горожане, уважение. Дуся, я только сейчас стал понимать всю нашу наивность. «Благодарные горожане, уважение». У этих слов давно нет реального содержания. Газетные штампы. Причём самых провинциальных газет. Мне, старому человеку, даже неловко их произносить, тем более глупо, что я так думал.

– Петя, не преувеличивай. Никогда мы с тобой не думали о благодарностях.

– Но и просто избавиться от картин мы не собирались. Ладно, ещё не всё потеряно. Я договорился с Олегом Владимировичем о новой встрече.

Ночью Рылову снилось детство. После войны Рылов был в детском доме под Саратовом. Снилось маслянистая вода на Волге, измятая мелкой волной. Маслянистой она казалась от зелёных водорослей и солнца, которое пробивало зелёную воду, окрашивая её в цвет растительного масла. Их водили на Волгу купаться. Однажды мальчишка из старшего отряда утонул. Рылов придумал себе, что это был старший брат, и с тех пор всем рассказывал, что у него был старший брат и что если бы он был жив, он защищал бы его. Рылов так привык к этому своему вранью, что и сам верил. Удивительно, но он даже не видел утонувшего, а только слышал о том случае. Проснувшись, когда на улице было ещё темно, Рылов подумал, что он всю жизнь придумывал себя и жил придуманной жизнью, а настоящая жизнь проходила мимо. Конечно, он сам в этом виноват. Потом он думал ещё и ещё, пока в комнате не стало светло. Дуся пошевелилась, посмотрела на него щелчками глаз. Она отвернулась, лежала. Сон прошёл. Дуся снова легла на спину.

– Сколько времени? – спросила она.

– Половина седьмого.

– Давно не спишь?

– Давно. Знаешь, о чём я думаю?

– О чём?

– Винить во всём себя не только глупо, но и не скромно. Мы же не боги. Если бы я родился в крестьянской семье в конце девятнадцатого века... Или дворянской – это не имеет значения. Важно, что существует уклад, порядок вещей, и я с детства знаю: где я и что я. Ни у меня, ни у окружающих не возникает вопроса, кем мне быть, где мне быть и чем заниматься. Но вот меня нет ещё на свете, а порядок вещей уже нарушен. Я рождаюсь – родителей нет, дома нет, земли нет. Мне говорят: нам нужны строители или военные, и я должен стать военным. Но как я могу им стать? Это всё равно что загнать барана в волчью стаю. И я же ещё виноват, что моя жизнь чёрт знает на что похожа.

– Не надо себя ни в чём винить, – сказала Дуся. – Мы и так ходим вечно виноватые. А те, кто в самом деле виноваты, редко это сознают.

– Дуся, какая ты у меня умница.

– Поднимайся, попьём вместе чаю, – сказала она.

После чая Дуся ушла на работу в библиотеку, а Рылов снова лёг. Вспомнил о коллекционере. Что ещё за коллекционер! Никто из художников о нём не говорил. Рылов принялся искать теле-

фон. Прежде чем он нашёл бумажку с телефоном какого-то Абрамова Валентина, он переглядел два десятка квитанций, рецептов салата и названий лекарств, растыканных по вазочкам и записным книжкам. Позавтракав, он вышел на улицу и позвонил из телефона-автомата коллекционеру. Договорились о встрече. Он придёт сегодня в четыре. Разговор получился коротким. Зачем о чём-то спрашивать по телефону, если они договорились встретиться. Надо что-то придумать на стол, но это лучше получается у Дуси. Рылов стоял в комнате среди картин и думал, что он покажет новому знакомому. Конечно, Нариманбекова, Иванова, Яблонскую. Рылову хотели впарить эту работу как картинку самой Яблонской, но потом выяснилось, что речь идёт об одной из её дочек. Цена упала. Но картинка была свежая, декоративная, написанная тонким слоем открытыми цветами и немного напоминала Матисса. Вся коллекция Рылова состояла из работ, кому-то подражавших. Из углов картин выглядывали Шишкины, Врубели, Сезанны, Ван-Гоги. Для художественной провинции это обычная история.

Гость пришёл не один. Ему было лет сорок. Маленький, с осторожными плавными движениями. С ним была женщина. Совсем молодая. Она была на полголовы выше, очень симпатичная, но с вульгарным вкусом, в кофточке с блёсками и золотом на шее и пальцах.

– Алёна, – представилась она.

Я так и знал, подумал Рылов. Конечно же, Алёна или Анджела или Наташа Королёва.

Сели за стол.

– Мне сказали, что в город приехал коллекционер, – начал Валентин Абрамов. – Город у нас небольшой. Тут все друг друга знают. Я имею в виду людей, кто чем-нибудь занимается стоящим.

– Да, мы с женой коллекционируем картины, – сказал Рылов.

– Я вижу у вас замечательный чайный сервиз, – сказал Валентин.

– Это бухарская керамика. Мы с Дусей купили его в Самарканде.

– Вы были в Самарканде? – спросила Алёна.

– Мы жили в Ташкенте и ездили в Самарканд на экскурсию. Потрясающий город-музей, – сказала Дуся.

– А что у вас ещё есть интересного? – спросил Валентин.

– Картины, – ответил Рылов.

– А иконы у вас есть? – спросил Валентин.

– Нет. Икон у нас нет, – ответил Рылов. – Простите, а что коллекционируете вы?

– Я часовщик. Собираю советские часы, монетки, значки. У меня на Артёма мастерская – заходите.

– Не хотите посмотреть картины? – спросил Рылов.

– Конечно.

На одной из работ была хорошая рама под старинную бронзу. Валентин потрогал её руками.

– Статуэтки не собираете? – спросил он.

– Какие? – спросил Рылов.

– Бывает хороший советский фарфор, бывает старинная бронза, – сказал Валентин.

– Нет, – ответил Рылов.

Поговорили о стране, городах.

– Так вы из Актюбинска?

– Да, мы прожили там четыре года, – сказала Дуся.

– Где это? – спросила Алёна.

– В казахской степи, – ответил Рылов.

– Далеко? – спросила Алёна.

– Очень, – ответила Дуся.

– Вам нравится в Алексеевске? – спросила Алёна.

– Чудесный уютный городок, – сказала Дуся.

Гости собрались уходить. На прощание Абрамов окинул квартиру внимательным взглядом, как сыщик. Увидел в коридоре палку.

- Хорошая трость, – похвалил он.
- Да. Представьте себе, ручка из цельного корня кизила.
- Давно она у вас?
- Мне сделал её в Ташкенте один хороший мастер.
- Эксклюзив, – догадался Абрамов.
- Авторская работа, – подтвердил Рылов.
- Вот видишь, о нас уже в городе знают, – сказала Дуся, когда они остались одни.
- Мне кажется, он собирает не только значки, – сказал Пётр Андреевич.
- Антикварный жучок, – сказала Дуся.
- Представляю, как мы его разочаровали.
- Думаешь, он поверил, что у нас нет икон?
- Ты помнишь Афанасьева? Он расписал в Новокузнецке церковь и вылетел из Союза художников.
- Когда это было? Ещё при Брежнев. Теперь никто бы не обратил внимания, – сказала Дуся.
- Меняется эпоха, Дуся.
- Я сегодня забыла про кошку. Сидит там голодная, беденькая, целый день. Отнесу ей копчёной колбасы.
- Тогда уж накорми её сметаной.
- Наталья Ароновна предупреждала, что молочное кошка не ест.
- Странная кошка. Я бы ел сметану целый день. Нам давали сметану в детском доме, но она была жидкая, как кефир. Я привык. Потом, когда увидел настоящую сметану, я не мог называть её сметаной, потому что в моём представлении сметана должна была быть жидкой. А ведь с ложными представлениями можно прожить всю жизнь.
- Нет, Петя, люди не дадут. Тебя же познакомили с настоящей сметаной.
- Я же не о сметане, я о более сложных вещах.
- О каких?
- Предположим, о боге. Предположим, я атеист...
- Я сейчас вернусь, – сказала Дуся и хлопнула дверью.

В отдел культуры Рылов пришёл через неделю.

- Почему у вас нет телефона? – спросила Журавлёва так, словно Рылов специально не хотел иметь телефон.
- Мы стоим на очереди.
- Журавлёву, конечно, телефонная очередь не интересовала.
- У нас появилась идея, – сказала она. – Давайте её обсудим.
- С удовольствием, – согласился Рылов.
- Журавлёва позвонила:
- Юра, зайди, пожалуйста, у меня Пётр Андреевич.
- Юра вошёл в джинсовом пиджаке. Сели за стол треугольником, переглянулись.
- Почему бы вам не организовать кооператив? – спросила Журавлёва.
- Вы же знаете, что такое кооператив? – спросил Юра.
- В общих чертах, – сказал Рылов.
- Это не страшно, мы поможем, – сказал Юра. – Кооператив замечательная вещь.
- Я слышал о платном туалете, правда, ни разу в нём не был. Кажется, это кооператив? – спросил Пётр Андреевич.
- В этом всё дело. Кооперативом может быть что угодно. Единственное условие – предприятие должно быть самоокупаемым, – сказал Юра.
- Платным? – уточнил Пётр Андреевич.
- Оно должно само покрывать свои расходы, – сказала Журавлёва.
- То есть быть платным? – повторил Рылов.

– Иметь собственный бюджет, – сказала Журавлёва.
– Надо так всё организовать, чтобы ваши картины приносили прибыль, – сказал Юра.
– Интересно, это как так организовать, чтобы картины приносили прибыль? Может, топить ими котельную?

– Вот видишь, – сказала Журавлёва, обращаясь к Юре.
– Пётр Андреевич, предположим, есть помещение. Мы развешиваем картины, устанавливаем небольшую плату за вход. Естественно, одной платы за вход будет недостаточно, и тогда мы организовываем внутри буфет. Люди посмотрели картины, и попили чай с пирожными, – сказал Юра.
– Тогда давайте завершим всё платным туалетом: посмотрели картины, попили чаю и сходили в туалет, – сказал Рылов.

Журавлёва подпёрла лоб растопыренными пальцами и смотрела в стол.

– Неужели вы не видите в этой идее ничего положительного? – спросил Юра. – Можно организовать просмотр слайдов, лекции по искусству, изостудию...

– И платный туалет, – вставил Рылов.
– Да, и платный туалет, – сказал Юра.
– В стране перестройка, – напомнила Журавлёва.

– Я не возражаю против перестройки, и против слайдов, и лекций, и изостудии. Я не возражаю даже против варьете и платного туалета. Только кто этим будет заниматься? Неужели я? Нет, увольте. Я всю жизнь собирал картины не для того, чтобы быть богатым. Я люблю живопись, я люблю художников, я люблю творческих людей. Единственно, что я хочу, чтобы картины были доступны обществу. Для этого, как мне казалось, достаточно сделать элементарное: организовать их хранение и демонстрацию. Почему для магазинов и кафе помещения находятся, а для картин нет?

– Потому что магазины и кафе приносят прибыль, – сказала Журавлёва.
– Мы же вам объясняем, как сделать, чтобы картины тоже приносили прибыль, – сказал Юра.
– Картины должны приносить духовную прибыль, – сказал Рылов.
– Мы это знаем не хуже вас, поэтому не надо заниматься демагогией, – сказала Журавлёва.
– Хорошо, в таком случае у меня к вам вопросов нет. Лично к вам, – Рылов показал рукой, в которой держал палку, на Журавлёву, – вопросов нет.

Это было похоже на угрозу. Журавлёва сжала губы. Ей хотелось вскочить и крикнуть: иди ко всем чертям, ты мне надоел хуже горькой редьки. Иди, и чтобы я тебя больше не видела. Но угроза была реальностью – старик пойдёт жаловаться к мэру. Пойдёт, козёл хромой.

Он не пошёл. Рылов берёт встречу с мэром как козырную карту и не торопился расставаться с последней надеждой. В тот день он застал дома Сашу и художника Петрова. Дюся успела напоить их чаем. На столе лежал свежий номер «Рассвета».

– Опубликовали статью о вашей коллекции, – сообщил Саша.
– Ну-ка, ну-ка, – освобождаясь от палки, Рылов надел очки.

Статью он прочитал по диагонали, замечая в каждом абзаце «прекрасный», «замечательный», «красивый». Было чёрно-белое фото картины. Скорее всего, пейзажа, потому что низ фотографии был тёмный, а верх светлый. Рылов вдруг почувствовал какую-то разоружающую слабость, равнодушие. Зоя перепутала фамилию, или ошиблись при наборе и вместо Рылов напечатали Рыжов. Он молча положил газету на стол, опять взял палку, сделал несколько тяжёлых шагов к окну. Дом был на окраине города, и с четвёртого этажа хорошо виден горизонт. Линия всегда была разной: то чёткой и ясной, так что казалось, можно дотянуться рукой и потрогать, как натянутую нить, то туманной, стёртой, то такой, как сейчас – загадочной, нежной, как кайма тонкой ткани на женской груди. Он оглянулся в сумрак комнаты.

– Мне предложили повесить картины в платном туалете. Там и дежурный всегда есть. Посещаемость будет великолепная.

В недоумении все молчали. Пётр Андреевич наслаждался впечатлением и небрежно добавил:

- Шутка.
- Всё-таки напечатали, – сказал Саша.
- Вы думаете, это поможет? – спросила Дуся.
- Не помешает, – ответил Саша.
- Написано, правда, ужасно, – сказал Петров.
- Что ты хочешь от Зойки, – сказал Саша.
- А чья там репродукция? – Рылов кивнул в сторону газеты так, словно ему неприятно, что

она лежит на столе.

- Это я дал свою – какая разница, – сказал Саша.
- Действительно, – согласился Пётр Андреевич. – Но, как вам всё-таки идея с туалетом?
- Ты же сказал, что это шутка? – удивилась Дуся.
- Разве нельзя обсудить шутку? – спросил Рылов.
- Зачем? – спросила Дуся.
- Ну, как... мало ли. Вдруг шутка станет реальностью. Бывает же так.
- Не слушайте его, – сказала Дуся.
- А что, молодые люди, не хотите выпить водки? – он швырнул палку на тахту.

Ушёл на кухню и вернулся с бутылкой водки. Жестом показал, чтобы со стола убрали газету. Пока Дуся выносила закуску, Рылов потянул к столу кресло, удобно уселся в нём, несколько раз переваливаясь с боку на бок. Встряхнул головой, сбрасывая со лба длинные волосы.

– Я знал одного очень умного человека. Его звали Леонидом Марковичем. Естественно, он был евреем, – сказал Рылов.

– Петя, он не был евреем, иначе еврейкой была бы и я, – возразила Дуся, ставя на стол горчицу.

- Хорошо, он не был евреем, но умным человеком был?
- Он был хорошим человеком, добрым, честным, порядочным, – сказала Дуся.
- Да, да, но и очень умным. А ещё он был дальним родственником моей жены, и когда её родители умерли – воспитал её. Дуся, почему твой дальний родственник не может быть евреем?

- Петя, мальчики подумают, что ты антисемит.
- Наоборот. Я уверен, что многовековое гонение евреев сделало эту нацию самой жизнеспособной, самой цивилизованной и умной. Если хотите знать, я очень жалею, что не еврей.

– Петя, хватит о евреях.

– Но я хотел рассказать про Леонида Марковича.

– Вот и рассказывай про Леонида Марковича.

– До войны он пел в театре оперетты. У него был тенор, но когда мы познакомились, Леонид Маркович шипел, как гусь. Дело было в Магадане. К тому времени он прожил там уже двадцать лет.

– Вы были в Магадане? – спросил Петров.

– Не только был, но и встретил там Дусю. Оказывается, глупость тоже может быть вознаграждена. В Магадан я попал по глупости. Мы с мальчишками в ФЗУ решили сделать винтовку, чтобы стрелять в степи сусликов. Так я и оказался в Магадане. Ну, а Дуся там уже жила. Мы познакомились в библиотеке. С тех пор запахи книг – мой любимый запах.

– Ты собирался рассказать о Леониде Марковиче.

– У Леонида Марковича был свой дом и теплица, и мы ели в Магадане помидоры, – Рылов потянулся к столу и взял с тарелки дольку помидора. – Помидоры были вот такие, с кулак, но невкусные. Что они были невкусные, мы узнали с Дусей позже, когда попробовали настоящих южных помидоров. Дело, конечно, не в них, а в том, что Леонид Маркович умел получать от жизни удовольствие. Представьте себе: человек, лишившийся семьи, певец, потерявший голос, холод, мрак, зэки, а он вносит в горшочки удобрения и делает это так, словно всю жизнь только об этом и мечтал. И пел он, даже без голоса, с закрытым ртом. Я много раз наблюдал, как он пел про себя и получал удовольствие. Смешной такой – маленький, с мохнатыми бровями и пучком волос в носу. А я был дурачком.

– Петя, то что ты был дурачком, никому не интересно, – сказала Дуся.
 – Если бы я не был дурачком, я, может, так и остался в Магадане, работал бы в котельной кочегаром, выращивал бы помидоры и сельдерей, а по выходным рисовал бы «Утро в сосновом бору» или «Трёх богатырей». Они бы висели у меня в котельной. Потом я нарисовал бы их ещё раз и отдал бы в столовую. Когда-нибудь я начал бы продавать «утро» по пятьдесят рублей, а «богатырей» по сто. Но, главное, я был бы доволен собой.
 – Кто тебе мешает быть довольным собой сейчас? – спросила Дуся.
 – Сложный вопрос, – ответил Рылов.
 – К чему ты всё это рассказывал?
 – Не знаю. Хотел сказать ребятам, что жить надо с удовольствием, творить с удовольствием и не обращать внимания на гнусности. Умные люди именно так и поступают.

Рылов шёл по улице Ленина. Это была одна из центральных улиц. Сталинские дома, широкий тротуар под высокими каштанами. Впереди остановилась серая волга, открылась дверь.

– Пётр Андреевич.
 В машине сидел мэр.
 – Пётр Андреевич, подойдите на минутку.
 Рылов торопился к машине. Палка выстукивала об асфальт.
 – Мы же договорились, что вы зайдёте ко мне, – сказал Олег Владимирович, придерживая дверь.

– Неудобно, – сказал Рылов.
 – Неудобно? Вы же сами настаивали.
 – Просил.
 – Настойчиво просили.
 – Да. Что же я могу поделывать, если без вас вопрос не решается?
 – Я в курсе. Так когда вы зайдёте?
 – Если можно, давайте сейчас.
 – Нет, сейчас я еду на завод. Завтра перед обедом, часов в двенадцать можете зайти?
 – Да.

Мэр протянул руку. Пётр Андреевич постоял, глядя, как удаляется машина. Листья на каштанах пожухли, кроны поредели. Тень на асфальте была похожа на паутину. Ну вот, – подумал Рылов. Это уже кое-что. Встреча его воодушевила. Он даже наклонился и поднял каштан. Каштан был тёплый от солнца и удивительно гладкий. Его приятно держать в руке, но Рылову хотелось во что-нибудь бросить каштан. Очень хотелось. Какой-то странный всплеск энергии. Чтобы избежать соблазна, Рылов спрятал каштан в карман.

– Дуся, я разговаривал с мэром.
 – Ты же не собирался в исполком.
 – Мы встретились на улице. Он проезжал мимо меня на машине и, представляешь, узнал.
 – Тебя уже весь город узнаёт – шляешься целыми днями. Я хотела вымыть окно на зиму, но оно не открывается. Может, ты кого-нибудь попросишь, чтобы нам открыли.
 – Что же не позвала своего соседа?
 – Он в командировке.
 – Откуда ты знаешь? Он тебе докладывает?
 – Это ты не знаешь, что у нас в доме творится.
 – А что у нас может твориться. Тут не сумасшедший дом, я надеюсь?
 – Что тебе сказал мэр?
 – Завтра у нас с ним состоится решающий разговор.
 – Он так сказал?
 – Мне так кажется.
 – Да?

Рылов подошёл к окну и подёргал ручку.

– Разве мы за всё лето ни разу не открывали окно?

– Петя, с тобой никто не смог бы жить.

– Дуся, я и так знаю, что ты у меня ангел.

Рылов вдруг обнаружил в кармане каштан. Он положил его на подоконник.

– Дуся, завтра всё решится. Я чувствую.

– Петя, я тебя прошу, не настраивай себя. Потом будешь переживать, мучиться.

– Почему?

– Вдруг опять ничего не получится.

– Зачем в таком случае он остановился? Проехал бы мимо.

– Всё равно. Никаких надежд. Так будет лучше. В пятницу приезжает Наталья Ароновна. Ей может показаться, что кошка похудела. Подумает – не кормили.

– Да чёрт с ней, с кошкой. Нашла о чём беспокоиться. Она за это время десять килограммов сарделек сожрала. Неужели сын не уговорил её остаться в Израиле?

– Приедет, расскажет, – сказала Дуся.

Олег Владимирович разговаривал по телефону. Секретарша попросила Рылова подождать. Прошло минут пять. Олег Владимирович сам выглянул из кабинета, приглашая Рылова зайти.

– Здравствуйте. Проходите. Отопительный сезон на носу. Если бы вы знали, какая это головная боль.

– Понимаю, – сказал Рылов.

– Откуда? Даже я не понимаю, где взять новый котёл. Нигде, ничего, ни черта нет. Страна работает, а найти ничего нельзя. Ладно, перейдём к вашему вопросу. Я предлагаю такое решение: мы сейчас остались без директора краеведческого музея. Можно убить двух зайцев – вы станетесь директором, передаёте в фонды свою коллекцию и сами решаете, как её разместить. Во дворе музея есть подсобное помещение. Оно давно не ремонтировалось, протекает крыша. Запланируем на второй квартал следующего года капремонт. Здание, правда, без окон. Можно сделать хорошее искусственное освещение. Как вам такое предложение?

– Прямо скажу, неожиданное. Я получаю пенсию по инвалидности.

– Ну и что? Я же не предлагаю вам спускаться в шахту. Поработаете годика три, а там видно будет. Музей у нас хороший. Даже есть кандидат наук.

– И давно в музее нет директора?

– С прошлой недели. Но это вас не касается. Вы приходите – и руководите. Трудовая книжка у вас целая?

– Да.

– Вы дадите на неё взглянуть?

– Что же вы меня не предупредили, я бы взял её с собой.

– Ничего. Придёте во вторник на заседание исполкома и принесёте. Вы рассказывали, у вас есть опыт руководящей работы.

– Олег Владимирович, надо подумать, посоветоваться.

– Думайте до вторника и считайте, что вам повезло. Иначе даже не знаю, как быть с вашими картинами. Коммунальный фонд загружен на сто двадцать процентов. Вот пришло указание создать в городе ещё две комнаты школьника. Но у нас даже подвала свободного нет. Придётся голубеводов выселять.

Рылов опёрся руками о палку, склонил голову и задумался. Мэр закурил. Сощурил глаза от дыма.

– Идите домой и думайте. До вторника.

– Вы не хотите взглянуть на картины?

– Нет. Я ничего в этом не понимаю. Делать вид, тратить время. Зачем? Я читал в газете. Я разговаривал с нашим юристом. Он сказал, что стоимость картин можно не указывать, только пере-

чень предметов дарения. Так какая в таком случае разница? Большие картины? – неожиданно спросил мэра. Видимо, размер единственное определение, которое он мог дать картинам.

– Не очень.

– Ну, какие? Такие, такие? – мэр поворачивал в воздухе руками.

– В основном такие, – Рылов небрежно раскинул руки. Палка выскользнула и упала на пол. Он наклонился, поднял её. Мэр молча наблюдал.

– Я пойду? – сказал Пётр Андреевич.

– Да. Мне в половине второго надо быть у тепловиков. Отопительный сезон... – он сокрушённо покачал головой. – Вот где картина маслом.

Из исполкома Рылов сразу пошёл домой. Пересёк площадь с фонтаном. Голуби плотной стаей сидели на асфальте. Они вспархивали из-под ног и тут же садились, оглядываясь, боясь упустить момент, когда чья-нибудь рука бросит кусок мякиша. Пётр Андреевич так спешил, что голуби едва успевали уступить дорогу. Одного сизого разъевшегося голубя он даже зацепил палкой, всполошив остальных. Он повторял в мыслях всё, что было сказано у мэра. Не ожидал. Такого не ожидал. Чёрт знает, как трудно предугадать в этой жизни хотя бы что-нибудь. В троллейбусе женщина лет сорока уступила место. Рылов на минуту очнулся:

– Что вы, что вы, бога ради, – взмолился он.

Она ничего не ответила, только передвинулась по салону дальше. Кресло недолго оставалось свободным. Сел мальчишка.

Скверно, если бывшего директора музея выгнали со скандалом, подумал Рылов, словно он уже решил стать директором. С наступлением осени Пётр Андреевич ходил в плаще. В плаще и с тростью он ещё больше напоминал барина. На него оглядывались. От задумчивости на переносице возникала поперечная складка. Глубокая, как борозда. Девчонка с мусором посторонилась в подъезде, не поздоровавшись из робости. Рылов не обратил внимания. Он даже не почувствовал на лестнице одышки. Вошёл в квартиру, поставил в угол палку, снял плащ, вывернув наизнанку рукава. Начал вправлять их назад. Плащ не слушался. Дуся мягко выдернула плащ из рук Петра Андреевича, вправила рукава и повесила на вешалку. Рылов пригладил волосы.

– Рассказывай, – коротко сказала она.

– Никогда не догадаешься, – сказал он.

– Я не собираюсь гадать, рассказывай.

– Мне предложили должность директора музея.

– Какого музея?

– Краеведческого. Ирония судьбы. Через сорок лет как я окончил географический факультет.

– Петя, причём тут твой географический факультет? Вы о картинах говорили?

– Я хотел быть историком, но с моей биографией меня могли принять только на естествознание.

– Вы о картинах говорили?

– Дуся, да. Картины будут переданы в фонды музея, а дальше надо думать, как их показывать. Я так спешил домой, мне так нужно знать твоё мнение.

– Подожди. – Дуся села в кресло, обхватив лоб ладонью. Она тёрла лоб средним пальцем, словно помогая мозгам шевелиться.

– Хорошо, картины попадут в фонды музея, но зачем становиться директором. В твоём возрасте, с твоею болезнью, такая обуза, Петя.

– Я так понял, что это условие.

– А ты уверен, что правильно понял?

– Дуся, не знаю.

– Странно. Я не вижу никакой связи. Он что – настаивал?

– Нет. Пока нет, но сказал, что другого решения нет.

– Всё. Садимся обедать. Потом подумаем.

– Действительно, странно. Разве не проще сделать меня каким-нибудь зрителем, – сказал за столом Пётр Андреевич. – Мне самому эти руководящие должности вот где.

– Мы уже пять месяцев в Алексеевске и не догадались сходить в краеведческий музей, – сказала Дуся.

– Мы обязательно сходили бы позже.

– Да. Но теперь мы пойдём в музей завтра. Ты знаешь, где он находится?

– Нет.

После обеда Рылов лёг. Обычно он засыпал. Храпел так, что иногда стучали со всех сторон. Чаше других стучала соседка сверху. При встрече в подъезде она смотрела на Рылова, как на слона: со страхом, любопытством и жалостью. Но помалкивала. Приятная женщина. Неужели ей так слышен храп? Рылов положил под затылок руку.

– Я оставила конфорку включённой – холодно в квартире, – сказала Дуся, присаживаясь рядом.

– Тогда надо класть на неё кирпич. Помнишь, мы так делали в Дербенте.

– Где же я возьму тебе здесь кирпич?

– На клумбе. Если хочешь, сейчас принесу, – Рылов оторвал от подушки голову.

– Лежи, ради бога. И ответь мне только на один вопрос: тебе хочется опять быть директором?

– Да мне никогда не хотелось быть директором. Дом творчества, народный театр, пионерский лагерь...

– Не напоминай мне про пионерский лагерь.

– Хорошо, не сердись. Скажи, соглашаться или нет?

– Нет.

– Завтра пойду и откажусь.

– Объяснишь, что ты не можешь по состоянию здоровья.

– А картины?

– Что картины? Картины будут лежать у них в подвале, пока не съедят мыши.

– Дуся, так может в этом всё дело. Если я буду директором, картины не съедят мыши.

– Надо завтра же посмотреть на этот музей, – сказала Дуся.

Приехала Наталья Ароновна и пригласила Рыловых в гости. Дуся ждала, когда вернётся Петя. Пётр Андреевич искал в городе шампанское. Обегал все центральные магазины и ни с чем вернулся домой.

– Какой же из тебя будет директор, – покачала головой Дуся.

Рылов не ответил. Устал. Лёг отдохнуть.

Дуся присела на край.

– Ты обиделся?

– Нет.

– Тогда собирайся. Я когда-то купила в аптеке бутылку бальзама. Думаю, он нам больше пойдёт.

– Почему же ты молчала?

– Ну, это тебе вздумалось покупать шампанское.

– Удивительная страна – чем ближе к коммунизму, тем меньше в магазинах товара.

– К какому коммунизму! Уже лет двадцать молчат про коммунизм. Петя, одевайся.

– Сейчас, Дуся, устали ноги.

Спустились на второй этаж. У Натальи Ароновны была такая же двушка. Трёхцветная кошка дико сверкнула глазами. Запрыгнула на спинку дивана и выхаживала вдоль ковра, впиваясь когтями в покрывало. Рылов помог отодвинуть от стены стол.

– Сколько за этим столом проверено тетрадок, но сейчас у меня осталось шесть часов в неделю и я успеваю всё сделать в школе, – сказала Наталья Ароновна.

Рылов не взял с собой палку и теперь не знал, чем занять руки. Хотел погладить кошку, но та отмахнулась лапой.

– Осторожно, может поцарапать, – сказала Наталья Ароновна.

– У меня она пряталась под диван, – сказала Дуся.

– Ах, большое спасибо, что вы за нею приглядели. Я так вам благодарна. Одну минуту, я привезла вам небольшой сувенир. Это кремьы из грязи Мёртвого моря. Обещаю, что с ними вы помолодеете на двадцать лет. Во всяком случае, так обещали мне.

Дуся тут же понюхала флаконы.

– Ах, замечательно.

– Если без шуток – помогают от артрита, снимают боли, – сказала Наталья Ароновна.

– Представляешь, Петя. Как раз для тебя, – сказала Дуся.

Сели, на столе оказалась бутылка водки.

– В Израиле пьют водку? – спросил Рылов.

– Пьют, – ответила Наталья Ароновна. Она наклонилась к Рылову и похлопала его по руке.

– Я думаю, её кругом пьют. Мой сын ничего не пьёт, даже пива, но он, скорее, исключение из правил. Я даже не знаю, почему. Мы ему особенно не запрещали. Правда, муж тоже не был любителем выпить.

– Ничего другого я о вашем сыне и не могла подумать, – сказала Дуся.

– Жаль, вы его не видели. Да, что же я, я привезла целую пачку фотографий. Не хотите посмотреть?

– С удовольствием, – сказала Дуся.

Рылов обречённо полез за очками. Фотографии были на японской бумаге, красочные. У сына Натальи Ароновны полная жена, двое детей – мальчик и девочка. Бабушка рядом с ними маленькая и растерянная. На всех фото она как-то сбоку, и только на одной фотографии, где вся семья в белой квартире, она сидела на белом диване – в центре, как патриарх.

– В Израиле жарко, и я всё время пряталась в тень, – сказала Наталья Ароновна.

– По лицам видно, что семья у вашего сына дружная и счастливая, – сказала Дуся.

– Вы знаете, мне не хотелось бы, чтобы у вас сложилось впечатление, что там нет проблем.

Перед камерами все улыбаются. Естественно по сравнению с нами они живут почти в сказочном мире, но за сказочный мир нужно платить. Володя очень много работает. Все фотографии, где он есть, сняты практически в один день. А так он всё время в клинике. И потом, эта война. Всюду охрана: в магазинах, школах, детских садах. Даже на автобусных остановках. Надо привыкнуть. Ко всему надо привыкнуть. Там всё так не похоже. Я приехала сюда, а тут уже холодно – в квартире не могу согреться.

– А вы не пробовали включить газ и положить на конфорку кирпич? – спросил Рылов.

– Что вы. Так же легко отравиться газом, – испугалась Наталья Ароновна.

– Можно открыть форточку, – сказал Пётр Андреевич.

– Тогда какой смысл жечь газ? – спросила Наталья Ароновна.

– В самом деле, – сказала Дуся.

– Мне кажется, всё равно будет теплее, – сказал Рылов растерянно.

– У вас не было желания там остаться? – спросила Дуся.

– Я сейчас вам всё объясню. Пётр Андреевич, почему вы не пьёте водку. Я специально для вас купила. Не бывает такой болезни, при которой нельзя выпить пару рюмок водки, – сказала Наталья Ароновна.

– Одному как-то... – пожал плечами Рылов.

– Я вам составлю компанию. Да что там – давайте все выпьем. Так я вам скажу, только не говорите пока соседям – я таки уеду. И дело не в том, хочу я ехать или нет. Старики в Израиле получают очень хорошую пенсию. Есть семьи, которые живут исключительно за счёт стариков. Поэтому сын попросил меня переехать к ним. Он не так будет бояться потерять работу. Другой вопрос – долго ли мне осталось жить. Они надеются, что я ещё поживу.

– Как замечательно, что у вас есть сын, – сказала Дуся. – Вам, наверно, здесь одиноко?

– Ах, милая, я дома, – ответила Наталья Ароновна.

– Это то, чего у нас никогда не было, – сказал Рылов.

– Вы ещё молодые, – сказала Наталья Ароновна.

– Какие же мы молодые, – возразила Дуся.
– У вас есть планы. Вы заняты своими картинами.
– Пете предложили стать директором музея, – сказала Дуся.
– Вот видите. Ни в коем случае не отказывайтесь. Это добавит вам бодрости, – сказала Наталья Ароновна.

– И головной боли, – сказала Дуся.

– Всё равно не отказывайтесь. Придёт время, когда уже никто ничего не предложит. Это произойдёт само собой. Меня не было в школе два месяца, и, знаете, странное чувство, мне показалось, что меня уже никто не ждал. Все смотрят так... подозрительно, словно я умерла, а потом воскресла. А что мне здесь делать без школы?

– Вы же дома, – сказал Рылов.

– Конечно, дома. Ощущение дома особенно острое, когда в него возвращаешься. Но расскажите про музей. Это будет музей картин?

– Нет, это ваш краеведческий музей. Просто его предполагается расширить за счёт нашей коллекции, – сказал Рылов.

– По-моему, удачное решение. Кому это пришло в голову? Неужели нашей власти? – сказала Наталья Ароновна.

– Мне об этом сказал мэр.

– Он, кажется, был завгаром. От завгара трудно ждать особого внимания к интеллигенции. Я вам скажу больше: с тех пор, как из города уехали евреи и немцы, атмосфера стала не та. Всё-таки они задавали тон. Особенно в сфере обслуживания. А обслуживание – это то, что люди замечают в первую очередь. Я могу судить по Израилу. С чем связаны мои впечатления от Израиля? Да с тем, как меня встретили в аэропорту, как обслужили в магазине, парикмахерской.

– Неужели в Алексеевске было много евреев? – спросил Рылов.

– Много было до войны, а после войны – те, кто остались, – ответила Наталья Ароновна.

– Вы жили здесь до войны? – спросила Дуся.

– Я родилась в Алексеевске.

– Представляю, как вам трудно решиться уехать отсюда, – сказала Дуся.

– Думаю, не представляете. Но что это мы опять о грустном. Вы знаете, что мои внуки говорят уже на трёх языках: русском, иврите и английском. Я так рада, что они знают русский.

Кошка сидела на спинке дивана и невозмутимо смотрела на Рылова. В её жёлтых глазах отражался свет. Казалось, за всё время она ни разу не моргнула. Только водила ушами, улавливая звуки. В чай добавили по ложке бальзама. Наталья Ароновна похвалила запах. Расстались часам к девяти. Рылову страшно хотелось спать. Водка в малых количествах всегда действовала на него как снотворное. Выпить пару рюмок и поесть. Хорошо, что после этого не надо далеко идти. Поднявшись в квартиру, он не мог сказать ни слова. Лёг и уснул.

На следующий день он должен был побывать у Петрова. Петров ждал его в оформительской мастерской. Оттуда они проехали несколько остановок троллейбусом и ещё шли минут двадцать узким тротуаром вдоль деревянных заборов, за которыми то и дело раздавался собачий лай. Лай, словно эстафетная палочка, передавался от одного двора в другой, меняя тональность и степень озлобленности. Поверх заборов торчали голые ветки фруктовых деревьев. Петров привёл к небольшому, явно запущенному дому. Белая побелка посерела, глина потрескалась. Краска на фронтоне свернулась в мелкие чешуйки.

– Это дом моей бабушки, – сказал Петров.

Петра Андреевича поразило, что он сказал «бабушки», а не «бабки», как обычно говорит молодёжь.

– Она умерла пять лет назад, и я занял дом под мастерскую. Удобно, никто не мешает. Правда, зимой нужно топить печку.

В доме было грязно. Стены ободраны, углы в паутине, возле печки свален бумажный и картонный мусор. Выдавленные тюбики красок валялись на столе и на затоптанном полу. На всех

стенах почти вплотную висели картины без рам, и вдоль стен на полу стояли картины. Был тут какой-то диванчик с грязными тряпками и старым свитером, пара стульев, табуретка с палитрой. Ничего необычного. Рылов не раз видел подобное. Но в серый ноябрьский день, у чёрта на куличиках, в городишке среди алебастровых карьеров и крутых балок всё было так никчемно. На мольберте, с лохмотьями краски на подставке, тоже стояла картина. Петров расчистил угол дивана и предложил Рылову сесть. Рылов не сразу узнал его имя, потому что по имени к нему никто не обращался. Может, Петров сам стеснялся имени Вася, может, оно казалось ему слишком заурядным, деревенским. Рылов говорил Петрову: «молодой человек».

– Так, так, – сказал Рылов, подбадривая себя самого.

– Ну, вот. Тут я мажу, – сказал Петров.

Рылов пробежался глазами по развешанным картинам. В одних Петров подражал Дерену, в других узнавался Фальк.

– Вам нелегко. Вы противопоставляете себя обывательскому вкусу, – сказал Рылов.

– Да. Обывательский вкус – это то, с чем я борюсь, – ответил Петров.

– И как успехи? – спросил Рылов.

– Я не сдаюсь, – сказал Петров.

– Ну, а что бы вы назвали своей победой?

Петров пожал плечами. Подумал.

– Признание коллег, но в городе нет художественной среды, просто какое-то болото.

– Я слышал это много раз, – сказал Рылов. – Но не могут же все художники жить в Москве.

– Всё равно все мечтают попасть в Манеж.

– Так, может, это и будет победа?

– Может быть, – согласился Петров. – Только мне ещё далеко до неё.

– Вы молоды, – сказал Рылов и вспомнил Наталью Ароновну. Все мы говорим банальности, – подумал он.

– Вы дадите что-нибудь в нашу коллекцию? – спросил Пётр Андреевич.

– Конечно. Выбирайте, что вам нравится.

– Мне всё нравится.

Рылов встал и подошёл к картинам, разглядывал. Над дверью висел небольшой этюд, написанный ещё до знакомства с постимпрессионизмом: поле, нахмурившееся небо, кучка тонких деревьев. Рылов оглянулся на Петрова.

– Нет, только не эту, – сказал Петров.

– Понятно. Тогда выберите сами.

По дороге домой Рылов встретился с Юрой. Юра был в кожаной куртке и пыжиковой шапке. В пакете сдержанно звякнули бутылки. Юра улыбнулся и тихо признался:

– Достал шампанское.

3.

Недели через две Рылов шёл по улице Артёма. Погода была противная. Хмуро, под ногами слышать. В полдень в магазинах зажжён свет. Кто-то его окликнул. Рылов посмотрел вокруг. У плеча вынырнул маленький часовщик. Он был раздет.

– Пётр Андреевич, вы не зайдёте ко мне?

Рылов догадался, что Абрамов увидел его в окно своей мастерской и специально выбежал на улицу. Отказаться неудобно. Они вошли в стеклянную дверь, на которой среди виньеток было написано: «ремонт часов». Скорее прихожая, чем комната, перегороденная барьером, за которым обычно часовщик принимал клиентов. Он закрыл на задвижку дверь, крутнул табличку с надписью: «открыто», «закрыто» и предложил пройти в следующую комнату. Всё, как обычно у часовщиков – стены в часах: с маятниками, без маятников, в деревянных корпусах, пластмассовых, с кукушками, гириками. Несколько старых столов и таких же старых тумбочек, заставлен-

ный какой-то мелочью. В самом углу два тёмных кресла, журнальный стол. Статуэтки, брелки, значки, старинные открытки. Посредине комнаты узкий проход, ширма.

– Я ждал, что вы ко мне заглянете, – сказал Валентин.

Рылов сокрушённо пожал плечами.

– А у меня к вам разговор. Садитесь вот сюда. Чай?

– Не беспокойтесь.

– Погода мерзкая.

Абрамов скрылся за ширмой. Было слышно, как он стучит посудой. На оконном стекле была нарисована жар-птица с репродукции Билибина и с двух сторон крупная надпись: «ремонт часов». За окном шли люди. Чашки, сахарница, блюдца были из немецкого фарфора, но из разных сервизов. Чайные ложки из потемневшего серебра. В каждом движении Абрамова ощущалась заботливость. Рылов, поддавшись этой заботливости, аккуратно поставил палку к креслу, освобождая руки для немецкого фарфора.

– Я слышал, вы без пяти минут директор музея, – сказал Валентин.

– Да. Это вышло неожиданно. Я даже не совсем понимаю, что с этим делать.

– Я так и думал.

– Почему? – удивился Рылов.

– Что вы знаете о его сотрудниках?

– Ничего.

– Ну, может быть, обо всех сотрудниках и не надо знать всё, но кое о ком... не мешало бы.

– Почему вас это беспокоит? – спросил Рылов.

– Беспокоит? Совсем не беспокоит, – Абрамов погладил пальцем чашку.

– А вы с кем-то знакомы из музея? – спросил Рылов.

– Некоторых знает весь город.

– Вы имеете в виду кандидата наук?

– Смотрите, – Абрамов потянулся к столу напротив и взял в руки фаянсовую статуэтку. – Первокласник. Такие выпускали в пятидесятые, шестидесятые годы. Мне подарила одна бабулька, а я бесплатно отремонтировал ей часы.

Рылов взял статуэтку и повертел в руке. Потом поставил возле сахарницы.

– У меня у самого такая была – не помню, куда делась, – сказал он.

– Да они в каждом доме были. Массовое производство. Но пройдите сейчас по квартирам – все скажут, куда-то делась. Массовое копеечное производство никто не бережёт.

– Ну да. Вы знаете, с картинами происходит что-то подобное. Сколько написано хороших советских картин. Передовики, строители, доярки, пионеры – это же всё куда-то денется, как ваш первокласник.

– Не всё. В том-то и дело, что не всё. Останется ровно столько, сколько нужно, чтобы иметь стоимость. Поэтому мечта любого коллекционера – обладать единственным экземпляром.

– Да, но при чём тут музейные работники? – спросил Рылов.

– Вы, может, думаете, что они не имеют никакого отношения к коллекционированию?

– В музее есть ценные экспонаты? – спросил Рылов.

– Конечно, есть, и как только что-то попадает в музей, оно становится недоступным коллекционерам. У вещи появляется паспорт и прописка. Ну? Вы понимаете? На том, чтобы вещь не засветилась, можно хорошо заработать. Вы слышали что-нибудь о чёрных археологах?

– Вы хотите сказать, что в музее проделывают эти фокусы?

– Проделывают. Ещё и как.

У часовщика были такие чистые залысины, что они блестели, как стекло.

– Почему вы решили мне об этом рассказать? – спросил Рылов. Он весь ослаб. Обычно так бывало, когда поднимался в крови сахар или наворачивалось какое-нибудь беспокойство. Чашка в руке раскачивалась, и Пётр Андреевич поставил её на стол.

– Я не хочу, чтобы Згурский втянул вас в свои махинации.

- А почему вы этого не хотите?
- Потому что Згурский... он сам ничего не коллекционирует, он спекулянт.
- А мне говорили – он кандидат наук.

– Брошюрки, трипольская культура, бронзовые наконечники, черепочки. Кто там, в степи, проследит, что он выкопал на самом деле.

Абрамов усмехнулся каким-то злобным оскалом.

Рылов вышел на улицу и решил, что он никогда не будет ходить мимо этой мастерской. К обе-
ду возвратился домой.

– Ты представляешь, Наталья Ароновна повезла свою кошку в Харьков. Она хочет забрать её с собой в Израиль. Для этого надо сделать все прививки и оформить на кошку документы, – сказала Дуся.

- Наверно, кошкам в Израиле тоже платят хорошие пенсии, – хмуро сказал Пётр Андреевич.
- Я сегодня отправила письмо Шаповаловым.
- И о чём ты им написала?
- Что, возможно, мы приедем.
- Вот как!

Ели молча и потом до самого вечера почти не говорили. Стемнело рано. Перед тем, как за-
дёрнуть шторы, Рылов смотрел на горизонт. Трудно было поверить, что там, за толщей облаков,
только что село солнце. Пейзаж погружался, как в воду, в буро-синюю мглу.

– Дуся, тебе не кажется, что осень здесь очень длинная. Помнишь, в Магадане – не успеет
кустарник побагроветь, как уже сыпется снег. И вообще, в Магадане мы были молоды. Может, в
этом всё дело?

- Конечно, в этом.
- Значит, время важнее места. И вот что обидно – место мы выбираем, а время не выберешь.
- Петя, не разъедай себя.
- Кажется, пошёл дождь. Говорят, здесь тоже бывают грибы, представляешь. Говорят, можно
пойти в ближайшую посадку и насобирать грибов.

- Теперь ты занятый человек.
- Да. Завтра в десять собрание.

Перед собранием Рылов пришёл в исполком к Журавлёвой.

– Пётр Андреевич, я хотела сама представить вас коллективу музея, но через час приезжает
делегация из Котбуса, поэтому вместо меня с вами сходит Юра. Вы не возражаете?

От исполкома до музея было минут пятнадцать ходьбы. Юра был в кожаной куртке, кожа-
ных перчатках и туфлях с острым носком. Он аккуратно обходил грязь и лужи. Рылов посмотрел
на него сбоку и увидел на виске крупную выпуклую родинку, которую раньше не замечал. Юра
улыбнулся.

В музее был небольшой актовый зал с крошечной сценой. На заднике портрет Шевченко со
строкой из «Заповита». Два узких окна выходили во двор. На газоне стояли скифские бабы и
лежало мельничное колесо. Сотрудников собралось человек двенадцать. Некоторых Рылов уже
знал: Згурского, Звягинцева. Згурский был похож на Некрасова. Носить такую бороду мог толь-
ко очень самоуверенный человек. Он был лет на пять моложе Рылова, но борода превращала
его в старика. К тому же он был медлителен, шаркал ногами, полы пиджака висели до самых
колен. У Звягинцева очки с толстыми линзами. Подслеповатость, наоборот, лишала его всякой
уверенности. Оба были старшими научными сотрудниками. Остальные – младшими. Был техни-
ческий персонал. В основном все женщины. Юра поулыбался всем, потом сделал серьёзное лицо
и сказал, что Рылов Пётр Андреевич будет исполнять обязанности директора. Пожелал успехов и
ушёл. Следом встал и пошёл в свой кабинет Згурский. Минут через пятнадцать Рылов постучался
и вошёл к Згурскому. Згурский поднял глаза, откинулся на спинку стула. Если бы он был в жилете,
легко представить, как он вставил бы в карманы жилетки пальцы.

- Пётр Андреевич, или как там вас, я противник того, чтобы вы были директором музея.
- Я тоже не в восторге от такого подарка судьбы.

– Так в чём же дело, что вам мешает отказаться?

– Судьба и мешает.

– Бросьте, вы верите в судьбу? Мне всё равно. Я вам объясню, почему я против вас. Ничего личного. Просто я считаю, что директором краеведческого музея может быть только человек, связанный с этим краем и хорошо его изучивший. Вы варяг.

– В таком случае, что вам мешает быть директором? С меня достаточно было бы должности сторожа.

– Я не могу быть директором. Во-первых, я занимаюсь научной работой, во-вторых, сезон раскопок длится несколько месяцев. Вы видите эту вазу? Это ваза древних финикийцев. Мы нашли её недалеко от Саур-Могилы. А вот на этой полке мои книги.

– Замечательно. Тогда, может, вы знаете, кто должен быть директором?

– Я знаю, что не вы.

– Понятно, – сказал Рылов и вышел.

Кабинет директора был необжитой. Никаких признаков прежнего хозяина. Не было даже случайного листка бумаги с его почерком, не говоря уж о завалявшейся ручке, календарике или упаковке от валидола. Тем более не было стоптанных туфель, халата, очков без дужки, посуды. Не было герани или столетника на подоконнике. Вошла младший научный сотрудник Литвинова и спросила, можно ли ей, как и раньше, приходить на работу на девять часов.

– Конечно, – ответил Рылов, не задумываясь. – Вы не могли бы позвать ко мне Звягинцева.

– Сейчас позову, – сказала Литвинова, не спуская с Рылова глаз.

Пришёл Звягинцев. Линзы очков были настолько выпуклыми, что глаза в них становились похожи на яичницу.

– Вы тоже думаете, как Згурский? – спросил Рылов.

– А как думает Згурский? – спросил Звягинцев.

– Вы не знаете, как думает Згурский? – улыбнулся Рылов.

– Я не знаю, как думает Згурский, – улыбнулся Звягинцев.

– Зато я уже знаю. Он думает, что директором краеведческого музея может быть только краевед.

– Мало ли кто из нас что думает, – ответил Звягинцев.

– Но Згурский человек в городе авторитетный.

– Наш музей основала Гофман Лариса Абрамовна чуть ли не в собственной квартире, и он долго оставался на общественных началах.

– Где она сейчас?

– Её уже нет.

– А кто был директором до меня?

– Грачёв Александр Павлович. Пенсионер. До музея он был директором кинотеатра «Мир».

– Долго он был директором музея?

– Года три. У него большое сердце. Два инфаркта.

Рылову показалось, что он услышал запах валерьянки.

– Так вы говорите, мнение Згурского ничего не значит?

– Смотря о чём. Если речь идёт о трипольской культуре – в этом он специалист.

– Вы же знаете, для чего я здесь?

– Слышал. У вас коллекция картин?

– Как вы думаете, реально в картохранилище сделать художественную экспозицию?

– Если захочет мэр.

– Послушайте, а этот, Грачёв Александр Павлович, чем он занимался в этом кабинете?

– Спал.

– Прямо на стуле?

– Нет. В том углу стояло кресло. Его кто-то забрал.

- Как прошло собрание? – спросила Дуся.
- Помнишь, во дворе музея лежит каменное колесо? Так вот, это жернов и ему четыре тысячи лет.
- Кто это знает, сколько ему лет? – сказала Дуся.
- Специалисты. В музее есть очень хороший специалист по древним жерновам.

Рылов выполнял данное себе слово и обходил часовую мастерскую по другой стороне улицы. Невольно он смотрел на окно с жар-птицей. Ярко горели на стекле золотистые перья. Рылов увидел, как в двери мастерской вошёл Згурский. Перепутать Згурского нельзя. Бородка, стариковская сутулость и запрокинутая назад голова, как у селезня. Он вошёл в мастерскую уверенно и даже привычно. Рылов от неожиданности остановился. Девушка сзади едва успела сделать шаг в сторону. Она зацепила Рылова локтем и оглянулась. Лицо у неё красивое, но надменное, как у царицы. Понятно, Згурский и этот часовщик хорошо знакомы. Какого чёрта он валял со мной дурака, подумал Рылов, что они от меня хотят? У этих местных есть преимущество. Но я же ничего не собираюсь у них отнять. Дуся написала Шаповаловым. Если Дуся написала Шаповаловым, значит, она почувствовала. Дуся, Дуся... Рылов думал, медленно двигаясь по тротуару. Как могло прийти им в голову приехать сюда, где их никто не знает? Почему они думали, что они кому-нибудь нужны со своими картинами? Они же не дети. А что если взять и войти в мастерскую. Что они там делают? И что будут говорить, увидев меня? Мастерская осталась за спиной. Чтобы увидеть ещё раз жар-птицу, нужно оглянуться. Рылов не оглядывался. Неожиданно для себя он оказался на центральной площади. Зашёл в здание исполкома, поднялся на пятый этаж в отдел культуры. Журавлёвой не было. Рылов нашёл Юру. Юра в бухгалтерии пил чай. Он стоял, опёршись задом о подоконник. Улыбался, что-то рассказывая. В бухгалтерии было несколько столов, несколько женщин. Из чашки шёл пар, и одеты были все в тёплое. На Юре белый свитер с серыми ромбами. Рылов поздоровался.

- Юра, можно с вами поговорить?

Они зашли в кабинет специалиста первой категории. Очень маленькая комнатка со столом и кипами папок. Рылов сел. Юра протиснулся вдоль стены к столу. Взял на столе лист бумаги, посмотрел, что на нём написано, и подложил листок под чашку с чаем.

- Вникаете? – спросил он.

– Вникаю.

– Что скажете?

– Где Журавлёва?

– Уехала в Донецк. Зачем вам она?

Рылов посмотрел на Юру долгим взглядом.

– Не знаю, как вам сказать. Мне не нравится вся эта история.

– Какая? – удивился Юра.

– Что мы с вами затеяли.

– Мы ничего не затевали.

– Да, это правда. Вы ничего не затевали. Это всё мы с Дусей. Но теперь мне это не нравится.

– Вы передумали дарить картины?

– Причём тут картины.

– Кстати, вы обратили внимание, что никто, ни разу не спросил, откуда у вас столько картин?

– Почему? Многие спрашивали.

– Многие, да не те.

– Что вы имеете в виду?

– Пётр Андреевич, я сразу заметил, что вы хотите выдать себя за простака, а ведь коллекционеры простаками не бывают.

– Вы подтвердили мои самые горькие сомнения, – сказал Рылов и ушёл.

Вечером к Рыловым пришла Наталья Ароновна. Пришла по-домашнему в халате. Сели пить чай. Перед чаем Рылов налил по рюмке коньяка. Коньяк ему попался в магазине случайно. Обсудили свойство коньяка расширять сосуды. Потом поговорили о погоде. В Израиле в домах нет центрального отопления, и их плюс двенадцать хуже наших морозов.

– Вы знали Гофман Ларису Абрамовну? – спросил Рылов.

– А как же. Она преподавала русский язык и литературу. Правда, в одной школе мы с нею никогда не работали. Вам что-то о ней рассказывали?

– Говорят, она была организатором и первым директором музея.

– Да.

– Как это у неё получилось?

– Тогда было другое время, было больше порядка. Нельзя сравнивать.

– Оказывается, имеет значение, что ты чужак, – сказал Рылов.

– А как же. Гофман весь город знал. У вас тоже всё получится.

– Надеемся, – сказала Дуся.

– У вас всё получится. Я бы никогда не уехала из Алексеевска, если бы это не было нужно Волюде или если бы был жив Лёня. Кто теперь присмотрит тут за его могилой? Я иногда думаю – не лучше ли умереть, чтобы меня похоронили рядом.

– Господь с вами, – махнула рукой Дуся.

– Мне кажется, он бы не одобрил, что я уезжаю, – сказала Наталья Ароновна.

– Откуда это можно теперь знать, – сказала Дуся.

– Лёни нет три года, а я продолжаю жить, как будто он есть. Разговариваю с ним. Готовлю, как раньше, на двоих. Мне кажется – он смотрит вместе со мной телевизор. Я даже слышу, что он возмущается какой-нибудь программой. Не могу вам пожелать ничего лучшего, как умереть в один день. Только пусть это произойдёт лет через пятьдесят.

– Слышишь, Дуся, пятьдесят лет! Что мы будем делать в Алексеевске пятьдесят лет?

– Добиваться помещения для картин, – сказала Дуся.

– Первые годы музеев был по Советской в помещении бывшей типографии. А начинался он из одного единственного экспоната, – сказала Наталья Ароновна.

– Из мельничного колеса четвёртого тысячелетия до нашей эры, – сказал Рылов.

– С чего вы взяли? Нет. Это был огромный омар.

– Омар? – удивилась Дуся.

– Да. Бывший ученик Гофман стал капитаном дальнего плавания и, как-то, на очередную встречу выпускников привёз омара. Я не знаю, какие омары на самом деле, но этот был красного цвета и величиной с хороший веник. Сначала он висел в ящике под стеклом в учительской, а когда возник музей – перекочевал туда.

– Петя, мы не видели никакого омара, – сказала Дуся.

– Может, он уже рассыпался? – сказала Наталья Ароновна.

– Надо расспросить у сотрудников, – сказал Рылов.

– Как вас встретили в музее? – спросила Наталья Ароновна.

– Я же вам говорю – чужаков не любят, – сказал Пётр Андреевич.

– Это на первых порах. Потом все поймут, кто вы на самом деле, – сказала Наталья Ароновна.

– Большинству, как всегда, всё равно, но есть отдельные экземпляры... – сказал Рылов.

– Я даже знаю, кого вы имеете в виду. У Згурского репутация тяжёлого человека. В десятой школе от него еле избавились, – сказала Наталья Ароновна.

– Как вы догадались?

– Ну, кто не знает Згурского.

– Говорят, он хороший специалист, – сказал Рылов.

– Если бы он не лез не в свои дела.

– В какие дела? – спросила Дуся.

– У него есть манера всех контролировать, за всеми следить. Вы не обращайтесь на него внимания. В конце концов, что он вам? Пусть занимается своими черепками. Люди будут на вашей стороне.

– Люди, люди... – Рылов потянулся к коньяку.

– В Челябинске я работала в большом книжном магазине. Однажды вошёл молодой человек и начал листать художественные альбомы, монографии по искусству. Долго листал. А там были дорогие издания. В конце концов, выбрал копеечный набор открыток и подошёл к кассе. Его руки так воняли селёдкой. Он перепачкал ими все книги. Я готова была его убить. Позже мы познакомились. Помнишь, Петя? Он оказался замечательным художником. У нас есть его картина. Так что судить о людях сложно. Бывает масса недоразумений, – сказала Дуся.

– Вы правы, – согласилась Наталья Ароновна.

– Ты поставил меня в невыгодное положение, – сказала Дуся, когда Наталья Ароновна ушла.

– Чем? – спросил Рылов.

– Ты занимаешься своими картинами, а мне остаётся только переживать. У Шаповаловых свободная дача, – сказала Дуся.

– Ты думаешь, в Алексеевске у нас ничего не получится?

– Всё гораздо сложнее, чем мы с тобой думали. Даже художники о нас забыли. Даже Саша не приходит.

– Надо же, лёгок на помине, – сказал Рылов.

В кабинет вошёл Саша. На нём была огромная шапка из какого-то длинношёрстного меха. В ней он был похож на абрека. Саша сел и положил шапку рядом. Она заняла весь стул, словно маленький медвежонок.

– Вчера мы с Дусей вспоминали о тебе.

– Не злым, тихим словом?

– Конечно. Отчего нам на тебя злиться? Забыл, конечно, стариков, но с молодыми это случается.

– Что тут у вас? – Саша обвёл кабинет взглядом.

– Вот, – неопределённо сказал Рылов.

– Значит, остановились на картоохранилище?

– Да.

– Сарай.

– Приведём в порядок. Как дела у тебя?

– У меня – замечательно.

– Ну-ну, расскажи.

– Пишу.

– Действительно, замечательно.

– Две работы взяли на областную выставку.

– Я их видел?

– Нет, из новых.

– Поздравляю.

– Вы думаете, из этого сарая что-нибудь получится?

– Надеюсь, – сказал Рылов.

– Алексеевск дыра, – сказал Саша.

Рылов промолчал. В кабинет вошёл Звягинцев. Пуговицы на его кофте были застёгнуты так, что полы не совпадали. Он поздоровался с Сашей за руку.

– Я к вам, – сказал Звягинцев, обращаясь к Рылову. – Меня попросили подготовить для редакции материал о первой городской электростанции.

– Готовьте, – Рылов пожал плечами. Хотел сказать о неправильно застёгнутых пуговицах, но промолчал. Звягинцев ушёл.

- Вам это интересно? – спросил Саша.
- Это нужно для картинной галереи, – ответил Рылов. – Я понял, что кроме меня заниматься ею никто не будет.
- Художник должен писать. Вы согласны? – сказал Саша.
- Да.
- Саша нахлобучил на себя шапку. Глаза пропали за космами шерсти, и он снова стал похож на абрека.
- Заходи, мы всегда тебе рады, – сказал вдогонку Рылов.

В декабре Рылов получил повестку из прокуратуры. Думал, что Дуся скажет: «Я тебе говорила». Но она ничего такого не сказала. Кто же знал, что дело дойдёт до прокуратуры? Даже Дуся такого не знала. В старой чёрной куртке и ондатровой шапке Рылов не был похож на барина. Только жёлтая палка бросалась в глаза.

- Надень шарф, на улице ветер, – сказала Дуся.
- Хорошо.
- Это он написал в прокуратуру? – спросила Дуся.
- Конечно.
- Что ему нужно?
- Этого я не знаю.
- Я пойду с тобой.
- Не выдумывай.

Особняк, в котором размещалась городская прокуратура, был похож на маленький дворец. По бокам фасад особняка заканчивался полукруглыми башнями с остроконечными крышами. На шпилях крыш когда-то были флюгера. Теперь на одном из них висел государственный флаг. Дежурный взял повестку, рассмотрел паспорт, вложил повестку в паспорт и, возвращая, кивнул головой вдоль коридора. Рылов нашёл комнату, на двери которой стояла цифра шесть. Шестёрка. Да ладно, чёрт с ней. Постучал и вошёл. За столом у окна сидел молодой человек. Рылов прошёл к столу и протянул повестку.

- Пётр Андреевич... – молодой человек сделал паузу, – вы в курсе, зачем мы вас вызвали?
- Нет, – сказал Рылов и демонстративно отвернулся к окну.
- И даже не догадываетесь? – спросил молодой человек.
- Я не гадалка.
- Меня зовут Моршин Сергей Николаевич.
- Это я знаю из повестки.

Сергей Николаевич посмотрел на повестку и улыбнулся.

– Мы сделаем так: я ни о чём не буду вас спрашивать. Я только расскажу вам, как я понимаю ситуацию, а вы мне скажите, правильно я её понимаю или нет. Итак, вы пришли в новый коллектив руководителем. Коллективу это почему-то не понравилось, и они решили от вас избавиться. Так?

- Во-первых, я ещё не пришёл. Я только исполняю обязанности. Во-вторых, вряд ли можно говорить о коллективе.
- Тогда скажите прямо, что вы не поделили с Згурским?
- Наверно, должность. Наверно он хотел быть директором.
- А вы перешли дорогу?
- Ничего я не переходил. Просто он ждал, что его будут уговаривать.
- А вы знаете, в чём он вас обвиняет?
- Нет.
- Он пишет, что с вашим приходом из фондов музея исчезло несколько ценных экспонатов.
- Пусть поищет их у себя.
- Значит, вы подтверждаете, что экспонаты исчезли?

– Я не знаю, были ли они вообще, потому что я лишь исполняю обязанности, и никакой инвентаризации не было. Суть моего назначения в другом, я хочу передать музею свою коллекцию картин. Нужно подготовить помещение, которое находится на территории музея. Этим я и намерен заниматься. Кстати, это не моя идея.

– А чья?

– Мэра, Олега Владимировича. На второй квартал будущего года намечен капитальный ремонт бывшего картохранилища. В нём и разместятся картины. Пусть Згурский занимается своими раскопками, а не клеветой.

– Можно посмотреть на вашу коллекцию картин?

– Вы хотите придти с обыском?

– Просто я когда-то неплохо рисовал. Даже занимался в изобразительной школе.

– Что вы говорите! А вот Яблонская утверждает, что она никогда хорошо не рисовала.

Сергей Николаевич не знал, кто такая Яблонская. Он посмотрел на наручные часы, написал время в повестке и расписался. Повестку протянул Рылову.

– Так когда к вам можно зайти?

– С обыском?

– У вас телефон есть?

– Нет.

– Жаль. До свидания.

Рылов вышел на улицу в бешеной растерянности. Он готов был броситься выяснять, спорить, доказывать. Но кому? Мэру, Згурскому, Дусе? Нет. Рылов пошёл к Журавлёвой. Постучался. Вошёл. Журавлёва писала. На секунду подняла глаза, сказала: «Здравствуйте». Рылов сел. Журавлёва писала. Он молчал. Она писала.

– Что вы всё пишете? – сказал Рылов.

– У меня много дел, – не отрываясь от бумаги, сказала она.

– На кой чёрт вам эти дела?

– Я вас не понимаю.

– Вы ещё молодая женщина.

– Это комплимент?

– Какой к чёрту комплимент. Мне не до комплиментов.

– Что вы расчертыхались? Что-то случилось?

– Да.

– Это меня касается?

– Думаю, что нет.

Журавлёва сложила на столе руки и подняла голову.

– Так зачем же вы пришли?

– Не знаю.

– Станный вы человек. Кажется, добились всего, чего хотели. Что вам ещё надо?

– Вы давно знаете Згурского?

– Давно. Он хороший учёный. Я не могу представить наш музей без него.

– Тогда объясните мне, почему Олег Владимирович не захотел, чтобы он стал директором музея?

– Потому что у Згурского сложный характер.

– Вы тоже так считаете?

– Как?

– Что у Згурского сложный характер?

– Для меня это не имеет значения. Я умею ладить с людьми.

– А Олег Владимирович не умеет?

– Я его решения не обсуждаю. Назначил вас – ради бога. Вы оторвали меня от дела.

– Вы даже не нашли время посмотреть коллекцию.

– В чём вы меня обвиняете? Вы думаете, что ваша коллекция – это всё, чем должен заниматься отдел культуры?

– Где вы работали до культуры?

– Какая вам разница?

– Всё-таки?

– Я была вторым секретарём горкома комсомола.

– У-у, – прогудел Рылов.

– Что у-у?

– Нет, ничего. Вы знаете, что ваш Згурский – подлец?

– Выбирайте слова.

– Я всегда выбираю слова.

Рылов вышел с чувством, как будто он сделал дело: вынес мусор или закрыл форточку. Сделал. Сделал и успокоился. Потом он решил, что надо пойти домой. Дуся ждёт, волнуется. Нет, дома её не оказалось. Наверно, у Натальи Ароновны. Рылов подумал и никуда больше не пошёл. В окно был виден ёлочный базар. Без снега на мокром грязном асфальте верхушки спиленных сосен выглядели странно. Надо было напрячь воображение, чтобы связать это зрелище с приближением Нового года. Самые лучшие Новые годы были в Магадане после знакомства с Дусей. Почему-то с тех пор запомнилась совсем не новогодняя песня, которую они слушали в доме у Леонида Марковича в новогодний вечер: «Летят перелётные птицы». «...Не нужен нам берег турецкий, Болгария нам не нужна...». В Магадане отказаться от Болгарии было круто. Рылов вдруг подумал, что наступающий Новый год они будут встречать в Алексеевске в этой квартире. Огляделся. Конечно, надо купить маленькую сосновую верхушку. Хорошо бы с несколькими шишками, чтобы пахла. Обычно говорят, что ставят ёлку для детей. Врут. Это же как надо опуститься, чтобы Новый год был без ёлки. Пришла Дуся.

– Дуся, где мы с тобой поставим ёлку?

– Ты меня напугал.

– Не ждала, что я вернусь? Может, уже и сухари насушила?

– Я так переживала, что не могла сидеть дома одна и думать об этом. У мыслей нет никаких разумных границ.

– От большинства мыслей и пользы никакой. Давай лучше подумаем, где поставить ёлку.

– Здесь её можно только подвесить к потолку, как люстру. Что тебе сказали в прокуратуре?

– К нам могут прийти с обыском. Ёлка вместо люстры, я думаю, произведёт впечатление.

– Что ты такое говоришь?

– Я тебе открою один секрет: для местных мы с тобой заезжие аферисты. Ездим по городам и ворует книги, картины и всё, что придётся. Из музея уже исчезло несколько экспонатов и понятно, кто их взял.

– Я сама пойду к мэру, – сказала Дуся.

– Что же ты с первого дня не водила меня за руку?

– Не паясничай.

– Дуся, мне не хочется жить.

– Вот уж сразу? Петя, так нельзя.

– Мне кажется, ты терпишь меня, а это невыносимо.

– Хорошо, пусть я буду виновата, только успокойся.

– Ты не виновата, это я виноват перед тобой. Если бы не я, у тебя был бы свой дом, дача, как у Шаповаловых. Может, и дети были.

– Причём тут одно к другому? Перестань, Петя, не по-мужски.

– Вот, вот. Из нас двоих скорее ты мужчина, чем я. Думаешь, мне это приятно?

– Думаешь, мне приятно быть мужчиной? Ты хочешь моих слёз? Хочешь, чтобы я сейчас разревелась?

– Боже упаси.

– Поздно.

Дуся скривилась, сразу превратившись в старую еврейку, закрыла глаза. Из-под век выбежали два ручейка. Одни капли устремлялись вниз, другие растекались по ресницам.

На следующий день Рылов узнал, что ограбили мастерскую по ремонту часов. Утром он шёл, как обычно, по противоположной стороне улицы и увидел, что возле мастерской стоит милицeйская машина. Несколько человек что-то обсуждали, останавливались любопытные. Одним словом, явно что-то произошло. И уже на работе Рылову сказали, что в мастерскую ворвались грабители. Звучало ужасно, даже неправдоподобно. Такое бывает только в кино. В каком-нибудь западном кино. Чаще французском или итальянском. В Алексеевске – грабители. Не мог же мир перевернуться. Хотя, когда живёшь долго или, тем более, очень долго, случается, что мир переворачивается. За день Рылов слышал несколько версий случившегося. Ему не терпелось оказаться дома и рассказать Дусе. Придя домой, он решил, что расскажет за столом, чтобы не получилось успех. Но не успел раздеться, как Дуся сама сказала ему о нападении на Абрамова.

– Кто тебе рассказал? – удивился Рылов.

– Весь город говорит. Как ты думаешь, это правда, что его пытали? – спросила Дуся, взявшись за щеку, словно от зубной боли.

– Ну, что ты. Конечно, враньё. Может, ударили пару раз.

– Ты его не видел?

– Сегодня – нет.

– Так откуда ты знаешь, что враньё, почему ты так уверен?

– Сама подумай – это же не Чикаго.

– Господи, изверги везде бывают.

– Нет, Дуся, не преувеличивай.

– А я слышала, что пытали.

– Зачем?

– Что-то искали. Говорят, у какой-то вдовы выманил награды мужа. А ведь он был у нас, – сказала Дуся, округлив глаза.

– Ну и что?

– Мне страшно.

– Дуся, нас это не касается.

– Ты так думаешь?

– Уверен.

– Давай уедем на Новый год к Шаповаловым. Петя, давай уедем совсем.

– Куда?

– Сначала к Шаповаловым, а потом решим.

Рылов молчал. Он сделал укол, выпил стакан воды и сидел в кресле, похожий на Меньшикова в ссылке. Дуся присела на подлокотник, обняла мужа за шею.

– Как ты думаешь, нам не повезло? – спросил Рылов. Она прижалась к его голове. – Если не повезло – всё это чепуха. Можно попробовать в другом месте.

– Сходи к мэру.

– Если не повезло, можно попробовать в другом городе. Не всегда же мэры бывают завгарами, не везде же коммунальный фонд загружен на сто двадцать процентов, и в отделе культуры не обязательно должны работать одни бывшие комсомольские работники. Из Алексеевска уехали евреи.

– Ты опять о евреях.

– Помнишь Зорина? Он ведь стопроцентный еврей. Я ни от кого не слышал столько анекдотов про евреев, как от него. Неужели он, в самом деле, стеснялся, что он еврей? Что же это у нас за страна такая! Почему у нас стыдно быть воспитанным и образованным? Почему у нас уважают не

за скромность, а за хамство? Почему мэр не стесняется своего невежества, почему завгаром быть прилично, а на какого-нибудь скрипача тычут пальцем?

- Не надо мне задавать этих вопросов.
- Давай уедем в Израиль.
- С картинами нас не выпустят.
- Идиотизм. Здесь они никому не нужны, а уехать с ними нельзя.
- Сходи к мэру – пусть он поставит этого Згурского на место.
- Какая теперь разница – ты же собралась уезжать к Шаповаловым. В городе скажут: «удрали аферисты».

- В Барнауле уже лежит снег. А ты помнишь, какой там воздух в горах.
- На даче придётся каждый день топить печь.
- И чистить от снега дорожки.
- Помнишь, у них слева от камина висит наша картина.
- Давай пошлём этот Алексеевск к чёртовой матери.
- Ты обещал, что это последний наш город.
- Зачем же ты писала Шаповаловым?
- А вдруг тебя захотят здесь посадить?
- Не мели ерунду, – Рылов дёрнулся, как от ожога.
- Сходи к мэру, я тебя прошу.
- Во вторник аппаратное совещание – мы и так увидимся.

Собрались в малом зале. На Журавлёвой была узкая чёрная юбка и белая блузка с пышным жабо. Она постаралась не встретиться с Рыловым взглядами. Он сел подальше. Вошёл мэр. Хмурый. Сразу закурил. Издали Рылов не видел его глаз, но ему показалось, что они красные. Мэр с подчинёнными разговаривал грубо. Матерился, не обращая внимания на женщин. Начальница финотдела тоже не стеснялась. Всё в городе плохо. К зиме ничего не готово, никому ничего не надо. Пётр Андреевич думал, что он сидит незамеченный, но, когда стали расходиться, мэр сказал:

- Пётр Андреевич, останься.

Рылов подошёл. Вокруг ещё ходили, над мэром склонился управляющий делами, чей-то бухгалтер ждала подписи.

- Пётр Андреевич, что случилось?

Рылов молчал, как провинившийся школьник.

- Я спрашиваю, что за хуйня? – мэр поднял голову.

- В каком смысле? – спросил Рылов.

– Что за хуйня у вас там, в музее? Я для чего назначил тебя директором, чтобы из музея пропадали экспонаты?

- Это враньё, – чуть не поперхнувшись от сухости во рту, сказал Рылов.

– Не знаю, – сказал Олег Владимирович. Он ещё раз посмотрел на Рылова. Глаза действительно были красные, как от простуды или водки. – Почему ты не пришёл ко мне и не сказал, что у вас с Згурским конфликт?

- Да, вроде, не было никакого конфликта, – пожал плечами Рылов.

- Ты в прокуратуре был? – спросил Олег Владимирович.

Управляющий делами уставился на Рылова, и бухгалтер, ждавшая подпись, тоже, и те, кто не успел выйти из зала, оглянулись.

- Был.

- Ну, и что?

- Ничего. Я им всё объяснил.

- Что?

- Всё враньё. Вы должны были меня предупредить.

– О чём? Что нельзя воровать?

Пётр Андреевич наклонил голову, как бык. Из горла сначала выдавился хрип и только потом он смог произнести:

– Что Згурский подлец.

– Ладно. Придётся с ним ко мне.

Мэр читал платёжку. Рылов постоял с минуту и, догадавшись, что разговор закончен, ушёл. Ужасно хотелось пить. Руки тряслись так, что он с трудом оделся. Хотел идти в музей, но понял, что болен, что может свалиться посреди улицы. Дуся застала его дома на тахте. Он тяжело дышал с хриплым присвистом.

– Петя!

Она побежала к Наталье Ароновне и вызвала скорую. Сделали укол. Пётр Андреевич уснул. Дуся и Наталья Ароновна пили на кухне чай.

В конце января настали холода, но снега было мало. Его утоптали. К подъезду подъехала машина с двумя железнодорожными контейнерами. Вокруг неё началась возня. Мужики выносили из дома связки книг, картин, коробки и укладывали в контейнеры. Рылов в старых обвисших штанах, в старой куртке, подхватывая трость под мышку, пытался помочь рабочим. Он был без шапки. Седые длинные волосы раздувал морозный ветер.

– Простудится, старый чёрт, – выглядывая в кухонное окно, сказала Дуся. Она с Натальей Ароновной упаковывала в коробку что-то из посуды.

Рылов был похож на старца, спасавшего от пожара имущество храма. Он поднялся в квартиру. Щёки красные. За окном срывался мелкий снежок.

– Вот видите, Наталья Ароновна, мы уезжаем раньше.

– В Израиле сейчас холодно. Я подожду весны.

– Там ваша кошка на лестничной площадке.

– Вот, гадина, выскочила.

Наталья Ароновна заторопилась спасать кошку.

– Никуда она не уедет, – сказала Дуся. – Скорее умрёт.

– Почему?

– Это мы с тобой перелётные птицы.

– Не порвите холст, я вас умоляю.

– Не волнуйся, папаша.

– Как ты думаешь, поместится всё в два контейнера? – спросил Рылов.

– Всегда помещалось, – ответила Дуся.

– У нас стало на три картины больше, – сказал Рылов.

– Никто из художников не пришёл, – сказала Дуся.

– Бог с ними.

– Папаша, иди посмотри, в третий ряд ставить?

Рылов направился вниз. Мимо машины шёл прохожий.

– Что грузим? – спросил он.

Худой грузчик, убегая в подъезд, крикнул:

– Хлам.

Иван МАКАРОВ

МУЗЫКА

Рассказ

De la music avant toute chose...

(Музыка прежде всего...)

А. Рембо, кажется

Группа туристов из Америки осматривала все, что положено осматривать в нашей древней столице. Красная площадь, Кремль, два царя – Пушка и Колокол, памятник Минину и Пожарскому, Лобное место, разрушенная и вновь выстроенная Иверская часовня. Александровский сад и Манеж... Скульптурная группа Церетели, с толстым медведем, совершенно неприлично повернутым жирным задом к Кремлю...

Сияющая утренней свежестью столица приветливо встречала гостей.

Университет, памятник Ломоносову, Никитская (бывшая Герцена) улица.

Консерватория.

У Консерватории американские пенсионерки показали на памятник и спросили человека в форме охранника:

– Рахманинов?

– Нет, – удивился он. – Чайковский.

Это можно понять. Рахманинов жил у них в Штатах, а кто такой Чайковский, они имели полное право не знать.

Эту похожую на анекдот историю рассказал мне Борис Петрович Пирогов, он сам и был там в форме охранника, и утверждал, что это совершенная правда.

Хоть он и был в форме охранника, на самом деле он работал мастером-электриком в стоящем рядом кафе из группы «Кофемания», просто другой спецодежды для него не нашлось.

Недавно Борис Петрович умер, ушел от нас, и мне кажется необходимым рассказать, что я знаю о его последних днях, которые мы провели вместе, в одном медучреждении, в одной палате, а заодно и вообще о том, что происходило тогда вокруг и рядом.

Стояла осень, приближалась зима, лес за окном потихоньку желтел, и это меня огорчало, хотя пока все было как бы в порядке, и даже на улицу нас не пускали, то есть не то хорошо, что не пускали, просто пожелтения листьев я вблизи не видел

...Я лежал в 34-м отделении 17-й клинической наркологической больницы (филиал) уже несколько дней, меня перевели в корпус «В» («выздоровливающие»), в палату № 6. Я там однажды уже и прежде бывал, но это так, к слову.

И вот к нам перевели из корпуса «А» («надзорного») Бориса Петровича, а с ним еще одного мужика по имени Володя.

Иван Макаров родился в 1957 году в Москве. Окончил химико-технологический институт и заочно Литинститут им. Горького. Работал инженером, слесарем, дворником, сторожем и т.д. Публиковался в журналах и альманахах «Новый мир», «Согласие», «Знамя», «Юность», «Поэзия», «День поэзии», «Плавучий мост», «Крещатик», «Топос» и др. В 2006 году вышла книга стихов. Живет в Калужской области. В «Волге» публиковались рассказы (2017, № 11-12; 2018, № 7-8).

А я как раз возомнил себя как бы старшим, главным в палате. Еще бы! Из нас четверых я был на тот день, с одной стороны, старшим «по стажу», с другой – младшим по возрасту. Четвертым с нами был Виктор Грибов, 56-ти лет, с седой бородой, благообразный (даже непонятно, как он мог оказаться в нашей компании), похожий на Виктора Гюго, может быть, поэтому его и называли Виктором, с ударением на последний слог, по-французски. Он работал ведущим технологом на заводе «Спецэлектрод» (это тоже особая история!).

Однако статья «старшим» Борис Петрович мне не дал. Был он, несмотря на физическую немощь, на страшную дрожь в руках, редкую даже для 17-й больницы, самостоятелен, остроумен, даже порой язвителен, уверен в себе. То есть он был сильным, волевым человеком.

Впрочем, жили мы с ним мирно, даже, пожалуй, подружились, несмотря на все колкости, которыми мы постоянно обменивались. Такова уж наша дурная природа: если утверждать себя, то непременно за счет унижения ближних – издержки самореализации (иногда мы называем это чувством юмора).

Борису Петровичу еще не было 60-ти, но пенсию он уже получал, чем заметно гордился: он сколько-то лет проработал на Севере. Но и до 60-ти лет ему оставалось всего несколько месяцев. Странное совпадение, наши дни рождения приходились на один день: на 1-е января. С разницей в 10 лет. Я был все же моложе.

Борис Петрович очень ждал этой даты.

– Это у меня последний круглый юбилей. Провести его надо достойно, – не раз повторял он.

Видно, он немало думал об этом. И не раз все подробно рассказывал:

– Будет ящик шампанского. Это обязательно... И – жареный поросенок. Целиком.

Еще он предполагал большой торт с соответствующей надписью и 60-ю свечами, думал, где лучше заказать такой торт. На Юго-Западной или у себя в «Кофемании»?

Я однажды заметил ему, что принос такого торта, вообще-то, наверно, забота родственников и друзей. Борис Петрович воодушевлено согласился:

– Вообще-то да, я им скажу... Но... Кто их знает...

Видно, Борис Петрович не слишком доверял людям, и как знать, может быть, он имел для этого основания. Или предстоящее 60-летие так волновало его?

Особой заботой был праздничный поросенок. Борис Петрович узнал уже, что праздничную тушку дешевле всего можно купить на Преображенском рынке. У них во Внуково все страшно дорого... Но вообще-то с поросенком все было не так просто.

Что если, увидев на столе хрюшку, кто-нибудь из гостей скажет (или хотя бы подумает): вот прожил 60 лет как свинья, и на столе у него поросенок...

Борис Петрович задумчиво смотрел в окно.

Я тоже задумался. Мне и прежде, когда Борис Петрович в первый раз говорил о своем дне рождения и о поросенке, приходила в голову мысль о сомнительности присутствия такого некоего животного на юбилейном столе, но хватило деликатности промолчать. Тем более ничего дельного я тоже не мог придумать: гусь или индюк в этом качестве могли показаться не намного менее двусмысленны... Осетр? Но Борис Петрович не дождался, пока я произнесу это слово. Он отвернулся от окна: «Осетр? Нет, осетр тоже не годится... Осетр – рыба».

При своей крайне невзрачной, неспортивной и вообще неприглядной внешности (в секторе «В» пациенты выглядели уже, в общем, в основном вполне пристойно), Виктор Петрович умел, что называется, себя держать. Пришедший с ним вместе в нашу палату Володя, вполне еще молодой и здоровый, кажется, его даже побаивался, и пока он не выписался, жил почти совсем бессловесно.

У Бориса Петровича было нервное, морщинистое лицо, очень сильно дрожали руки. Словом он был совершенно один тех, которых, выражаясь словами Зоценки, на каждой улице по подворотням по десять штук стоит.

Ноги у него были поражены страшным варикозом. В жизни у него случилось однажды так, что он совершенно перестал ходить, едва передвигался на костылях.

Тогда-то жена его стала ему изменять (или тогда только он узнал об этом), и он с ней развелся и формально даже, хотя они продолжали проживать в одной квартире, и в больнице она его навещала, только продукты для передач покупала на его деньги.

«Женщинам вообще только деньги нужны. Иначе ты для них не мужчина. Без денег ты – никто» – это было твердое убеждение Бориса Петровича, и он по разным поводам часто повторял эту фразу.

Про всякие сомнительные и неопределенные вещи не зря говорят иногда: «обманчивы, как человеческая внешность». И Борис Петрович был, на самом деле, безусловно личностью яркой, незаурядной. Не слишком часто рождаются такие люди, и не слишком часто обрываются такие жизненные пути.

В молодости он окончил электротехнический техникум где-то в Замоскворечье, возле Пятницкой (кажется, в Кадашах).

В положенный срок его призвали Вооруженные Силы. Срок службы составлял тогда 3 года в сухопутных войсках и 4 года на флоте.

Бориса Петровича с его среднетехническим образованием хотели направить в ракетные войска стратегического назначения. Когда военком сообщил ему об этом и поинтересовался его мнением (так положено, своеобразный этикет, чаще всего пустая формальность), Борис Петрович повел себя неординарно.

– Мой отец, – сказал он, обрекая себя тем самым на лишний год службы (невиданное дело!), – во флоте срочную проходил, а дед еще на «Рюрике» служил...

«Уж и сам не знаю, как у меня вырвалось», – признался он.

Неизвестно, знал ли военком, что и кто такое Рюрик, но он едва не прослезился при виде такого геройства, и род войск для Бориса Петровича был определен.

Служил он на корабле по своей радиотехнической специальности на Северном флоте, а после демобилизации снова стал плавать – на рыболовных судах. Ходил в Атлантику, видел Испанию, Канарские острова.

Ничего содержательно он о них не рассказывал, только повторял со значением: «Канарские острова...».

– Горы я не люблю, – говорил мне Борис Петрович, – вот море другое дело. Море – это мое.

Потом был Север (тоже море и тоже радиосвязь), и вот уже на пенсии он стал работать в этой самой «Кофемании» – электропечи, холодильники и т. п...

«До тысячи долларов получал», – хвастал он.

И так до самого помещения в 34-е отделение 17-й клинической наркологической больницы.

– Всего-то четыре дня запой был, не знаю, зачем и поехал. Дома бы отлежался, на дом бы нарколога вызвал, тыщу отдал бы, и все.

Заведения компании «Кофемания» разбросаны по всей Москве. Центральный офис располагался где-то на Маяковской.

После выписки из больницы Борис Петрович не собирался долго работать на этих «капиталистов»: «Они деньги гребут, а я вкалываю».

Говорил, что устал, хватит. Работать приходилось всю неделю, случались и сверхурочные – допоздна: оттого и большая зарплата. Иногда вызывали и из дому. Например, если летом в жару ломалась холодильная установка.

– В конце концов, пенсию получаю, на самую черную старость отложено... Сколько можно? Возраст уже не тот. Буду работать для души. А каждый день ездить из Внукова больше не хочу... До Нового года (до 60-летия) доработаю и брошу.

Выносить что-либо с собой из кофейных, электротехническое обслуживание которых осуществлял Борис Петрович, было категорически нельзя: выгоняли сразу, невзирая на чин, но погреблять внутри можно было сколько угодно, любые торты, пирожные и не знаю еще, что у них там было. Борис Петрович любил сладкое («Круассаны!»). Но особенно он любил кофе. Его там тоже давали в неограниченных количествах.

– Это, – говорил Борис Петрович, – мое лекарство.

Кофе там готовили по множеству рецептов, по-турецки, по-венски, еще не знаю по-каковски, может быть, даже по-мытишински. Кстати, минимальная цена чашечки была что-то около 100 рублей. И находятся же, думал я, дураки, которые туда ходят. Это сколько ж можно на эти деньги того же кофе самому себе приготовить – хоть по-венски, хоть по-турецки, хоть по-мытишински.

Одна только рецептура труженикам кафе категорически не подавалась. Правда, Борису Петровичу однажды дали попробовать. Это кофе по-французски: с коньяком.

На Ленинградском вокзале торговали видеопродукцией. В том числе порнушной.

– Выйду, – мечтал Борис Петрович, – отсюда, пить не буду, поеду на работу, получу зарплату за два месяца, куплю новых дисков, возьму джин-тоник, включу, буду смотреть.

У него и так была уже порядочная фильмотека. Упоминаю об этом лишь затем, что Борис Петрович сам очень часто вспоминал свою виртуальную сокровищницу.

А на Маяковке, возле их офиса торговали книгами. Отдельные тома «Истории» Карамзина можно было купить там невероятно дешево. Борис Петрович удивлял меня, подробно и увлекательно пересказывая классика.

Большинство обитателей, постояльцев, насельников, пациентов – назовите как угодно – 34-го отделения 17-й больницы были ветераны.

То есть они проживали, находились на излечении не в первый раз, и даже не в первый раз в течение календарного года. Иные бывали уже и раз по десять. Некоторые возвращались уже через несколько дней после выхода. И часто даже в еще более жалком виде, чем поступали впервые.

В разговорах в курилке предлагалось даже ввести нагрудные знаки для особенно верных. Или особые льготы: в виде, например, лишнего пакетика чаю...

Борис Петрович был в этом смысле как бы дважды ветеран, хотя сам он в 34-м отделении был впервые, прежде лежал в другом: двумя этажами ниже. Но теперь в этой же больнице, только в 32-м отделении, находился его 30-летний сын Андрей, попавший сюда уже едва не в десятый раз. Так что Борису Петровичу пришлось обращаться к самому главврачу за разрешением о свидании.

Нельзя сказать, чтобы отношения отца с сыном были совсем безоблачные.

Сын по причине своего заболевания давным-давно уже нигде не работал, что, естественно, казалось диким до самой старости и даже теперь, уже на пенсии, много и нелегко работавшему отцу.

– Я так и сказал: кормить его не буду! Пусть мать кормит.

– Но может быть, он теперь выйдет, устроится...

– Куда он устроится!.. Он же безвольный совсем... А дружок у него есть, Женька... Что тот скажет, то Андрюха и делает... А отец ему нужен только, когда у отца деньги есть... И не пью я с ним давно уже... Он, как выпьет, совсем дурак делается и с кулаками лезет... А я этого не люблю.

Бывшая жена Вера регулярно, примерно раз в неделю, навещала отца и сына Пироговых. Привозила большие передачи. Чаше ездить она не могла – работа. И трудно было добираться из Внукова. Приезжала, когда могла взять машину, служебную газель. Она работала в магазине, часто отпускала местным в долг, и, как говорил Борис Петрович, от этого у нее бывали недостатки.

Довольствоваться больничной пищей он не мог (так он говорил), хотя кормили нас, по моему мнению, более чем прилично, и приездов жены всегда ждал с нетерпением. Но пища – пищей, а главное, она привозила и тайком передавала чай. И, что было еще важнее для Бориса Петровича, растворимый кофе. Он поглощал его в страшных количествах: по 8-9 больших, почти поллитровых кружек в день.

– Это, – говорил он, – мое лекарство.

Дело в том, что чай и кофе, а также лук, чеснок, лимоны и перец передавать больным (лечущимся), иметь и употреблять в отделении было категорически запрещено. Чай мог быть приготовлен как чифирь, а все остальное, как утверждали врачи, могло разрушать получаемые пациентами лекарства и снижать их действенность.

Чай (кроме фруктового и зеленого) дозволялся только в пакетиках. Причем коробки с пакетиками изымались, складывались в отдельный шкаф, и потом сестры или санитарки выдавали по одному пакету три раза в день. Конечно, выпросить удавалось и чаще, но этого все равно не хватало. Запрещенное передавалось контрабандой, из рук в руки при встрече: несмотря на все строгости, до личных обысков дело на моей памяти не доходило. Кстати, в тот же шкаф прятали и одеколон, если он казался кому-то необходимым. Его выдавали по утрам, свежевыбритые алкаши тут же при сестрах мазали им щеки и отдавали обратно, под спуд.

С медсестрами Борис Петрович по причине независимости и самостоятельности своего характера ладил плохо, а когда я однажды спросил его, зачем так глупо и не по-доброму себя ведет, он самодовольно, одновременно загадочно улыбнулся и ответил: «А вот не могу иначе».

Мне же, вечно влюбленному, сестры казались какими-то ангелоподобными, нездешними, небольничными существами. Хотя на само-то деле они были вполне больничные: роскошные формы в роскошных белых халатах.

Кроме того, они были чаще всего добры и очень снисходительны к нам.

...Помню, одна, Галина Николаевна, колола мне магнезию и нечаянно проколола вену. Вообще-то она делала уколы так хорошо, что даже нельзя было почувствовать, когда именно тебя укололи. Но вот, видно, вена моя оказалась тонка, и игла прошла ее насквозь. Боль была страшная. Но, Боже! Я видел перед собой лицо Галины Николаевны. Оно было так искажено, что ясно было, что ей в эту минуту гораздо больнее, чем мне.

– Ну что же, что же так!.. Что же так!.. – растерянно повторяла она, в то же время профессионально массируя мою руку, – если будет хоть немного болеть, сразу приходи, я еще массаж сделаю...

Мне было так стыдно и досадно, что от боли я не могу ни сделать веселое лицо, ни притвориться, что мне не больно...

А «колониальные товары» в виде чаю и растворимого кофе все же проникали в наше благословенное заточение, и когда это происходило, настроение наше заметно улучшалось. Чифирь я там, правда, лишь однажды употребил, за компанию: не очень люблю. А Борис Петрович, заглотив свою обыкновенную поллитру кофе, становился чрезвычайно оживлен, возбужден и разговорчив... Он вспоминал, рассказывал про свою жизнь, строил вслух планы на будущее.

Когда я не слишком одобрительно отозвался о его видеокolleкции, заметив, что лучше все же живое что-нибудь, он рассказал о своей подруге Вале, художнице из Теплого Стана.

– Представляешь, 42 года, бюст шестой номер, а душа... Когда у меня ноги отнялись, а моя со своими хахалями гуляла, она не бросила меня, поддерживала... Ну, и я ее, соответственно. Понимаешь, художественная натура, когда работает, устает, и вообще, и просто физически, ну и как картину продаст, понятное дело, срывается... Потом болеет. Тогда я и приезжаю. Занушу ее в ванную, она там лежит, а я ей понемножечку приношу, пока она в себя придет. И тогда уж все наше...

- А сюда она к тебе не приходит?
- Ты что!.. Я, когда к ней еду, в тройку с галстуком наряжаюсь...
- Ого! У тебя и тройка есть?
- Есть. Я, как с Севера приехал, купил...

Я довольно плохо знаю родную историю. А теперь и совсем уже, кажется, все забыл.

И историю русско-японской войны тоже.

Однако по поводу причин цусимского поражения у нас с Борисом Петровичем оказались довольно схожие взгляды. Только Борис Петрович считал свою точку зрения единственно верной, что не мешало ему, впрочем, с интересом относиться и к другим гипотезам, а я полагал, что известная мне версия только одна из многих возможных, а как обстояло дело в действительности, не знает никто.

Беда, по нашему общему тогда мнению, произошла из-за разных снарядов, которые применяли наши и японские моряки, а личные таланты адмиралов Рождественского и Того имели лишь второстепенное значение. Дело в том, что наш замечательный броневой снаряд, получивший, кстати, золотую медаль на парижской ярмарке, был снаряжен пироксилином, в то время как японский при меньшей пробивной силе снаряжался шимозой, тринитрофенолом. Он хотя и хуже пробивал броню, мощным взрывом причинял большой урон кораблю и морякам, кроме того, разрываясь, он вызывал пожар и выделял зловонный и ядовитый дым.

Борис Петрович был даже как будто растроган нашим согласием. Только японскую шимозу мы с ним называли по-разному, он менонитом, а я тринитрофенолом... Впрочем, это страшное зелье имеет, по-моему, около десятка совершенно равноправных названий...

Совсем дураки! Что мы могли знать про это... Про японскую войну... Однако рассуждали.

А между тем жизнь в палате и в отделении в целом шла своим чередом. Кто-то выписывался, кто-то вновь прибывал.

Волею упорно молчал, а наш четвертый постоялец, ведущий технолог завода «Спецэлектрод» Грибов, то и дело вводил меня в грех злословия. Впрочем, вины его в этом не было. Он и в палате часто отсутствовал: ходил в сектор «А», помогал сестрам ставить капельницы тяжело больным. И рано ложился спать, а уснув, начинал громко-громко храпеть. Он сразу виновато предупредил нас об этом. Но храп его мне не мешал. Просто очень уж тесен мир.

Я отчасти знал этот самый завод «Спецэлектрод» (в просторечии «Уголок Дурова»), где трудился наш Виктор. Даже больше знал, чем хотелось бы: несколько месяцев проработал там плотником.

– Ведущий технолог... Да, у вас там очень высокая технология... Грязные мешки, и от пыли в двух шагах друг друга не видно... А уж как там по ночам по пьяни обмазку мешают, я знаю... А ваша госпожа Михеева... Кстати, как она поживает?

Виктор возражал вяло и застенчиво:

– Ну, какая она наша, она такая же наша, как и ваша... Она по заграницам ездит... А мы ее и не видим...

«Уголок Дурова» даже по нашим временам и нравам предприятие выдающееся. В дни, когда платили зарплату, молодые женщины, случалось, криком кричали и плакали: таково бывало несоответствие между тем, что обещали, и тем, что дали.

Многие из них самостоятельно растили детей, жили далеко за городом, и то, что им платили за нелегкий и совсем не женский труд, трудно было назвать иначе, как издевательством. Притом считалось, что оплата на заводе сдельная, но никаких норм и расценок в «Уголке Дурова» никто никогда не видел. И не всякий злодей и душегуб с большой дороги смог вызвать в своей адрес столько брани униженных и оскорбленных людей, сколько заводское начальство, и прежде всего мадам Михеева. За последние годы мне много-много раз доводилось менять место работы, но дол-

жен сказать, что более хамского отношения к трудящимся я нигде не встречал: кажется, охрана с автоматами, в том числе, занимает на «Спецэлектроде» едва не больше половины работающих...

Виктор, конечно, в этом был нисколько не виноват, такая же жертва конторы мадам Михеевой, как и другие работники, но я никак не мог удержаться, чтоб не высказать ему все, что я думаю о его месте работы.

Кажется, все больные в 34-м отделении рвались на волю. Официальный срок лечения составлял ровно месяц, и раньше старались не выписывать.

Некоторые пациенты платили деньги, носили «презенты» за отделением («Коньяку не надо, у меня его полный шкаф, давайте виски» – предупреждал заведующий), соглашались делать себе малополезные и небезопасные инъекции, кодирование, торпедо и т. п. (за которые тоже платили деньги), чтоб только раньше выписаться.

Значит, у них у всех были важные дела, а у меня не было? У некоторых действительно были. В основном у тех, кто работал на прибыльной должности и хорошо зарабатывал...

Исмаил, служивший персональным водителем у какого-то небедного человека, Виталий, автослесарь в госучреждении, где машины проходили техосмотр. Они и выписались досрочно. А другие только томились в медицинском заточении, считали дни, ругали порядки, начальство, кормежку, даже ни в чем не повинных сестер.

А у меня разве не было важных дел? Были. Только так уж выходило, что именно в 34-м отделении они на тот момент лучше всего делались... Я лежал, отдыхал и думал. Дело в том, что я, кажется, давным-давно уже совершенно разучился скучать.

Мне 34-е отделение казалось настоящим санаторием.

Ведь и в самом деле санаторий. Пансионат!

Я никогда не был в санатории. И в пансионате тоже не был. Но почему-то именно так это себе представлял. Заботливый персонал. Чистота, уют, на окнах белые жалюзи. За окнами с одной стороны начинающий желтеть лесопарк, с другой – кольцевая дорога, только с третьей (огромное здание филиала было слегка изогнуто) – воинская часть со скромной и даже грязноватой архитектурой. В коридорах какие-то диковинные цветы. Чистые постели, каждые две недели меняют белье. Душ в палате. Какая-никакая библиотека. Настольный теннис...

Жаль было только, что все это было не в какой-нибудь горной Швейцарии – как у князя Мышкина, например...

Даже тренажерный зал был, и я даже велотренажером пользоваться научился. Кажется, безумная глупость. Выдумка сытых дураков без воображения. Сидишь, как на велосипеде, педали крутишь, и притом – никуда не едешь! Самообман. Ничего подобного, все очень просто. Когда залезаешь на этот велотренажер, надо просто глаза закрыть. И с закрытыми глазами педали крутишь, и едешь, едешь... Куда хочешь, туда и едешь...

И еще я читал книги.

Я теперь книги читаю не так, как прежде читал.

Я теперь прикладываю содержание очень-очень непосредственно, близко к себе, к своей жизни, к своим обстоятельствам, к своему «прошлому», «настоящему», к своим бедам и горестям. Даже к своим грехам... Но это, естественно, редко... Зато чувствительно.

Я нахожу то, что пишется обо мне, хотя порой и искать не надо. Само находится. Иногда кажется, что просто про меня и написано.

А книги другой раз попадают грустные и странные. И даже страшные:

*Тяжко падает дождь
На мою шляпу,
Украденную у придорожного пугала
(японские стихи)*

тетушка Джер, одержимая духом святой лягушки...
(это что-то китайское)

Но это еще не страшное. Страшное – про блокаду. Ленинградскую:

– *Мама, дай хлеба!*
– *Спи, мальчик, спи.*
– *Мама, дай хлеба!*
– *Спи, мальчик, спи. Хлеб тоже спит...*

...Ира рисовала хлебные карточки, и ее карточки были гораздо лучше настоящих – по ним хлеб выдавали безотказно...

А вот еще какой-то поэт:

*Молнии боюсь... То есть,
Кажется, кругом воры...
И как Робинзон порох,
Прячу по щелям совесть...*

...Вообще, как это ни странно, лежать в больнице мне нравилось. Наверно, потому что особенно ничего не болело.

Может быть, это плохо? И когда заболею по-настоящему, лимит легкого больничного времяпрепровождения окажется непоправимо исчерпан? Не знаю...

«Психологически» это, конечно, понятно: в больнице лежать – это же такая замечательная безответственность!..

Однажды утром Борис Петрович позвонил по телефону на свою работу, в «Кофеманию». Он уже несколько дней собирался, но все откладывал. И вот позвонил. Разговор получился плохой. Борис Петрович был огорчен, оскорблен и подавлен. Как мог, он старался это скрыть и говорил весело, но все было и так понятно.

Все его несомненные заслуги перед фирмой оказались вдруг сразу забыты. А ведь сколько раз он их буквально спасал. Это представить себе! Весь суточный запас кремовых пирожных, тортов и всего тому подобного мог разом погибнуть – в сломавшемся холодильнике в двадцатипятиградусную жару... А вовремя (в неурочное время, кстати) отремонтированные печи... И какова благодарность?

Пока Борис Петрович отсутствовал (меньше месяца!), на его место взяли другого человека! Разумеется, Борис Петрович не собирался долго там работать, и все равно...

Он ведь даже уже подготовил свой достойный уход: нашел себе замену – электрика, из своих, из наших, из пациентов, из алкашей, и готов был, пока сам еще работает, до 1-го января, обучить его всем премудростям...

Увы...

«От вас не было никаких известий, – сказали ему, – мы не могли ждать...»

Пока нужен был, ценили и уважали... А теперь выгнали, как собаку... – подвел Борис Петрович неутешительный итог.

Но душевная рана – душевной раной, а пропадать и даже остаться без работы Борис Петрович не боялся. Кроме электрики он еще много чего умел.

Я его убеждал, что с его знаниями, а главное, с допуском к напряжению он легко найдет себе место дежурного электрика с графиком «сутки – трое» – моя собственная заветная мечта, неосу-

щественная из-за отсутствия этого самого электрического допуска, но Борис Петрович и слушать не хотел: «Теперь только для души», – решительно заявлял он.

«Для души» его интересовали храмы и резьба на них. То есть не храмы, конечно, а их макеты – настоящие произведения искусства. У него был роскошный фотоальбом по архитектурной части нашего культурного достояния, и он брал оттуда образцы.

Технология была сложная. Борис Петрович несколько раз объяснял мне, но я до конца не все понял. Возможно даже, он что-то не договаривал, как многие настоящие мастера, хранил профессиональную тайну. Он брал какие-то особые ветки от ивы, в чем-то вымачивал, высушивал. Они были у него бревна. Из тонкой щепы делались крыши и резные орнаменты. Как изготовлялись купола, я так и не понял.

Но главным своим изобретением Борис Петрович считал снег. Готовые изделия он заключал в футляр (специально заказывал из оргстекла), и на этот самый прозрачный футляр по какой-то тонкой технологии наносился этот самый снег. Получалось очень эффектно.

Свои макеты древних деревянных церквей он уже продавал иногда на так называемом «Вернисаже» в Измайлово. Тогда там действительно присутствовало еще какое-то более или менее живое искусство. Вероятно, там он и познакомился со своей художницей Валей...

По мере приближения выписки возбуждение и воодушевление Бориса Петровича стало достигать иногда уже какого-то очень высокого градуса. Больше всего занимали его планы на будущее, которое, видно было, представлялось ему в самом радостном свете.

В этом не было ничего удивительного. У нас многие выздоравливающие бывали и возбуждены, и воодушевлены, и строили светлые планы, и охотно делились ими в палате и в курилке.

Вот Серега, чрезвычайно интеллигентного вида, высокий, с роскошной седой ухоженной гривой, похожий на постаревшего хиппи, большой любитель не только крепкого чаю, но и сахару, и тоже разведенный с женой, выстраивал стратегию своей дальнейшей жизни просто и ясно: снять с книжки деньги («у меня там есть»), заплатить за квартиру, позвонить по телефону и выяснить, уволили его с работы или нет, и если уволили, найти новую.

Он работал в Макдональдсе на Ленинском проспекте.

– Грузчиком? – спросил я его.

– Ну, грузчиком... Я свое уже отгрузил...

Теперь Серега мыл полы. Мытье полов в Макдональдсе производилось не совсем обычно.

В конце концов, всякий труд по-своему почетен. Мытье полов так мытье полов. Даже в таком сомнительном заведении, как Макдональдс.

Но и полы там мыли не как у всех. Казалось бы, что проще: вода, швабра, взял и помыл. Но нет. Серега должен был свой мыть пол непрерывно. В течение всей рабочей смены, 8 часов. Разрешалось разве (я надеюсь) делать перерывы для естественных надобностей и покурить.

Зато платили за это по-царски: 8-ю тысяч...

Правда, за такие бешеные деньги (и даже за гораздо большие) можно было где-нибудь в другом месте устроиться... Где целый день один и тот же пол не моют...

Однако Сергей был своей работой доволен. Он выбрал себе какой-то странный график, с 16-ти до полуночи, и после работы возвращался домой пешком. Благо было недалеко. Он жил на Введенского.

Относились к нему там уважительно, звали «дядя Сережа». И «золотая молодежь» тоже.

– Дядя Сережа, где? – спрашивали они.

И дядя Сережа показывал им столы, где оставалась недоеденная еда.

У татарина Гайяра, несмотря на все его замечательные специальности, планы были скромные.

– В дворники пойду. – говорил он. – А что? Я уже работал один раз дворником. И чувствовал себя отлично.

К тому же психолог в Соловьевке (там он тоже лежал, у него была когда-то депрессия и заикание) говорил ему, что «в нашем возрасте нужно уже умерить амбиции».

С Гайяром мы, в общем, тоже, пожалуй, дружили.

В отделение я прибыл, что называется, никакой. Некоторое время жил так, что и сам не помнил, где.

Естественно, я был жутко голоден и почти сразу после ужина сильно хотел есть. В первые дни почти у всех так бывало.

В палате меня положили рядом с Гайяром. Он тоже был еще не слишком живой, лежал после первых капельниц.

Я встал, сделал себя чаю. Мне сразу по прибытии подарили несколько пакетиков – встретил старого знакомого.

Неожиданно Гайяр, не поднимая даже головы от подушки, предложил мне бутерброд с колбасой. Я сначала даже вежливо отказался, но потом голод пересилил, и я сказал: «А давай...»

После того как на другой день мне принесли первую передачу, мы устроили совершенно дикое застолье на троих (еще был один сотрудник охранного предприятия). Все совершенно пьяные – от лекарств, которые нам вкололи, мы пытались устроить что-то вроде чифиря из пакетного чая. Настоящий бред сумасшедшего. Вернее, трех сумасшедших сразу. Естественно, мы все подружались. Вообще, самые добрые отношения складывались у приблизительно одновременно прибывших: пока все больны и беспомощны. На другой день после нашей гулянки Гайяр добыл где-то электрическую машину для стрижки и более или менее привел в порядок мою шевелюру.

Потом его перевели, а по прошествии времени мы с ним оказались вместе в той самой шестой палате.

Мы иногда довольно странно разговаривали. У меня сложилось стойкое убеждение, что Гайяр не вполне доверяет моим рассказам о себе, чувствует, что много не договариваю, и жаждет вывести меня на чистую воду.

Я действительно не слишком распространялся о своих действительных обстоятельствах: не так уж они были хороши.

Я человек не слишком скрытный, можно сказать, «умеренной скрытности», но как-то в последнее время особенно (сам не сразу замечая даже) пытаюсь представить себя другим людям не таким, каков я есть, не столько лучше, чем самом деле, а как-то, что ли, благоуспешней, благоустроенней...

...А иногда и вовсе просто: от всех хочется спрятаться... Но куда, где?.. Бесполезно, все равно найдут. Наоборот, увидят, что прячусь: только хуже будет. Совсем испортится репутация. Лишнее подозрение: зачем прятался?

Так что скрываюсь я только за маской веселости, беспечности, ложных способностей, возможностей, благоуспешности и удачливости.

Мне часто бывает стыдно. Притом неизвестно за что. То есть за какую именно неблагоприятность в данный момент. Просто стыдно и все.

Стыд и совесть, кстати, это отнюдь не синонимы.

Совсем наоборот.

Совесть это внутреннее, доброе, честное.

А стыд – наоборот. Прямое следствие гордости и самолюбия.

Люди вообще склонны к лживости

А человек, попадающий в 17-ю больницу, вообще априори совершенно не может быть честным.

Вот Гайяр и подозревал меня в нахальном вранье. Выражал всякие недоверия, ухмылялся, пытался вызвать на откровенность, но я, естественно, твердо молчал.

К тому ж и сам он бессовестно хвастал.

И бухгалтер он лучший на свете, и кладовщик, и к тому ж имеет права на управление всяким погрузчиком. И сын у него мастер спорта по каким-то восточным единоборствам и окончил институт физкультуры.

И вот однажды, наловившись чаю (три пакетика на кружку) и растворимого кофею, он развалился на своей койке и все мне с чувством сказал:

– Ну, да... И профессия у тебя хорошая, и все-то ты можешь, и бабы тебя любят... Только свитер рваный... Что врать-то... У меня хоть лапотник полный... – Он долго и невнятно что-то еще восклицал и бормотал бранное, почти оскорбительное.

А потом рассказал все, как есть:

– А на самом деле и у меня у самого ни кола, ни двора... Но я – как Шариков... Сажу на своих четырнадцать аршинах и буду сидеть...

Он жил в хрущевке, в одной квартире с женой, с которой состоял в разводе... И сын его там же жил...

У Бориса Петровича все было не так. Он, когда начинал мечтать о будущем, весь светился изнутри. Хотя, конечно, вел себя при этом сдержанно и достойно. Вполне возможно, он и не все мне говорил, что планировал и чего ожидал, но ожидал он только светлого и радостного, разумеется.

Помимо джин-тоники в маленькой банке и порноларька на Ленинградском, в его самых ближайших планах (художественное макетирование храмов – для души – было проектом длительным, основательным, постоянным) было следующее.

Несмотря на явную контру с сыном («Вот собака, два дня назад мать была – уже, звонит, все съел, не иначе с дружкой-Женькой делится... А тот и рад...») Борис Петрович стал вдруг все-рьез обеспокоен его здоровьем и собрался даже принять меры к его основательному исцелению. Многократные «каникулы» в филиале 17-й наркологической, естественно, положительных результатов не дали, потому что в принципе дать не могли.

Тем более накануне произошло знаменательное событие. Его сын Андрей принял Святое Крещение. Непосредственно в больнице. Там был даже свой домовый храм, батюшка приходил из церкви Параскевы Пятницы.

Поначалу, непосредственно в день совершения Таинства, Борис Петрович отнесся к этому неодобрительно, даже почти агрессивно: бранился. Он с нетерпением ждал прихода бывшей жены и принося ею продуктов, а она по случаю радостного события сначала поспешила к сыну.

«Ишь ты! Креститься надумал...» Виноват во всем, естественно, был тот же дружок-Женька... (Это было повторено раз пятнадцать с возрастающей агрессивностью, и никакие доводы моего слабого разума не могли его остановить.)

Но несколько дней спустя, после того как я в ответ на его очередные жалобы на скверное поведение и состояние сына посоветовал ему обратиться на Крутицкое подворье, где под руководством отца Анатолия Берестова несчастным наркоманам, алкашам, жертвам сект и так далее оказывают серьезную помощь и, как говорят, не всегда безуспешно, Борис Петрович, хоть и не сразу, но проявил интерес:

– Ты мне потом все расскажешь, как доехать, и адрес напишешь...

Незадолго до того мне самому довелось там побывать, правда, по другим и не совсем по своим делам...

Итак, джин-тоник, ларек, подворье... Но, главное, когда Борис Петрович говорил о всем этом, на устах его блуждала загадочная улыбка, и вообще он имел вид человека, который знает что-то, чего никто другой не знает, и тайно (тайно!) гордящегося этим...

Обыкновенный срок пребывания в нашей чудной больнице составлял 30 дней. Выписаться раньше было проблемно. Иногда выпускали через 21. Но для этого требовалось согласие родственников.

Борис Петрович засобирался выписываться досрочно довольно неожиданно. Он стал вдруг какой-то очень уверенный.

Основание для досрочного выхода было такое. Его сын, находящийся на очередном излечении, должен был выйти раньше его, и Борис Петрович не исключал, что у него есть ключи от его запертой комнаты. Сын выйдет, все вытащит и пропьет с другом Женей. Такой безвольный человек!

Переговоры с Б.Г. (Борис Геннадиевич, заведованием) прошли неудачно. Б.Г. заупрямился и не захотел его выписывать.

Борис Петрович загрустил.

И вот в субботу вечером медсестра Катя (вся всегда совершенная понятливость и очарование) на посту спросила меня:

– Что там у вас с Борисом Петровичем?.. Он вообще-то нормальный?

– Да, нормальный... Вполне адекватен. А что?

Ему и прежде случалось до неприличного грубо разговаривать с сестрами (о, эта независимость характера!), и я подумал, что он опять что-то такое натворил.

Поэтому, войдя в палату, я сказал ему тихо и решительно:

– Ну, что ты опять хулиганишь, Боря, не стыдно тебе... Взрослый человек.

Но все оказалось не так.

Оказалось, Борис Петрович неожиданно на ночь глядя, когда и врача-то в отделении не было, стал требовать немедленной выписки, а в противном случае угрожал – ни больше ни меньше – повеситься в душевой.

– Я им так и сказал: не отпустите, повешусь у вас в душевой.

Это было, по крайней мере, смешно: где угодно, но в душевой у нас никак нельзя было повеситься. Ни одного крюка! Даже полотенце было повесить некуда. Неудобство, на которое даже я роптал.

– Вы уж за ним присматривайте там... – попросила меня Катя. – А утром я, как хотите, врачу скажу.

Я пообещал присматривать.

Но присматривать за Борисом Петровичем мне не пришлось: ему сделали укол, и он совершенно отключился.

На другой день его выписали.

Это было, конечно, нелегко. Живые нервы. Борис Петрович то и дело связывался по мобильному телефону с бывшей женой, она звонила Б.Г. (кстати, за глаза его иначе как Б.Г. и не называли).

Наконец все было улажено, и взбунтовавшийся Борис приедет и уйдет домой, оставив мне несколько пакетиков чаю и почему-то, очевидно просто забыл, ложку из нержавеющей стали с узором на ручке в виде цветов незабудок.

В 34-м отделении было принято весело провожать «исцеленных». Немногим из убывающих я высказывал вслух на прощанье пожелание больше не возвращаться. Чаще говорилось: «Привет. Успехов. До скорого».

Иные действительно скоро возвращались. Так мой добрый приятель татарин Гайяр, в ответ на мое «до скорого!» страшно рассердившийся и пославший меня ужасно далеко, пришел назад ровно через неделю. При этом он был так плох, что страшно смотреть. И первые два дня мне приходилось поддерживать его при ходьбе, так он был слаб и нетверд в движениях. При этом он сильно дрожал и то и дело повторял: «Ой, мне так плохо...» Как будто это и так не видно было.

Так и Борису Петровичу я выразил пожелание скоро снова увидеться.

Он ушел, а мы, оставшиеся, часто вспоминали его. Я даже говорил иногда: «Ничего, отцы-братья, скоро Борис Петрович вернется, кофе нам принесет...»

На что Володя, пришедший к нам в палату из сектора «А» с ним вместе, однажды ответил:

– Очень он здесь нужен... Алкаш дурной... (я смягчаю выражения), – при этом в голосе его звучала откровенная недоброба.

Вообще-то это было похоже на чудо: Володя заговорил!

Да! Как только Борис Петрович нас покинул, Владимир заговорил. Он даже стал общителен и порой словоохотлив. Помимо недобрых высказываний в адрес Бориса Петровича – «Ишь, как у него руки трясутся! Пропащий алкаш, дерьмо» (я смягчаю выражения), – Владимир рассказывал нам про свою жизнь, про семью, про жену, умершую семь лет назад, про дочь, готовящуюся стать учительницей начальных классов, про дачу возле Коломны, где земля такая глинистая, что совсем ничего не растет.

Делился планами трудоустройства. У него была хорошая и довольно-таки дефицитная в наше время специальность токаря («Я и на фрезерном могу, и на строгальном...»).

Пришедший на Борисову койку интеллигентный конструктор Сергей даже нашел ему место где-то на Красной Пресне. Владимир вежливо записал телефон, и адрес, и как пройти, но мне, когда Сергея в палате не было, сказал: «Не пойду. Не хочу опять за колючую проволоку». – Предложенное предприятие было режимное.

Еще он нередко вслух мечтал о том, как скоро найдет себе женщину и переедет к ней, освободив квартиру дочери и ее гражданскому мужу. У него даже уже была одна где-то на Кирпичных Выселках: «Может, и к ней вернусь...»

Уж чем так обидел его Борис Петрович, почему он так угнетал его или раздражал, что за все время их совместного проживания в нашей палате он не произнес и десяти слов, так и осталось для меня загадкой.

Теперь он оказался вполне общительным, добрым малым, и даже раз в три-четыре дня (совершенно добровольно и по собственной инициативе!) мыл пол в палате: «А то ругаться будут...» (я смягчаю выражения).

Дни шли за днями. Время моей выписки приближалось.

А спустя примерно неделю Сергей, который жил теперь на койке Бориса Петровича, вошел палату, сел на эту самую койку и сказал:

– Борис Петрович больше сюда не вернется. – Я посмотрел вопросительно. – Борис Петрович умер.

И, немного помедлив, добавил:

– На другой день после выписки. Сердце. Вошли в его комнату вечером, а он уже холодный...

До меня не сразу дошел смысл сказанного. Я ошалело смотрел вокруг, машинально перекрестился: «Упокой, Господи...»

...Да что там не сразу дошло! Я и теперь не вполне могу это понять и представить.

Хотя, казалось бы, все естественно... Какое сердце выдержит столько кофе, сколько выпивал Борис Петрович... А ведь еще, чтобы спать, он ежедневно поглощал немереное количество тайно пронесенного в отделение неозепама...

Быть может, не будь я такой равнодушный и самоуглубленный индюк, забил бы тревогу, настучал (хоть это и гадко) сестрам, мы скрутили бы Бориса Петровича, отобрали бы таблетки и кофе, в крайнем случае, временно отключили бы его уколами...

...Как-то Борис Петрович рассказывал мне про бомжей, обитающих (или обитавших: тогда было лето) возле консервы (консерватории). Нормальные бомжи, лохматые, бородатые, грязноватые.

Кто-нибудь из них время от времени подходил к Борису Петровичу (он был в форме охранника), просил десятку.

Однажды, видимо, наскучив домогательствами, а может быть, просто утомленный после работы, Борис Петрович вместо просимой десятки дал подошедшему к нему мужику целых сто рублей.

– Все. Больше к тебе никто не подойдет, – поблагодарив, пообещал мужик.

– Видно, – заключил Борис Петрович, – он у них главный, вроде пахана или атамана...

Так вот жили летом бомжи возле нашей консерватории. Наверно, и музыку слушали. По крайней, мере слышали.

Там громко играют, и часто то орган, то оркестр прорывается за стены, так что можно и на улице слушать...

И еще о музыке.

В одном доме в Бирюлево жили в одном подъезде мальчик и девочка. Учились в одном классе. Дружили. Как будто бы хорошо понимали друг друга.

Только вот лексика у мальчика была несколько странная.

Например, если собирались пить чай, он говорил неизменно:

– Выпить что ли чайковского...

А когда наставала необходимость вынести помойное ведро, говорил:

– Пойти вынести мусоргского...

Само собой – картонная коробка, где хранились мясные, рыбные, овощные консервы, приобретаемые относительно дешево на оптовых рынках в больших количествах в запас, называлась у него консерваторией.

Естественно, из произведений классического репертуара он знал только полонез Агинского и марш Мендельсона.

Девочка Аня, у которой мать – преподаватель музыки, в какой-то момент почувствовала, что не может больше этого терпеть и стала изо всех сил образовывать и просвещать своего мальчика. Были приобретены абонементы, и она таскала его в консерву, в настоящую консерваторию, в зал Чайковского и так далее... Разумеется, и дома прослушивались соответствующие пластинки, кассеты, диски.

И однажды вечером, когда родителей не было дома, они и соединили свои тела и жизни под сочинения какого-нибудь там Шостаковича, Шнитке или Рахманинова...

Судьба. Счастье. И музыка.

Музыка прежде всего...

А дальше что? А дальше все снова... Дальше все то же самое... Консерва (она же консерватория)... Улица Герцена, которая Большая Никитская... Задворки университета. Храм мученицы Татианы. Зоологический музей с огромными бабочками и челюстью кашалота...

Туристы из Америки. Или еще откуда-нибудь... Приедут, посмотрят, покажут на памятник Чайковскому, спросят:

– Рахманинов?

Рынок, очередь...

В нашей компании генератором идей был Саша Болван – ударение в фамилии на первый слог. Мы, несколько человек писателей, художников и философов, тогда работали в конторе при Нефтеторге, замеряли и калибровали подземные резервуары. Заказчикам, начальникам нефтебаз и директорам колхозов, мы нравились – молодые, интеллигентные ребята, не дураки выпить. Мы сами себе платили командировочные, но денег было категорически мало. И вот Саша придумал заработок. Продажа баранины на рынке в столице. Отказаться было трудно. У него был знакомый директор колхоза на юге Молдавии с говорящей фамилией Брага. Мужик был и вправду всегда навеселе. Саша с ним обо всем договорился. Времена стояли вегетарианские. Никого особенно не сажали. Отметим в ресторане «Дойна». Саша Болван сказал голосом Горбачева: «Процесс пошел!» Выпив, мы вдруг сообразили, что одно обстоятельство не учтено: негде держать мясо в городе.

– Стоп, машина! – сказал Саша, и все в ресторане оглянулись.

Он понизил голос.

– Ничего, товарищи, решим и этот вопрос!

Он сделал несколько звонков и вернулся к нам.

– Есть человек, который берется хранить, он работает в морге. Там всегда есть место.

Мы посмотрели на него: где он успел набраться за пятнадцать минут?

На наше бляенье, что кошунственно пользоваться последними удобствами человека на земле для хранения туш животных, он бодро отвечал, что фараонов хоронили вместе с женами – не то что с домашним скотом.

– Процесс пошел, главное, не паниковать!

Как было замечено, времена стояли вегетарианские: мясных продуктов в магазинах не было. Мы были всей душой за свободу, то есть – за свободный рынок. А с третьей стороны, прицепилось ко мне: «Рынок, очередь, тюрьма».

Саша Болван договорился на рынке с Григорием из мясного павильона, что тот будет раздывать. И, действительно, процесс пошел. На колхозном газике баранина приезжала в морг, оттуда на Сашиной раздолбанной «Волге» – на рынок в павильон, где царил Григорий. Он снимал шкуру, разделявал и обваливал. В ход шла терминология, которую нужно было запомнить. Шея, лопатка верхняя, лопатка нижняя (рулька), грудинка (пашина) или проще – ребрышки; голяшка, окорок. До того я полагала, что окорок бывает только свиной. За всем этим следил эстет и художник Сережа по кличке Лондон, прозванный так за английское пальто и шляпу, в которых

Катя Капович родилась в Молдавии, училась на Урале, первую книгу стихов издала в Израиле, в Америке живет с 1992 года. Стихи публиковались в журналах «Воздух», «Арион», «Знамя», «Новый мир», «Звезда» и др. В 2001 году за сборник английских стихов «Gogol in Rome» удостоена премии Библиотеки Конгресса США. Лауреат Русской премии 2013 года в номинации «Малая проза». Живет в Кембридже, работает редактором англоязычного поэтического ежегодника Fulcrum, преподает литературу и ведет мастер-классы. В «Волге» публиковались стихи (2013, № 9-10) и рассказы (2015, № 1-2; 2017, № 9-10).

он щеголял. Уж и не знаю, где он раздобыл этот прикид. Впрочем, знаю. Мать Сережи Лондона работала врачом в Комитете госбезопасности, была выездной. Денег она ему не давала, но иногда подкидывала шмотки. Сережа в пальто руководил продавщицами Машей и – не путать – Машей-Большой. К их именам со временем добавлялись характерные приметы, для удобства: Маша с грудинкой и Маша с окороком.

В морге темно и пахнет. Как пахнет в морге. Жизнь советского человек так же пахнет: формалином. И цинизмом. Это еще к тому же был правительственный морг. «Сегодня в обкоме, а завтра в коме!» – шутил Сережа Лондон. Баран в мешке лежал, похожий на человека. Жизнь советского человека так уныла, что немного жутятины – в кайф. Саша и Сережа несли барана, я замыкала похоронную процессию. Мимо стальных столов. Мимо шкафчиков с номерами. Мы выходили в длинный коридор, в котором одна неоновая лампа всегда мигала от нервного тика, отчего создавалось впечатление, что где-то поблизости милиция.

«Будьте последними. Идите по миру так, словно вас и нет. Не будьте компетентны, не пытайтесь доказать свою значимость – это не нужно. Оставайтесь бесполезными! Вы можете стать деревом с большой кроной». – сказал великий философ Лао-цзы.

Ближе всего я была к истине, когда шла по этому коридору с полузакрытыми от отвращения глазами. Мы выходили в задний двор с огромным ореховым деревом. Пока мужчины загружали багажник, я читала в тени книгу «Атеисты, материалисты, диалектики Древнего Китая».

Наша компания жила роскошно в те дни. По вечерам мы ели плов и запивали Вин де Масэ. Мы распростились со злобастной нефтепромышленностью, с ее вонючими резервуарами. Маячила перспектива обогащения и обмена однокомнатной квартиры на двухкомнатную. С доплатой, конечно. Мечты, мечты. Советский человек при всем цинизме живет мечтой.

– Процесс пошел! – выкрикивал Саша Болван, выдавая нам двухнедельную получку.

Мы купили телевизор. Мужчины смотрели футбол. Женщины общались на кухне, готовя плов. Маша с грудинкой четко утвердила себя в качестве наперсницы жизни Сережи Лондона, а Маша с окороком – Сашиной. Это были хорошие, симпатичные девчата. Простые и ласковые в обращении. Обе они до того побывали замужем. Их цинизм меня завораживал.

– Мой маленький, принеси, когда приготовится, тарелочку своему котуку? – просил Сережа Лондон, заходя на кухню в перерыве.

– Принесу-принесу, – отвечала Маша сладким Цирцеиным голосом.

Когда дверь за Сережей закрывалась, она добавляла вслед уходящему котуку – «гондон што-паный».

Всю неделю я наслаждалась жизнью. Потом приходили выходные, и начиналась работа. Я люблю южный рынок: кудахчут куры, кричит еще не зарезанный петух. «Яблоки белый налив – шестьдесят копеек», – выпевает баба в платке, стоя руки в боки над большим серым мешком. Другая, через небольшую площадь, кричит: «Молодая картошка!» Рядом стоят весы, а за её спиной ходит муж с цыгаркой в натертых гуталином сапогах. Летом на южном рынке можно увидеть даже сохраненный с прошлого сбора черный виноград. Он лежит в больших корзинах с соломой подобьем елочных игрушек – столь же хрупкий и желанный.

Но вернемся к нашим баранам.

Эстет и философ Сережа Лондон подошел ко мне в четверг:

– Найди кого-нибудь Машке в замену. Мы едем на выходные в Вадул-луй-Водэ! Ты понимаешь?

– Нет, не понимаю.

– Интим нужен! Я предложение буду делать! Обстановка там – природа, река, то да сё.

Я его поздравила и одновременно вспомнила уютную кличку, которой Маша называет его. Ну, а с другой стороны, дело хозяйское.

В субботу мы с Сашей, как обычно, отправились в морг. По знакомому двору ходили взволнованные, испуганные люди. Мы услышали разговор:

– Несу и чувствую, что покойник шевелится. Даже брыкается. И дух какой-то странный – не человеческий... Как баран мог туда залезть?

– Стоп машина! – приказал Саша. – Пойду и разведую!

«Я не говорю, что вы не должны делать ничего полезного. Делайте полезные вещи, но помните, что настоящий и величайший опыт жизни приходит от делания бесполезного. Он приходит через поэзию, живопись, любовь, медитацию. Величайшая радость наполнит вас, только если вы способны сделать что-то, что нельзя свести к товару. Итак, если вы чувствуете бесполезность – не волнуйтесь. Вы можете стать огромным деревом с большой кроной. И люди, которые вступили в полезную активность... им нужно отдохнуть в тени», – добавляет мудрый Лао-цзы.

Саша смешался с толпой, а я осталась медитировать над фразой.

Туалет

Два года мы снимаем нижний этаж в доме на уютной окраине Кембриджа. Рядом заповедник с четырьмя озерами. Во двор забредают дикие индюшки с выводками индюшат, прыгают на газоне зайцы. Однажды пришла зимой лиса, стояла на снегу и смотрела в окна. От нашей остановки к Гарвардской площади бежит веселый желтый троллейбус и довозит за семь минут. И все это хорошо. Хозяева Дэвид с его женой Тинк звонят в субботу, что у них для меня новость и нам надо встретиться.

– Что за новость? – спрашиваю.

Хозяева живут выше этажом, они говорят одновременно по спаренному телефону, до меня сквозь потолок долетают голоса.

– Мы будем строить мраморный туалет! – кричат они хором.

– Поздравляю.

– В вашей квартире, – добавляет она чуть-чуть торжественно.

В этот момент телефон щелкает и отключается, потому что села батарея.

Я выпила кофе, выкурила сигарету и вышла на крыльцо. Весна в Новой Англии приходит неожиданно, деревья кричат «сюрприз», как гости в день рождения к полной оторопи хозяина. Еще утрами холодно, и лепестки под деревьями можно принять за снег. Цветут райские яблони и три грушевых дерева через дорогу. Цвел кизил, желтая форзиция, на заборе плющ выстрелил в воздух тремя ярко-синими цветками. После долгой зимы тротуар разбит, у обочин белеют следы соли. Ровный розовый свет тонирует обшарпанные дома. Они похожи на родственников на деревенской свадьбе – цветастые и бедные. Среди них свадебным генералом глядит один высокий дом. Хозяин действительно какой-то генерал в отставке. Он моложав, недружелюбен, вместо правой ноги металлический протез. «Что с ним случилось. Он на войне потерял?» – спросила я как-то соседа Бруно. Бруно отвечает: «Пил, курил, был нормальный человек. Перестал. Авария. Гангрена». Бруно – швейцарец, никакой лишней информации.

Пока в ожидании разговора с хозяевами я люблюсь клейкими листочками, как изволил выразиться Достоевский, из генеральского подъезда выходит полуголая девица. На ней короткое красное платье, она идет, покачиваясь. Так обычно ходят после бурной ночи. Она садится в машину, послав кому-то в окно воздушный поцелуй. После нее остается облачко духов с бензином.

Это – весна, это ее аромат. Только я еще не готова принять информацию о наступлении теплоты на веру. На мне черное пальто, мои любимые коричневые ботинки греют ноги, на голове черная шапка. Я собираюсь писать роман, для этого телу нужен свой микроклимат. Мысль о написании романа посещает меня уже третью весну. Во дни, когда птицы летят над головой, я хожу по улицам и думаю о будущем романе. У меня уже и сюжет есть. Не хватает одного – времени. У меня дочь-подросток с характером переменчивым, как погода. Весь учебный год я в хлопотах. Летом дочь-подросток с другими подростками ездит на Уолден Понд, где искал уединения Торо. Дома она утыкается в книгу, вешает на дверь табличку «Прошу не беспокоить!» Попытки завести с ней душевную беседу за ужином разбиваются о лед презрения.

– Что ты читаешь, если не секрет?

– А что?

– Просто интересно, – говорю, нарочито прихлопывая зевоту, чтобы она не подумала, что я контролирую ее.

– Трансценденталистов, – бросает она равнодушно.

В принципе мне нелепо беспокоиться. Девочка хорошо учится: по физике, по математике пятерки. Она – редактор их школьной газеты. Хвастаясь дочерними достижениями, небрежно сообщая приятелю из Гарварда: «Дочь увлеклась Эмерсоном и Торо»... Впереди подачи в университеты. Все рвется в Гарвард.

– А чем она хочет заниматься?

– Литературой.

– Естественно, – говорит он. – Анекдот новый хочешь?

Он рассказывает анекдот и одновременно смеется. С третьего раза ему удается удержать хохот.

«Все было нормально, сидели, выпивали. Драка началась после фразы: “Семантика этюдности в прозе Ивана Бунина неоднозначна”».

Будем честны – все мы любим удобства. Сортир с большим окном, с умывальником, в котором вполне можно искупать невысокого человека, роскошная штука. Дэвид с Тинк показывают каталог: так будет выглядеть наше отхожее место в конце лета. Настоящее имя хозяйки Катлин, но она хочет именоваться Тинк, потому что так называли ее мама с папой, когда ей было мало лет. Они оставили дочери в наследство этот дом, который, наверное, стоит пару миллионов долларов. Теперь ей шестьдесят два года, она никогда не работала, она говорит тонким голосом, манерами напоминает маленькую девочку и хочет именоваться Тинк. Всё это верные признаки истерички, если вас интересует мое мнение. Вообще истеричные особы распознаются почти мгновенно. В Союзе они, например, всегда говорили «изумительно» про абсолютно все на свете – от шоколадных конфет до стихов Айги. Они обожали Коктебель, могилу Волошина. В Союзе им хотелось куда-то в Париж... Здесь они возятся целыми днями в огороде, сажают цветочки, ставят кормушки для птиц. Они всецело за демократов, за Хиллари, за эмиграцию. Но живущей у них семье эмигрантов поднимают квартплату до потолка. В окне у них на всеобщее обозрение выставлен плакат: «Мы боремся с оружием!» Где они с ним борются? В своем особняке в самом дорогом районе Кембриджа? Может быть, они борются с оружием в недавно купленной вилле у океана? Теперь вот этот туалет из мрамора... Значит, нам опять поднимут квартплату.

– Есть же люди, для которых нужник – радость! – с тоской думаю я.

Наступает лето, и в нашей квартире поселяются рабочие. Они приходят по утрам с большими грязными чемоданами. В чемоданах инструменты: пилы, стамески, дрели, наборы сверл. Из туалета доносятся страшные звуки. Там режут мрамор. В подвале орудует плотник. Они вносят внушительную технику. Двое тащат какую-то хреновину, похожую на гаубицу. Она стреляет гвоздями в пол. То есть в то, что осталось от нашего бедного пола. Мы ходим в уборную по досточке. В полдень рабочие едят на террасе принесенные мексиканским парнем, сыном хозяина соседней

забегаловки, бутерброды под названием «субмарин» и запивают кока-колой. Рабочие – люди с достоинством, они всегда прибирают за собой, проносят мимо меня, сидящей в гостиной за компьютером, пластиковые мешки с мусором.

- Извините, мы тут наследили.
- Ничего-ничего.

Иногда мы ведем беседы. Одна из них – о детях. Дети есть у всех, они есть у рабочих, они есть даже у полицейских. Полицейская машина стоит на нашей улице, потому что в следующем проулке дом мэра. Встать прямо у его дома неудобно – получится, что мэр защищается от избирателей. Предыдущий мэр хотя бы был черным, а этот совсем белый. Если он поставит полицейских у дома, его не переизберут. А так они стоят у нашего дома, зато от нашей террасы просматривается мэрский вход. Когда полицейским нечего делать, что случается почти все время, они выходят из машины и присоединяются к разговорам на террасе. У нас тут своего рода парламент. Рабочие целиком за Хиллари, мексиканский парень – за Трампа, полицейские отвечают уклончиво. Может быть, им как лицам, состоящим на службе у государства, не положено оповещать нас о партийных пристрастиях. Может быть, они поддерживают всех кандидатов. Может, никого. Кто бы ни встал во главе нашего могучего государства, служитель закона все равно будет иметь свои восемьдесят тысяч в год плюс добавочные за стояние в местах дорожных работ в неурочные часы. Не могу не отметить их дружелюбия. Они итальянцы. Даже в третьем поколении на их лицах обаяние страны, из которой прибыли их предки. Это с одной стороны. С другой стороны, меня как советского человека вид людей в полицейской форме у моего крыльца угнетает. Все обаяние не выгонит из советского человека страха перед португезами. Этот страх генетический. Говорите мне, что хотите, но я сто раз подумаю, прежде чем вступать с ними в дружескую беседу. Я выхожу на перекур и стою в стороне в своем черном пальто, перехваченном ремешком. Июнь выдался холодный. Дочь-подросток сидит в своей комнате. Оттуда доносится гитарная музыка. Электрогитаре вторит пила в туалете. Дальше вступают ударные, два молотка в подвале и стреляющая гвоздями гаубица.

В один из дней звонит телефон. Бодрый голос отрывает меня от созерцания груды досок с гвоздями.

- Привет.
- Привет!
- Как вы там? Все в силе?
- Да, в силе, конечно, – отвечаю в тон и пытаюсь по голосу понять, с кем говорю.
- Точно?
- Точно.
- Ты звучишь не очень уверенно. Есть какие-то сомнения?
- Есть сомнения в завтрашнем дне.
- В чем?
- Не важно.
- Так я буду?
- Да, конечно. Где?

Звонящий отвечает, но из-за электропилы не могу разобрать ни слова. Мне приходится соглашаться со всем сказанным, ведь неудобно после всего спросить: «А кто ты?» Положив трубку, задумываюсь. У меня не то чтобы много русских друзей. После сорока мы вступаем в полосу, когда верх берут родовые отношения. Супруги вытесняют подруг. Семейные пары предпочитают другие семейные пары. Говорят о детях. Говорят про детский сад. Про школу. Совместное проведение праздников. Лыжи. Летом – дом на Кейп-Коде. Что-нибудь про еду. Я мысленно перебираю всех, кто говорит мне «привет». Смотрю на номер, отпечатавшийся в телефоне, но он мне не знаком. А может, вообще номером ошиблись...

Выяснилось, что звонил мой племянник. Он приезжает, чтобы смотреть университеты.

– Это совершенно в твоём духе пригласить кого-то и потом забыть, – говорит Филипп.

– Почему забыть? Я просто не узнала по телефону!

– Не выдумывай, я видел твоё лицо!

В последний раз мы с племянником виделись, когда ему было пять лет и мы с ним играли на ковре с паровозиком. Ося мог играть бесконечно. Я прожила у родственников неделю, и каждый вечер, когда Ося приходил из садика, мы играли. Что-то звенело, грюкало, загорался маленький семафор. После ужина Ося несся в комнату:

– Играем?

Я прокляла ту минуту, когда купила игрушку. Ведь могла купить набивного медведя. В общем, ничего удивительного, что я его не узнала, когда он появился в дверях. Ося был под метр девяносто ростом, про паровоз он не помнил, что меня почему-то обидело.

– Совсем не помнишь? Нам было так весело играть, – говорю ему, вместо того чтобы сказать: «Ты меня истязал неделю, хотя бы запомнил!»

Посмотрев на меня с заботливой улыбкой, как смотрят на скучных пожилых родственников, он спросил, где у нас курят.

– На террасе, – отвечаю.

– Там у вас полиция какая-то... Случилось что-то?

– Наша полиция нас стережет.

– Что?

– Не важно, они тут мэра охраняют.

Ося пожал плечами и пошел курить.

Через час, когда Ося не зашел в дом, я вышла за ним и застала всю компанию за увлеченным спором. Рабочие объясняли, почему надо голосовать за Хиллари. Мексиканский парень, консолидировавшись с одним из полицейских, отстаивал консервативную партию. Они нашли серьезного оппонента в лице Оси. До меня донеслось: «Прогнило что-то в королевстве Датском». Говорили бурно, но при этом никто не грубил. Огромная культурная разница в ведении дебатов между русскими и американцами: русские в ответ на высказанный тезис говорят: «Нет, вы не правы!» Далее следует идентичное рассуждение, сказанное другими словами. The same difference. Американцы отвечают: «Я в принципе согласен», а дальше излагают совершенно противоположную мысль.

К трем основным законам диалектики Гегеля надо добавить четвертый. Ремонт никогда не начинается вовремя и никогда не кончается в обещанный срок. Тот факт, что он растянулся на два месяца вместо трех недель, дает мне идею. Испорченное лето. Испорченная жизнь. Не написанный роман. У меня сюжет пропадает. Становление девушки с независимыми взглядами. Девушка-подросток из семьи русских эмигрантов возглавляет движение Black Life Matters. Ей приходится преодолевать неодобрение родителей, которые, как многие из соотечественников – расисты. Конечно, я не расист. Конечно, любой из моих друзей о себе скажет то же самое. И, конечно же, все мы обманываемся. Кто из нас в ответ на фразу нашего ребенка «Жизнь черного важна» не поднял брови и не пробурчал «Жизнь белого тоже важна!» Да, это так, но только, черт возьми, жизнь белого человека важна уже две тысячи лет. В какую эпоху ни заглянешь, она важна. Но я отвлеклась. Я думаю, что надо просить у хозяев компенсации. Идея настигает меня внезапно среди ночи, и я бросаюсь на нее, как сова на мышь. Я не могу уснуть до утра. Как завести разговор о деньгах? Нас ни в школе, ни в университете не научили этому. Один студент, которому я преподаю русский частным образом, недавно сказал, что у него плохо с финансами. «Можешь не платить...» – начала я фразу и не успела закончить, как он радостно хлопнул меня по спине: «Я надеялся, что ты так ответишь!» И мне было неудобно исправлять ошибку. Что я имела в виду, что он может заплатить потом. Приятель из Гарварда уверяет, что компенсация за неудобства может быть в квартирную плату за два месяца. Он обещает уточнить.

Внезапно хозяева уезжают. Я вижу, как один за другим на улицу выносятся чемоданы. Звук отъезжающего такси.

– Куда это они? – спрашиваю у плотника.

– В Париж.

– Везет некоторым.

– Ничего, вот закончу проект, тоже двину на север.

Пока я вдумываюсь в это «тоже», он озабоченно шарит по карманам и достает связку ключей.

– Возьми ключи, это от их хаты. Мало ли что случится. – Неожиданно добавляет он.

Задумаемся, из чего состоит наша жизнь? Она состоит из мелочей. Задним числом мы видим большие этапы пути. Чаще всего удручающе бессмысленные. Однажды еще в Кишиневе мы с другом год строили теплицу, чтобы выращивать на продажу тюльпаны. К двадцать третьему февраля. К восьмому марта. Тюльпаны – капризные цветы. Чтобы вырастить тюльпан, для начала луковицу тюльпана сажаешь в землю, где она проведет год. Это нужно для выгонки ростка. Наконец переносишь вырытые луковицы в отстроенную теплицу. Все шло замечательно, но накануне февральского праздника пришла милиция и разрушила творение нашего практического ума. Теплица рухнула, мертвые тюльпаны на осколках стекла и досок, как кровь. Но это в прошлом. В той стране мелочи подвергались остракизму. А жизнь все-таки состоит из мелочей. Приятно, например, уехать куда-то, а потом вернуться и обнаружить оставленную на диване книгу, от которой пахнет сигаретами и кофе. Приятно выйти на террасу, закурить и почувствовать вдохновение. Хорошо бы в первых параграфах романа задать направление. Важнее всего тон. Я называю это «мелодией». Я ее услышала, а остальное ляжет на эту музыку.

Лето идет своим чередом, и мы привыкаем жить на обломках. Куски мрамора на диване и столе. В ванной лежит тяжелая мраморная плита, другая прислонилась к унитазу. В отсутствие хозяев рабочие не очень налегают на ремонт. Ося ездит смотреть университеты. Дочь-подросток сидит в своей комнате, иногда к ней забредают друзья. В одно из утр я останавливаюсь в коридоре рядом с ее дверью, потому что в нос ударяет отчетливый запах марихуаны. После стука в дверь слышу:

– Кто там?

– Призрак отца Гамлета! Чем у тебя пахнет?

– Ничем!

Дверь приоткрывается ровно на два пальца, вопросительный взгляд честных и бесконечно любимых глаз.

– Что?

– Я – что? Это ты – что!? Откуда запах?

– Не отсюда! Ты же знаешь, что я не курю.

– А откуда?

– Не знаю! Я сплю. Спроси Осю!

– А где он?

– Не знаю.

Дверь захлопывается. Занавес.

Ося как раз движется со стороны остановки, у него что-то в руках. Он несет ЭТО, прижимая к груди. Младенец, мелькнуло в голове. Ося немного чудаковатый. Он подходит ближе, у него в руках скелет. Накануне мы выпили с мужем, и теперь я чувствовала, что реальность едет вбок.

– Что это? – спрашиваю.

– Это скелет.

– Сама вижу, что скелет.

– Купил на развале. Для рисования. Скелет женский, – добавляет он.

– Понятно, – говорю.

– Я давно мечтал про такой, но дорого было. А здесь шел мимо развала, увидел...

Так вот, жизнь состоит из мелочей. Не могу же я воспрепятствовать Осе подселить в комнату эту штуковину. И тут мне в голову приходит гениальная мысль. Ося втащил вещи в хозяйскую квартиру. Здесь было прохладно и хорошо пахло, в то время как у нас стояла духота и пахло сыростью из подвала. И выглядела квартира в полтора раза больше, хотя располагается прямо над нашей. Из комнаты дочери в нее ведет черная лестница. Раньше я заходила пару раз по мелочам: отдать чек за квартиру, одолжить молока для кофе.

Я отдаю племяннику ключ.

– Вон в той, задней, можно бросить кости? – спросил Ося.

– Можно. Но, умоляю, соблюдай чистоту.

– Будет выполнено, мэм!

– И не кури тут!

– Ессесно. На балконе можно?

– Ну, разве что на балконе. Вообще курить – здоровью вредить!

– Кто бы говорил.

– Вот они такие, эти подростки. Мы хотя бы скрывали от родителей до вполне серьезного возраста пагубные привычки, – говорю я плотнику.

Он кивает.

– А они, – продолжаю запальчиво, – внаглую, прямо в школе даже. Выйдут за угол, скрутят и шмалят. Моя дочь, правда, не курит.

– Ты уверена.

– Конечно!

– Откуда такая уверенность?

– Она сказала!

– Ну, тогда конечно! – восклицает он. – Она в каком классе? Сколько ей? Шестнадцать?

– Ей только пятнадцать. Она пошла в школу на год раньше.

– Мы с приятелем в девятом классе ЛСД принимали. Грибы жрали. Один раз кокаин пробовали.

Если в мире ничего ни убавить, ни добавить, то в романе писателю – воля вольная. Наивные люди полагают, что произведение отражает реальность. Искушенный человек знает, что искусство придумывает свою реальность. Да и что такое реальность, так подумать? Ведь не стулья и столы, не мраморный туалет. В детстве я много врала. Я врала в школе, когда не выучивала урока. Я врала так художественно, что все заслушивались. Пример вранья в связи с не принесенным домашним заданием в четвертом классе. Дверь не открылась почему-то, и мне пришлось идти к соседям. У них дрессированная обезьяна, потому что сосед был капитаном корабля, привез обезьяну из Турции. Бросили доску, обезьяна пошла по ней... Но открыть дверь не смогла, хотя и очень умная и всё понимает. Я врала так красиво, что учителя просто от удовольствия слушать меня не ставили плохую отметку. Во дворе я тоже врала. Рассказывала ребятам истории про зарытые клады, и сама иногда начинала верить в то, что наплела. Удивительная способность воображения в том и заключается, что выдуманная реальность реальней мира снаружи.

Приятель из Гарварда звонит наконец с хорошей новостью.

– Реально можешь не платить за то время, когда шел ремонт! Ты же ничего не подписывала?

– Нет, вроде.

– Что значит «вроде»? Подписывала или не подписывала – вот в чем вопрос!

– Я думала, вопрос «быть или не быть».

Он на полминуты задумывается.

– Я бы на твоём месте написал хозяевам прямо сейчас, пока они в отпуске наслаждаются видами, а ты тут в грязи и пыли валяешься – пусть почувствуют разницу. Ты говоришь, что у вас там до сих пор не убрали? Приложи фотографии. Это будет эффектно!

Мой приятель учится на юридическом. У нас вышла история с предыдущим хозяином квартиры, тот не возвращал залог. Приятель пошел с нами в суд. У хозяина был опытный адвокат, а у нас этот, студент. Оба евреи. Когда вошли в зал суда, хозяйский адвокат посмотрел свысока, кривая усмешка промелькнула в усах. Пропали денежки, пробормотала я. Филипп улыбнулся: «У нашего нос больше!»

В один из вечеров, когда племянник уехал, когда рабочие загрузили инструменты в машину и отбыли, когда дочь ушла ночевать к подруге, я зашла в хозяйскую квартиру. Лето шло к концу, жильцы нашей улочки ловили последние чарующие закаты на балконах. Только генерал стучал по кирпичному тротуару своей металлической ногой. В тот вечер всё было особенным. Я вошла в хозяйскую кухню и зачем-то открыла холодильник. В холодильнике ничего не было, кроме бутылки рислинга. Я налила себе бокал и вошла в спальню. Я включила радио и села на кровать. Белое покрывало хранило тепло от дневного солнца. Рядом на тумбочке лежали альбомы и журналы по садоводству. Взгляд привлекло другое – японские эццэ из слоновой кости. В ряде их прослеживалась эротическая тема. С фотографии со стены на меня смотрели хозяева. Экие озорники...

Я взяла еще вина, стала пить и смотреть в окно. Радио играло джаз. Желтый, объеденный с краю каравай солнца, лежал на серебряном облаке, как на подносе. Просто голландский натюрморт. Я легла на кровать, открыла книгу об искусстве эротического эццэ и прочитала, что японцы не видели ничего позорного в сексе. Потом я позвонила мужу, чтобы он принес наверх какой-нибудь закуски.

– Что вдруг?

– Ты приходи.

Будет хорошо

Итак, квартиру нашла я, водя пальцем по очень важному списку квартир для гарвардских работников и отмечая подходящие варианты. До нее я посмотрела несколько других квартир. В квартире на Гроджер-стрит хозяйка, интеллигентная седая дама, вдруг спрашивает:

– Дочь у вас ходит?

– Куда ходит?

– Ну, ходит она у вас вообще?

– Она – полноценный ребенок! – отвечаю.

Сказав, спохватываюсь, что сказала что-то политически некорректное. Сейчас она меня уличит. Но хозяйка уже идет к входной двери:

– Эти подростки много ходят туда-сюда, скребут ногами по полу, дверью хлопают. А я снизу живу, мне всё слышно. Нет-нет...

В следующей квартире мне все пришлось по душе. Она просторная, с высокими потолками. Все замечательно, кроме одного: окна выходят во двор дома престарелых. Пока мы беседуем с уютной тетужкой в кухонном переднике, хозяйкой этого комфортабельного жилья, во двор дома престарелых въезжают сразу две полицейских машины и следом скорая помощь. Все три транспортных средства, даже прибыв к месту назначения, не перестают издавать громкие сигналы. На тихих улицах Кембриджа звук сирен особенно слышен. Он усилен мегафоном кирпичного пере-

улка. При этом все три машины разбрасывают красные и синие лучи во всех направлениях. Гостиная от этих спецэффектов начинает напоминать дискотеку. Теперь мы с хозяйкой кричим, чтобы услышать друг друга.

- Район у нас удобный, тихий, близко магазин... – кричит она.
- Какой магазин? – кричу я, не расслышав.
- Что?

И вот наконец предел желаний – квартира на Ларч-роуд. С террасой, задним двориком. Местоположение ее настолько примечательно, что не могу не поделиться. Совсем неподалеку, практически в двух кварталах от дома, исторический заповедник с большим озером. Еще по бокам находятся три озера поменьше. На границе заповедника растут столетние сосны, склон усыпан хвоей, по пригоркам виднеются заросли ландыша. По дорожкам скачут белки, спуют бурундуки, в дупле дерева видно лицо совы. Под деревом стоят, задрав головы, две пожилые пары. Они фотографируют сову, которая их не видит. Ночью она проснется, вспомнит странный сон про людей, которые зачем-то стояли внизу и время от времени выпускали синие стрелы в ее направлении. Она вылетит из дупла и пронесется над лесом, над водоочистительной станцией, достигнет в кустах мышь. С годами я все больше люблю тишину, одинокие прогулки. Природа вечна, мысли о ней ободряют.

От заповедника я быстро добралась до этого домика. Привязывая у дерева свой Specialized, все не могу забыть увиденную пастораль с озером и совой, с кустами шиповника и дикой малины. А какое там море цветов! От полевой ромашки, зверобоя и Иван-чая до изысканных роз.

Хозяин по имени Дэвид. Это спортивной комплекции шестидесятилетний мужчина того типа, который называют «мужественным»: с приятным, немного каменным лицом, высокими скулами, твердым подбородком. Форма одежды демократическая: шорты, рубашка навыпуск, мокасины фирмы «Эко». Накачанные мышцы ног говорят о любви к движению. Он, конечно, будет спрашивать о семье. Потом задаст вопрос о работе, и мне надо будет показать, что ситуация у меня временная, скоро я опять буду служить. Также он наверняка попросит назвать имена гарантов, которые смогли бы подтвердить мою платежеспособность. Я заполню бумаги, вложу в конверт письмо от нынешнего лендлорда, отвечу на вопросы об имеющихся хобби. Я – писатель. В Америке, если ты не зарабатываешь своим делом, оно всего лишь хобби. Ну и плавать. Хобби так хобби. На мне тщательно подобранный наряд: черные брюки в обтяжку и голубая стильная майка из магазина «Дизель». Мы с Дэвидом садимся на садовую скамью во дворе и он меня спрашивает:

- Для чего ты хочешь жить?

Наклоненные ветки райской яблони увешаны красными плодами. Вверху стрижи режут голубое небо на лоскуты. Трассирует сквозь облако самолет, оставляя за собой молочную полоску. На детской площадке через дорогу визжит малышня на качелях. А до этого когда-то я жила в местах, где снаружи дымили трубы заводов, на окне лежала индустриальная гарь. По глубоким и темным, как морщины на лицах стариков, улицами, текли остатки дождя, перемешиваясь с химическими сливами.

Я честно и не без некоторого пафоса всё это ему говорю. В глазах у меня вот-вот выступают слезы. Недавно в предвкушении нового счастливого этапа жизни я слезла с прозака. На прозаке люди перестают плакать. Они, может быть, не веселятся, как воробы в луже пыли, но они не слезливы.

– Я люблю жить.... Вот этот мир, окружающий меня, и тот, который я оставила на родине, который был страшен и по-своему прекрасен. Он одновременно тоже здесь, – я обвожу рукой умозрительное пространство.

Хозяин пораженно смотрит на меня. Может быть, я не расслышала вопрос, спрашивает он. Его вопрос был совсем простой, и он его готов повторить четко с чувством и расстановкой:

– Почему вы хотите жить здесь? Ведь Кембридж очень дорогой район? Есть Сомервилль, есть, наконец, совсем дешевый Олстон?

– Здесь красиво, – говорю я.

Фраза почему-то его убедила.

Я еду домой и по дороге останавливаюсь у кафе. Там я вижу Ванессу. Я обучала ее поэтическому мастерству. Ванесса мечтала стать поэтом. Или поэтессой. Она и одета соответственно. Она вся в черном, даже в кафе не снимает черных очков.

– Как дела? – спрашиваю.

– Хорошо.

Голос у нее тоскливый. Когда она выдавливает ответ, кажется, что она просто скрывает нечто. «На самом деле все очень-очень плохо, через месяц я умру от рака мозга».

– Все в порядке? – на всякий случай уточняю у нее.

– Нашла работу.

– Поздравляю.

– Социальным работником.

– Прекрасно!

Я улыбаюсь и всячески даю понять хмурой Ванессе, что разделяю ее радость. Когда подходит ее очередь заказывать кофе, я отхожу в сторону и смотрю, как она получает свой пластиковый стакан с чем-то очень густым – большая шапка сливок венчает это дело. Кофе – дело интимное.

Я беру свой бумажный стаканчик, удаляюсь в угол, чтобы там в прохладе и приятном одиночестве подумать о том, что мне делать с моим «хобби». Ничего, кроме, неприятностей, оно мне не принесло. Бедные родители. В других семьях дети приходили домой и хвастались тем, что записались в кружок. Я на полугодовой контрольной по физике задумалась о чем-то, смотрела в окно, написала стихотворение. Постоянные выговоры за опоздания. Экзамены, на которые забывала явиться. Нарекания на работе. Завкафедрой Леонид Израилевич в сельхозинституте, где преподавала английский, с утра посреди коридора. Выразительный взгляд на часы: «Ну ты даешь!» Ощущение маски, постоянный страх разоблачения. Камю сравнивал писателя с лицедеем.

Ладно, а что хорошего? Искусство – второй шанс. В жизни всё случайно, искусство избирает. В нем существует справедливость. Истина, добро и красота. Китс написал. «Красота – истина, истина – красота», – вот и всё, что знаешь ты на земле, что знать ты должен. Я согласна с Китсом.

Через какое-то время поднимаю голову оттого, что кто-то стоит рядом и практически дышит в затылок. Ванесса – маленькая, белокурая, непонятной комплекции с непонятными чертами лица. Она наконец сняла очки, но прочитать что-либо в глазах невозможно.

– Послушай, – говорит Ванесса, – ты думаешь, что это хорошая работа для меня?

– Какая работа?

Тут я вспоминаю... Мне всегда неловко, что самое главное я не помню. Помню какие-то бесмысленные мелочи про людей. У Ванессиной кошки были больные почки, она ей делала уколы. Потом, когда кошка умерла, у Ванессы появился бойфренд. Он ей изменял. Когда он заболел, она его лечила.

– Это очень конкретная работа – помогать несчастным, и ты молодец, что взялась за такой нелегкий труд!

За очками не видно, верит она мне или воспринимает скептически. А я ведь не лукавлю ни капли. Я бы с радостью поменялась с ней.

Ванесса слушает и попивает свою молочную гадость. В кафе входит группа шумных школьников и школьниц. Похоже, им лет по семнадцать, последний класс. Как они не похожи на нас

в юном возрасте. Счастливые. Ни спрятанного под подушку «Архипелага», ни переписанных в тетрадку стихов Мандельштама, ни семейных альбомов с фотографиями мертвецов.

– А у тебя как дела? – спрашивает Ванесса.

– Вот сняла квартиру...

– Да, – задумчиво отвечает она. Под носом у нее молочные усы, о чем я ей сообщаю. У нее очень заторможенная реакция.

– Конкретная работа, ты права... В бюро трудоустройства ничего другого не было. Думаешь, будет хорошо?

– Будет хорошо!

Много лет мне было плохо. Были запутанные отношения с мужчинами. Я подумала и решила стать счастливой. Я сижу с ногами на диване, улыбаюсь, делаю в зеркале смешные лица. Я поднимаю брови в знак невыразимого удивления. Я растягиваю рот так, что он вот-вот лопнет. Сентябрь, а так жарко! Температура иногда доходит до сто по Фаренгейту. Квартира заполняется новой мебелью.

Я купила: высокий стол и четыре высокие барные стула. Кровати и шкафчики для одежды. В Крэг-листе я нашла изящный журнальный стол и белый кожаный диван. Белый, дамы и господа! Он стоит в комнате с эркером, в окнах – участок двора, изгородь, платан, кусок дороги. Счастливый человек отличается от несчастного тем, что у него ощущение, что все произойдет само. Поэтому я провожаю дочь в школу, делаю большую джеззу кофе и сажусь за работу. В настоящее время я пишу прозу. Я пишу как бы ни о чем. О пустяках. В моем рассказе ничего не происходит. Я пишу, как познакомила одного из своих друзей с его будущим мужем. Они оба были настолько застенчивы, что не решались заговорить. Я увидела, как Бен смотрит на Ульриха, и познакомила их. Я убеждена, что лучшие в мире рассказы ни о чем. О чем, например «Дама с собачкой»? О том, как Дмитрий Дмитриевич несчастлив с женой и хочет забыться. О том, как Анна Сергеевна хочет любви. Ведь такое можно сказать о любых людях! Какая простая, старая как мир история. А о чем «Записки сумасшедшего»? Да все о том же. О том, как бедный Аксентий Иванович хочет любви. Я ложусь на белый диван и думаю о тайнах мастерства. Я думаю о Чехове и о Гоголе, и еще о ряде людей, чье умение обращать слова в удивительные картины сделало такую невероятную разницу. В настоящее время меня интересует любовь и счастье. Чехов сказал, что счастье это то, что понимаешь только по прошествии времени, когда оно уже ушло. Счастье есть воспоминание о счастье. То есть искусство.

В жару белый диван хранит прохладу. Я ложусь, закладываю руки за голову и вспоминаю места проживания. Когда ничего лучшего нет, я люблю думать о том, где я была, и сравнивать с тем, где оказалась. Сравнение в мою пользу.

Есть американская поговорка: не можешь добиться счастья, сыграй его. В детстве я много кривлялась. В начальных классах имела репутацию клоуна. Я раскрашивала лицо цветными мелками – где я только их добывала при вечном дефиците цветного мела. Мне делали длинные записи в дневнике, отсаживали за отдельную парту, водили по классам с тем, чтобы устыдить. Ничего не помогало. Я научилась шевелить ушами. Я была счастливым человеком, как я теперь понимаю. Огромную радость мне доставлял смех товарищей. Учительница поговорила с мамой:

– Понимаете, я лично стерплю в своем классе клоуна, но ведь ей жить потом в совсем другом мире!

Я присутствовала при разговоре, видела грустные мамыны глаза. Мама мне строго запретила кривляться. Она взяла с меня слово, что я никогда больше не буду этого делать. Я с тоской пообещала.

– Помни, тебе еще жить в другом мире! – Со слезами в голосе добавила она.

Елена СУНЦОВА

НЕБЕСНЫМ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕМ

Р.Р.

Стеклянной рыбкою плывет
Над морем, словно самолет,
Воздушный сказочный трамвай,
Соединяя острова,
Растапливая лед.

И я согреюсь и засну,
И я щекой своей прильну
К твоим летящим волосам,
И к синим-синим небесам
Очей твоих скользну.

Нет не парки нет не арки
У воды и над водой
Не открытки и подарки
Коломбины молодой

Лишь в полтона расстояние
С полуслова на весу
Лишь вполголоса сиянье
Снова не произнесу

Снова горечь снова тяжесть
На неопытной душе
Фреска-память разбодяжит
Очарованно ушед

Елена Сунцова родилась в 1976 году. Училась на художественно-графическом факультете Нижнетагильского педагогического института, на факультете журналистики Санкт-Петербургского университета. Окончила факультет «Литературное творчество» Екатеринбургского театрального института. С 2008 г. живет в Нью-Йорке. Автор десяти книг стихов, а также публикаций в журналах «Воздух», «Волга», «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Новый мир», «Урал» и др. Лауреат специального диплома премии «Anthologia» за создание издательства «Айлурос» (Ailuros Publishing), главным редактором которого является с 2011 г.

За каким таким богатством
Машет вышитый платок
Задыхаясь на тагальском
Про какой-то коготок

Как ни юли клокочи ни зги
Все не подать руки
Время махнуть на него рукой
Снова придет покой

Вот он пришел наблюдает за
Тем как влажны глаза
От пребывания налегке
Вот он кладет букет

Стоит ли жить торопиться петь
Этот букварь терпеть
Смаживать струпья с небесных ран
Так говорил Иоанн

Или вернее так Сирин пел
Плакал кривил терпел
Соль океанов и пыль равнин
Время плохой равнин

Прыгает зайчиком по стене
Армстронгом по луне
Пишет письмо начинает чат
Ставит хэштэг #скучать

Я смело начертила
На дымке предоконной
Что я не пошутила
Мы встретимся не скоро

Но скоро Новый год и
В пустой лакуне яркой
Ответ ко мне нисходит
Потерянным подарком

И пятьдесят девятой
Минутой уплывает
Ни в чем не виноватой
Ни в том что не бывает

Печали длится длится
Так тьма солнцестоянья
Ни в том что снится снится
Нам мука расстоянья

И вот я ею таю
На ребрышках стрелчатых
Я ею обладаю
Так ловкие бельчата

Летят от елки к елке
К ореху от ореха
В те окна где потемки
Лишь ядрышко для смеха

Солнце встает над морем
И над пучиной снежной
Ослеплена прибоем
Окрылена надеждой

Клювом взрезая воздух
Легкая лодка мчится
Светом соленых звезд и
Горечью их лучится

Там в синеве тумана
Кто-то отдельно взятый
Взорами океана
Смотрит как на меня ты

И в облаках летящих
Слышит как прерывает
Ветер дыхание спящих
Смелые сны сбывает

Каким бы ни был твой язык
Мне скажет лучше слов
Исполненных словами книг
Прерывистый твой вздох

О чем мне в письмах говоришь
Сплетая сон из букв
Когда ты снова позвонишь
Я вновь услышу звук

Не то что голоса скорей
Дыхания и смех
Что из-под ровненьких бровей
Из-под закрытых век

Мне будет виден как слова
Которых в мире нет
Но если ты дохнешь едва
На них проступит свет

Наши лица меняет желание
И неважно какое название
Нежно тянется тонет в dasein и не
Называние значит касание

Сонно бережно толика завтрака
Этот день начинается запросто
Смех и воздух метафоры полые
Вознесение лебеди голуби

Я поверила в раму открытую
В невысокую речку забытую
Ту к которой не смела приблизиться
Только падала с ангельской низенькой

Башни ветра ли облака лестницы
Оставляя нам тени ли вестницы
Вспоминая ли облик утраченный
Совершенный совсем предназначенный

Из тишины из немоты
Туда где я туда где ты
Где ходит маятник родства
Твои слова мои слова

Из темноты из глубины
Туда где мы туда где сны
Под покрывалом языка
Где в строку падает строка

Из вышины из синевы
Из закруженья головы
Из ночи долгой как письмо
Как таковое как само

Какой веселый нежный воздух
Как будто право счастья возглас
Как будто вымолили реки
Себя щепотку в человеке

А человек едва проснулся
От сна едва к себе вернулся
И тени резкие мелками
Ему себя нарисовали

И подчеркнули как в тетрадке
Одной забытой ленинградки
Все непричалившие лодки
Все те волшебные находки

Ты привыкаешь не бояться
Я привыкаю удивляться
Бежать по пристани ликуя
Еще не выдумав такую

Реальность чтобы создавалось
Шитье наотмашь чтоб сбывалась
Судьба похоже не о том вправ
Что свежепойманный автограф

Небесным головокруженьем
Упавшим в омут отраженьем
Моей любви разноголосой
Шуршаньем девятиполосной

Дороги весело и нервно
Летит сбывается наверно
Объект неведомый скользящий
Совсем-совсем ненастоящий

Как эфемера или слоган
За шкирку схвачен каталогом
Коллекционен и описан
Послушно рея над карнизом

Не претендуя на лояльность
Блистательность и уникальность
Назойливо не окружая
Лишь незаметно утешая

Смеша своим подспудным фактом
Распавшись в клочья словно атом
Перерожден нелеп бессмертен
Летит летит гонимый ветром

Dahin dahin где виден хвостик
Взбирающегося на мостик
В пожаре облачной завесы
Туда где мечутся киприсы

Туда где плавают лимоны
В бреду труда и обороны
Где робкой нежностью обласкан
Толмач одергивает лацкан

Где тишина ночного мира
Есть лодка радиоэфира
Ее качает и качает
Бог весть куда она причалит

Так и объект что неопознан
Себя поверил только звездам
Как одиноки как их мало
Гляди одна из них упала

Когда не в поисках спасенья
Суд еретический вершу
Чернее Рурского бассейна
Над пустотою ворожу

Тогда входи садись как было
Всего лишь десять дней назад
Я письма старые открыла
Чей неизвестен адресат

Там в ожиданьи дирижабля
Аэростат залит вином
Не разрушается шар Шарля
И выживают двое в нем

Достичь пытаются Европы
В шикарных куртках летуны
Так память дергает за стропы
Огонь касается струны

Без кислорода задыхаясь
Шепча ненужные слова
Все восходя и не пугаясь
Что нарастает синева

Когда идет во тьму
Огонь неутолим
Ты вспомнишь почему
Так истинно любим

Расстрелян из бойниц
О сбывшийся мажор
Разрядами зарниц
Наполненный декабрь

И я в руке огонь
Вещественный держу
Тем солнечным аргю
Что Тесла ворожу

Мерца в полумгле
Рождественского да
Почти являя тлен
Где до мольбы всегда

Осталось полчаса
Отмеренной земли
И тает полоса
Последнего внемли

Весна подглядывает сны,
Идет, и мы с тобой пойдем
Тем дуновением весны,
Воздушно-капельным путем.

Мы превратимся в зимний дождь,
В узор на окнах, робкий снег –
Белее длиннорунных кож,
Темнее изгороди век, –

В переплетенье торжества
Одной весны в одной стране,
И те веселые слова,
Что не слова еще вполне,

Сказать окажется легко,
Ведь можно просто подглядеть,
Как, оказавшийся влеком
Весенним днем, весенний день

С ним шел, и за руку держал –
Все крепче, будто бы хотел,
Чтоб тот Жиффара дирижабль
Из сети ввысь не улетел.

Бэбитай

С. съездил в Таиланд, вернулся оттуда потрясённый, рассказывает: представляешь, там есть такая штука, называется бэбитай. Это такой дикий вариант тайского бокса, вообще для мастеров, которые все ступени прошли. Я ходил по Пхукету и периодически натыкался на тайцев, которые всё бубнили себе под нос: «Бэбитай, миста, бэбитай, вонт ю си...» Я не понимал, чего они хотят, а потом один из них втюхал мне флаер: надпись на английском «бэбитай», на картинке мужик с ребёнком, распечатано на убитом чёрно-белом принтере... Мне стало интересно, и я пошёл. Подвал на окраине города, ну там типа бар, стулья плетёные, в центре – ринг, на стенах плазмы и всё такое. Говорят, что один мастер тайского бокса, когда у него умерла жена, остался один с младенцем. Ну и ходил с ним всё время на руках, укачивал там, ну, ты понимаешь. А чтобы форму не терять – он же боями деньги зарабатывал, стал прямо с ним тренироваться. В тайском боксе руки почти не нужны, ну вот он ногами и махал, а младенец спал у него на руках. Так всё и началось. Кто-то снял его на камеру, выложил ролик на ютубе, тут же набежали ушлые ребята и понеслось. Правила там простые. Выходят в ринг два бойца, каждому дают по спящему младенцу, и начинается бой, в котором разрешены лоукики и хайкики. Попаданий там мало, это больше такая хореография получается, смесь боевого искусства и контемпорари дэнса. Но случается, что и вырубит один другого. А так в основном дерутся/танцуют до момента, когда один из младенцев не проснётся и не завопит. Тогда тому бойцу, чей ребёнок проснулся, автоматом засчитывают поражение. Сейчас бэбитай в Таиланде единоборство номер один, правда, оно пока не совсем легально: отсюда эти флаеры, окраины, подвальчики. Но от желающих посмотреть и поучаствовать отбоя нет, так что официального признания ждать, видимо, недолго. Да ты сам глянь, я сейчас покажу.

Я приподнялся со стула, чтобы уступить С. место у ноутбука, но он одним быстрым движением выхватил у меня из рук спящего младенца М. и, высоко подскочив, с разворота сбил ногой стоявшую на холодильнике вазу с цветами, которые он подарил моей жене по случаю её сегодняшнего дня рождения. Осколки вазы с грохотом разлетелись по кухне.

– Ну как, – орал С., прыгая зигзагами с младенцем М. в руках, – круто, да? Я тренировался! Брал младенца напрокат и тренировался! Там это на потоке! А скоро и у нас тут всё взорвёт, ты уж мне поверь!

Я не знал, что ему ответить, а С., после очередного прыжка упавший плашмя на спину, орал: да ты же можешь, мужик! Харэ просирать жизнь! Хрен ли ты сидишь дома как раскисший выползок! Давай, чувак! Встряхнись! Посмотри на мир другими глазами! Тренируйся! Оглянуться не успеешь, как бэбитай станет олимпийским видом, ты уж мне поверь!

Глаза у С. горели, он кричал в голос от восторга, и уже начинал выводить басом проснувшийся от падения младенец М., на кухню входила заспанная жена, вид у неё был встревоженный и непонимающий, но понимание было где-то уже совсем близко и начинало проступать на лице

Дмитрий Брисенко родился в 1970 году в городе Великие Луки. Учился в РХТУ им. Д.И. Менделеева (бывш. МХТИ) и на заочном отделении Литинститута (ушел после второго курса). Публикации в журналах «Урал», «Русская жизнь», «Контекст-9», «Вокруг света», «Полдень XXI век», «Химия и жизнь» и др. и в нескольких антологиях современного рассказа (проект «Фрам» издательства «Амфора»). В «Волге» публиковался рассказ «Разбить тачку» (2013, № 11-12).

в виде хорошо знакомых мне мимических предвестников гнева, я по возможности незаметно опрокидывал последнюю рюмку дрянного тайского вискаря Mekhong и думал, что, скорее всего, С. сочинил эту историю ради эффекта, что его шутки ещё со школы были довольно так себе, а с годами он, очевидно, деградировал, что надо как-то его отвлечь и уложить спать, а лучше всего немедленно выпроводить из дома и залечь самому, потому что завтра вставать ни свет ни заря и переться в Электросталь ради каких-то грёбанных деталей, которые поставщик закупил не те, и теперь я имею дело со взбешённым клиентом, который не понимает, отчего его ниссан встал посреди заснеженной трассы М9, а движок произвёл вот такой звук: ДЫДЫДЫДЫДЫ. И после этих «дыдыды» дальше уже никто никуда не поехал, только летали в предрассветном небе, истошно крича, дикие злые вороны.

Прилипалы

Он мнётся, пытается говорить, слова не выходят, только булькает что-то, он изображает руками фигуры, морщит лоб, тербит чёлку. Его можно понять: зима забрала три дня из его жизни, и чувак реально в ступоре.

Забрала не в смысле три дополнительных к тем 90+, а вот просто вся уложились в три дня. Он заснул, когда начиналась метель, а проснулся – текут ручьи, и собачьи какашки везде, везде. Три дня минус, всего-то три дня: осень, а за ней сразу весна, круто! Но в голове не умещается, мозги кипят.

А у кого бы не кипели.

Он мычит, потом из него прорывается: «Чёрт, чёрт, чёрт, ну почему?.. да, я никогда не любил чёртову зиму, но так тоже, блин... перебор!»

Плачет, растирает слёзы по щекам.

Тот, кому он это говорит, спрашивает:

– Перец чёрный на сугроб сыпал?

– Ну, конечно, – у него теперь снова получается говорить.

– А в магазине на горке свиная лопатка на кости, по 220? Брал её?

– Да, по 220, брал.

– Хорошо. А тот учебник по стереометрии, с дачного чердака, в библиотеку отвёз?

– Отвёз. Ещё в начале сентября.

– Понятно.

Тот, кому он говорит, хмурит брови, чешет переносицу.

– Ну, то есть вообще-то говоря, ни хрена тут непонятно.

Он опять начинает всхлипывать.

– Ладно, ладно, не паникуй... что-нибудь придумаем.

Разговор происходит неподалёку от магазина «Дикси», куда я шёл за молоком и прилипалами. Зима кончилась вчера, сегодня первое марта, и в этот день часто происходит всякая ерунда. В том году, например, на моих глазах из окна припаркованной машины вылетел руль и покатился вниз по улице, после чего из машины вышла женщина и просто ушла, не сказав никому ни слова. Руль потом подобрали дети и куда-то пристроили. Поэтому я не особо всему этому удивляюсь, услышал – промотал; всякое бывает. Меня больше занимают прилипалы: если сегодня среди них не окажется перца в повязке нинзя, мой сын Петя сделает мне выговор. Арбуз есть, и вишня есть, и черника – аж в двух экземплярах, и даже косорылая картошка. А перец-нинзя всё не попадётся.

Я незаметно сыплю чёрный перец на растаявший сугроб – в наших краях это считается верным средством приманить удачу – и, перекрестясь, захожу в магазин.

Яркий свет неоновых ламп бьёт по глазам, я шурюсь и в мелькании разноцветных точек едва различаю кассира. Она приветливо мне улыбается – узнала. Пока я иду к полкам, прилипалы тащат спички, кто-то из них сегодня отправится к нам домой, но я этого не вижу, потому что моё

внимание захватили акционные товары. Ух! – глазам не верю, скидка 75 процентов, по случаю первого дня весны. Надо брать, и я беру. Беру столько, чтобы всё уместилось, но потом, конечно, прихватываю ещё пару совсем завалящих штук.

Они все такие красивые, на загляденье.

Ну просто ух.

В Чертаново!

– Чуваки, не продадите корабль?

– Не-е-е, у нас нет. А хотите, давайте с нами?

И мы даём. Сначала я, потом А.К., глубокий вдох – пауза – выдох, блаженные улыбки на лицах, в плотных клубках дыма люди справляют нужду, смотрят искося, но не возражают. Мы в туалете, а над нами, на сцене театра Станиславского, идёт концерт «Звуков Му». Рок в театре, трава в сортире – всё это довольно странно, даже по тем временам, когда всё менялось каждый день. Концерт отличный, но я не буду о нём рассказывать, да и не про концерт же, когда тут такое. «Тут» – это уже на Тверской, а «такое» – ну вот такое: выходим из театра, а там уже стоят сомкнутым кругом люди, человек шесть, и среди них один совершает руками такие характерные движения – как будто на левой ладони у него горка песка, а в правой руке – маленькая лопатка, и он этой лопаткой песок из горки вычерпывает. Подходим мы к этой их песочнице: «Чуваки, а не продадите, например, корабль?» «Нет, – говорят, – у нас у самих мало. А вот угостить – да ради бога». Впустили нас в круг, а там удивительная конструкция: одну папироску как-то хитро насадили на другую и получился косяк размером с самоварную трубу. И вот взорвали его и пустили по кругу. Трава, в отличие от той, что мы выкурили в туалете, оказалась атомная (ударение на «о», если кто не помнит), мы тут же это ощутили.

И вот стоим мы такие ощутившие на главной улице города, а вокруг людские толпы, фонари, машины, шум-гам! Оборачиваюсь я назад, а там – ментовский газик! Метрах в ста от нас, стоит прямо на тротуаре. В нём, правда, никого нет. Но тут не до нюансов. Мы с А.К. занервничали: «Ребята, ребята! Давайте уж поскорей закончим, там сзади ментовская тачка!» А те только добродушно ухмыляются: «Да ла-а-адно, фи-и-гня-я-я». А самовар этот (ох, мамочки!) всё никак не кончится. Молодцы, конечно, клёвая инженерная придумка, но, ребят, когда же уже всё! Сколько времени прошло, час мы тут стоим или сколько? Но всё проходит, прошла и эта раскурка, случайная, прекрасная. Мы взяли чей-то номер, получили на десерт остатки травы («берите, берите, если что, телефон у вас есть») и разошлись. Путь до Пушкинской длиной в три минуты занял примерно вечность; очухались мы лишь где-то глубоко под землёй.

После нескольких дней, наполненных глубокомысленными разговорами и беспричинным радостным смехом, обнаружилось, что запасы на исходе. Так-так, а где-то был телефон этих парней? В каком-то кармане? Ага, вот он. Набор номера, гудки. «Алло. Привет, это такой-то, делали с вами недавно вот такое, где-то там, помните?» – «Да-да, привет, помним-помним!» – «Мы можем повстречаться?» – «Да не вопрос! А приезжайте-ка к нам в гости? Мы в Чертаново живём. От метро на автобусе пару станювок, потом чуток пешком. Ну что, приедете?»

Про Чертаново мы знали лишь только то, что это отдаленный район внизу серой линии и что там происходит одна из ключевых сцен фильма «Гонгофер». Картину эту на днях показывали по телику, и она произвела сильное впечатление. Кто-то рассказывал, что в Чертаново экспериментальная застройка, типа спальный район, но особенный. У кого-то даже жили там не то знакомые, не то родственники.

Поехали туда я и мой однокурсник М.А. По ориентирам быстро нашли дом. И вот стоим мы с М.А. у дверей в квартиру и как-то так впервые за всю поездку призадумались. Тут же дурь продают – ну, типа наркотная хата, типа притон. Люди там разные. Шприцы на полу, тела. Ого, о чём мы вообще думали? Вот же, блин, засада... Но мысли мыслями, а палец уже давит на кноп-

ку, звонок тренькает и выводит нас из оцепенения. Дверь открывается, в проёме возникает тот самый чувак, что поделился с нами остатками своей флотилии. При дневном свете он выглядит вполне цивилизованно: невысокого роста, с небольшой бородкой. Аккуратный. Улыбается. Совсем не страшный. «Заходите, – говорит, – мы тут как раз собрались шибануть». Заходим и сразу на кухню (было начало осени, так что раздеваться не пришлось, а обувь – да не надо, говорит, не снимайте).

Сидят там четыре бублика, вполне себе опрятные, виду незлого, разбирают и собирают папиросу. Потом мы покурили. И тут же вторую запустили. Докурили, отдали хозяину деньги, а он нам – несколько небольших бумажных пакетиков, посидели немного, делать вроде нечего, бублики о чём-то своем сидят посмеиваются, «а можно, – говорю хозяину, – мы тут немного походим?» «Конечно!» – улыбается. Душевный оказался человек. Кормил нас кашей гречневой и котлетами. Но об этом потом.

Заходим в первую от кухни комнату. Окна плотно занавешены, на столе лампа горит и полумрак. Лежит на диване девушка. За нами входит в комнату один из тех бубликов, подсаживается к ней. У девушки, как выясняется, болит голова. Вполне трезвая девушка, на вид очень милая. «А таблетку, – спрашиваю, – принимала?» «Ну да, – говорит, – принимала. Только не проходит». Потом она поднялась с кровати и вышла, и оказалось, что бублик завёл катушечник, и заиграла знаменитая песня, в которой есть такие слова, многим известные: this is the-e-e-e eeeeeeeeeennnd. Песня эта длинная, сложно выстроенная, вся на контрастах между паузой и взрывом. Долго мы её слушали, и напряжение то нарастало, то спадало, то опять нарастало. Втроём стояли и слушали, молчали и никто, кажется, даже не поменял позу, в которой был застигнут этим мощным музыкальным произведением. Молча дослушали до конца, а потом – щёлк! – бублик останавливает бобину, включает свет, и мы оказываемся внутри безумно яркого коллажа: вся комната от пола до потолка обклеена вырезками из журналов с фотографиями всяких крутых рокеров. Это был настоящий музей, зал славы архатов тяжёлого рока и метала! Со стен смотрели на нас волосатые монстры рока, и мы с М.А. ходили вдоль, а бублик улыбался, глядя на нас, и иногда что-то комментировал. «О! – показывал я М.А., – гляди, Оззи Осборн!» «Точно! – смеялся М.А. и тыкал в другую фотку. – Глянь, какая смешная морда!» «Жа! – вторил нам бублик, – жа!» (На самом деле он говорил «да», просто клавиши «д» и «ж» рядом, и я сначала не попал по нужной, а потом подумал и решил оставить: это больше соответствует тому, что там происходило.) Было весело, и мы смеялись, не сдерживая себя, так как вышли наконец из зоны серьёзного покрытия и оказались в эпицентре лёгкой, чистой радости.

Потом мы перешли в другую комнату. Она была не менее интересной: голые стены со следами содранных обоев и огромный бильярдный стол, за которым двое ребят катали шары. Бильярд был установлен в самом центре комнаты, над ним висела зеленая лампа. Мы с М.А. играть особо не умели и просто посмотрели за игрой, потом прошлись вдоль стен туда-обратно и как-то вдруг устали. А тут и хозяин как из табакерки. «Вы можете пока там, – показывает через коридор в сторону последней комнаты, где мы ещё не были, – телик посмотреть, а я сейчас чего-нибудь пожарить приготовлю». Уходит. Мы садимся на кровать. Она огромная. Все чистенько и прибрано. В углу светится маленький телек. Мы тупо в него втыкаем. Нам очень хорошо. А дальше начинается какая-то мистика.

Хозяин приносит еду: две полные тарелки гречневой каши, котлеты, чёрный хлеб, кетчуп, вилки, сплошь какая-то нереальность. Уходит опять. Мы начинаем смотреть некую короткометражку. Я потом рассказывал содержание многим, но это бесполезный факт. Похоже, что кроме нас с М.А. никто этот фильм тогда не видел. Там история такая. Маленькую девочку бьёт и выгоняет из дома мать-алкоголичка, девочка уходит в пристанционный лес, где у неё тайное место с игрушками. И вот она полфильма с ними разговаривает, потом у неё вдруг начинается истерика, она кидает плюшевого медведя в лужу, прыгает на нём, отрывает лапы. Потом начинает плакать, просит у него прощения, набивает разорванное брюхо песочком. И как-то ей вроде легче становится, но потом снова накатывает грусть-тоска, она просит прощения у игрушек. В этот момент

слышит, как её зовёт мать, перед глазами возникает нарезка из страшных домашних сцен, девочка опять в слёзы, и вот она бежит, бежит, бежит, и – с крутого обрыва в озеро. This is the end.

Мы с М.А., правда, доели всё, что было в тарелках. От фильма нас так вштырило, что мой друг, помню, спросил: «А вот это что, реально сейчас по телику показали?»

Я до сих пор не знаю. Мы сидели перед пустыми тарелками и ждали, когда появится хоть кто-нибудь. М.А. наклонился ко мне и равнодушно сказал: «Они нас отрабатывать заставят». Но обошлось – вернулся хозяин, мы сдали ему пустую посуду, поблагодарили, пообещали не пропадать, быстро со всеми попрощались и пошли к метро. Через экспериментальную позднесоветскую застройку – там действительно встречались интересные здания.

Несколько месяцев мы собирались навестить нашего приятеля, потому что трава была чертовски хороша. Но, видимо, что-то засело в нас. Так и не собрались. А потом я потерял бумажку или записную книжку с этим телефоном.

Мои судьбоносные встречи

Однажды видел в вагоне метро знаменитую волейболистку Екатерину Гамову. Гамова выделялась ростом даже сидя и была прекрасна в роли инопланетянки, оказавшейся в компании земных существ. За время поездки к ней пару раз подходили за автографом.

В другой раз ехал в одном вагоне с Борисом Немцовым. Борис Немцов был с чемоданом и симпатичной спутницей. Оба вышли раньше меня, где-то в центре.

Как-то раз оказался в двух шагах от Жириновского, который прогуливался с охраной в подземном переходе под Манежной площадью. Жириновский заглядывал в окошки ларьков и с хитрой улыбкой спрашивал у продавцов: «Ну что, как жизнь? Достал уже этот старый алкоголь?»

На выставке Митьков, поддавшись ажиотажу, взял автограф у Макаревича. На газете «Северное слово», которую мы с моими компаньонами из универа продавали с лотка вместе с эротический газетой «Ещё» и другой полиграфической продукцией похожего толка. Макаревич раздавал автографы с видом отрешённым и усталым. Газета многие годы пролежала где-то на полке, и конец её был как и у всех газет: обёртывание фарфора при переезде, сдача в макулатуру, использование в качестве растопки для мангала.

Однажды в Макдональдсе ко мне обратился Владимир Владимирович Шахиджанян с предложением купить компакт-диск с его сочинениями. Я купил. За 150 рублей. В качестве бонуса Владимир Владимирович подарил мне коробок спичек с принтом «1001 вопрос про это» и расписался на диске. Владимир Владимирович был окружён юношами и отдавал распоряжения. «Возьми», – кивнул на деньги одному. «Ну, заказывайте!» – другому. «Что, мороженое?» – третьему. Юноши были все высокие, на две головы выше Владимира Владимировича, едва ли не модельного склада и обращались друг к другу по имени-отчеству. Подписав диск, Владимир Владимирович крепко пожал мне руку.

В бытность мою студентом наблюдал во дворе МХТИ Маргарет Тэтчер. Премьерша приезжала в институт выступить перед студентами и выпускниками, но меня и моих друзей на встречу не пустили – там был сплошной комсостав и партийный актив. Мы застали только её отъезд. Зато оказались прямо у окон лимузина, Мэгги велела охраннику опустить стекло и с веселой улыбкой сделала нам ручкой.

В бытность мою школьником врезался в Гафта. Если точнее, наша машина – в его машину. Отец мой вышел, и о чём-то они поговорили. Потом папа мне говорит: «Ты знаешь, кто это? Это Гафт». А я сразу его узнал: «Гонки по вертикали», «Чародеи» – клёвые фильмы. Потом был ремонт машины и её продажа лет через двадцать. В промежутке – просто жизнь и фильмы с участием Валентина Иосифовича, с которым мы больше никогда не виделись. Это был довольно редкий, так сказать, формат встречи, но уж как вышло – так вышло.

А когда я был семи лет отроду, к нам домой приехал Олег Попов – бог, царь и герой всех детей. Его как-то уговорил импрессарио заехать на завод, на котором работал директором мой отец. После завода – баня, после бани – наш дом. И вот звонок в дверь – и я вижу на пороге человека, отдаленно напоминающего всеобщего кумира. В рубашке, как у всех, с улыбкой, как у обычного человека, с прической, как на среднем снимке в фотосалоне. Ни красного носа, ни жёлтых волос, ничего... Он похлопал меня по плечу, пошутил, показал нехитрый фокус и отбыл в мир взрослого застолья. Весь вечер смотрел на него, силясь увидеть хотя бы отблеск того великого человека с телеэкрана. Но тщетно. Так и не увидел.

Пряники

Однажды я заболел. Ничего страшного, обычный зимний вирус, но температура подскочила под сорок. Я лежал на старой продавленной кровати в съёмной комнате с красным деревянным полом и красными обоями. Мне было трудно и лень пошевелиться. Нужно было встать и заварить, например, свежего чаю, но я не мог даже перевернуться на другой бок.

Так и лежал пластом.

И тут в комнату вошел отец.

Его визит, из Подмоскovie, из почти лап черта, сквозь тайгу и морозы, на грохочущей электричке, в тамбуре которой растут обжигающие ладонь ледяные сталактиты, тронул меня до слез. Отец присел ко мне на кровать и задумчиво стер ледышки с бровей и усов. Он сидел и смотрел на меня и едва заметно улыбался. Как тогда, когда я ехал на санках, закутанный в шарф, и скрипели по снегу подошвы отцовских валенок, и с каждым шагом неумолимо приближалась железная ограда детского сада. И тогда отец, не сбавляя шага, оборачивался и улыбался, глядя на меня, а над ним горели в небе звезды, и я понимал, что всё будет хорошо. А что меня опять везут в детский сад, где на голову валятся, рассекая кожу до крови, деревянные кубы, где противная Ленка травит в туалете байки о том, что она будет делать, когда вырастет (накопит денег и купит ковёр у спекулянтов), а Паша ведёт себя так, что ему хочется врезать, только он в два раза больше меня и сильнее – со всем этим уже можно было смириться.

Отец сидел и смотрел на меня, и морщинки вокруг его глаз то исчезали, то появлялись опять. Затем он подошел к столу и начал раскладывать принесенную провизию, кипятить воду, заваривать чай. Потом покачал головой, глядя на то, как столбик ртуты почти уже упёрся в тупой конец градусника. И тихонько, без долгих прощаний, засобиравшись назад – в промерзшее до дна Бисерова озера Подмоскovie, где при свете луны опасно блестят клыки залетного люберецкого бойца, а снега навалило до подоконника.

Очнулся, когда он уже ушел. Поднялся с кровати, подошел к столу.

На столе бросился в глаза пакет с пряниками.

Что-то с ними было не так.

Почти сразу я понял: они были розовые.

Я немного постоял в раздумьях, пытаюсь понять, отчего бы это прянику быть розовым, если самой природой установлен для него коричневый цвет? Может, оттого что красные обои светят отраженным светом?

Вероятно, это из-за бредового состояния. Подумав так, я опять лег. На следующий день температура спала, и захотелось наконец есть. Я подошел к столу. Пряники были окрашены все в тот же нежный розовый цвет. Неужто это последствия моей болезни (и розовый цвет у пряников – лишь вершина айсберга, а настоящий ужас впереди)? И виной тому мое нежелание надевать шапку, даже в самые крепкие морозы?

Горестные мысли, как говорится, вихрем пронесли в голове.

Но вот я откусил от пряника – и тут же прозрел.

Это был клюквенный пряник.

Так состоялось наше знакомство. Наверное, впервые я осознал, что наступила новая эра. Круглый коричневый пряник сдал позиции, проиграл войну. А вместе с ним и другие продукты советского пище- и прочего «прома». Отряды пряников с начинкой добивали тульских ополченцев, баблгамовая триада (мятная, апельсиновая, клубничная) пала под натиском толстенных кубиков «Love is» и набиравших обороты «риглисов» и «стиморолов», фанта с ананасовым вкусом и водка с ароматом ванили уже не воспринимались как понятия из словаря иностранных слов. Как и рыбий жир со вкусом – боже, боже – апельсина и клубники. Вся эти новинки прокладывали дорогу в светлое, как тогда казалось многим, будущее...

Впрочем, эта история не о будущем. И не о переменах. И даже не о пряниках. Она, скорее, о том, что память – камера хранения, где в одной ячейке хранятся семейные альбомы, а в другой – коробка со взрывчаткой. Жизнь долгая, случалось всякое, и слава богу, что с годами динамит отсыревает и становится ни на что не годен. Зато запах старой отцовской кожаной куртки, в которую можно было завернуться целиком, напротив, всё ощущаем.

Точка памяти

Когда нужно о чём-то не забыть, я ставлю ручкой небольшую точку на тыльной стороне ладони. На перемычке между большим пальцем и указательным. Я понимаю, что это странная одскульная дурь, но ничего не могу с этим поделать.

Сегодня вместо точки я нарисовал маленькую букву «т», по какому-то особому случаю. И конечно, теперь не могу вспомнить, к чему эта буква «т» призывает мою память. Купить туалетную бумагу? Да вроде нет. Прочитать какой-то текст? Слишком неконкретно, хватило бы и точки. Что-то с телефоном? В телефоне давно надо починить сломавшуюся камеру, но точно не сегодня. Может быть, что-то совсем абстрактное? Треники? Трамп? Травоядное?

А может, тишина? Тишина – это когда дети уже спят, и вот она наступает, одновременно с ночью. Вот что это такое. Побывать в тишине, да. Ощутить отсутствие громких звуков. Как пишут в рекламных проспектах, насладиться каждым мгновением тишины. Гудит холодильник, поскрипывает комп – это не абсолютная тишина и не та тишина, о которой пел «Наутилус». Приятный и не слишком долгий отрезок времени, когда сидишь и думаешь о какой-нибудь никчёмной фигне. Или пялишься в фейсбук. Или стоишь, оперевшись руками о подоконник, и смотришь в окно. Или стоишь, прислонившись к дверному косяку, просто так, без всяких мыслей в голове.

Вечер пятницы, дети спят и наступает время буквы «т» – немного расфасованной домашней тишины. И вот я пишу в тишине о том, что не могу вспомнить, по какому поводу написал на руке букву «т». Но это не важно. К тому же я уже вспомнил: это книжка Александра Тимофеевского, которую я взял почитать на работе, но, разумеется, даже не открыл – слишком мало было тишины. И вот книжку нужно вернуть обратно. Беру ручку и зарисовываю «т». Теперь это жирная точка и я не забуду.

КАК ПОЧИНИТЬ СВЕТ

Первое обретение

Время не очень двигалось
и речка не двигалась.
Облака, в принципе, двигались,
но – еле-еле.
Аккуратно собирал голубую жимолость
алкоголик, похожий на Паганеля.

Бывают такие моменты почти египетской темени,
даваемые без подготовки
путём остановки времени –
для малого его постижения за малую остановку.

Малая остановка и разговор короткий,
иначе получится мимо и не о том.
Время есть время. Малая его толика –
облако, ставшее из гиппопотама лодкой.
Жимолость на очках алкоголика.
Жимолость, пожираемая его безобразным ртом.

Иллюзия

Не вечер, но сплошная благодать –
покой и воля.
Кукушка нарушает, так сказать,
нейтральность семантического поля.

Автомобиль, красивый, как баран,
ныряет на холме, ещё ныряет.
Двумя ногами трогает туман,
и пропадает.

Андрей Пермяков родился в 1972 году в городе Кунгуре Пермской области. Окончил Пермскую государственную медицинскую академию. Жил в Перми и Подмоскowie. В настоящее время проживает во Владимирской области, работает на фармацевтическом производстве. Стихи, проза и критические статьи публиковались в журналах и альманахах «Абзац», «Алконость», «Арион», «Вещь», «Воздух», «Волга», «Знамя», «Графит», «День и ночь», «Новая реальность», «Новый мир» и др. Автор книг стихов «Сплошная облачность» (2013), «Белые тепловозы» (2018), а также трёх книг прозы. Лауреат Григорьевской премии (2014).

Так, будто старый шмель ушёл в кристалл,
так, будто выбыл во вторую лигу.
Так, будто Тот¹, что нас ещё читал,
захлопнул книгу.

Привычка

Собирали с терновника виноград –
терние падало в терние, выросло терние.
Получился заросший тернием долгий, предивный сад.
Время стало вечернее.

Время стало располагающим к майским жукам,
затем к июньским хрущам;
располагающим к тёплым простым вещам,
к тщательно жареным овощам,
к неторопливым шагам.
Сделалось тающим.

На воротах, на жимолости и на ограде,
где тени, всяк день качающие,
легли медвяные пади –
медвяные, прилипающие.

Далее приступило время пустого сада.
Явилась всякая малость.
Оказалось, почти ничего не надо –
и почти ничего не осталось.

Остались странные, золотые осы.
Тихо и как-то бескрыло летающие.
Выпали убывающие медвяные росы.
Медвяные, убывающие.

На язя

Тёплые, перезревают сливы,
катятся в сиреневую реку.
Чебурек и липецкое пиво
много лучше просто чебурека.

Вишня, слива, скоро виноград.
Красное, сливовица, вишнёвка.
Ты с утра как чебурашка рад –
получай для пущей радости поклёвку.

Отчего же так скрипят мостки?
Так скрипят, как будто кто-то лишний.
В скрипе слышно: «модусы тоски».

В сердце, вроде, ничего не слышно.

¹ Да, тот Тот – покровитель знаний, изобретатель письменности, начальник Луны.

Циклон

Ветер хитрый такой,
что тучи играют в ладушки.
Мячик катится сам собой –
от дедушки и от бабушки.

Чайка белая как сова, тихая как сова
В тяжком полёте кривляется.
Двигается плоско, едва-едва –
Сопrotивляется.

Одуванчики понимают: беда.
Стесняются, прячут лица.
Капля падает навсегда.
Мячик катится, чайка садится.

Розыоблака

Когда Ему никто не помешает,
в последней красоте на небеса
взойдёт не то чтоб самая большая,
но самая последняя гроза.

Мелькают страшные, но реже, реже, реже.
За так, не порождая, не губя.
И распускаются – так хороши, так свежи –
спокойные для неба и себя.

Ветряные театры

Там, где бесчинная свалка,
где тонкий дымок над свалкою,
струнный оркестрик жалкий
странно играет жалкое.

Это переложение – пьеса для ниток и ветра,
пьеса для ветра и велосипедных рам.
Пьеса для маленькой свалки в тридцать квадратных метров,
пьеса для воробыиных и галочьих мелодрам.

Музыка не удаётся, толстая плёнка морщится;
Морщится толстая плёнка на сломах бетонных плит.
Вдоль по бетонным плитам проволока волочится.
Проволока играет, проволока звенит.

Звенит, потому что Пасха, а значит у каждого Пасха:
у каждой смешной сороки, у каждого муравья,

у каждой брошенной куртки, у каждой засохшей краски
тоже, наверное, Пасха, только совсем своя.

Своя особая Пасха, Пасха для нелюбимых,
Пасха тщедушных, порочных, битых по нашим грехам.
То, что колеблемо ветром, то, что поколебимо,
порушено и непрочено, то подлежит стихам.

Хурул

«Существует страдание, существует причина страдания».
Это очень понятно. Особенно – правильным летом.
Потому мимолётное крупное здание
Наполняется светом.

Разделяется свет на крупинках цветного песка.
Наполняются розовым светом косые личины.
– Существует тоска. В основном существует тоска.
– А причина?
– Откуда причина?

6:50

Ломкие дождевые черви на розовой апрельской земле,
жабы, вынутые на розовую апрельскую землю.
Первый, но сразу большой мотылёк на велосипедном руле,
ящерка-кёндзале¹ в первом тепле безупречно дремлет.

На дверях гастронома жёлтое объявление:
«В продажу уже поступила рассада брюссельской капусты».
Слово «уже» наполняет нутро безупречной ленью
(«нутро» здесь точнее, чем сердце, в сердце покамест пусто).

Можно сидеть на крыше и долго никто не найдёт:
такое бывало до победы мобильного телефона.
На велосипедном руле по ночам ещё намерзает лёд,
самолёт моргает четвёртой звёздочкой в поясе Ориона.

Мир и всё прочее сильно напоминают синицу.
Происходит немало иного предивного – это я вкратце.
Только сейчас бы, вот прямо сейчас бы, остановиться.
Только сейчас бы, прямо сейчас бы не просыпаться.

¹Кёндзале – ящерица (удмурдский).

Касание

У меня есть домик на Новой Риге.
Правда, не домик, а маленькая квартирка.
Я играю в различные игры, но в третьей лиге.
Если б умел, выступал бы в цирке.

Иногда я пишу статьи о литературе и биохимии.
Иногда добровольно пишу, иногда по заказу.
Те, что пишу по заказу, получаются очень плохими.
Те, что пишу добровольно – получше, но тоже не сразу.

Тут главное – остановиться после вводной: «а мог бы...».
Я правда не мог. Честное слово: не мог.
Только однажды проснувшись, видел у изголовья
чуть розоватый, неместный такой дымок.

Немое кино

Отъезжающие уезжали,
проводящие провожали.
Свет жалил.
Проводница пищала,
точно кобылка трещала:
– Провожающие выходим,
отъезжающие заходим.
Свет жалил,
тётка пищала.

Собака бежала.
Вторая собака бежала.
Свет жалил.
Милая говорила.
Мило так говорила.
Через стекло говорила.
Было.

Летняя терраса

Когда говорят: «Неплохое, но как-то слишком»,
и ещё говорят: «Парковка на триста мест»,
и ещё говорят: «У меня будет новая книжка»,
мне кажутся вечер и аккуратный лес.

В нём дети сидят у костра, рассказывают сказки из книг,
в «замри-отомри» играют и в города играют;
кто-то большой и добрый пристально смотрит на них.
Затем пожирает.

О финале карьеры

Ты просыпаешься, а самолёты летать не могут.
И вертолёты не могут.
Так-то никто не разбился:
кто улетел, так же и приземлился,
но больше уже не взлетит.
Как бы воздух переменялся –
машешь руками, а воздух искрит.

Птицы летают, бабочки там, жуки.
Мыши летучие, они рукокрылые, а нам не с руки.

Ну, и вот. И, стало быть, всё иначе.
А ты говоришь: живи, мол, как жил.
Ты говоришь, чего, дескать, плачешь?
К старости, говоришь, чего-то да отложил?

Сам-то прикинь: вот ты самолёт-самолёт,
А взлетать тебе – как суицид.
Такой вот нескушный лёд.
Коцит.

Белла чао

Идёт себе война нестрашная.
Идёт давно и как-то странно:
в лесу большие немцы кашляют,
а говорят, что партизаны.

Ну, да: ребята ходят в горы.
Затем их называют «пленные».
Но синьорины у заборов
кричат, как будто довоенные.

О чём-то о своём, о девичьем;
звук отражается, и снова.
Здесь Оцуп Николай Авдеевич
под кипарисом ждёт связного.

Созвездия

Самое в городе – это трамвайные кольца.
Как олимпийские кольца, только трамвайные кольца.
Как олимпийские кольца, как постаревшие лица.
Жёлтый вагон теми кольцами движется, будто бы молится,
рыжий и старый так движутся, точно не движутся.

Кроме колец, в городах есть ещё зоопарки.
И непременно два исторических дома,
брошенных в улице, точно ботинки-распарки,
брошенных в город, как в поле бросали солому.

(В этих буквах главное,
что солома колется:
Домики забавные,
но кольца...)

От зоопарка в кольцо мимо улиц скучают трамваи.
Двигутся, бренькают, трутся, а всё же скучают.
Бренькают, движутся, трутся звенят-извиняют.
Так извиняются, будто бы сами прощают.

Ты не прощайся. Усни и сойди на конечной,
где в чёрном-чёрном, прозрачном небесном оконце
гонят Большой Муравей и Минувший Кузнечик
призраки жёлтых вагонов по призрачным кольцам.

Борщик

Светлане Рядченко

Как осветлить бульон,
Как удалить жир,
Как осветить небосклон,
Как починить мир –

Странная диалектика,
Тонкая аналитика:
Такая в этом эклектика,
Что, в общем, уже политика.

Не переделать, нет
Даже не подчинить,
Просто найти ответ:
Как починить,
как починить свет?
Как. Починить. Свет.
Как починить, Свет?

Вадим ШАМШУРИН

БЕСПАМЯТСТВО

Рассказ

Я стоял и уже не знал, зачем проделал весь этот путь. Пожухлая трава пробивалась через позеленевший мелкий гравий. В некоторых местах была видна ломкая от времени чёрная целлофановая плёнка. Я взялся за длинные сухие стебли, потянул на себя, но тут же бросил, заметив, что рвётся плёнка, рассыпается гравий от сопротивляющегося узла разросшихся в земле корней. У надгробия лежали потемневшие пластмассовые цветы. Кто их положил, для меня было загадкой, но во мне шевельнулась надежда, что кто-то всё же ухаживает за могилой. Я стоял в ожидании, вслушиваясь в собственные ощущения, ждал, когда во мне станет заметна печаль или ещё лучше горе. Но ничего кроме холода и скуки я не чувствовал.

Я приехал в родной город на автобусе ранним утром. Выехал с вечера в ночь, промаялся двенадцать часов в таком, поначалу, удобном и мягком кресле. В окне ничего особо было не разобирать, темнота и тёмные силуэты спящих деревень и пригородов. Фонари с жёлтыми головами, редкие встречные автобусы и автомобили. Я иногда проваливался в хрупкий сон, ко мне подступали тени, но колесо ударялось об очередную яму, и, вздрогнув, я возвращался к скучному ожиданию. Всё больше мне казалось, что это какая-то лишённая всякого смысла блажь, что не нужно было поддаваться этому.

Я протянул руку и притронулся к выбитым на камне буквам. Подушечками пальцев почувствовал тонкий склизкий слой плесени и мокрой грязи. Вытер руку об джинсы и, развернувшись, пошёл в сторону ворот к автобусной остановке.

От кладбища до города ходил только один автобус. Номер семнадцать. Я помнил это. Но сейчас не был уверен, что за это время всё осталось, как раньше. Спустившись по мошёнй булыжной мостовой, мимо светлеющих лицами при моём приближении продавщиц искусственных цветов, я вышел к прямоугольному зданию администрации.

«Я заплачу им. Они всё сделают. Приведут могилу в порядок. Будут смотреть за нею. И мне не нужно будет ездить. Отличное решение».

Я дёрнул дверь, но она была заперта. Я в недоумении посмотрел на табличку с часами работы. Она была из отшлифованного чёрного мрамора и походила больше на надгробие. Сегодня был выходной.

От холода меня начало потряхивать. Я стоял на остановке, но автобуса всё не было. Высокое серое небо. Застывшие чёрные сети деревьев с неподвижными воронами на ветках. Хрустальный ледяной мир. Я дрожал, дул на руки, но казалось, изо рта вырывается такое же холодное дыхание, как и воздух.

Только через сорок минут приехал автобус. Никто из него не вышел. Я забрался внутрь. Но автобус выключил мотор и стоял, холодея. Всё больше раздражаясь, но сдерживая себя, я сидел у печки, и ждал, когда мотор вновь заработает и мы поедем хоть куда-нибудь. Как будто бы кладбище не отпускало меня, не получив положенной ему дани. Но я убеждал себя, что всё это глупости.

Я подошёл к водительской кабине, чтобы узнать, когда мы поедем. Вздрогнул, увидев мёртвого человека на сиденье. Он привалился к двери, рот на сером неподвижном лице был приоткрыт,

Вадим Шамшурин родился в 1980 году в г. Клайпеде (Литва). В 1998 году переехал в Санкт-Петербург. Окончил факультет географии и геоэкологии СПбГУ. Живет в Петербурге. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Волга», «Сибирские огни» и др.

застывшие руки лежали на руле. Чтобы убедиться, что это не мираж, я протянул к нему руку, коснулся плеча. Он глубоко вздохнул. Чуть уронил голову на грудь и проснулся.

Добравшись до города, я вышел на остановке рядом с тем местом, где жил раньше. Всё было знакомым, и всё было иным. Над зданием, в котором раньше был кинотеатр, теперь светилась вывеска, что это ресторан. Времени было уже около трех часов дня. Получалось, что со вчерашнего дня я ничего не ел. Странно, поняв это, я только тогда почувствовал сильный голод. Недолго думая, я стал подниматься по широким ступеням, ведущим ко входу. Толкнув стеклянную дверь, я оказался в большом холле, в котором были расставлены столы. Тихо играла музыка. Ни один человек не сидел ни за одним столом. Я отодвинул стул и опустился на сиденье, обитое красным бархатом, и стал ждать. Никто не появлялся. В этом городе явно не хватало людей. Их почти не было на улицах. Редкие машины проезжали по широким улицам. Я призрак в призрачном городе. Но, блин, я очень хотел есть.

– Эй, – крикнул я, – есть тут кто-нибудь?

Мой голос подхватило эхо. Я вздрогнул, когда совсем рядом за правым плечом услышал вежливое покашливание. Официант, чуть склонившись, в ожидании застыл с блокнотом в руках, готовый принять заказ.

– Вы уже выбрали? – спросил он.

– Нет, – преодолевая раздражение, ответил я, – у меня нет меню.

– Вам нужно меню? – уточнил он, уже что-то записывая.

– Нет! – вскинулся я.

Он молчал, а я пытался успокоиться. Что я, правда, так бешусь? Видимо, от голода. Скорее надо поесть. Но что?

– У вас есть цепеллины? – вдруг спросил я.

– Цепеллины? – снова переспросил официант и что-то записал в блокнот.

– Да, – чему-то обрадовавшись, подтвердил я, – две порции.

– Вы уверены?

Мне начало надоедать играть в эту игру, и я ничего на это не стал отвечать. Но он стоял и ждал.

– И водки, – велел я, – триста грамм.

Он одобрительно кивнул и снова записал в блокнот.

Мама делала цепеллины. Я помогал ей тереть на тёрке сырую картошку. От неверного движения по тёрке вместо картофелины проходили костяшки верхних фаланг большого и указательного пальцев, картошка пропитывалась каплей крови. Сырая тёртая картошка выжималась через марлю, смешивалась с варёной картошкой. Из фарша с мелко порезанным луком делались шарики, которые ладонями закатывались в картофельное тесто.

Водку принесли раньше, и я не стал дожидаться остального. Налил и выпил. Обожгло горло, и, словно уничтожая сбившуюся в комки пыль пламенем, приятная тёплая волна прокатилась под черепом. Сознание смазалось и одновременно стало светлее. Я снова окинул зал ресторана обновлённым взглядом. Кое-где за столиками сидели люди. Они негромко общались, вплетая свои голоса в монотонный гул и позвякивания вилок и ножей. За соседним столиком сидели две девушки, и одна из них то и дело бросала на меня взгляд и словно не мне улыбалась.

Силы и уверенность переполняли меня. Я откинулся на спинку стула и пристально смотрел на то, как она смеётся, как поправляет пальцами чёлку, как блестят её зубы, и видел, что каждое её движение, как перед зеркалом, направлено на меня. Она знала, что я смотрю на неё, и поэтому она обыгрывала свой облик как перед объективом камеры.

Я знал, что будет дальше. Совсем скоро я подойду к её столику. Её подруга будет казаться вначале недовольной, но я, очень скоро перейдя на ты, удачно пошучу первый, второй раз. Они будут звонко смеяться, незаметно для меня переглядываясь между собой, общаясь только им известной системой знаков. Я буду настойчив и лёгок, постепенно концентрируя всё своё внимание только на ней, мы будем всё ближе друг к другу. Телефон у подруги зазвонит, и, к общему сожалению, ей

придётся скорейшем образом покинуть нас. Мы останемся вдвоём. Выйдем из ресторана вместе. Я буду держать её за руку, по нашим пальцам будет струится упругая энергия, влекущая нас друг к другу. Мы вопьёмся друг другу в губы, нас охватит ярость безудержного влечения друг в друга. Не соображая совершенно, где мы и кто мы, что будет завтра и что было вчера, мы перешагнём порог гостиничного номера, и уже на пороге станем снимать всё то, что так мешает нам соединиться в одно целое.

Я выпил ещё рюмку. Мне стало так хорошо. Покачиваясь, я подошёл к их столу и, упав на свободный стул, под недоуменными их взглядами, выпалил:

– Они жили долго и счастливо и умерли в один день.

Я засмеялся, очень довольный собой, но видя, что они так и не вружились, продолжая широко и радостно улыбаться, попытался объяснить.

– Я приехал к родителям. Проведать их. Вам понятно?

И, продолжая похихивать, я вернулся за свой столик и ещё выпил рюмку.

Время ускорило. Гул голосов то становился громче, то его уносило куда-то в сторону, будто бы ветром. Я подсаживался к разным столикам, мне хотелось быть ближе к людям, говорить им приятные вещи, обнимать их, угощать выпивкой.

Либо я вышел подышать, либо меня осторожно вышвырнули, но когда я обернулся, ресторана за спиной уже не было, будто я оказался на полустанке и мой поезд ушел.

Я брёл по улице, всматриваясь в фонари, пытаюсь разобрать, где я. Ко мне подступал холод, но из меня с ревом вырывался жар, из распахнутой рубашки било тепло, растапливая застывшие холодные улицы.

Дома кренились ко мне. Я останавливался и пристально всматривался в них.

Здесь, мне казалось, был мой детский сад. Вдоль корпусов младших и средних групп тянулись паровозы, на которых можно было добраться каждый раз в другую страну. Я попытался влезть в вагон, но он оказался какой-то будкой. Не было и каруселей, которые заваливались на одну сторону, и поэтому приходилось поджимать ноги, как только карусель шла вниз. Я искал железные выгнутые дугой качели, на которых устраивались гонки... Ничего этого не оказалось. Голый и пустой двор. Темные окна покинутых повзрослевшими детьми зданий.

Но как-то надо было пробираться дальше.

Каменные фигуры подступили ко мне. Они заполнили улицы этого пустого города. Я шёл от фигуры до фигуры. Каменные истуканы. Дети. Старики. Мужчины. Женщины. Среди деревьев, дорожек, аллей. Людские головы вырастали прямо из-под земли. Огромные каменные глаза. Я тянул к ним руку и чувствовал, как холод неподвижных зрачков проникает через пальцы в меня. Всего моего пламени не хватало, чтобы вдохнуть хоть немного тепла в эти неподвижные и мёртвые изваяния. И, как обессилив, я катился дальше, всё быстрее и быстрее, будто бы был круглым камнем, заброшенным кем-то на вершину горы и там не сумевший удержать равновесие.

Я сидел на поребрике у клумбы у нас во дворе, с большим усилием поднимая голову на светящиеся окна квартиры, в которой мы жили раньше. Мне хватало сознания, чтобы не начать кидать мелкие камушки, как делали друзья, чтобы не звать меня в гулкой каменной коробке двора. Мне было холодно. Каждую клетку моего тела колотило дрожью, которую я не в силах был унять. Я делал попытки подняться, но валился назад, падал, с недоумением понимая, что руки и ноги так просто меня уже не слушаются, разбредаются в стороны, бормоча свою бессмыслицу.

– Хорошая собачка, – я подзывал к себе настороженного пса, который вышел откуда-то. Я фокусировался на его морде, но ничего не получалось, пока я не закрыл один глаз. Я уговаривал его подойти ближе, но он всё время отбегал, стоило мне шевельнуться.

– Чарлик, Чарлик, – я вспомнил его имя. Он умер от старости, когда мне было шесть или семь лет. Старый неповоротливый пес, с длинным сизым языком. Обросший длинной свалывшейся шерстью. Мягкий, теплый.

Я обхватил его за шею и сидел так, рыдая и согреваясь.

Феликс ЧЕЧИК

Ю. Н.

Говоря о цене, и не только в базарный,
а в простой, заурядный, обыденный день –
на: проверенный, старый и нерегулярный,
что наводит, пока еще, тень на плетень –
стих, – не скрою, что я ни о чем не жалею,
а, напротив – завидую самому, –
не поверишь – себе, и рифмую аллею
в октябре с тишиной, полагаясь на тьму.
Регулярностью не отличаясь, но все же –
он – не часто, порой: и тебя и меня –
охмуряет, бодрит – и морозом по коже
и отчества дымом, где дым без огня.
Полагаю, что я не один и не двое
нас, поставивших «на»; мы стоим на кону,
не теряя надежд. Но берет за живое
иногда, что не нужно уже никому.
Ничего. Как-нибудь. Не впервой. Не напрасно.
Нам ли это не знать? Сколько лет, сколько зим.
Это даже прекрасно, что огнеопасно
и, что медленно, но неизбежно – сгорим,
согревая, кого-нибудь, где-нибудь, – даже –
если только – себя, а вокруг никого.
И, обнявшись, стоим в регулярном пейзаже
и с «любовью» – еще бы! – рифмуем его.

О пользе курения

Затянитесь поглубже «Явой»;
сосчитав до десяти,
выдохни, и одноглавым
Змей Горынычем лети.
Над лугами, над лесами,
притяжение поправ,
упиваясь небесами,
забывая на Минздрав.

Феликс Чечик родился в Пинске (Беларусь). Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Публикации в журналах «Арион», «Знамя», «Крещатик», «Новая юность», «Интерпоэзия», «Вестник Европы», «Новый берег» и др. Лауреат «Русской премии» (2011). С 1997 года живет в Израиле. В «Волге» публикуется с 2008 года.

В этом бизнесе ты – лет, как минимум – сто
(пушки залпами по воробью)
желторотый птенец – все надеешься, что
снимешь лучшую фильму свою.
Ты же знаешь, что – съемки важнее, а не
результат. Сомневаешься? Нет! –
где на белой, как утренний снег, простыне
вороньем проступает «The End».
Ты же веришь, и вера крепка, что броня
и что пух тополиный легка.
Батальоны молчат. А ты просишь огня
ураганного, наверняка.
Только так – не иначе! И ангельский хор
запоет, чуть фальшивя, вот-вот.
Приготовились к съемке! Хлопушка! Мотор!
И корабль по пустыне плывет.

тишина познается в сравнении
по сравнению с криком она
распрекрасное стихотворение
или на море вид из окна
ничего нет прекраснее полноте
словно пули мгновенное вжик
тишина одиночества в комнате
двух людей бесконечно чужих

Такое случается, – только
под новый – немислимый год,
когда ярко-желтая долька
луны над землёю взойдёт.
Когда в мандариновой роще,
как будто в сосновом бору,
простая, – куда уже проще, –
колибри поёт на ветру:
какие-то нежные вещи,
какие-то звонкие «ля»,
и в небе – синицы похлеще –
выписывает кренделя.
Такое случается, если
больны ожиданьем зимы:
не предновогодние песни,

а богом забытые мы.
Такое случается снова
и снова, покуда горим.
И вечное пахнет елово
и празднично, как мандарин.

от фиников прогнулись ветки
как небеса от облаков
мы будем счастливы во веки
несуществующих веков
и наши прошлые невзгоды
и нелюбови и тоски
совсем как нынешние воды
уйдут в непризные пески

Молодость моя...

1.

Металлические перья
не просохли от чернил,
но уже в любовь не веря,
мальчик сердце зачѣніў.
Но уже на сердце хмары
и ноябрьские дажджы.
Он идѣт один – без пары, –
вермут пить за гаражи.
Дождь прошѣл. И небо чисто.
Чисто-чисто, как зима.
И счастливее горниста
ўжо на ўсѣй зямлі няма.

2.

Бабушка Фрума
и дядя Аврэмул:
думают думу,
не глядя на время.
Молча сидят
и гоняют чаи.
Утренний сад,
где поют соловьи.
Дядя Аврэмул
и бабушка Фрума.
Памяти бремя
и горестей сумма.
Белый налив
и гудение пчѣл.

Жизни мотив
на любовь обречён.
Небо над садом
бездонно и звёздно.
Вечные – рядом
и все-таки – розно.
Вместе опять,
и уже до конца.
Всё. Надо спать.
Засыпают сердца.

Израэль, Хаим, Хона,
Ида, Шлёма, Тамара,
Миша, Галя, Сима,
Хома, Геня...

3.
– Не Белоруссия!
– А как?
– А Беларусь!
– Ну да.
И отразилась в облаках
полесская вода.
А я на берегу стою,
и спорить не берусь.
И в кровь жидовскую мою
впадает Беларусь.

Уволь, я в эти игры не
играю, но приходит снова
и снова ластится ко мне
в овечьей шкуре волчье слово.
Я снова вою на луну,
а если повезёт – кукую,
как таковую жизнь одну –
единственную, никакую.

Вадим ЯРМОЛИНЕЦ

НА ГРАНИ ЗАБВЕНИЯ

Реконструкция семейной биографии писателя А.М. Федорова

Текст и жизнь

Имя хорошо известного в начале XX века писателя Александра Митрофановича Федорова было бы, скорее всего, забыто, если бы только Валентин Катаев не использовал историю его семьи для одного из своих лучших текстов – повести «Уже написан Вертер». Это был не первый случай, когда Катаев вспомнил Федорова. Он появился под своим именем в более ранней повести «Трава забвения» и под именем писателя Воронова в рассказе 1917 года. Но то была фотография писателя в интерьере, одна из тех, на которые взглянешь и забудешь. Мало ли их было – групповых и индивидуальных снимков мужчин в неперенных костюмах-тройках, в пенсне, с ухоженными бородками и бородами. «Вертер» обладал динамичным и драматичным сюжетом, как хороший фильм, – с любовью, предательством, побегом, смертью, и все это на фоне исторического катаклизма, гибели 150-миллионной Помпеи.

Даже удивительно, что история Федоровых прошла мимо кинематографистов, уделивших так много внимания другим одесским персонажам той эпохи. А может быть, и не удивительно: сама Одесса, а вместе с ней и весь русский мир во всем своем этническом и культурном многообразии, ассоциирует этот город исключительно с веселыми налетчиками и аферистами, чье остроумие напроць заслоняет от аудитории природу их ремесла. Бороться с одесскими стереотипами бессмысленно, как и со всеми остальными. Но в этом подходе причина потери значительного пласта одесской истории и литературы.

Повесть, как установил одесский краевед Сергей Лущик, во многом документальна. Его «Реальный комментарий к повести В. Катаева “Уже написан Вертер”» читается с интересом не меньшим, чем сама повесть. Тут не обойтись без уточнения: в реальные события из жизни семьи Федоровых Катаев идеально вписал уже один раз использованный им сюжет – предательство женой мужа-белогвардейца.

Место действия «Вертера» – Одесса. Время – Гражданская война. Молодая работница совпартшколы доносит на мужа Диму, в недавнем прошлом юнкера. В то время, как того ждет расстрел, его мать Лариса Германовна бросается к другу семьи, лично знавшему начальника городской ЧК. Диму освобождают, но Лариса Германовна не успевает узнать о спасении сына. Она читает его имя в списке расстрелянных и возвращается домой, чтобы покончить с собой. Четыре слова в оставленной ею записке – «Будьте вы все прокляты!» – прозвучали в 1980 году со страниц «Нового мира» ошеломляюще. Советская власть казалась незыблемой, герои – неприкасаемыми, жертвы – оправданными.

Между тем спасенный от расстрела Дима бежит в Румынию. Из разбросанных в тексте Катаева фраз возникает пунктирный рисунок его дальнейшей жизни. Мы узнаем, что в годы Второй мировой он возвращается в родной город в форме солдата вражеской армии, а еще через какое-то время умирает в пропахшем дезинфекцией бараке сибирского концлагеря. И снова все совпадает с реальными событиями.

Несмотря на печальный финал, читатель не может не отметить, что беглецу все же удастся на добрых два десятка лет – а ведь это огромный срок! – пережить других персонажей повести, вклю-

чая предавшую его жену. Ее жизнь оканчивается в страшном расстрельном гараже, а его все еще длится, как тревожный сон спящего рассказчика. Двадцать лет – целая эпоха.

И повесть Катаева, и комментарий Лущика касались очень короткого этапа семейной истории Федоровых – драматичных событий 1920-1921 годов. Но ведь была жизнь и до и после. Была успешная литературная карьера Александра Митрофановича – образец, как теперь бы сказали, восходящей социальной мобильности. Сын сапожника, недоучившийся реалист стал известным в предреволюционной России автором. На его счету – дюжина романов, несколько томов короткой прозы, три тома стихов и переводов, три книги путевых очерков, том военных корреспонденций, том пьес, постановки в столичных театрах. Творческая молодежь признавала его заслуги. В той или иной степени Александр Митрофанович был первым наставником Катаева, Ахматовой, Жаботинского, других одесских авторов.

В первые годы эмиграции он преподает, пишет и публикуется, пока, наконец, не исчезает из поля зрения своей старой аудитории, критиков, историков.

Как могло пропасть такое значительное, по крайней мере по объему, наследие?

Из «Комментария» следовало, что внук А.М. Федорова – Вадим Викторович живет в США. Найти его адрес было несложно, и в 2000 году я отправился в городок Амстердам, что на севере штата Нью-Йорк. В этой поездке я видел возможность написать интересную статью для газеты «Новое русское слово», где тогда работал, и, может быть, добавить что-то к исследованию Лущика. Я не мог представить тогда, что начал писать книгу.

Меня встретила вдова Вадима Викторовича – Наталья Георгиевна Федорова, урожденная Чирикова. Она – внучка писателя Евгения Чирикова.

Наталья Георгиевна бережно хранила семейные реликвии и передала мне одну совершенно бесценную – магнитофонную запись воспоминаний Надежды Ковалевской – первой жены сына писателя – Виктора Федорова. Эта запись была сделана, когда Надежде Леонидовне было уже за 80. Она рассказывала о муже, его спасении из ЧК, побеге из Одессы – все то, что отразилось в повести Катаева.

Еще одной переданной мне реликвией была рукопись воспоминаний ее супруга – Вадима Федорова.

Семейная история медленно затягивала меня, становилась очень личной. Во многом это объяснялось тем, что я родился и вырос в городе, с которым были связаны два десятка лет жизни Александра Митрофановича и его семьи. Мое детство прошло на улице Княжеской в доме №21. А.М. Федоров был завсегдатаем холостяцких «четвергов» в доме №27 – особняке художника Евгения Буковецкого. В этом доме стартует сюжет одного из одесских романов Федорова – «Природа».

Не сосчитать сколько раз я бывал в 27-м номере, как мы его называли, – в нем жили приятели моей юности. Один из них – Валерий Смирнов впоследствии стал соавтором¹ книги о доме Буковецкого – «Баранова, 27». Так улица называлась в советскую эпоху.

И было еще одно соседство – отцовский летний участок на Большом Фонтане, с громким названием «дача». Дача располагалась на улице – в один квартал, которая сегодня носит не вполне органичное для этих мест имя Мыколы Гумилева. Отправляясь на пляж, мы спускались по разбитой грунтовой дороге до улицы Пархоменко, которая сегодня называется улицей Художника Федорова. Какого именно? Хочется верить – Виктора Александровича Федорова – сына писателя. Она приводила нас на улицу Амундсена, не очень ловко переименованную в улицу Дача Ковалевского. Улица-дача... Пересекали ее, и по густо заросшей колючим кустарником балке выбирались к морю. Балкой в Одессе называли овраг. Над головой густо тек звон колоколов Успенского монастыря. Того самого, который юный Олеша упомянул в посвященных А.М. Федорову «Майских стихах»:

А со скамьи на солнцепеке
Видны зеленые моря,
И в небе дальний и высокий
Огнистый крест монастыря...

¹ С Александром Грабовским.

Электрический маяк, в команде которого служил Виктор Федоров, располагался дальше в сторону Лютсдорфа, там же был дом писателя, а рядом – дом семьи Ковалевских, давшей название всему району. Мне было, наверное, лет 10–12, когда отец повел меня смотреть на уничтоженные оползнем дома, среди которых был и дом Федоровых. Мы видели присыпанные темно-рыжей глиной остатки стен из ракушечника, смятые листы ржавой кровельной жести, следы проводки и темные пятна на обоях, где висели когда-то картины или стояли шкафы, пыльные обломки мебели. Далеко внизу волны методично набегали на берег, подъедая его историю.

Описанная Катаевым прогулка писателя Воронова с почты на свою дачу – вдоль шоссе, по обеим сторонам которого располагались благоухающие сады, для меня – фотографически точная реальность моего детства.

В 2012-м я встретился в Женеве с младшим сыном Виктора Федорова – Виктором-Анатолем. Он родился в Бухаресте, когда его отец находился в сибирском концлагере. В их судьбах оказалось общее: оба – театральные художники, оба бежали с родины на запад. Отец – из Одессы в Румынию, сын – из Румынии в Швейцарию. Виктор-Анатоль хранит рисунки и картины отца, личные документы и открытки из концлагеря с душераздирающими призывами о помощи, обращенными к бессильной помочь ему любимой женщине. Именно эти открытки вызвали у меня ощущение личной ответственности за то, чтобы приватная история семьи Федоровых прозвучала в общей истории страны, века.

За встречей в Женеве последовала поездка в город Лидс в Англии, в университете которого хранится архив И.А. Бунина, и в нем – письма А.М. Федорова. Из них мы узнаем о его жизни в Болгарии, о сыне, об оставленной в Одессе жене, об отчаянном одиночестве, нищете, прижизненном забвении.

Несколько предпринятых мной попыток написать о Федоровых большую повесть или роман зашли в тупик. Первой причиной было то, что Валентин Катаев, не контактировавший после 1919 года ни с А.М. Федоровым, ни с его сыном, знал об их судьбе все. В повести упоминается и служба Виктора в годы Второй мировой в румынской армии, и появление в оккупированной Одессе, и работа по специальности в сибирском концлагере, и двое оставленных им детей от первого брака. Повторяться казалось бессмысленным.

Второй причиной было то, что письма Федоровых хранили в себе такой мощный эмоциональный заряд, что любая переработка свела бы его на нет.

В поиске формата мне помог Леонид Юзефович, порекомендовавший «просто записать эту историю», не думая о жанре. Действительно, его «Зимняя дорога» стала для меня своего рода отправной точкой на финальном этапе этой работы.

Но окончательное понимание того, что я готов рассказать историю семьи Федоровых, пришло лишь после погружения в литературное наследие Александра Митрофановича. Оно забыто, но оно не исчезло. Книги А.М. Федорова хранятся в библиотеках многих американских университетов, значительная часть текстов: поэзия, проза, очерки, драматургия оцифрована и доступна пользователям российской Национальной электронной библиотеки.

Завершив эту работу, я хочу поблагодарить всех, кто внес в нее свою лепту. В первую очередь Наталью Георгиевну Федорову и Виктора-Анатоля Федорова, доверивших мне бесценные семейные документы и поделившихся своими воспоминаниями. Также хранителя Русского архива в библиотеке Лидского университета Ричарда Дэвиса, оказавшего неоценимую помощь в поиске писем корреспондентов Федорова и их расшифровке. Знатоков одесской истории Олега Губаря и Евгения Голубовского, которые помогли мне восстановить биографии забытых горожан из ближайшего окружения Федоровых. Писателей Леонида Юзефовича и Сергея Шикеру, чьи советы помогли мне начать и довести эту работу до конца. Специалиста по Федорову из университета Велико-Тырново в Болгарии Маргариту Каназирску, которая нашла и довела до публикации заключительные главы его последнего романа «Плеяды», а также исследовательницу федоровского наследия из Саратовского университета Юлию Сырову, чья научная работа и публикации в прессе помогли мне больше узнать о начале его творческого пути и найти многие его тексты в периодике конца XIX начала

XX века. Директора Одесского литературного музея Алену Яворскую, научных сотрудников музея Анну Божко и Анну Мисюк, писателя Валерия Смирнова, чьи работы не давали исчезнуть имени Федорова из городской истории. И еще, посмертно, – Сергея Зеноновича Лущика, чье исследование на долгие годы дало мне увлекательнейшее занятие, стремление продолжить начатый им труд.

Саратов, Уфа, Москва

Александр Митрофанович Фёдоров родился в 1868 году в Саратове. Отец его появился на свет крепостным, до 18 лет был пастухом, а получив свободу, выучился на сапожника. Востребованное ремесло не принесло достатка. Семья не выбиралась из нищеты, поскольку отец пил.

«Кроткий человек и усердный работник, он, когда напивался, не помнил себя и на попреки жены отвечал тяжелыми побоями. На другой день он был сам не свой, молил о прощении, давал зарок»¹.

Воспоминания об избиениях матери – первый драматичный опыт ребенка – не оставляют его всю жизнь. В романе «Заря жизни» автор рассказывает, как его маленький герой отправляется с другими детьми колядовать и собирает деньги на коньки. Три праздничных дня Рождества, когда закрыты городские лавки, отделяют его от исполнения мечты. Но этой мечте не суждено сбыться, отец пропивает деньги. Попытка матери усовестить мужа оканчивается очередным ее избиением. Роман, конечно, не биографический документ, но некоторые детали, кажется, не придумаешь.

«...вдруг я проснулся. Сначала мне показалось, что это все еще шумит, стучит и стонет ветер. Но открывши глаза, я вскрикнул от страха и муки: отец бил мать, и, чтобы не разбудить нас, она сдерживала вопли и стоны. Но когда упала от его удара, и голова ее стукнулась об пол, не помня себя, я с криком прыгнул с кровати, вцепился отцу в бороду обеими руками и повис, трясясь и судорожно извиваясь и визжа от злобы»².

Наверное, не будет большой ошибкой судить о степени биографичности каких-то эпизодов и образов в прозе и стихах Федорова именно по их повторяемости в текстах, иногда отделенных друг от друга несколькими десятилетиями.

Однажды пьяный отец запирает спрятавшуюся от него жену в погреб, где та проводит ночь. И до этого слабое ее здоровье было этой ледяной ночевкой подорвано окончательно, и вскоре бедолага умерла.

Похоронив первую жену, отец женился вторично. Второй супруге доставалось тоже, но недолго – через полгода новой семейной жизни сапожник ушел в очередной запой, из которого уже не вернулся.

Из самых ярких и немногих теплых воспоминаний той поры: волжские просторы, бесконечные плоты и похожие на разбойников косматые плотовщики, угощающие мальчика ухой и раками.

Еще одно воспоминание – купленная ему рыжая шинель до пят – на вырост, которая вызывает насмешки школьных товарищей. Ужас и любопытство, которые влекут его к щели в заборе у желтого дома на берегу Волги, где доживает свои дни его умалишенный дед.

Надрывный мелодраматизм, пожалуй, главное художественное свойство романов Федорова. Ни один не обходится без любовных драм, несчастий, смерти. Это – неспроста. Все это отголоски драматичного детства, тяжелых потрясений юного сознания, вызванных избиениями матери, ее ранней смерти по вине мужа, сумасшествия деда, дикой нищеты.

Оставшись сиротой в 11 лет, Саша Федоров попал на воспитание в состоятельный дом. Через три года его отправили в реальное училище. Здесь он впервые и ощутил тягу к стихосложению. Об этом он рассказал в автобиографии, написанной специально для книги известного в начале XX века историка литературы Федора Федоровича Фидлера – «Первые литературные шаги: автобиографии современных русских писателей». Книга вышла в 1911 году в Москве и включила автобио-

¹ А. М. Федоров. С матерью // Рассказы. СПб.: Изд-во С. В. Бунина, 1908. С. 1.

² А. М. Федоров. Заря жизни. Роман. Московское книгоиздательство, 1916. С. 20.

ографии 54 авторов. Сегодня этот сборник выглядит своеобразным литературным синодиком – в оглавлении вряд ли наберется дюжина узнаваемых имен.

За сочинительство юноша взялся в 14 лет – влюбившись. Первые стихи, по его словам, были жестоким подражанием Некрасову.

«Первое стихотворение, которое мои товарищи уговорили меня отдать в печать, называлось «Смерть рабочего», причем рабочий умирал в Петербурге, которого я никогда не видал, и смерть его сопровождалась ужасным воем Невы.

<...>

Никогда после этого я не испытывал такой безумной гордости и восторга, как в тот момент, когда мое стихотворение появилось в «Саратовском дневнике». Достаточно сказать, что ночь накануне я не спал, а затем целый день ходил по городу, опьянев от сатанинской гордости и тщеславия»¹.

Дата исторической публикации в приложении к газете «Саратовский дневник» – 15 июня 1885 года, точное название стихотворения – «Смерть фабричного». Сочинительство стихов, которое не только питало тщеславие молодого автора, но и занимало все время и мысли, стало причиной конфликта с директором училища. Дело кончилось тем, что его отстранили от занятий за несколько месяцев до получения диплома. Юношу это не остановило – к этому времени он уже самостоятельно зарабатывал себе на хлеб.

«Платили в газете от пяти до десяти копеек за строчку, но эти деньги казались мне священными, и, несмотря на то, что я с четырнадцати лет был человеком самостоятельным и жил на десять-двенадцать рублей, которые зарабатывал уроками, литературный гонорар я тратил на покупку книг или на театр. Позднее в театр я получил доступ даром, так как писал для актеров куплеты на злобу дня.

Лет шестнадцати я послал свои стихотворения в «Литературное богатство» и получил ответ от Л. Оболенского, в то время издававшего этот журнал, чрезвычайно трогательное письмо, которое основательно поддало мне поэтического жара»².

В числе первых учителей юного дарования был известный поэт Аполлон Майков. Он читал стихи юного поэта, знал о его трудном детстве и ходатайствовал о том, чтобы тому позволили сдать выпускные экзамены и получить диплом. Из этого ничего не вышло, и вот как Федоров объяснил это:

«Я в это время лежал раненый пулей в больнице. Экзамены кончились, когда я выздоровел...»³.

Откуда эта пуля залетела в его биографию, автор не объяснил. Жалко. Это бы добавило пару-другую ярких мазков к его портрету.

Подлечившись, Федоров уехал в Москву с четким намерением утвердиться на литературной ниве.

Герой еще одной автобиографической повести «Что его ждет?» перед отъездом в столицу (правда, этот отправляется в Санкт-Петербург) объясняет своей возлюбленной:

«...пройдет два-три года, и ты увидишь меня не безымянным ничем, а русским писателем, имя которого тебе не стыдно будет принять ни перед людьми, ни перед собою»⁴.

Такие заверения наверное слышала не одна провинциальная муза, даже не догадываясь, что успех ее избранника был гарантией вечной разлуки с ним.

В Москве Федоров познакомился с популярным автором того времени – Н.Н. Златовратским, корифеем жанра «мужицкой беллетристики». Встреча была действительно важной – Златовратский открыл для Федорова двери редакции столичного журнала «Русская мысль». Общение со старшим по цеху коллегой дало еще один результат – свойства названного выше жанра, представлявшего собой смесь беллетристики, этнографии и публицистики, в дальнейшем проявились в лучших романах Федорова – «Степь сказалась» и «Земля».

¹ А.М. Федоров. Автобиография // Ф.Ф. Фидлер. Первые литературные шаги: автобиографии современных русских писателей. М.: тип. т-ва И.Д. Сытина, 1911. С. 103. (Далее – Автобиография.)

² Там же. С. 103.

³ Там же. С. 105.

⁴ А.М. Федоров. Что его ждет? Повесть // Живописное обозрение. 1902. № 7. С. 966.

Поскольку на первые гонорары прожить было невозможно, Федоров вернулся к частным урокам и начал подрабатывать в театре.

«...я от двадцати до двадцати двух лет прослонулся по провинции, разыгрывая всевозможные роли, начиная от маленьких и кончая Доном Карлосом. Хотя я играл временами не без успеха, но, кроме отвращения, об этом периоде моей жизни у меня мало что осталось в душе.

Последним пунктом моей плодотворной артистической деятельности был город Уфа. Здесь, благодаря близости к башкирскому народу, я задумал мой первый роман "Степь сказалась"¹.

В двух абзацах – масса важной информации. Федоров провел два года в театре – с 1888 по 1890. Из его очерка об Аполлоне Майкове мы узнаем, что женился он рано – в 22 года – на актрисе². При всей легкомысленности профессии, супруги прожили без малого три десятка лет и, если бы не революция, могли прожить дольше.

Покинув театр, молодые поселились в деревне Курменкей, недалеко от станции Давлеканово Уфимской губернии. На этот адрес приходила почта от литературных контактов Федорова. Здесь Федоров с головой погрузился в сочинительство. Глушь позволила ему не только сосредоточиться на литературной работе, но и свести к минимуму расходы.

Уфу выбирает и герой его первого романа – Бессонов, тоже недоучившийся студент, тоже пишущий роман, в то время как его супруга трудится на огороде – на благо семейного бюджета.

Литературные плоды этой самоизоляции появились в 1894 году – полторасотстраничный том сихов, напечатанный московским издателем И.Г. Советовым, и повесть «Весна» в санкт-петербургском ежемесячном журнале «Труд».

Одесский автор всероссийского масштаба

Биограф Бунина – А. Бабореко сообщает, что Иван Алексеевич впервые гостил на одесской даче Федоровых в июне 1896 года. Тут требуется уточнение. Упомянутая Бабореко дача была первой из снимавшихся Федоровыми вплоть до 1911 года, когда у них появился собственный дом. Одно из писем Бунина одесскому другу, отправленное из Полтавы в марте 1897 года, дает повод предположить, что Федоровы все еще не приняли решения относительно того, где бросить якорь, и на свою летнюю остановку в Одессе смотрели как на очередную временную. Бунин пишет товарищу:

«Сразу сейчас не соображу, где удобнее Вам устроиться на лето. Жить, конечно, в той же Полтаве можно очень недорого; но Вы ведь ничего определенного не пишете, о Полтаве ли Вы говорите или о других каких местах. Кроме того – ведь Вам нужней города с газетой. Если так – похлопочите насчет Киева. Клянусь Вам, нет лучше города на земле! Люди, кажется, дрянь, но сам город – нечто упоительно милое и изящное. А Днепр? – Паки и паки прошу Вас – пишите об этом обо всем определеннее. Вместе ли с Л.К. думаете проводить лето или она уедет за границу? И когда?»³

Скорее всего, с Одессой Федоровых окончательно связало рождение сына Виктора – в сентябре 1897 года, стабильность гонораров, которые ему давала одесская пресса, а также успех первого романа «Степь сказалась». Что подтверждает автобиография.

«Существование мое литературой относится ко времени напечатания романа «Степь сказалась». Но Боже мой, чего я только не писал для поддержания своего существования! И юмористические стихи, и газетные фельетоны, и библиографические заметки... Наконец в 96-97 году я переехал в Одессу, где лет пять писал фельетоны чуть не ежедневно, вплоть до постановки моей пьесы "Бурелом". С этого времени я бросил газетную работу. Много писал, много путешествовал,

¹ Автобиография. С. 105-106.

² А.М. Федоров. Аполлон Майков // Пробуждение. Санкт-Петербург, 1917. № 3. В очерке Федоров рассказывает, что встретился с Майковым в 1888 году, а в разговоре с ним говорит, что уже женат.

³ Письмо И.А. Бунина А.М. Федорову. 15 марта 1897 г. // Бунин И.А. Письма 1885–1904 годов. М.: ИМЛИ РАН, 2003. Цит. по электронной версии в Б-ке М. Мошкова: http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1904_letters.shtml Письмо № 265.

но все это известно, и не мое дело писать об этом периоде моей жизни, который весь отразился в моих книгах»¹.

Александр Митрофанович слукавил. Он никогда не бросал газетной работы, просто счел, что лучше будет выглядеть в глазах читателя писателем в чистом виде, так сказать. Но ему можно верить, когда он говорит, что финансовое благополучие ему принес его первый роман. Пусть относительно, но благополучие. В письмах 1895–1897 года, когда речь заходит о романе, он сообщает своим корреспондентам (Бонч-Бруевичу и Бунину), что его объем – 12–13 печатных листов и издатель «Живописного обозрения», видя успех романа у читателей, платит ему по 75 рублей за лист. То есть он заработал на нем порядка 900 рублей. Много это или мало? Такой была в то время годовая зарплата учителя гимназии. Уездный врач получал 500. Но ведь помимо романа у Федорова были и другие гонорары – молодой автор обладал именно той работоспособностью, которая могла позволить жить на плоды литературных трудов.

Осенью 1900 года его пьесу «Бурелом» ставит санкт-петербургский Александринский театр, и театральная пресса представляет его новой звездой отечественной драматургии. Доходы позволяют Александру Митрофановичу путешествовать. В 1902 году он несколько месяцев проводит с женой и сыном в Италии, они посещают Рим, Флоренцию, Венецию. Энергичный литератор совершает дальнейшее путешествие на Ближний Восток, в Индию, Китай, Японию, США. «Одесские новости» постоянно печатают его путевые очерки, которые впоследствии становятся основой для сборника «На восток».

С 1903 года у Федорова года не проходит без новой или переизданной книги, плюс – поток публикаций в столичной и одесской периодике. В этом плане показателен 1911 год, когда в журнале вышел его новый роман «Бумажное царство», а также были переизданы отдельными книгами романы «Земля» и «Природа», сборник рассказов «Сила крови», сборник «Сонеты» и четыре тома из начавшего публиковаться семитомника сочинений – роман «Судьба», два тома рассказов «Весенний ветер» и «Утро», и один стихов – «Мой путь». За этим литературным взрывом последовало приобретение участка земли и постройка дома. Его часто называют дачей, поскольку местность дачная, но это большой каменный дом, во втором этаже которого у Александра Митрофановича, увлекающегося живописью, своя студия. Кабинет для занятий литературой – на первом этаже. В доме есть прислуга, садовник.

В 1911 и 1913 Пушкинская премия отметила его поэтические заслуги поощрительной грамотой. Это, конечно, не бунинское звание Почетного академика, но тоже признание.

Когда начинается Первая мировая, поэт, писатель и драматург становится военным корреспондентом. Репортажей и очерков с фронта хватает еще на один увесистый том сочинений – «С войны».

О жизни А. М. Федорова можно было бы сказать, что она удалась, если бы не революция и гражданская война, заставившая его бросить семью и бежать в Болгарию. Там он и дожил свой век, до последних дней мечтая вернуться на родину, вернуться на свое писательское место.

Для литературной Одессы Федоров не более чем персонаж из прозы Катаева. Причастность к почетной категории «забытых авторов» по определению не предполагает сохранение или изучение их творчества. Между тем он – один из основоположников одесской литературы, самобытного почвеннического явления, предтеча знаменитой плеяды, в которую вошли Бабель, Катаев, Олеша и другие авторы первой четверти XX века.

В автобиографической «Траве забвения» Катаев рассказывает, как он приносит свои первые стихи в редакцию одной из одесских газет и получает совет от ее сотрудника:

«...никто у нас в газете ровно ни черта в поэзии не понимает. Можете мне поверить. Только делают вид, что понимают. Так что я вам посоветую: дайте свои стихи прочесть настоящему писателю. Понимаете: *настоящему*. <...> У нас в Одессе, – сказал он, – живет один настоящий писатель. Юшкевича я не считаю. Александр Митрофанович Федоров»².

¹ Автобиография. С. 105–106.

² Цит. по: В. Катаев. Алмазный мой венец. Избранное. М.: Эксмо, 2003. С. 95. (Далее – В. Катаев. Избранное.)

Почему Семен Соломонович Юшкевич, входивший в десятку самых высокооплачиваемых российских авторов того времени, не был зачислен в список «настоящих писателей»? Скорее всего, потому что стихов он не писал, поэтому юному Катаеву в качестве наставника не годился. Скорее он был бы полезен его брату Евгению, как создатель типа веселого одесского афериста Леона Дрея – предшественника Остапа Бендера.

А.М. Федоров прожил в Одессе добрую четверть века – наиболее благополучные и плодотворные свои годы, и у него есть все основания считаться одним из первых одесских авторов все-российского масштаба. Самым первым, наверное, следует считать упоминавшегося выше Семена Юшкевича. Сверстник и хороший знакомый Федорова располагает приоритетным правом на почетный титул, поскольку родился в Одессе. Но оба они в равной мере поработали над закладкой фундамента одесской литературы, построенном на сплетении русских и еврейских культурных корней.

Портреты с натуры

Портрет преуспевающего писателя Федорова, датированный 1907 годом, нам оставила Вера Николаевна Муромцева-Булнина. В апреле этого года она впервые приехала в Одессу в качестве гражданской жены Бунина. Остановка была сделана перед отплытием на Ближний Восток. Вере было тогда 26 лет. Несмотря на передовой взгляд на отношения полов, она с понятным интересом смотрела на одесских приятелей своего избранника. Она уже была наслышана и о «четвергах» в доме художника Буковецкого, на которые не допускались жены участников, и о ловеласе Федорове. Невольно, может быть, она ловила каждое движение, каждое слово человека, чье поведение могло в какой-то мере предсказать, какой будет ее жизнь с Яном. Она, конечно, рисковала.

Одесса ей понравилась невероятно.

«На углу Дерибасовской продавались цветы. И от цветов, и от этой широкой улицы с легко одетой толпой мне стало очень весело. Одесса необыкновенно уютна, чиста, в ней чувствуешь какую-то легкость – и в линиях зданий, и в одеждах, и даже в характере людей»¹.

Встреча с друзьями была назначена на бульваре возле гостиницы «Петербургская», в ресторане которой собирались отметить приезд Бунина. Петр Нилус пришел вовремя и с цветами для дамы. Федоров опаздывал, и Иван Алексеевич заметил, что тот, видимо, задержался на очередном свидании. Наконец Федоров появился, вспоминает Вера, с извинениями и с розой в петлице. Согласитесь, занятное наблюдение: один приятель мужа приходит знакомиться с цветами для дамы, второй – с цветком для украшения собственной персоны! Объяснение Федорова, что-де он задержался в редакции, вызывает ироническую реакцию: «Конечно! Знаем мы эту редакцию!»

Затем следует обед в ресторане – еще одно яркое впечатление, на этот раз от одесской кухни. За столом речь заходит о путешествиях. Федоров делится впечатлениями о Японии, Азорских островах и Нью-Йорке, который его ужаснул. Вера замечает, что Александр Митрофанович больше любит рассказывать о себе, чем слушать других. Нилус, напротив, немногословен и внимателен.

Следующее застолье – на даче Федоровых. Вера продолжает изучать хозяина. Тот снова рассказывает о путешествиях, о том, что только что один его роман издан книгой, а другой печатается в журнале. Никогда, отмечает она, я не видела такого счастливого человека, который бы считал все свое, все связанное с ним, самым лучшим и прекрасным в мире.

Еще одно важное воспоминание об образе жизни семьи Федоровых:

«...Федоровы на зиму снимали вместе со своими друзьями, сестрами Вальц (Вера Николаевна делает ошибку, фамилия сестер – Вальцер. – В.Я.), двумя старыми девами и их племянником, большой дом в саду, который на зимние месяцы сдавался дешево. Летом в Отраде селились те, кому было необходимо целые дни проводить в городе. Комнаты высокие, просторные, что давало

¹ Вера Муромцева-Булнина. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. М.: Вагриус, 2007. С. 300-301.

Федоровым возможность приглашать к себе на обеды приезжих писателей и художников. Такие обеды проходили оживленно и весело»¹.

Федорова любили за гостеприимство, за веселый нрав, но над ним и посмеивались. Муромцева-Бунина вспоминает, что поводом для шуток были и его романы, и самовлюбленность – с истинным упоением он сообщал товарищам: «Я сложен, как бог!..»². Отголоски этого самолюбования прозвучали много лет спустя в болгарских письмах Федорова, когда ему уже было за 60.

Свой первый и отчасти карикатурный портрет А.М. Федорова нам оставил 20-летний Валентин Катаев в рассказе 1917 года «В воскресенье». Оно и понятно, учитель – первый объект изучения подмастерья.

Рассказ в две странички о том, как писатель Воронов принимает на своей даче работника почтовой конторы Игнатия Ивановича. Тот постоянно получает от Воронова рукописи для отправки их в столичные редакции. Тщеславный писатель делится с бедным почтарем своими творческими планами и в прекраснودушном порыве приглашает того на обед. Игнатий Иванович, млея от восторга, принимает приглашение. Описание дачной местности в рассказе – фотографически точное.

«Воронов вышел из конторы и не торопясь пошел домой по шоссе, вдоль цветущих и благоухающих садов, из-за которых временами появлялась белоснежная железная конструкция нового маяка с нижними опорами, выкрашенными суриком. Он лето и зиму жил на собственной даче над морем. По дороге он сдвинул фетровую шляпу на затылок, заложил за плечи трость, забросил на нее раскнутые руки и таким образом, отчасти напоминая распятие, стал обдумывать следующую главу нового романа, которая должна была происходить в ателье модного художника, среди веселой богемы...»³

Белоснежная конструкция – тот самый маяк, где имел место упоминаемый С. Лущиком в «Реальном комментарии» «заговор на маяке». К нему мог быть причастен Витя Федоров. Новый роман Воронова со сценой в ателье модного художника – один из тех одесских романов Федорова, в которых участвуют под своими и вымышленными именами члены одесского Товарищества южно-русских художников – приятели Александра Митрофановича.

Гостя встречает жена писателя, словесный портрет которой списан с Лидии Карловны Федоровой.

«...женщина, похожая на императрицу Екатерину Вторую, но в пенсне и с очень любезным лицом. <...> Она протянула чиновнику красиво изогнутую руку, которую он осторожно пожал, боясь повредить, и хотел поцеловать, но не рискнул»⁴.

А вот описание дома:

«Он прошел через довольно длинный коридор мимо вешалки, на которой висело множество пальто, макинтошей и шляп. В столовой было празднично – полно солнца, цветов в горшках и вазах, а стены салона были увешаны от пола до потолка разноцветными картинами в самых разнообразных, по большей части золоченых рамах и багетах»⁵.

«Разноцветные картины» – это смешно, но обратимся к гостям:

«Чиновник переступил порог. Перед ним в синем табачном дыму стоял Воронов, держа руки в карманах свободного артистического вестона, и горячо спорил с двумя господами, сидящими в чрезвычайно глубоких пухлых креслах. <...> Один из них был низенький, толстенький, с монгольскими глазами и, здороваясь, пробормотал нечто неразборчивое»⁶.

Любой, видевший портрет одного из одесских друзей Федорова – художника Петра Александровича Нилуса, скажет, что это именно он описан в рассказе.

«... другой – сухой, с орлиным носом, как бы заплаканными зоркими глазами и маленькой

¹ Вера Муромцева-Бунина. Жизнь Бунина.. С. 219.

² Там же. С. 174.

³ В. Катаев. В воскресенье // Собр. соч. в 9 томах. М.: Худ. лит., 1968–1972. Т.1. С. 24–25. (Далее – В воскресенье.)

⁴ Там же.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

бородкой, одетый в английский полуспортивный пиджак с большими накладными карманами, – протягивая ему руку в белоснежном крахмальном манжете, отчетливо произнес свою фамилию:

– Карпов.

«Пресвятая Богородица, – с восхищением подумал чиновник, – тот самый почетный академик по разряду изящной словесности Карпов! Вот это здорово!»¹

Академик по разряду изящной словесности, конечно же, Бунин. Примечателен диалог Воронова и Карпова.

«...хозяин продолжал прерванный спор.

– Нет, Ося, – говорил он, обращаясь главным образом к почетному академику по разряду изящной словесности, – вся прелесть Тютчева не в том, что он писал просто и легко...

– Ну, положим, не просто и не легко...

– Подожди, я еще не закончил свою мысль. А в том, что в нем есть, понимаешь ли ты, этакий вес, груз, сила.

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

А, брат! Это не нам с тобой чета! Силища.

Карпов кисло улыбнулся, но кивнул красивой головой с сильно выдающимся затылком»².

Объявляя художественный гений Тютчева вне досягаемости их дарований, Воронов приопускает талант академика до уровня собственного, чтобы не заносился. А этот Ося! В этом имени – явно отзвук Яна, – так называла Бунина Вера Муромцева.

Но при всей яркости портрета писателя Воронова, это – карикатура. Молодой автор не удержался от того, чтобы не поерничать. С первых лет их знакомства Федоров относился к поэтическому дару Бунина как к более значительному, всегда искал его совета, дорожил оценкой.

Через 50 лет после написания дачного рассказа Катаев вновь вернулся к своим воспоминаниям о первой встрече с Федоровым. Они и сдержаннее и, судя по всему, объективнее:

«Он нервно вздрогнул всем телом и вскинул свою небольшую красивую голову с точеным, слегка горбатым носом и совсем маленькой серебристой бородкой: настоящий европейский писатель, красавец, человек из какого-то другого, высшего мира; с такими людьми я еще никогда не встречался, сразу видно: утонченный, изысканно-простой, до кончиков ногтей интеллигентный, о чем свидетельствовали домашний батистовый галстук бантом, вельветовая рабочая куртка, янтарный мундштук, придавая ему нечто в высшей степени художественное»³.

И здесь же читаем поразительное признание хозяина:

«– Ах, Валя... Все это, откровенно говоря, вздор. Хотя мой учитель Майков и считал меня самым талантливым своим учеником и предсказывал мне блестящую будущность, – при этом Федоров посмотрел на фотографию старика с черно-серебряной бородой, в строгих железных очках – поэта Майкова – с автографом, – но по совести, какие мы с вами поэты? Бунин – вот кто настоящий поэт. Вы читали Бунина?

– Нет.

– Вы не знаете стихов Бунина? – ужаснулся Федоров. – И ничего о нем не слышали?»⁴

И здесь мы слышим ту же катаевскую иронию, едва не переходящую в гротеск. И что важно еще: Катаев, по его собственному признанию, приходит к Федорову не для того, чтобы тот познакомил его с Буниным. О Буnine он тогда еще ничего не знает. Главный авторитет для него сам

¹ В воскресенье. С. 24–25.

² Там же.

³ В. Катаев. Избранное. С. 97–98.

⁴ Там же.

Федоров. Опять же – с оговоркой – автобиографическую повесть все же не следует рассматривать как документ.

Но вернемся к рассказу «В воскресенье». При всем тяготении молодого автора к юмористическим передержкам рассказа настолько яркий и иллюстративен для биографа Федоровых, что возле одного из мелькнувших в нем образов хочется на минуту-другую задержаться.

«...Игнатий Иванович стеснялся и ел мало, хотя и был голоден. Рядом с ним сидела прелестная молодая девушка в простой черной юбке и еще более простой синей кофточке. Он первый раз в жизни сидел рядом с такой красивой, свежей, изящной женщиной. За столом, как всегда в таких случаях, было тесновато, и Игнатий Иванович боялся сделать лишнее движение, чтобы не толкнуть свою соседку локтем или не опрокинуть чего-нибудь на крахмальную скатерть. Но девушка не обращала на него внимания и лишь один раз сказала:

– Будьте добры, передайте мне салат.

Он передал и с умилением смотрел, как ее руки накладывали себе на тарелку деревянными ложкой и вилкой свежие листья, окропленные прованским маслом и лимонным соком»¹.

У писателя, даже начинающего, не бывает случайных персонажей, что позволяет спросить: кто эта молодая девушка? Память услужливо извлекает из своего хранилища известный портрет молодой женщины в простом синем платье кисти Натана Альтмана.

Катаеву не обязательно нужно было видеть этот портрет или знать о нем. Хотя Альтман бывал в это время Одессе и появлялся в кругу знакомых Федорова. Но молодой Катаев, делающий первые шаги в литературе, не мог не интересоваться успехами своих добравшихся до столиц сверстников. Скорее всего, он знал и об успехах бывавшей на даче Федорова Ани Горенко. Особенно с учетом того, что в 1917-м она – жена Гумилева и автор двух опубликованных поэтических сборников – «Вечер» и «Четки». Катаев мог знать и о ее давних интимных отношениях с Федоровым, что и позволило усадить ее в рассказе за обеденный стол, сервированный женой воздыхателя. Шутки, как говорится, ради. Но это, конечно, лишь предположение. Фантазия. Мы знаем и о других прелестных девушках, которые могли бывать на даче Александра Митрофановича, но о них разговор впереди.

Знакомство с Буниным

А. Бобореко сообщает, что Бунин познакомился с Федоровым в январе 1895 года в редакции Санкт-Петербургского журнала «Новое слово».

Первые шаги в литературе Федоров подробно описал в уже упоминавшейся повести «Что его ждет?». Главный герой – Александр Неручев приезжает из провинции в Петербург устраивать литературную жизнь. Город в этой повести мрачен и неприветлив. Редактор журнала «Житница», куда герой приходит за гонораром, ошарашивает визитера сообщением, что за стихи не платит. Нищие литераторы сражаются с издателями за гонорары, которые тут же пропиваются. Таков фон истории. В череде первых литературных портретов выделяется своим достоинством один – Шатилова. Очень похоже, что написан он с Бунина. Дружеские отношения между Неручевым и Шатиловым возникают очень буднично. Покинув вечеринку литераторов, они оказываются на вечерней улице. Закурив папиросу, сделав несколько затяжек, Шатилов говорит герою:

«– Вы мне нравитесь. <...> В вас есть что-то свежее, нездешнее... Давайте дружить с вами, или, как говорят школьники, водиться.

– Давайте, – ответил ему в тон Неручев. Ему понравилось, что в этом обращении, сделанном добродушным, ласковым тоном, не было ни тени покровительства или, тем паче, высокомерия.

Они подали друг другу руки и продолжали разговор уже как старые товарищи»².

Федоров подчеркивает, что дружба двух его персонажей началась с понимания обоюдного равенства. Если это было так, то стоит ли обращать на это внимание? Равные не говорят о равенстве,

¹ В воскресенье. С. 25.

² А.М. Федоров. Что его ждет? Повесть // Живописное обозрение. 1902. №10. С.1135-1136.

очевидное не стоит упоминания. Выходит, автор как раз осознал, что равенства нет, есть только доброе отношение к нему, которое можно толковать как равенство лишь с известной натяжкой.

Вторая встреча состоялась на следующий год в Одессе. Бунин приехал сюда 9 июня и, перед тем как отправиться в заграничное путешествие, провел на даче Федоровых три дня. 16 сентября он возвратился в Люстдорф, где задержался еще на 10 дней. Следующие визиты к Федорову – в мае 1897 года и июне 1898 года.

Солнце и морской простор, обильные дачные застолья, именитые столичные гости и местные ценители искусств, купания на диком пляже, прогулки на яхте от люстдорфской Башни Ковалевского до Воронцовского маяка – и обратно. Сидя в беседке с бокалом вина или с душистой папиросой, можно слышать, как под обрывом бьет в глинистый берег и вороочает прибрежную гальку Черное море, резко вскрикнет чайка, по дороге, скрытой кустами сирени, когда-никогда глухо простучит паровичок.

Нет, скажите, как, направляясь в очередное путешествие на Восток, не провести здесь несколько ленивых и в то же время насыщенных общением недель, не отдохнуть от изматывающего ритма столичной жизни, не стянуть сонливый покой деревенской усадьбы?

Чем чаще приезжает Бунин в Одессу, тем шире круг его местных друзей. В числе ближайших для него: хранитель Одесского музея Владимир Павлович Куровский; издатель газеты «Южное обозрение» Николай Петрович Цакни; воспитанники Санкт-Петербургской Академии художеств и сооснователи Товарищества Южно-русских художников Петр Александрович Нилус и Евгений Иосифович Буковецкий. В своем особняке на Княжеской, 27 – доме Буковецкого – владелец устраивает знаменитые мальчишники – «четверги», где собираются одесские художники, скульпторы, музыканты, литераторы. Именно в этом особняке Бунин поселился с Верой Николаевной после бегства из Москвы, здесь писал дневники, которые легли в основу «Окаянных дней», отсюда уехал в эмиграцию.

Скорее всего именно молодость и провинциальность обоих сыграли свою роль в сближении Бунина и Федорова. И даже если допустить, что вначале Федоров смотрел на Бунина как на равного, то очень скоро в их отношениях произошла корректировка.

Авторитет Бунина-поэта был для Федорова непререкаем. В многочисленных письмах к Бунину Федоров ищет его литературного совета. Бунин со своей стороны ведет себя по отношению к Федорову предельно деликатно, поощряя его и осторожно указывая на огрехи. Вот фрагмент письма 1900 года.

«Ты положительно с каждым месяцем пишешь стихи все лучше, – это говорю, ей-богу, искренно, – но что ты делаешь а la Горький эти дьявольские преувеличения? Очень тронуло меня стихотворение, но “русла”, по-моему, скверно. “Мутным, *глубоким* ручьем” – тоже чересчур. Пожалуйста, не рассердись, говорю это потому, что, м.б., со стороны видней»¹.

Еще одно письмо 1901 года:

«Милый А<лександр> М<итрофанович>, от всего сердца целую тебя за стихи. В них чрезвычайно много хорошего и, ей-богу, получивши твое письмо, я очень долго ходил взволнованный, растроганный и все внутри у меня пело стихами. Точно, правда, букет подснежников и я увидел возле себя, проснувшись. Очень мне нравится этот недолговечный цветок – “Гумер-Зая”, много трогательного, красивого и реально-пахучего и во всех других. Но много и небрежностей... да ведь ты сам знаешь и, вероятно, уже поправил»².

Но в то время как Федоров видел в Бунине более значительного, чем он сам, поэта, в прозе – в начале их творческого пути – он, видимо, считал более сильным себя. Снисходительно-покровительственный тон Федорова слышен в его рецензии на сборник Бунина «На край света и другие рассказы», вышедший в Санкт-Петербурге в 1897 году. Рецензия была опубликована в научно-литературном и политическом журнале «Новое слово».

¹ Бунин И.А. – Федорову А.М. 1 августа, 1900 / Письма Л. Андреева и И. Бунина // Вопросы литературы. 1969. № 7. С. 181.

² Там же. Письмо от 31 янв. 1901.

«...сюжеты его рассказов несложны и будничны, нет у него также широкого захвата и глубины проникновения тою или другою идеею, но все это, наверное, со временем придет, если г. Бунин будет серьезно воспитывать и развивать свой талант, расширяя поле наблюдений и глубже вдумываясь в жизнь и взаимные отношения людей».

Завершается рецензия словами:

«...это произведение (*речь идет о последнем в сборнике рассказе «Тарантелла» – В.Я.*) подчеркивает дарование г. Бунина и выводит его далеко за пределы посредственностей, которых развелось так много в последнее время в виде ловких мастеров беллетристического цеха»¹.

Иными словами: ты, брат, уже лучше многих ловкачей, но тебе еще расти и расти. Но внешне в отношениях с Буниным никаких вольностей Александр Митрофанович не допускал. Не смел. Упомянутая рецензия была предварена письмом:

«Милый мой друг, только что сдал в “Новое слово” рецензию о Вас. Полагаю, что это вернейшее и лучшее из того, что о Вашей книге написано»².

Действительно, Федоров первым перешел к крупным прозаическим формам и практически сразу снискал успех. В 1894 в журнале «Труд» вышла его повесть «Весною», в 1897 году – роман «Степь сказалась», а в следующем 1898 году второй – авантюрный – «Наследство». Все это были реальные успехи, сопровождавшиеся хорошими гонорарами. А гонорар, как известно, укрепляет веру в свой талант.

В «Грасском дневнике» Галины Кузнецовой записано интересное воспоминание Ивана Алексеевича, относящееся к более позднему этапу его дружбы с Федоровым, но, тем не менее, дающее представление о самооценке одесского романиста:

«Бывало Федоров покровительственно говорит: “Нет, брат, что эти все рассказы, странички... нет, ты напиши роман! Гляди, я уже восьмой диктую...”»³.

Степь – судьба

А. М. Федоров написал дюжину романов, два из которых, с точки зрения художественного мастерства и социальной значимости, стоят особняком. Настолько особняком, что могли бы принадлежать другому автору. Это первый его роман «Степь сказалась» (1897) и третий – «Земля» (1903). Оба при жизни автора выдержали по три издания. Но последовавшие романы позволяют предположить, что молодой прозаик быстро осознал, что его финансовое благополучие зависит не от художественности и социальной значимости его текстов, а от накала описываемых страстей и его собственной производительности. Подход оказался верным. Совершенно бульварный роман «Природа» вызвал скандал у читателей, которые внезапно обнаружили себя в качестве его действующих лиц и... выдержал четыре издания!

На снижении литературных достоинств крупной федоровской прозы могло сказаться и то, что свои первые романы Александр Митрофанович писал сам, что позволяло ему держать под большим контролем текст, избегать длиннот в диалогах и стилистической неряшливости. Более поздние романы и повести он надиктовывал сидевшей за пишмашинкой жене. Работать над редактурой, шлифовать текст при его поточном производстве не было времени.

В литературоведческих статьях «Степь сказалась» представлен романом о расхищении башкирских земель. Это не совсем так, хотя дело и происходит в Башкирии, где коренное население обманом лишают пастбищ, на которых держится их уклад. Но постоянно употребляющееся в критике слово «расхищение» предполагает упрощенный литературоведческий подход советской эпохи, делившей действующих лиц романа на расхитителей и их жертв – угнетателей и угнетенных. Федоров прекрасно отразил сложность межэтнических отношений, описав и ошеломляющую

¹ Цит. по: Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве И.А. Бунина. М.: Книжница. 2010. С. 40.

² Письмо Федорова Бунину от 26 марта 1897 г. Цит. по: А.М. Федоров. Степь сказалась. Уфа: Башкирское кн. изд., 1981. С. 262.

³ Г. Кузнецова. Грасский дневник. М., 1995. С. 116.

дикость башкирского быта, и налице в народе своих дурачков и негодяев, которыми манипулировали циничные русские ловкачи. Роман его динамичный, яркий, экзотичный. Описывая убогость башкирских деревень или красочность национального праздника с единоборством и скачками, Федоров расширял привычный мир русской литературы, в то время, кажется, не шагнувшей дальше Кавказа.

Но главное в романе – рассказ о роковой подчиненности человека судьбе, невозможности вырваться из ее пут. Этот фатализм стал отличительной чертой сюжетной механики Федорова. Башкирия с ее социальными проблемами была лишь фоном, на котором судьба демонстрировала свою власть над героями степной истории.

Молодой башкир Араслан Арасланов, получивший блестящее столичное образование, возвращается в родные края, чтобы помочь своему народу. Уфа названа в романе Светлорецком. Арасланов хочет остановить присваивающих землю мошенников, пользуясь своим юридическим образованием и опытом. Встретивший его светлорецкий приятель – Андрей Бессонов (фамилия героя первого романа Федорова явно перекликается с фамилией главного героя последнего – Виссонова) рассказывает ему о поразительном феномене башкирского народа:

«Многие из них очень неглупые люди. О некоторых даже говорят, что в юности они подавали большие надежды, отличались прекрасными способностями и необыкновенной восприимчивостью <...> А потом происходит чудная вещь. Приезжает, положим, башкир из столицы с самыми благими намерениями, во всеоружии самоновейшей, так сказать, культуры и цивилизации. Европейец – одно слово. Женится здесь – и прощай культура! Халат, трубка заменяют книги, и от всех плодов цивилизации через какие-нибудь пять-шесть лет остаются только одни карты. Культура отпала, как сусальная позолота, и трехнедельный европейец снова превратился в полудикого башкира»¹.

Арасланова ждет на родине аналогичная судьба. К своему халату и трубке он приходит после потрясения в личной жизни – предательства женщины, но тут важно не что именно приводит сюжет к кульминационной точке, важна предопределенность возвращения в родную среду. Он снова становится ее традиционной составной – диким башкиром с рассудком восьмилетнего ребенка. Предшествующие 20 лет жизни вспоминаются ему как фантастический сон. Все возвращается на круги своя.

Возвращается в свою среду и жена Андрея Бессонова – Варвара. Разочаровавшись в бездетном браке, она бежит из дому, чтобы вернуться в родную театральную среду, где она может быть сама собой, как рыба может быть сама собой лишь в воде.

Название «*Степь сказалась*» следует понимать так – судьба сказалась. К теме роковой и неразрывной принадлежности человека народу, среде, призванию, Федоров вернется еще не раз. Да и на жизнь самого Александра Митрофановича можно посмотреть как на предопределенное свыше движение по кругу, в котором отправной и финишной точкой была беспросветная бедность. В меньшей степени это относится и к его сыну, которого рок настиг со второй попытки, дав только отдышаться от первой.

«Мой мальчик»

Моему сыну

Усни, мой мальчик, в неге сладкой...
 Спи, баюшки-баю...
 Как над томительной загадкой,
 Я над тобой стою...

¹ А.М. Федоров. *Степь сказалась*. СПб.: Т-во художественной печати, 1900. С. 35.

Что ждет тебя? Какую долю
Тебе готовит рок?
Улыбки ль счастья и волю,
Терновый ли венок?

Как часто в глубь души родную
Твоих невинных глаз
Гляжу с любовью и тоскую
О том, что мрак для нас.

И, как по звездам безмятежным
Пытливый астролог,
Хочу прочесть по глазкам нежным
Твою судьбу, сынок.

Но что б тебя вдали ни ждало
И кем бы ни был ты,
Живи во имя идеала
Добра и красоты.

Не забывай, что кровь народа –
Твоя родная кровь,
Что с ним у вас одна свобода,
И благо, и любовь.

Твой дед был раб... Он мне в наследство
Оставил след цепей.
Мое безрадостное детство
Угасло без лучей.

Заря твоей безвестной жизни
Ясна, светла, как рай,
Что дал тебе я – ты отчизне
Как долг святой отдай.

И будет мне легко в могиле,
Коль заповедь мою
Исполнишь ты, покуда в силе...
Спи, баюшки-баю.

А.М. Федоров. 1898 ¹

В разбросанной по миру семье Федоровых царит настоящий культ Виктора Александровича. Выполненные карандашом и маслом автопортреты ухоженного красавца украшают дома американских и швейцарских Федоровых. На фотографиях он предстает спокойным, сосредоточенным, полным достоинства. У него черные, аккуратно зачесанные назад волосы и модные костюмы. Он позирует для камеры в фотостудии, в театральной мастерской, с молодой подругой на яхте. Бесспорная красота подчеркивает трагичность его судьбы.

¹ А.М. Федоров. Собр. соч. в 7 т. М.: Н.Н. Ключков, 1911–1913. Т.4. Мой путь: Стихотворения. С. 30. (Далее – Мой путь.)

Но из передающейся из поколения в поколение семейной истории явно следует, что мученик не безгрешен. Объективный наблюдатель не может пройти мимо того факта, что в начале биографии Виктора Федорова лежит предательство. Нет, не предательство родины – в Гражданскую его побег был объясним и оправдан – он спасал жизнь. Но, бежав из погибающей от голода и тифа Одессы, Виктор бросил на произвол судьбы жену и двух сыновей-погодков, стареющую мать. В этом он повторил поступок отца, бежавшего за границу годом раньше. Как это могло произойти?

Вопрос о брошенной матери первым задал Катаев – в «Вертере».

«Она оберегала его от превратностей революции, а он тем временем уплывал на лодке вместе с какими-то будто бы хорошо ей знакомыми людьми через Днестр, где в предрассветном тумане темнели густые прибрежные камыши и слабо маячили фигуры румынских пограничников. Теперь он был уже в полной безопасности, но навсегда потерял для нее, и это было невыносимо тяжело.

Почему же он бросил ее одну, не взяв с собой?»¹

Действительно, почему? И не была ли вся его последующая жизнь расплатой за предательство?

Виктор родился в Одессе 1 сентября 1897 года. Район, где семья снимала квартиру до 1911 года, назывался Дача Отрада и находился в городской черте. От этого дома Александр Митрофанович мог дойти до редакций городских газет за полчаса.

После рождения сына Федоров звал в крестные Бунина, но, поскольку тот не смог прибыть в Одессу вовремя, крестным Вити стал Николай Петрович Цакни – издатель «Южного обозрения» и будущий тесть Бунина. Крестной – Мария Федоровна Вальцер – крестная Ахматовой.

Вера Бунина впервые увидела Витю в 1907 году, сделав запись в дневнике: «Толстый, десятилетний сынишка Федоровых, Витя, сидел в спальне. Это был забавный мальчик с непослушным вихром, очень смешливый, но с печальными глазами»².

В семейном архиве Федоровых есть и более ранние снимки Вити, на которых ему года три-четыре. Он из тех детей, о которых говорят: ухоженный ребенок. Но он никогда не улыбается, его взгляд действительно печален. Объяснение, наверное, в том, что фотография в те годы была делом серьезным, перед объективом не улыбались. Но Виктор не улыбался и на снимках 30-х и 40-х годов, когда фотограф мог позволить израсходовать несколько кадров из 36 (!) на неформальный снимок.

Виктор был сдержан, сосредоточен, углублен в себя. Тем более запоминающимися были для близких и его смех, и пение, и те случаи, когда он выходил из себя, выпускал пар.

В сборнике А.М. Федорова «Сила крови и другие рассказы», который вышел в 1911 году, есть замечательный рассказ «Слепые». Замечателен он упоением, с которым автор рассказывает о велосипедной прогулке с сыном:

«...мальчик мой весело оборачивается ко мне; смеется <...> и сильнее нажимает педали своего велосипеда.

Он едва достает их маленькими восьмилетними ножками, когда они опускаются вниз, но работает ими легко и легко сидит в седле. Сверкают на солнце металлические педали, мигают спицы колес, и кажется, что он, как паучок, на лету тклет светящуюся паутину, в которой путается ветер и пылинки, поднимающиеся с нагретой солнцем земли»³.

Его мальчик не только ловок, у него тот особый проникающий в суть вещей ум, какого нет у взрослых. При встрече со слепыми он говорит отцу: «Они только по-нашему не видят, а по-своему видят».

Отец тает. И ему становится жаль себя, лишенного этого таланта.

В Отраде дом Федоровых находился в сотне метров от дома №10 по Отрадной, где жили Катаевы. Впервые Виктор появляется в прозе Катаева в рассказе 1914 года «Весенний звон». Но опи-

¹ В. Катаев. Избранное. С. 64.

² В. Муромцева-Бунина. Жизнь Бунина. С. 302.

³ А.М. Федоров. Слепые. Цит. по электронной версии в Б-ке М. Мошкова: http://az.lib.ru/f/fedorow_a_m/text_1909_01_slepye.shtml

санные события могли происходить несколькими годами раньше. «Хорошенький реалист Витя Александров» встречается с некой Таней, в которую автор тайно влюблен. Ревность такова, что становится причиной доноса на соперника – его матери: «Ваш Витя курит!»

Знакомство не переросло в дружбу. Подросткового Валу больше интересовал Александр Митрофанович, который мог оценить его первые стихи, дать совет. Но спустя годы Катаев создал психологический портрет Виктора-Димы, описав его таким, каким его видела мать, и этот портрет представляется совершенно точным. В нем – ключ к пониманию всей жизни Виктора Федорова.

«Она, конечно, лучше других знала недостатки своего мальчика: душевную вялость, избалованность. Она понимала, что он совсем не талантлив: юноша-дилетант из богатого дома. Однако в его характере были и доброта, и нежность, и доверчивость, слабые порывы к красоте, но в то же время какая-то умственная неустойчивость.

У него не было взглядов»¹.

Отец, боготворящий своего мальчика, бесконечно восторгающийся его достоинствами – талантом, умом, благородством – в критический момент жизни дает ему иную, может быть, единственно объективную оценку – «тряпка». Но разговор об этом впереди.

Федоровы на брачном ложе Бунина

С визитом в Одессу летом 1898 года Бунина связана новая глава его жизни, к которой оказываются причастными супруги Федоровы. Речь о женитьбе Ивана Алексеевича на Анне Цакни.

Свадьба приняла трагикомический оборот, поскольку места молодоженов на брачном ложе заняли Александр Митрофанович и Лидия Карловна Федоровы. Молодые, после разразившегося под конец свадебного застолья скандала, ночевали в разных комнатах. Перед тем как рассказать, из-за чего молодые поссорились, а Федоровы оказались в их спальне, два слова о семействе Цакни.

Анна Цакни была дочерью издателя и главного редактора одесской газеты «Южное обозрение» Николая Петровича Цакни. Обрусевший грек, он провел молодость за распространением идей социал-демократии, был отправлен на каторгу, бежал за границу, жил в Париже. Все тяготы его революционной молодости, включая архангельское поселение и скитания по Западной Европе, с ним разделяла его первая жена Зинаида Кеселевна Львова – мать Ани. Новый царь помиловал Николая Петровича, что позволило ему вернуться в Россию, но вернулся он вдовцом – супруга скончалась от туберкулеза. В Одессе Николай Петрович женился вторично – на богатой гречанке Элеоноре Павловне Ираклиди. Как это случается у состоятельных дам, Элеонора Павловна была увлечена искусством, и даже училась пению у Полины Виардо. Влияние родной матери на Анино развитие было, судя по всему, минимальным, во всяком случае театр и музыка, которыми жила ее мачеха, интересовали ее несопоставимо больше, чем марксизм или другие модные философские течения.

Вера Николаевна Муромцева-Бунина пересказывает историю знакомства Ивана Алексеевича и Ани так: однажды на дачу к Федоровым приехали их друзья – супруги Цакни. Застолье завершилось ответным приглашением на их дачу. Здесь 27-летний Бунин столкнулся с 19-летней Аней и был сражен ее красотой. Бунин признавался потом Вере, что страсть его к Ане была «языческим увлечением». Можно было бы сказать, что именно эта страсть и не позволила ему сразу разглядеть душевную и интеллектуальную незрелость будущей жены, но он как раз ее разглядел, о чем сообщил в письме брату Юлию: «понимать она меня навряд ли будет».

Несмотря на этот явный изъян, он спросил Анну, не согласилась бы она пойти за него, и, когда та ответила согласием, попросил, как полагается, ее руки у отца.

Вера Николаевна подробно пересказывает воспоминание мужа о том, как это произошло. Бунин и Цакни ехали в Люстдорф, стоя на открытой площадке парового трамвая, курили, и Бунин вдруг сказал Николаю Петровичу: «Прошу у вас руки вашей дочери». Тот удивленно посмотрел на Бунина и ответил: «Да я-то тут, дорогой, при чем? Это, мне кажется, дело Анны Николаевны. А что касается меня – я ничего против не имею».

¹ В. Катаев. Избранное. С. 61.

Венчание состоялось 23 сентября 1898 года. Ему сопутствовали два инцидента, которые надолго запомнились участникам события. Во-первых, после венчания молодой муж с тестем, заговорившись о своем, ушли из церкви, забыв там жену с мачехой и другими родственниками. Но это еще были, как говорится, цветочки. Далее мы снова должны обратиться к воспоминаниям Веры Николаевны.

«На свадебном пиру разразился скандал. Иван Алексеевич в бешенстве выскочил из столовой в гостиную, запер за собой дверь на ключ и до утра не вышел. Мачеха до рассвета о чем-то шепталась с Аней, а Федоровы провели ночь в спальне, приготовленной для новобрачных.

Иван Алексеевич был раздражен и расстроен, так как перед свадьбой невеста передала ему, что Федоровы утверждают, что он женится из-за денег, хотя богата была мачеха»¹.

Обращает внимание, что Федоровы остались в доме на ночь, когда остальные гости разошлись. Может быть, чувствуя свою ответственность за случившееся, хотели быть рядом, чтобы в любую секунду попытаться объясниться и исправить положение? Шутка дело – сорвать свадьбу из-за подозрения в том, что жених женится на приданом!

На чем такое возмутительное, такое оскорбительное подозрение могло основываться?

Как сказали бы в Одессе, жених *таки да*, имел виды на капиталы семейства Цакни. Он буквально бросился в этот денежный омут, получив несколькими месяцами ранее решительный отказ женщины, в которую был отчаянно влюблен – Екатерины Михайловны Лопатиной, дочери известного московского адвоката, располагающей прекрасным образованием и к тому же – писательницы, которая бы уж точно понимала его. Понять-то она его понимала, но любила другого.

Письмо Ивана Алексеевича брату Юлию – образец самого что ни на есть циничного прагматизма. Оно написано в июле 1898 года – за два месяца до свадьбы.

«Я чуть не каждый день езжу на дачу Цакни, издателя и редактора “Южного обозрения”, хорошего человека с хорошей женой и красавицей дочерью. Они греки. Цакни человек с состоянием – ежели ликвидировать его дела, то, за вычетом долгов, у него останется тысяч сто. У него два имения, одно под Одессой, другое в Балаклаве – виноградники, но сейчас совсем без денег, купил газету за три тысячи у Новосельского, без подписчиков и, конечно, теперь в сильном убытке, говорит, истратил на газету уже тысяч десять и, говорит, не выдержу, брошу до осени, ибо сейчас денег нет. Расходится “Южное обозрение” три тысячи экземпляров (с розницей). Вот и толкуем мы с ним, как бы устроить дела на компанейских началах. Ведь помнишь, мы всю зиму толковали и пили за свою газету. Теперь это можно устроить. Цакни нужна или материальная помощь, или сотрудничество. “Своей компании, говорит он, я с удовольствием отдам газету”. (Направление “Южного обозрения” хорошее), могу отдать или со всем с тем, чтобы года три ничего не требовать за газету, а потом получать деньги в рассрочку, или так, чтобы компания хорошая сотрудников работала бесплатно и получала барыши, ежели будут, причем и редактирование будет компанейское, или так, чтобы был представитель-редактор от компании, а он будет только сотрудником, или чтобы сотрудники, при тех же условиях, вступили пайщиками в газету, чтобы можно было, наконец, создать хорошую литературную газету в Одессе. Прошу тебя Юлий, подумай об этом серьезно. Нельзя ли, чтобы Михайлов (издатель журнала «Вестник воспитания» – **В.Я.**) вошел главным пайщиком? Или устроим компанию? Только погоди с кем бы то ни было переписываться – газета должна быть прежде всего в наших с тобой руках. Цакни просит меня переехать в Одессу, если это дело устроится. Хорошо бы устроить! Тем более, что все шансы за то, что я женюсь на его дочери. Да, брат, это удивит тебя, но выходит так. Я хотел написать тебе давно – посоветоваться, но что же ты можешь сказать? Я же сам очень серьезно и здраво думаю и приглядываюсь. Она красавица, но девушка изумительно чистая и простая. Спокойная и добрая. Это говорят все, давно знающие ее. Ей 19-й год. Про средства тоже не могу сказать, но 100 тысяч у Цакни, вероятно, есть, включая сюда 50 тысяч, которые ему должен брат, у которого есть имение, где открылись копи. Брат этот теперь продает имение и просит миллион, а ему дают только около 800 тысяч. Страшно только то, что он может не отдать долг. У Цакни есть еще и сын. Люди они милые и простые. Он был в Сибири, затем эмигри-

¹ В. Муромцева-Бунина. Жизнь Бунина. С. 176.

ровал, 9 лет жил в Париже, жена его – женщина-врач. Тон в семье хороший, не знаю, как Цакни отнесется к моему предложению. С Анной Николаевной, – которая мне очень мила, я говорил только с ней, но еще не очень определенно. Она, очевидно, любит меня, и когда я вчера спросил ее, улучшив минуту, согласна ли она, – она вспыхнула и прошептала “да”. Должно быть, дело решенное, но еще не знаю точно. Пугает меня материальное положение – я знаю, что за ней дадут, во всяком случае, не меньше 15 – 20 тысяч, но, вероятно, не сейчас, так что боюсь за первое время. Думаю, что все-таки лучше, если даже придется первое время здорово трудиться – по крайней мере, я буду на месте и начну работать, а то я истреблюсь. Понимать меня она навряд будет, хотя от природы она умна. Страшно все-таки. *В тот же день пиши мне как можно подробнее – посоветуй*¹.

Не может быть, чтобы, проводя столько времени с Федоровым, – речь о лете 1898 года, – Бунин в той или иной форме не изложил ему все те же плюсы и минусы породнения с семьей Цакни, которые он излагал брату. Но мы не знаем, какие чувства испытывал Александр Митрофанович по поводу мотивов, заставивших молодого бесприданника броситься в семейную жизнь. Все же тот был его собратом по перу, другом. Но Цакни был больше чем другом, он был работодателем. Александр Митрофанович в то время сотрудничал с «Южным обозрением» и знал, в каком тяжелом финансовом положении находится газета. Он не мог не понимать, что и Цакни возлагал на Бунина определенные надежды по спасению своего детища. Интерес был взаимным.

Цакни видел в Бунине человека, способного привлечь к сотрудничеству именитых литераторов, с которыми тот был знаком лично. Ему готовилось место редактора литературного отдела газеты. Это было, кажется, единственным оправданием выдачи дочери замуж за человека, у которого буквально гроша за душой не было. Иными словами, если бы жених не был Буниным, ему бы, скорее всего, дали от ворот поворот.

Ни Иван Алексеевич, ни Николай Петрович в тот момент не предполагали, что безденежье и унижительная зависимость от щедрот тестя станут одной из главных причин неудачи этого брака. Деньги, которые Аня, бывало, просила у мужа, тот должен был сначала взять у ее отца. Но в тот момент издатель и писатель были полны творческих планов и так рассчитывали друга на друга, что все остальные мысли отодвинулись на второй план. В том числе и мысли о забытой под венцом молодой жене.

Из переписки Ивана Алексеевича с братом Юлием 1899–1900 года можно сделать вывод, что Элеонора Павловна Цакни и ее близкая подруга Лидия Карловна Федорова смотрели на этот брак не так, как их мужья. Трезвее. С тревогой. И сердце прагматичной Лидии Карловны было не с Буниным, а с Цакни. Впоследствии, когда отношения Анны Николаевны и Ивана Алексеевича напрыглись до предела и они жили порознь, старшие Цакни пользовались Лидией Карловной как агентом влияния на Бунина: просить его не докучать Ане письмами, не отбирать у нее ребенка, не обращаться в суд. Т.е. мы говорим о самых доверительных отношениях и полном взаимопонимании двух женщин.

Могла ли Элеонора Павловна не обсуждать опасности неравного брака с падчерицей накануне свадьбы? И могла ли она не делиться своими переживаниями с Лидией Карловной, от которой узнавала о настроениях Ивана Алексеевича? Вряд ли.

Зная все это, легко представить себе такую сцену за свадебным столом. Еще не пережившая утреннюю обиду на мужа за инцидент в церкви, теперь с особой остротой вспоминающая предостережения мачехи, 19-летняя Аня задает супругу вопрос:

- Ты действительно любишь меня или все это из-за денег? – голос ее дрожит.
- Почему ты так решила? – бледнеет Иван Алексеевич.
- Федорова говорит, – едва слышно отвечает Аня.

Теперь становится понятным, по какой, отнюдь не анекдотической, причине, Александр Митрофанович и Лидия Карловна провели ночь не в своей постели.

¹ И.А. Бунин – Ю.А. Бунину. Между 17 и 19 июля 1898 года. В кн.: Бунин И.А. Письма 1885–1904 годов. М.: ИМЛИ РАН, 2003. Цит. по электронной версии в Б-ке М. Мошкова: http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1904_letters.shtml Письмо № 306.

Возвращение на Волгу

«Федоров ушел в “Новости”, ибо Цакни отказался платить ему 150 р. Теперь “Новости” посылают Федорова к голодающим. Вот счастье-то! Что бы можно написать при таком материале?»¹

Это – строки из апрельского 1899 года письма Ивана Алексеевича Бунина брату Юлию.

Переход Федорова из «Южного обозрения» в «Одесские новости» был легким – буквально – через дорогу. Редакции находились в полусотне шагов одна от другой на Ланжероновской. Но тут привлекает другое – скептицизм Бунина по поводу командировки Федорова в голодающие районы Поволжья. С одной стороны, вспомнив подоплеку породнения Ивана Алексеевича с семейством Цакни, мы можем сказать, что ему был свойственен вполне циничный прагматизм, который мог проявиться и в выборе ходовой темы сочинительства. Но тут возникает впечатление, что Иван Алексеевич не вполне точно выразил свою мысль. Скорее, надо было бы написать: «что бы *еще* можно было написать при таком материале?»

Дело в том, что 1899 год был урожайным, и хотя доброхоты продолжали ездить на Волгу, ситуация уже не была столь катастрофической, как семь-восемь лет назад. Настоящее бедствие пришло в 17 губерний Черноземья и Среднего Поволжья, где проживало порядка 36 млн душ, в 1891-92 годы. Причиной неурожая было безостановочное чередование неблагоприятных метеоусловий. Положение усугубилось эпидемией тифа и холеры. Число жертв среди крестьян превысило 400 тысяч человек. Парадоксально, но хлеб в стране был, более того, его продолжали продавать за рубеж. Первые попытки правительства запретить вывоз хлеба, направив его на внутренний рынок, вызвали хаос, поскольку зерноторговцы с удвоенным усердием направили свои запасы заграничным заказчикам.

Для помощи голодающим в ноябре 1891 года при Министерстве внутренних дел был создан «Особый комитет по оказанию помощи населению губерний, пострадавших от неурожая». До весны 1893 года только по официальным благотворительным каналам была распределена деньгами и хлебом помощь на сумму 19,7 млн рублей – около 13 % от размера правительственной помощи. К этому следует добавить, что масса доброхотов везла в пострадавшие районы наличные в карманах и саквояжах, расходуя их на месте по своему усмотрению. Спасение населения голодающих губерний стало поистине всенародной акцией. И отчасти – международной – в марте 1892 года в порт Лиепая вошел корабль «Индиана», в трюмах которого находилось 1900 тонн продуктов. В апреле у тех же причалов ошвартовался «Миссури» с 2500 тоннами зерна. Это были дары американских фермеров голодающим России.

Совершенно естественно, что в этой гигантской по своим масштабам спасательной операции приняла участие российская научная и творческая интеллигенция. Писатели участвовали в сборниках, доходы от продажи которых шли на помощь голодающим, другие, как Чехов, надевший лекарский халат, отправились в районы бедствия, чтобы лично помогать пострадавшим. Объясняя причины голода, Лев Толстой писал:

«Люди и скот действительно умирают. Но они не корчатся на площадях в трагических судо-рогах, а тихо, с слабым стоном болеют и умирают по избам и дворам. Умирают дети, старики и старухи, умирают слабые больные. И потому обеднение и даже полное разорение крестьян совершалось и совершается за эти последние два года с поразительной быстротой. На наших глазах происходит не переставающий процесс обеднения богатых, обнищание бедных и уничтожение нищих. Процесс совершается обыкновенно так: богатый сначала продаёт лишнюю скотину, то есть трогает основной капитал, лишается своего обеспечения в случае невзгоды, средний закладывает часть земли, берёт под заработки у господ и их приказчиков вперёд деньги, закабалия себя часто в неисполнимую весеннюю и летнюю работу. Бедный продаёт последнюю корову и потом лошадь и потом закладывает или продаёт землю. Нищий ходит по миру. Когда богатым проедено то, что выручено за скотину, он делает то, что делает средний, то есть закладывает землю, закабалиется в работу, а средний – то, что бедный, а бедный – то, что нищий – продаёт надел, если ещё раньше его

¹ И.А. Бунин – Ю.А. Бунину. 6 апреля 1899 года. Там же. Письмо № 348.

не отобрали в пользу богатого, исправного плательщика. Между тем нищий уже начинает ломать двор, ригу, топить ею избу и, наконец, продаёт свою избу на дрова, а семья частью идёт на квартиру, за которую заплачивает каким-нибудь остатком имущества, частью расходится по миру. Вот что происходит в экономическом отношении. В нравственном же отношении происходит упадок духа и развитие всех худших свойств человека: воровство, злоба, зависть, попрошайничество и раздражение, поддерживаемое в особенности мерами, запрещающими переселение. ...В гигиеническом или скорее в антигигиеническом, то есть в отношении смертности народа происходит то, что общие шансы на смерть значительно увеличиваются»¹.

Активную помощь в сборах средств для голодающих принимали В.Г. Короленко, Н.Г. Гарин-Михайловский, Н.С. Лесков, Е.Н. Чириков, В.В. Вересаев, Н.Д. Телешов и многие другие. В списке этих авторов нашлось место и И.А. Бунину. Тема отразилась в двух его рассказах – «На чужой стороне» (1893) и «На край света» (1894).

К текстам именитых авторов, посвященных голоду, следует прибавить безостановочный поток публикаций в газетах и журналах того времени. Это и должно объяснять скептицизм Бунина по поводу командировки Федорова, уже лишенной былой актуальности. Отсюда вопрос Ивана Алексеевича: что еще можно написать об *этом*?

Но Федоров подошел к заданию как настоящий профессионал. Прибыв в родные места, он поехал по деревням, поговорил с крестьянами и теми, кто оказывал им помощь в общественных столовых и сельских лазаретах. Его корреспонденции о поездке регулярно печатались в «Одесских новостях» с апреля по июль 1899 года и были использованы им при написании своего третьего романа – «Земля». Возможно, в глазах Бунина и других его современников этот роман казался не очень актуальным, он мог даже раздражать своим очевидным опозданием, но семилетний зазор между поездкой Федорова на Волгу и постигшей эти края трагедий с дистанции в сто с лишним лет сходит на нет. Роман представляется очень точным документом трагических событий именно 1891-92 годов.

Роман волнующе достоверен. Реализм в описании вымирающих от голода, цинги и тифа деревень своей прямолинейной простотой напоминает местами лагерные рассказы Варлама Шаламова.

Но эта книга не просто о борьбе с большой народной бедой, она снова о судьбе, о неразрывной связи человека со своей средой, в контексте романа – сословием. Картины вымирающих деревень – такой же фон, как и башкирская степь.

Главные герои – выпускники петербургской военно-медицинской академии – Михаил Христанфович Останков и Илья Матвеевич Курганов. Первый из дворян, второй – из простонародья. Оба едут на Волгу спасать голодающих, но Курганов видит в поступке товарища лишь «минутную, красивую вспышку». Доверия между ними так и не возникает, хотя оба самоотверженно трудятся в гуще одних и тех же цинготных и тифозных крестьян. Оба рискуют жизнью и в конечном итоге Останков заболевает тифом и умирает. Свое недоверие, свою враждебность к товарищу Курганов объясняет просто:

«...прошло тридцать лет, всего тридцать лет, как мы для них перестали быть вещью, которую можно было продать, выменять на собаку. <...> Это мне трудно забыть...»².

Одна деталь в этой горькой жалобе обращает внимание. Курганов говорит о 30 годах с момента отмены крепостного права – в 1861 году. Это – подсказка автора читателю – действие романа происходит в 1891.

Но вернемся к сути жалобы. Обида Курганова кажется иррациональной. Сам Останков людьми не торговал и на собак их не менял – слишком молод. Но в глазах Курганова он несет ответственность за преступление всего своего сословия. В этом есть логика: выросший в дворян-

¹ Л.Н. Толстой. Отчет об употреблении пожертвованных денег с 20-го июля 1892 г. по 1-е января 1893 г. ПСС. М.: Гос. изд. худ. лит., 1954. Т. 29. Цит. по: <https://www.litres.ru/lev-tolstoy/polnoe-s-6880708/chitat-onlayn/>

² А.М. Федоров. Земля. М.: Изд. С. Скирмунта, 1905. С. 283.

ской среде и культуре должен обладать всеми типичными свойствами представителя этой среды, включая отношение к представителям простого народа как к более низкой по развитию группе населения.

Феномен хорошо известный и в наши дни. Лучший пример – неизбывный комплекс вины белой Америки перед черной. И это невзирая на то, что Америка не была единственной рабовладельческой страной в мире, несмотря на то, что в Америке были и белые рабы, и черные рабовладельцы, несмотря на то, что в борьбе с рабовладением сложили свои головы сотни тысяч белых, несмотря на то, что после отмены рабовладения прошло не 30 лет, а полтора с лишком века! Извечное недоверие и не искупаемая никакими средствами историческая вина группы перед группой – не сочинение писателя, это – реальность. Федоров это описал на российском материале в 1903 году.

В «Земле» описан еще один интереснейший феномен – дестабилизации общества во время его бедственного положения. Один из персонажей романа – бродяга-поджигатель. Он сознательно устраивает пожары в умирающих деревнях, чтобы возмутить отчаявшийся народ на бунт, цель которого – хаос и смена власти. Революционный механизм, не потерявший эффективности и в наши дни.

Уже после смерти коллеги Курганов приходит, кажется, к единственно правильному выводу относительно того, как ему следовало строить отношения с Останковым – забыть обиду и слиться в братских объятиях. Но поскольку Курганов со своим выводом сильно запоздал, конфликт разрешился иначе – Останков, действительно представляющий останки российского рабовладельческого сословия, ушел из жизни, оставив Курганову все, включая невесту Ольгу.

Новый мир произрастает на руинах старого. Слияние, срастание, гармония сосуществования, всепрощающая братская любовь невозможны. Человек слишком слаб и неразумен, чтобы преодолеть рубеж, возведенный перед ним его судьбой.

Роман еще хорош яркими и точными описаниями приволжских степей, совершенно волшебная картина Пасхальной службы в сельском храме. Чудесно изображена весенняя Одесса, в которую Останков заезжает по дороге на Волгу, чтобы повидаться с невестой. Описание поездки на извозчике от железнодорожного вокзала до гостиницы на бульваре, где он останавливается, одни из лучших одесских страниц Федорова, напоминающие по своей сочности и выразительности картины его одесского приятеля – импрессиониста Петра Нилуса.

У «Земли» есть еще одно бесценное качество – отсутствие тех сложных интимных связей персонажей, без которых не обходятся другие романы Федорова.

На рубеже столетий

В 1900 в жизни Федорова произошло несколько значительных событий. В августе в санкт-петербургском Александринском театре начались репетиции «Бурелома». Второе издание романа «Степь сказала» – книгой – закрепляло его успех прозаика. Но в то же время в семье случилась трагедия, о которой мы узнаем из письма Федорова Бунину:

«Лидия Карловна около месяца тому назад родила и ребенок умер. Это на меня подействовало так плохо, что я заболел нервным расстройством»¹.

Бунин отвечает:

«Очень жалко тебя, милый Митрофаныч, хотя надеюсь, что ты уже поправился. И отчего это вышло? Или это роковой 7-ой месяц виноват? Желая Л<идии> К<арловне> здоровья, а тебе – поскорей забыть об этом. С пьесой от души поздравляю»².

Упоминание 7-го месяца позволяет предположить, что ребенок умер в июле. Письмо Бунина датировано 1 августа, то есть он отреагировал на недавнее событие. В том же письме Бунина при-

¹ А.М. Федоров. Письмо без даты. РГАЛИ, ф. 519, оп. 2, л. 3-4. Цит. по электронной версии в Б-ке М. Мошкова: http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1904_letters.shtml Письмо № 425.

² <Бунин – Федорову> 1 авг. 1900 г. // Вопросы лит. 1969. № 7. С. 181.

влекает еще одна фраза: «Ты положительно с каждым месяцем пишешь стихи все лучше, – это говорю, ей-богу, искренно...»¹

Федоров, мы знаем, получил свою долю официального признания в качестве стихотворца в виде двух поощрительных грамот Пушкинской премии – в 1911 и 1913 годах. Но мнение о нем ряда известных нам авторов того времени было невысоким. Как, например, у Ахматовой, писавшей в письме 1908 года о «неярком и довольно сомнительном таланте» Федорова с безжалостным заключением: «Он не поэт».

Тремя годами ранее Горький писал Бунину:

«Я внимательно прочитал стихи Федорова трижды и – отказываюсь их издавать. Скучен он, однообразен, – его лучшие стихи – подражание Вам»².

Оценка Горького воспринимается с особой иронией, когда ты знаешь, что федоровский «Альбатрос» (1903) является не чем иным, как перепевом горьковской «Песни о буреветнике» (1901).

Седой, усталый альбатрос
Вдали от берегов пустынных
Летел за мной на крыльях длинных.
Навстречу шквалов, бурь и гроз...³

Конечно, в поэзии Федорова есть к чему придраться, взять только это «навстречу шквалов», но в его интимной лирике, появившейся на рубеже двух веков, столько задушевной откровенности, нежности, грусти и такой изысканной мелодичности, словно именно на это время приходится главный всплеск его поэтического дара.

Ты от ласк моих утомлена.
Тает свет зари на стеклах окон.
Как рассвет, ты призрачно-бледна,
И, как тень, воздушен темный локон.

Глаз твоих немая глубина
Так легко изменчива и странна:
То чиста, прозрачна и ясна,
То темна, загадочна, туманна.

О, мерцанье любящих очей,
Не уловит мысль твое значенье!
Говоришь ты с сердцем без речей,
Открываешь таинство забвенья.

Поцелуи гаснут на устах,
В каждой капле крови – поцелуи,
И в твоих движениях и чертах
Разлились их ласковые струи.

Ты скользнула робко на крыльцо,
Дрогнул мрак... Смешались свет и тени...

¹ <Бунин – Федорову> 1 авг. 1900 г. // Вопросы лит. 1969. № 7. С. 181.

² <Горький – Бунину> 16-17 мая 1905. Петербург // Переписка А.М. Горького и И.А. Бунина: Публикация архива А. М. Горького. В сб.: Горьковские чтения. 1958-1959. М.: АН СССР, 1961. С. 37.

³ А.М. Федоров. «Ты от ласк моих утомлена» // А.М. Федоров. Мой путь.

Свежий ветер потянул в лицо...
Как живые, скрипнули ступени...¹

Это стихотворение датировано 1899 годом, невероятно насыщенном для Федорова. Всю весну и начало лета он находился на Волге в качестве корреспондента «Одесских новостей». Но журналистская и благотворительная работа совершенно не отразились в стихах. Стихи были отданы другому.

Одно из них – «Ранняя осень» датировано 1900 годом. В нем явно отразилась семейная трагедия Федоровых – смерть новорожденного, депрессивное одиночество, в которое погружается Лидия Карловна, мучительное стремление Александра Митрофановича преодолеть возникшее между ними отчуждение.

Печальная, беззвучно шла она
По желтым листьям, падавшим как слезы,
В тених волос сквозила седина –
Глухой зимы знакомые угрозы,
И холодел румянец смуглых щек,
И взгляд ее был вдумчив и глубок.

И грусть такая чувствовалась в нем,
Что от лучей божественного взгляда
Моя душа ответным огоньком
Затепилась, как вечная лампада.
Я не видал прекраснее очей,
Задумчивее, глубже и грустней.

Дыханьем умирающей травы,
Сырой землей, корою и грибами,
И ароматом тающей листвы
Был полон воздух. Тонкими перстами
Она ветвей касалась, и листки
Летели с них, кружась, как мотыльки².

За «Ранней осенью» следует группа стихотворений, которые, собранные вместе, обретают сюжетность и биографичность, хотя, явно не обладают художественной ценностью приведенных выше.

Холодные капли дождя
Падают мне на лицо.
Закрылся рукой я от них, –
На ней потускнело кольцо.

Смешались с холодным дождем
Горькие слезы мои,
По бледным щекам без конца
Льются живые струи³.

¹ А.М. Федоров. Мой путь.. С. 40-41.

² Там же. С. 50-51.

³ Там же. С. 58.

Конечно, критически настроенный читатель не пройдет мимо «щек без конца», заставляющих вспомнить собак породы сенбернар, но мы прежде всего обращаем внимание на потускневшее кольцо, надо понимать, обручальное. Следующее стихотворение «Уходи!» – буквально жалоба поэта на то, что его выгоняют из дому:

За окнами виден из тьмы огонек,
Когда-то и я обогреться там мог...
То было давно и не будет во век.
Впереди, позади
Слышу шепот глухой:
«Уходи, уходи,
Ты чужой нам, чужой!»
<...>
Я молю: «Пощади,
Ради счастья в былом!»
Но, как эхо кругом,
Впереди, позади
Все твердит: «Уходи!»¹

Фраза «ты чужой нам» указывает на то, что его лирическая героиня не одна. С кем же она? Ответ находим в стихотворении «Месяц поникий...». Речь идет о любимом в творчестве и в жизни Федорова персонаже – «его мальчике». Но в данном случае к нему обращается лирическая героиня стихотворения – его мать. Что не меняет дела.

Месяц поникий глядит мне в окно,
Спи, мальчик мой, усни.
Свеча догорает. Как жутко... темно...
Господь тебя храни.
Из рук выпадает невольно игла.
О, Боже, подкрепи!
Слезами я каждый стежок обила.
Спи, мой сыночек, спи.
От горя-ль, от холода-ль, бьет меня дрожь.
На свете мы одни.
Отец твой... как вырастешь, все ты поймешь.
Спи, мальчик мой, усни.
И если ты встретишь его на пути,
В толпе, в глухой степи, –
За все – за себя, за позор мой... прости.
Спи, мой сыночек, спи².

От написания этих стихов до публикации их в 4-м томе собрания сочинений автора отделял десяток лет. И если первые два стихотворения представляются лучшими образцами интимной лирики Федорова, то последующие он, кажется, решил сохранить лишь на память о житейской коллизии, все еще вызывающей у него сладкую сердечную боль.

Но без вопросов тут не обойтись. О каком позоре говорит лирическая героиня последнего стихотворения? Смерть новорожденного ребенка – горе для матери, но не ее позор. Причина позора явно в другом. Почему потеря ребенка сопровождалась отчуждением от мужа, который испытыва-

¹ А. М. Федоров. Мой путь. С. 60.

² Там же. С. 64.

ет такую мучительную, такую неудовлетворенную тягу к жене? Ответ тут, с учетом личных качеств Александра Митрофановича, напрашивается один – первое стихотворение из приведенных в этой главе, равно как и другие того же времени – о тоске его лирического героя и постоянном ожидании любимой – могли быть адресованы не Лидии Карловне.

И действительно одна фраза в письме Бунина брату подтверждает, что 1899-й год был не самым лучшим в отношениях супругов Федоровых:

«Федоров ни х<...> не делает, пьет, б<...> и т.д.»¹.

Ботинки Куприна

В 1936 году по просьбе известного советского литературоведа Александра Иосифовича Роскина Лидия Федоровна написала замечательно живые воспоминания об одесской встрече своего супруга с Чеховым. Она произошла в феврале 1901 года, когда Антон Павлович направлялся из Ниццы в Крым и сделал остановку в Одессе. Воспоминания были опубликованы лишь в 1960 году вдовой Роскина в чеховском выпуске «Литературного наследства».

Чехов приехал в Одессу вместе с издателем «Журнала для всех» В.С. Миролубовым. Остановившись в «Лондонской», Чехов выразил пожелание встретиться с кем-нибудь из местных товарищей по цеху, скажем, с Федоровым, автором успешного «Бурелома», или с молодым и подающим большие надежды Куприным. Миролубов направился в редакцию «Одесских новостей», где нашел А.М. Федорова. Тот немедленно направился на встречу со своим кумиром. Они совершили прогулку по бульвару, по улицам, зашли в магазины.

Вернувшись домой, чтобы поделиться переполнявшими его впечатлениями с женой, Федоров обнаружил там Куприна. Он тут же сообщил ему, что Чехов хочет встретиться с ним сегодня же вечером. Куприн решительно отказался, сославшись на две причины. Во-первых, только что вышла его первая книга и Чехов мог ее уже прочесть. Этот довод вызвал у супругов Федоровых взрыв хохота. Вторая причина тоже не могла не вызвать улыбку.

«– Вы посмотрите на мои ботинки! – сказал Куприн. – Разве можно в таких ботинках идти к Чехову! Тебе хорошо, ты после “Бурелома” твоего стал богат, а я – нищий!»

– Скоро будешь и богат и славен, – ответил Федоров. – А пока ты нищий, а я богат как Крез, я могу купить тебе ботинки. Мы по дороге заедем в магазин обуви на Екатерининскую к Безиковичу, там ты оставишь свои старые ботинки и наденешь новые, вот и все»².

Уходя в тот вечер от Федоровых, Куприн пригрозил Александру Митрофановичу: «Никогда тебе не прощу купленных мне ботинок».

В очерке «Куприн», опубликованном в 1937 году в парижских «Последних новостях», Бунин рассказывает, как при первой же встрече в Люстдорфе Куприн пожаловался ему на свои разбитые ботинки. Во время последующих встреч Бунин стал уговаривать Куприна написать что-то «хоть для заработка». Куприн написал «Ночную смену», которую Бунин отправил в «Мир божий», где ее опубликовали в 1899 году. Помимо этого Куприн, под давлением Бунина, написал еще «какой-то рассказик», который Бунин немедленно отвез в «Одесские новости», где ему «удалось тут же схватить для него 25 рублей авансом».

Получив деньги, Куприн тут же приобрел себе... новые ботинки.

«Сколько раз, сколько лет и какой бешеной скороговоркой кричал он во хмелю впоследствии, – вспоминает Бунин:

– Никогда не прощу тебе, как ты смел мне благодетельствовать, обувать меня, нищего, босого!»³

¹ И.А. Бунин – Ю.А. Бунину. 1 марта 1899 года. В кн.: Бунин И.А. Письма 1885–1904 годов. Цит. по электронной версии в Б-ке М. Мошкова: http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1904_letters.shtml Письмо № 339.

² Л. К. Федорова. А.П. Чехов // Лит. наследство. Т. 68. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 630. (Далее – Л.К. Федорова. А.П. Чехов.)

³ И.А. Бунин. Куприн // Публицистика 1918–1953 годов. М.: Наследие, 1998. С. 422.

Бунин рассказал о случае, имевшем место не позднее 1899 года. Лидия Карловна – историю 1901 года. Чтобы не выяснять, кто именно – Федоров или Бунин обул Куприна, а также избежать подозрений в обращении к одному и тому же, расхожему в их кругу анекдоту, я бы сказал, что Одесса исправно обувала дорогого гостя и, может быть, даже не один раз. Но рассказ Лидии Карловны интересен для нас еще по одной причине – из реплики Куприна мы узнаем об успешной постановке федоровской пьесы «Бурелом» в Санкт-Петербургском Александринском театре, видимо, принесшей автору солидный гонорар – он стал «богатым как Крез».

«Бурелом» – взлет и провал драматурга

Постановка комедии в пяти действиях «Бурелом» ведущим театром России – Санкт-Петербургским Александринским – стала одним из самых значительных событий в творческой биографии писателя. Премьера состоялась в сентябре 1900 года и вызвала фурор.

Федоров прекрасно знал материал, с которым работал, пьеса вышла живой и веселой. «Бурелом» – история молодого провинциала Бориса Тюменева, привезшего в Петербург для постановки свою пьесу. Среда, в которой он оказывается, родная для Федорова: артисты, газетчики, писатели. Это, образно говоря, и есть бурелом, побитые жизнью тщеславные приспособленцы и лицемеры. Как и герой повести «Что его ждет?» Александр Неручев, Тюменев оставляет дома влюбленную в него девушку, а в столице находит новый предмет обожания – актрису Нильскую. Она должна получить в его пьесе центральную роль.

Видавшие виды петербургские театралы встретили «Бурелом» восторженно. На премьере автора начали вызывать на сцену уже после второго акта. «Биржевые ведомости» от 27 сентября 1900 года написали о пьесе как об остроумной, оригинальной и написанной при этом со вкусом, называя ее одной из наиболее удачных в текущем театральном сезоне.

Шумиха была поддержана небольшим скандалом. 13 ноября петербургская газета «Россия» публикует возмущенное письмо из Одессы от студента Новороссийского университета А. Лонгинова. Студент обвиняет драматурга в том, что тот представляет одесское студенчество как продажное. По какой причине?! Персонаж «Бурелом» – актриса Нильская жертвует пять тысяч рублей в пользу бедных студентов, по мнению Лонгинова, не из-за сострадания к ним, а с тем чтобы те с еще большим чувством аплодировали во время ее выступлений. Наши одесские студенты за деньги не аплодируют, утверждает жалобщик. Редакция «России» ответила господину Лонгинову объяснением, что-де в неприглядном свете Федоров представляет не студентов, а актрису, поэтому у них нет оснований для жалоб на него. Автор ответа добавляет, что в Петербурге тоже много студентов, однако они не принимают сатирические стрелы Федорова на свой счет.

Трудно удержаться от предположения, что за жалобой одесского школяра, высосанной, что называется, из пальца, могло быть самое веселое перо России – Влас Дорошевич. В 1900-м он сотрудничал и с петербургской «Россией» и с «Одесским листком».

Легко представить, как был окрылен Александр Митрофанович этим успехом, с какой надеждой на него смотрел театр. Этот успех тем более сладостен после психологически тяжелого предшествующего года. Следом за «Буреломом» Александринский взял его вторую пьесу «Старый дом». К этому времени она уже была опубликована в 10-м номере журнала «Жизнь» за 1900 год и отзывы о ней были самые благоприятные, в том числе и от Чехова. В письме Федорову от 25 марта 1901 г. Антон Павлович пишет:

«...Что касается пьесы, то она мне очень понравилась и, по-моему, будет иметь солидный успех. Вы талантливый человек, и это уже не должно подлежать ни малейшему сомнению. Нам бы повидаться, чтобы поговорить, в письме же не напишешь всего, да и не сумеешь изложить свое мнение вкратце. Давайте повидаемся хоть осенью в Москве или в Петербурге, там поговорим обстоятельно. Пока укажу на два пункта: 1) лица у Вас не новы, трактуются без малейшей потуги на оригинальность; например, нянька. 2) Чувствуется сильное пристрастие к эффектам, эффект опережает мысль, и порой кажется, что сначала автор придумал эффекты, а около них потом уже

стал лепить мало-помалу и пьесу. Первое, как мне кажется, есть продукт скорописания, второе же со временем само угаснет мало-помалу. Ну, да что, в письме всего не скажешь, не поместится всё то, что хотелось бы сказать. Подождем осени <...>»¹

Но осенью начинающего драматурга ждал удар. Лидия Карловна вспоминала:

«Пьеса успеха не имела. Совершенно потрясенный провалом, Федоров был у Чехова, о чем написал мне: “А.П. с тонкой деликатностью, сидя со мной бок о бок на диване, стал рассказывать о провалах своих пьес и этим отождествлением своих бывших авторских переживаний с моим облегчил мне горе больше, чем каким бы то ни было утешением”»².

Попробуем разобраться сами – в чем была причина провала и о каких эффектах говорит Чехов в своем первом письме о пьесе? Критики пишут, что в некоторых сценах зрители постоянно слышат звуки реальной жизни: скребущуюся где-то мышь, доносящийся в открытые окна лай собак, скрип калитки, звон бубенцов, детские голоса, пение деревенской сумасшедшей. Эти «эффекты» Федоров якобы заимствует у западных драматургов, при этом излишне много. Но стоит ли возлагать на эти эффекты главную ответственность за провал? Вряд ли. Скорее проблема в том, что сюжет не нов, как и «лица», о которых говорит Чехов. Супружеская чета владельцев поместья – Владимир Львович и Инна Дмитриевна Палаузовы возвращаются в свой старый дом, где их встречает молодой и энергичный управляющий – Пармен Петрович Силуянов. Последний – человек образованный, энергичный и предприимчивый, организует помощь пострадавшим от голода крестьянам. Владимир Львович – его противоположность, его безостановочно одолевает одна мысль – о характере отношений с управляющим, а точнее с миром старых социальных связей. Силуянов влюбляется в Инну Дмитриевну и сознается в этом, после чего вынужден покинуть поместье со своей законной женой. Конечно, для исследователя творчества Федорова пьеса «Старый дом» интересна тем, что по сути она явилась предшественницей романа «Земля», герой которого тоже не мог простить своему соученику и коллеге, что предки того торговали такими, как он, как товаром. Но современники Федорова увидели в «Старом доме» другое – весьма банальную историю любви, еще одну мелодраму. Чехов, впрочем, считал, что пьесу можно было спасти. Для этого надо было отдать ее Немировичу-Данченко в Московский Художественный театр.

«В Художественном театре пьеса ваша имела бы успех, как я вам предсказывал»³. Вдохновенный поддержки Чехова, Федоров отправил ему для ознакомления следующую пьесу – «Стихия» и попросил без обиняков:

«Как прочтете “Стихию”, передайте ее Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко. Может быть, хоть с этой повезет в Художественном театре»⁴.

Чехов выполнил обе просьбы – прочел и передал.

В ответном письме Федорову он говорит: «Стихия» произвела на меня сильное впечатление. Это интересная, совсем новая, живая вещь, делающая честь Вашему таланту. Пожалуй, это лучшая Ваша пьеса»⁵.

Отзыв искренен. В письме О.Л. Книппер Чехов сообщает: «Получил от Федорова том пьес. Между прочим, «Стихия». Мне сия пьеса нравится, она в миллион раз талантливее всего Тимковского»⁶.

Николай Тимковский – еще один забытый прозаик и драматург, о творчестве которого его современник В.Г. Короленко отзывался так: «Нельзя сказать, чтобы его литературная физиономия выделялась особенной яркостью...»⁷

¹ А.П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. – М.: Наука, 1974–1983. (Далее ПСС.) Т. 9. Письма, 1900 – март 1901. М.: Наука, 1980. С. 235-236.

² Л.К. Федорова. А.П. Чехов. С. 636.

³ Там же.

⁴ А.П. Чехов. ПСС. Т. 11. Письма, июль – декабрь 1903. – М.: Наука, 1982. С. 63.

⁵ Там же.

⁶ Там же. С. 158-159.

⁷ В.Г. Короленко. ПСС. Изд. А.Ф. Тов-ва Маркс в Петрограде, Т.9. Цит. по публикации в электронной Б-ке М. Мошкова: http://az.lib.ru/k/korolenko_w_g/text_1904_timkovsky_oldorfo.shtml

Ознакомившись со «Стихией» Немирович-Данченко отвечает автору:

«Многоуважаемый Александр Митрофанович! Опять я задержал ответ! Пьесу прочел давно, а вот теперь скрылся на несколько дней из Москвы и просмотрел ее вторично.

Я волей-неволей должен быть вполне откровенен. И начинаю с похвал вовсе не для того, чтобы золотить пилюлю.

В пьесе очень много таланта, очень много поэзии, очень много юмора. Много читаете с большим удовольствием. Но все время досадуешь, что Вы так сильно отделились влиянию той и с к у с т в е н н о с т и, которая убивает на нашей сцене значительную часть Ибсена, Метерлинка, Бьернсона (*“Zaboremus”*). “Э л л и д а” и “Z a b o r e m u s” так прошли по всей Вашей пьесе, что от беспрестанного воспоминания о них нет возможности отделаться. Я бы изумился совпадению, если бы услышал от Вас, что ни этой, ни другой пьесы Вы даже не знаете.

<...>

Позвольте мне дать прочесть пьесу товарищам и самому еще подумать над ней.

Крепко жму Вашу руку.

Вл. Немирович-Данченко»¹.

В конечном итоге «Стихия» в репертуар Художественного не попала. Она вошла в сборник с другими пьесами Федорова: «Обыкновенная женщина», «Старый дом» и «Бурелом». Он появился в Санкт-Петербурге в феврале 1903 года.

Федоров продолжал писать пьесы, регулярно появлявшиеся в петербургских журналах, но так и не попадавшие на сцену. В 1905 г. «На пароходе», в 1909 комедию «Мадам Давид» и драму «Брат», в 1910 г. «Мщение», эпизод из жизни Бенвенуто Челлини в стихах, в 1912 г. «Любите жизнь». Еще одна пьеса – «Камни» стала сценической адаптацией одноименного романа. Пьеса «Стихия», наоборот, через 13 лет после дебюта трансформировалась в большую повесть «Море». Подводя итоги своей творческой деятельности, Александр Митрофанович назвал 8 принадлежащих ему больших пьес и 6 одноактных. В одном из послевоенных писем невестке в Бухарест он упоминал свою пьесу, переведенную на румынский язык. Надежда вернуться в театр не оставляла его до конца дней. Причем не только в качестве драматурга. В оставленном им архиве есть сценарий балета.

Из воспоминаний Лидии Карловны видно, с каким сочувствием и симпатией Антон Павлович отнесся к одесскому коллеге, но это не мешало ему видеть особенности характера Федорова. Лидия Карловна в свой рассказ о встрече с Чеховым включает историю о том, как они всей семьей пошли провожать Антона Павловича на пароход и поднялись на его палубу. В это же время на судно грузили животных цирка Дурова, и сын Федоровых – Витя, понятно, был в восторге от этого зрелища. И Антон Павлович веселился вместе с 3-летним мальчиком. До того, как эти проводы описала Лидия Карловна, их описал и Александр Митрофанович в очерке «А.П. Чехов». Он появился в сборнике 1910 года «Чехов: воспоминания и статьи», а еще через год вошел во второй том семитомного собрания сочинений Федорова. Истории мужа и жены настолько совпадают в деталях, что Лидию Карловну можно заподозрить в плагиате. Например, в описании сцены, когда Чехов и Лидия Карловна бросились к борту, опасаясь, что ее трехлетний сын Витя упадет в море.

У Александра Митрофановича:

«– Боитесь, чтобы он в море не упал? – обратился к ней Чехов.

– Да.

– А если бы упал?

– Я бы бросилась за ним.

– И я бы тоже бросился, – тихо и спокойно заметил Антон Павлович...»²

У Лидии Карловны:

¹ Письма Вл. И. Немировича-Данченко к А.М. Федорову // Встречи с прошлым. Выпуск I. М.: Советская Россия, 1983. Цит. по публикации в электронной Б-ке М. Мошкова: http://az.lib.ru/n/nemirowichdanchenko_wladimir_iwanowich/text_1908_pisma_k_fedorovu.shtml

² А.М. Федоров. Утро // Собрание сочинений в 7 т. М.: Н.Н. Клочков, 1911. Т.2. С. 211.

- «– Ну, а если бы, – обратился А.П. ко мне, – сын ваш упал бы в воду, что бы вы сделали?»
 – Я бросилась бы за ним.
 – А плавать умеете?
 – Нет, – покраснев, созналась я.
 – Я и то бросился бы, – тихим низким голосом проговорил А.П.»¹

Но есть и третья версия проводов живого классика. Вера Муромцева-Бунина вспомнила ее по пересказу мужа в своих мемуарах:

«Однажды, провожая на пароходе Чехова, он (*Федоров – В.Я.*) так надоед ему своим Витей, что Чехов жаловался Ивану Алексеевичу: «Хотелось смотреть, как работает лебедка, поднимая на парход корову, а он бубнил: “Мой мальчик, посмотрите, как он...” и так далее...»²

Над этим «моим мальчиком» посмеивались многие и при жизни Александра Митрофановича и после:

«Мой мальчик прирожденный живописец! – восклицал за обедом Димин папа своим адвокатским альтом – сладким и убедительным...»³

Лиза Дитерихс, Анна Горенко

В 1900-м мир, кажется, вернулся в семью Федоровых. Александр Митрофанович продолжал активно печататься в периодике, в 1900 вышел книгой роман «Степь сказала», в 1901-м двумя отдельными книгами в московском издательстве С.Ф. Рассохина, специализировавшемся на публикации пьес, «Бурелом» и «Старый дом».

1902 был отдан путешествиям. Семья в полном составе отправляется на два месяца в Италию. В Риме их экскурсоводом становится одесский журналист Владимир Жаботинский – протеже Федорова. Новые впечатления преумножают творческие силы и без того производительного автора. В июне-июле «Одесские новости» публикуют серию путевых очерков своего корреспондента: «Средиземное море», «Суэцкий канал», «Аденский залив», «Индийский океан», «Со стороны Цейлона». Из них следует, что Александр Митрофанович посещает Турцию, Грецию, Египет, Индию, Китай, Японию. Он возвращается домой на поезде из Владивостока, переполненный впечатлениями. Куприн в письмах Чехову не без иронии сообщает, что Федоров всем только и рассказывает, как в путешествиях его «трепал тайфун» и как он «лежал в дрейфе».

Творческие результаты года: в первом номере журнала «Русское богатство» за 1903 год выходит новый роман «Земля», в 1904-м году – книга написанных в дороге очерков «На восток», к 1911 году том «Сонеты» с подзаголовком «Египет – Палестина – Океан – Индия – Берега – Жизнь и смерть» – поэтические зарисовки из той же поездки.

Но всплеск семейной радости и творческого подъема сменяется спадом. В лирике Федорова все чаще и настойчивее звучит тема семейной несвободы:

В глухую ночь, тропой знакомой,
 Сошел я на берег морской.
 Меня давили стены дома
 И их удручивший покой;

И на челнок, вчера прибитый
 К земле стихиею шальной,
 Я сел, как он, полуразбитый,
 Как он, обманутый волной.

¹ Л.К. Федорова. А.П. Чехов. С. 632.

² Вера Муромцева-Бунина. Жизнь Бунина. С. 174.

³ В. Катаев. Избранное. С. 35.

Здесь ночь была еще печальной,
Еще тоскливой тишина.
Тень заколоченной купальни
Качала мертвенно волна,

И черной траурной каймою
Песка касалась, шурша...
Я зарыдал, объятый тьмою,
И в мире ни одна душа
Меня не слышала¹.

Картина побережья со спускающейся к каменистому пляжу тропой, купальня, лодки, море – не фантазия поэта, это очень точное описание местности в районе его дачи – столь же знаковое для старой Одессы, как Потемкинская лестница или Оперный.

Современники оставили нам воспоминания о двух пассиях Александра Митрофановича этого времени.

В дневнике за 1903 года Бунин делает очень лаконичную запись: «1 Янв., Чехов: “Бунин и Найденов в Одессе. Их там на руках носят”. Мы с Н. жили в “Крымск<ой> гост<инице>” – Федоров и Лиза Дитерихс».

Тире между названием гостиницы и именами Федорова и его спутницы производит тот же эффект, что и отсутствие запятой в знаменитой фразе «казнить нельзя помиловать». Действительно ли Бунин видел Федорова с дамой в гостинице «Крымская», где он поселился со знаменитым автором «Детей Ванюшина»?

Вера Муромцева-Бунина в «Жизни Бунина» дает частичное разъяснение дневниковой записи мужа:

«У Федорова в это время был роман с очень молоденькой Лизой Д. <...> Лиза была худенькой нервной барышней, без памяти влюбившейся в писателя. Ничего серьезного между ними не было, но в юности все кажется серьезным, драматичным. И она, приревновав его, решила покончить с собой; бросилась с моста, но, к счастью, зацепилась за что-то юбкой и была спасена. Все знавшие ее взволновались: дело сумели замять и огласки оно не получило»².

Теперь, надеюсь, понятен вопрос о тире. Если встреча произошла в гостинице, то, наверное, заявление о том, что «ничего серьезного между ними не было», можно поставить под сомнение. Да, но кто она – эта худенькая и нервная барышня?

Елизавета Дитерихс – дочь гласного городской думы (*депутата с правом голоса* – **В.Я.**) и мирового судьи Александра Михайловича Дитерихса и правнучка сподвижника Ришелье военного инженера Карла Дитерихса. Дитерихсы принадлежали к городской знати. Поэтому несложно представить, как непросто было замять историю с попыткой самоубийства именитой девицы. Именитой она была и еще по одной причине. Елизавета Дитерихс – автор слов популярного по сей день романса:

Снился мне сад в подвенечном уборе,
В этом саду мы с тобою вдвоем.
Звёзды на небе, звёзды на море,
Звёзды и в сердце моём.

Листьев ли шепот иль ветра порывы
Чуткой душою я жадно ловлю.

¹ А.М. Федоров. Мой путь. С. 83.

² Вера Муромцева-Бунина. Жизнь Бунина. С. 219.

Взоры глубоки, уста молчаливы:
Милый, о милый, люблю.

Тени ночные плывут на просторе,
Счастье и радость разлиты кругом.
Звёзды на небе, звёзды на море,
Звёзды и в сердце моём.

Звезды, море, сады – все это в таком обилии присутствует в поэзии самого Федорова, что не удивительно обнаружить их отражение в стихах влюбленной в него юной поэтессы. И кто еще, если не они – юные поэтессы – должны были первыми попадать в сети 35-летнего красавца-поэта, чьи стихи печатались в самых авторитетных журналах России?

История с Лизой Дитерихс имела место в 1903 году. В 1904 году в те же сети попала 15-летняя Анна Горенко. Она родилась на 11-й станции Большого Фонтана в 1889 году, годовалой ее увезли в Царское Село, но Анна еще несколько раз возвращалась в Одессу. С Федоровым она встретилась в первое же возвращение в 1904 году. Проще всего представить, что их познакомила крестная Ани – Мария Федоровна Вельцер. Она же была крестной Вити Федорова.

Влюбленная Аня посвящает Федорову по крайней мере три стихотворения. Вот первое из них:

Над черною бездной с тобою я шла,
Мерцающая зарницы сверкали.
В тот вечер я клад неоцененный нашла
В загадочно-трепетной дали.
И песня любви нашей чистой была,
Прозрачнее лунного света,
А черная бездна, проснувшись, ждала
В молчании страсти обета.
Ты нежно-тревожно меня целовал,
Сверкающей грезою полный,
Над бездною ветер, шумя, завывал...
И крест над могилой забытой стоял,
Белея, как призрак безмолвный¹.

Стихотворение датировано 22 июня 1904 года. Летом того же года Александр Митрофанович пишет о своем новом увлечении, правда, кому адресовано его произведение, мы не знаем. Ане? Или это еще воспоминание о Лизе?

Мы были на побережье возле скал.
Нас обвевал веселый ветер южный.
Под шорох волн, таинственный и дружный,
Всю жизнь мою тебе я рассказал.

У волн в песке гурьбой развились дети,
Звенели крики, смех, и голоса,
И ясно улыбались небеса
На этот шум, счастливейший на свете.

Ты ласково спокойных умных глаз
От моего лица не отводила,

¹ А. Ахматова. Собрание сочинений в 6 т. М.: Эллис Лак. 1998. Т 1. С.6.

И руку ты в моей руке забыла,
И слушала безмолвно мой рассказ.

Все, что тогда в твоём я встретил взоре,
Мне не забыть... и первый день весны,
И шум детей, и пение волны,
И счастье, открытое, как море¹.

Не менее года носила Анна любовь к одесскому ловеласу в своём сердце, и в 1905-м завершила ещё одно, посвященное ему, стихотворение:

О, молчи! от волнующих страстных речей
Я в огне и дрожу,
И испуганно нежных очей,
Я с тебя не свожу.

О, молчи! в сердце юном моем
Пробудил что-то странное ты.
Жизнь мне кажется дивным загадочным сном
Где лобзания-цветы

Отчего ты так нагнулся ко мне,
Что во взоре моем ты прочел,
Отчего я дрожу? отчего я в огне?
Уходи! О, зачем ты пришел.
1904-1905²

Эти романы уже не вызвали в доме Федоровых того кризиса, который потряс его менее пяти лет назад. Может быть, к этому времени Лидия Карловна действительно выработала или начала вырабатывать способность смотреть на увлечения мужа как на неизбежность. Что до Анны, то и она успокоилась, поделившись с царскосельским другом Сергеем Штейном впечатлением, которое исправно цитируется при всяком воспоминании о ее одесском кавалере: «Летом Федоров опять целовал меня, клялся, что любит, и от него опять пахло обедом»³.

Что тут сказать? Федоров, конечно, не был бестелесным ангелом. Ничто человеческое не было чуждо ему. Включая запахи застолий, которыми славился его дом.

Роман этот не был последним. Еще один, длившийся не менее полугода на глазах у жены и друзей, возможно даже стал истинной причиной разрыва Александра Митрофановича и Лидии Карловны, но до него еще было добрых десять лет. А пока Александр Митрофанович продолжал много работать, Лидия Карловна помогала ему. Он надиктовывал, она печатала на машинке. Помимо этого она начала писать сама. Из переписки с Буниным мы узнаем, что супруги пытаются опубликовать в столичном журнале ее пьесу «Усадьба Хризанфовых». Безуспешно.

Это литературное предприятие дает еще один повод для догадок. Бывшая театральная актриса решила вернуться к любимому делу в качестве драматурга – через 14 лет после ухода из театра? Или же Лидия Карловна начала искать – на всякий случай – источник собственного дохода?

¹ А.М. Федоров. Мой путь. С. 109.

² А. Ахматова. Собрание сочинений в 6 т. Т. 1. С. 7.

³ А. Ахматова. Письмо Сергею Штейну. Цит. по: Анна Божко. И снова об Анне Ахматовой // Вечерняя Одесса. № 90. 23 июня 2009 г.

Одесские романы А. М. Федорова

Действие трех романов Федорова «Природа», «Подвиг» и «Его глаза» – разворачивается в Одессе. Первый и третий написаны с натуры, и автор даже не озаботился тем, чтобы замаскировать прототипы своих персонажей, хотя они были людьми из его ближайшего окружения. И у них были все основания обидеться на автора за то, в какие литературные ситуации он поставил их без их согласия. Кажется даже, наоборот, Федоров считал, что им это должно нравиться. Еще бы, ведь он вводил их в историю! И действительно, кто еще сохранил нам портреты одесских художников начала XX века?

Для нас эти романы интересны еще и тем, что, будучи отчаянными мелодрамами с непременными летальными финалами, они помогают понять характер автора и объясняют ироничное отношение к нему его приятелей.

«Природа» был впервые опубликована в Санкт-Петербургском журнале «Мир Божий» в 1904 году, а в 1906 издана книгой Санкт-Петербургским отделением издательства С. Скимунта. Время было революционное, за событиями 1905 года последовала реакция. «Мир Божий» был закрыт властями в 1906 году, а его редактор Ф.Д. Батюшков привлечен к суду. В том же году был закрыт еще один либеральный журнал – «Русское богатство», где тремя годами ранее дебютировал роман Федорова «Земля». Скимунта также привлекли к ответственности за антиправительственную пропаганду, приговорили к ссылке и крепости. По этой причине в 1907 году он бежал за границу, где оставался два десятилетия.

Написанный в предреволюционную пору роман «Природа» к революции отношения не имеет. Но его можно назвать романом о тех сдвигах в общественном сознании, которые обычно совпадают с преобразованиями в политической сфере. По словам писателя Владимира Жаботинского, который именно с помощью Федорова стал профессиональным газетчиком, всё в то время – а речь о первом десятилетии XX века – преломлялось через призму освобождения. Это освобождение могло толковаться как угодно широко. Кто-то освобождался от ненавистной политической системы, а кто-то от гнета традиционной семьи. Все три одесских романа Федорова являются любовными драмами, что позволяет нам сказать, что тема свободной любви беспокоила Александра Митрофановича куда больше темы классовых отношений. Лишь в «Подвиге» личная драма разворачивается на фоне социального потрясения, поэтому и разговор об этом романе отдельный.

Герои «Природы» – участники реально существовавшего Товарищества южно-русских художников, группировавшиеся вокруг корифея местной школы живописи Кириака Костанди. Местом сбора компании служит дом одного из главных героев – портретиста Бориса Ветвицкого. Его прототип – Евгений Буковецкий – высокий, худощавый, русоволосый с острокопечной бородкой, действительно постоянно устраивал в своем особняке на Княжеской, 27 мальчишники для коллег, вошедшие в местную историю как Четверги Буковецкого.

Уставший от жизни 34-летний Ветвицкий собирается, в поисках покоя и ласки, жениться на сестре товарища – 19-летней Ирине. В это время в городе появляется скульптор Лосьев. Он только что вернулся из Парижа, где работал в мастерской Родена. Он влюбляется в Ирину, что не мешает ему закрутить роман со своей натурщицей Уникой. На самом деле ее зовут Аня, но дивная фигура и вокальные данные делают ее уникальной. Равно как и страшное клеймо в виде буквы «Г» на руке, оставшееся на память о бывшем женихе-моряке. Страстная близость с Уникой не мешает Лосьеву думать об Ирине. На художественной выставке – центральном событии романа, которое предвещает трагическую развязку, Ветвицкий демонстрирует портрет юной жены, а Лосьев – скульптуру женщины с прекрасным телом Уники и лицом Ирины. Ее ноги опутывает спрут с лицом Ветвицкого. Какой скандал!

Ближе к финалу Ирина изменяет мужу с Лосьевым, Уника умирает во время родов, а Ветвицкий убивает Лосьева на дуэли. Ирина остается с нелюбимым мужем и чужим ребенком на своих, еще молодых, руках.

На протяжении всего романа персонажи много говорят о том, что настоящий художник близок по своему духу дикой природе, а не настоящий – нет.

«Природа – единственный источник всякого творчества! Художник должен сливаться с ней, как с женщиной, и вместе с ней творить ее подобие», – декларирует Лосьев незадолго до ухода из жизни. Брак для такого человека, ясное дело, анафема.

Лосьев, натворивший столько бед со своим приездом в Одессу, тоже, видимо, списан с натуры. А именно с одесского скульптора Бориса Васильевича Эдуардса. Фамилией тот был обязан отцу-англичанину, коммерсанту, осевшему в Одессе на ПМЖ в середине 19 века. Эдуардс навсегда вошел в историю города, оставив ему один из его символов – скульптуру Амура с Психеей в сквере Пале-Рояль. Здесь же когда-то располагались магазины его отца. Эдуардс окончил Императорскую Академию Художеств в Санкт-Петербурге. Как и Лосьев, бывал в Париже (он – участник всемирной Парижской выставки 1900 года), работал на литейных производствах во Франции и в Италии, оставил после себя не менее полдюжины значительных памятников, правда ушел из жизни без посторонней помощи и не в Одессе, а на острове Мальта в 1924 году. Он оказался там осенью 1919 года в группе беженцев, вывезенных из Одессы на английском корабле. Измученный постоянными приступами малярии, стенокардией, нищетой и тяжелой работой, он ушел из жизни в возрасте 64 лет. В оставленных им дневниках он сообщает о письме Федорова – о бедственном положении в любимой им Одессе, которое ему переслал из Парижа их общий друг Нилус. Горькие записи Эдуардса эхом повторяют аналогичные Федорова, написанные спустя много лет в эмиграции: «Настроение отвратительное, чувство сиротства до того съедает, что сегодня я даже плакал – так нервы расстроились»¹.

Роман вызвал скандал в одесском высшем обществе, видимо, приоткрыв завесу над амурными похождениями известных горожан. Федоров был мастером писать с натуры.

Очень интересен один проходной персонаж – появляющийся на выставке безымянный критик. Он описан с той нежной любовью, с какой Александр Митрофанов мог описать только самого себя.

«Появился рецензент другой газеты, старик с изысканными манерами и благородными аристократическими чертами, которым его совершенно седые слегка выющиеся волосы придавали артистический вид. Он был не присяжный газетчик, а дилетант-художник, страстный любитель живописи, тонко чувствующий ее поэзию и волновавшийся до слез умиления при взгляде на истинно художественные проблески.

<...>

Некоторые художники просто подошли к нему, как к своему собрату, не боясь быть дурно понятыми. Он радостно, ласково жал им руки, нетерпеливо поглядывая на картины, и, наконец не выдержав, сказал:

– Извините, господа, я, как старая боевая лошадь при звуках музыки, не могу стоять спокойно при виде этих красок.

Он изысканным движением снял с лацкана сюртука роговое пенсне на широкой черной ленте и, тщательно одев его на красивый прямой нос и увидев издали картину Цветаева, висевшую на видном месте, воскликнул:

– Узнаю его, дорогого! Узнаю!

Он, слегка выгнув спину, направлялся к полотну на сухих легких ногах и замер на минуту перед картиной.

– Эта улыбка природы, грустная улыбка вечера, такая же кроткая и тихая, как душа самого творца, – меланхолически затянул он.

<...>

– Где он? Дайте мне его обнять за эту высокую радость! – восторженно, с пафосом говорил старик.

¹ Возрожденная рукопись. Публ. А. Маниовича // Дерибасовская-Ришельевская: Альманах. Вып. 41. С. 185. Одесса, 2010.

Художники, зная витиеватость его языка, каким он и писал свои длинные дилетантские статьи, добродушно улыбались. Увидев Цветаева, сидевшего на том же диванчике, он рванулся к нему, издали вытянув руки, остановившись перед ним, сбросил пенсне и со слезами на глазах стал целовать смущенно улыбавшегося¹.

Цветаев – литературная инкарнация Костанди. В романе его фамилия – говорящая, современники считали его выдающимся колористом.

Сюжет романа «Его глаза», увидевшего свет в 1913 году, стартует за тем же художественно-литературным застольем, что и «Природа». Главный герой – Стрельников является на пирушку с рыжеволосой Ларочкой – дочерью сельского священника. Она приехала в город из того же села, где родился сам Стрельников. Художники принимают ее с восторгом, а двое членов сообщества влюбляются в нее – сам Стрельников и писатель Дружинин. Вот каким его видит Стрельников:

«Писатель стоял спиной к окну, опершись обеими ладонями на подоконник, и вся его небольшая, изящная фигура, в сером костюме, замерла в свойственном ему изысканном и свободном спокойствии. Перед глазами Стрельникова вычерчивался профиль его бледного, несколько болезненного лица, с подстриженными, как и у Стрельникова, усами»².

Это еще один автопортрет Федорова.

Свободный, мудрый и благополучный писатель, живет с престарелой матерью в восьмикомнатном особняке на Соборной площади. О таком женихе залетная провинциалка может только мечтать! Но судьба бросает ее в объятия Стрельникова. О том можно только сказать, что это – парень – 33 несчастья. Сняв в свое время студию у некрасивой и злой вдовы с двумя детьми, он как-то сошелся с ней, и она родила ему девочку Мусю. Мусенька до трех лет не говорила и не ходила, а потом умерла. Смерть ребенка, совпавшая с появлением в жизни Стрельникова Ларочки, освободила его ото всяких обязательств перед постылой сожительницей. Но когда он собрался оставить ее, та плеснула ему в глаза кислоту, обезобразив и ослепив его. Ларочка первоначально решила жертвенно соединить свою жизнь с жизнью бедолаги, но скоро стала тяготиться своим выбором. А поскольку бросить его, беспомощного, ей казалось преступным, она нашла выход: отравиться обоим. При этом каждый должен был расстаться с жизнью у себя, чтобы в последний момент, испугавшись страдания, не передумать. Логика странная, но чего не сочинит женщина в таком тяжелом эмоциональном состоянии? Сказано – сделано: Ларочка снабдила Стрельникова ядом, но любящая мать последнего открыла заговор и убедила сына в том, что подлая подруга просто решила избавиться от него. Сын был спасен, а Ларочка все же отравилась. И умирала мучительно – для читателя – долго. Вообще весь роман затянут донельзя, и, пробиваясь через бесконечные разговоры героев о смысле жизни, их ссоры, споры и выступления в суде, вспоминается реакция Бунина на просьбу Федорова отозваться о его новом произведении:

«Я было начал читать корректуру, хотел отметить, что мне не по душе, да бросил – побоялся, что ты обидишься, хотя ведь понимаешь же ты, что позволяю себе говорить тебе не как “редактор”, а как друг твой...»³

Подчеркнем, эта реплика не относилась к корректуре романа «Его глаза», речь об общем отношении Бунина к творчеству Федорова. Обычная редактура работает далеко не всегда. Некоторые тексты нужно либо переписывать наново, либо публиковать в первоизданном виде – есть читатели, которые переваривают все.

Не все, но многие романы Федорова остро нуждаются в редакции, но если хорошего редактора у них не нашлось сразу, то теперь ему, кажется, и подавно взяться неоткуда. Да и зачем? Даже в махровом мелодраматизме, вкусовых сбоях и ничем не оправданных длиннотах федоровской прозы есть та ущербная привлекательность, которую можно увидеть в некоторых бездомных детях. Гигиена, хорошая одежда и здоровое питание лишат их всякого характера, хотя, с точки зрения

¹ Цит. по электронной версии романа в Б-ке М. Мошкова: http://az.lib.ru/f/fedorow_a_m/text_1904_priroda.shtml

² Там же.

³ И.А. Бунин. Письма 1905–1919. М.: ИМЛИ РАН, 2007. С. 67.

гуманитарной, банальное здоровье безусловно ценней самой неординарной индивидуальности.

Странное дело – Федоров ни разу не назвал реальным именем город, в котором разворачивается действие его романов. Не остерегался ли он своей любовью к Одессе признать в себе второстепенного, провинциального автора? Если так, то он положил начало традиции. Ильф и Петров окрестили родной город Черноморском, действие совершенно кафкианского романа Сергея Шикера «Стень»¹ – лучшего об Одессе конца XX века – разворачивается в приморской Лидии.

Чтиво чтивом, но оба романа Федорова – передовые для своего времени в том смысле, что их можно с не очень большой натяжкой отнести к типу производственных. Их персонажи – представители одной профессии – художники. Это, конечно, можно списать на личное увлечение Федорова живописью, а можно и на то, что в русской литературе начинается большая смена приоритетов – интерес к человеку, живущему на земле, переносится на горожан. И город – неисследованный пока микроскопом всех мыслимых пороков и достоинств – обещает дать куда больше ярких персонажей, чем привычная помещичья усадьба. Рядом с Федоровым тем же занимался его приятель Куприн, описывая жизнь сталелитейщиков в «Молохе», военных в «Поединке», публичных женщин в «Яме».

Но если «Природа» и «Его глаза», со всеми их недостатками и достоинствами, – бульварное чтиво, то с «Подвигом» дело обстоит иначе. Его сюжет развивается на фоне охвативших Одессу волнений 1905 года, и перед тем как взяться за этот роман, хочется вернуться к жизни в этот период самого Александра Митрофановича.

Профессиональные хлопоты на фоне первой русской революции

1905-й год в сознании человека, хотя бы часть жизни которого пришлось на советскую эпоху, представляется, конечно, годом первой русской революции. Кровавое воскресенье, поп Гапон, восстание на броненосце «Потемкин», газета «Искра», стачки, демонстрации, разгул реакции, все это отодвигает на второй план простую мысль о том, что миллионы людей в это же самое время продолжали ходить на службу, жениться, рожать детей и даже писать стихи о любви и красотах природы. Как это было в случае с писателем Федоровым.

Хотя 1905 год датировано не менее полудюжины «революционных» стихов Федорова, в том же году Александр Митрофанович потратил уйму времени и сил на то, чтобы найти нового издателя, более активного в книгоиздательском бизнесе и, соответственно, более щедрого по отношению к своим авторам. Добавим: над которым бы не висела постоянная опасность ареста.

К концу XIX столетия Федоров входил в число литераторов, постоянно печатавшихся в ведущей периодике России: «Русской мысли», «Мире Божьем», «Русском богатстве», «Вестнике Европы». Иначе обстояло дело с книгоиздателями. Первым стал Сергей Аполлонович Скирмунт, фанат и пропагандист европейской социал-демократии. Получив богатое наследство, он проявлял удивительную щедрость по отношению к работникам своего издательства «Труд». Они пользовались бесплатными столовыми, медицинским обслуживанием и даже оплаченным отпуском в Крыму. В его квартире укрывались находившиеся в розыске революционеры, здесь же хранилась нелегальная литература, за что Сергея Аполлоновича и привлекли в 1902 году к уголовной ответственности. Его признали виновным и сослали в Олонецкую губернию, но суровой северной красотой Онежского озера любовался он недолго. В 1904 году его амнистировали. Вернувшись в Москву, он с новыми силами подключился к борьбе с самодержавием. В конце 1905 года на расширенном заседании ЦК РСДРП под председательством В.И. Ленина А.М. Горький предложил кандидатуру Скирмунта на должность главного редактора газеты «Борьба». Сергей Аполлонович, вызвавший себя финансировать издание, был единодушно утвержден в должности. До того, как Скирмунта снова арестовали, он успел выпустить шесть номеров газеты, причем в первый попало федоровское «Вниз по матушке по Волге». Вот интересно: получил ли Александр Митрофанович гонорар за него или же внес этой публикацией свою поэтическую лепту в общее дело? Еще три номера «Борь-

¹ Волга. 2009, №№ 9-10, 11-12; <http://magazines.russ.ru/volga/2009/9/sh2.html>

бы» вышли, когда Скимунт уже находился за решеткой, причем последний содержал отчаянный вопль уцелевших членов редакции, призвавших читателей ко всеобщей политической стачке и вооруженному восстанию.

Арест издателя, конечно же, шел вразрез с планами Александра Митрофановича. Его роман «Земля» был только что издан скирмунтовским «Трудом», а выпуск следующего – «Природа» – был назначен на 1906 год. И если Федоров допускал, что следом за газетой власти вполне могли прикрыть и издательство, то он оказался прав. Издательство было закрыто, а сам Скимунт бежал из России, предпочтя комфорт западной Европы прелестям северной России.

Так или иначе, но Александр Митрофанович начал поиск нового издателя еще за полгода до ареста Скимунта. Тогда он и обратился к Бунину с просьбой помочь ему пробиться в число авторов горьковского «Знания». «Знание» было издательством-мечтой. В нем печатались наиболее популярные авторы того времени: сам Горький, Леонид Андреев, Скиталец, Иван Бунин и хорошо знакомый Александра Митрофановича – Семен Юшкевич, чей роман «Леон Дрей» стал настоящим национальным бестселлером. К этому надо добавить налаженный сбыт книг по всей стране и высокие гонорары.

Бунин стал хлопотать за одесского друга.

25 апреля 1905 года он доложил Федорову:

«Дорогой друг, я сейчас от Горького. Читали твою книгу. Всю, конечно, не прочли, но я немного перетасовал стихи, поставил в начале то, что казалось мне лучше, и когда начитались, спросил:

– Ну, теперь вы видите, что книжка будет во всяком случае недурна?

Горький ответил:

– О, да, несомненно.

– Значит, – говорю, – я могу окончательно сообщить Федорову, что книга *взята* «Знанием».

– Да, вполне можете.

Поздравляю тебя, значит, дорогой друг и крепко целую.

Вижусь с Горьким теперь каждый день и провожу время очень приятно. <...> Многое в твоей книге ему очень понравилось, а относительно того, что ему немного не нравится, он хочет написать тебе – только боится, что ты рассердишься. Я сказал ему, что это вздор.

Очень-очень плохо, что тебя здесь нет. Столковались бы, как расположить стихи, что послать и т.д.

Печататься книга будет летом, чтобы к сентябрю выйти»¹.

Как тут не представить взволнованного Федорова, с горящим на скулах румянцем, выходящего из своего кабинета с письмом в руке: «Лидя! Горький взял сборник моих стихов для «Знания»! Иван добился!»

Увы, радость была недолгой.

16 мая Горький сообщил Бунину:

«Дорогой друг! Я внимательно прочитал стихи Федорова трижды и – отказываюсь издать их.

Скучен он, однообразен, – его лучшие лирические стихи – подражание Вам. Он какой-то неуклюже громогласный, не чувствуешь искренности в нем и совершенно не понимаешь – отчего стонет человек, о чем он вздыхает? Не видно – что он любит, не ясно – о чем он мечтает.

Издать его – насиловать себя, а этого я не хочу. Вы извините меня – мне очень хотелось бы сделать приятное Вам, но в данном случае – не могу»².

19 мая Бунин отвечает:

«Дорогой Алексей Максимович, сейчас получил Ваше письмо и очень-очень огорчен за Федорова»³.

¹ И.А. Бунин. Письма 1905–1919 годов. С. 9.

² А.М. Горький. ПСС. М.: Наука. 1999. Т.5. С. 49.

³ Бунин И.А. Письма 1905–1919 годов. С. 10.

Еще одна фантазия: Лидия Карловна входит в кабинет мужа. Тот сидит за столом, вид удрученный, перед ним развернутое письмо.

– Что-то случилось? – спрашивает она.

– Вот почитай, – он подвигает к ней лист бумаги. – Просто уму непостижимо.

17 июля Бунин пишет другу об очередной поездке в Москву:

«Скирмунта не видел, но очень советую тебе послать ему рукопись, чтобы книга вышла в начале осени. Горький сконфуженно извинялся за историю с тобой. А что она значит – я до сих пор не понимаю»¹.

Горьковская оценка впоследствии не раз повторялась критиками, закрепив за Федоровым славу подражателя Бунина. Эта оценка несправедлива. У Бунина и у Федорова были одни и те же поэтические ориентиры – классики Золотого века русской поэзии, начиная с Пушкина и Тютчева. Недаром в числе тех, кто первым отметил талант Федорова, был Аполлон Майков. И Бунин, и Федоров считали себя продолжателями их традиции, поэтому их главной задачей было достижение высот своих предшественников. Скорее всего, это объяснялось провинциализмом обоих. Для провинции характерно более трепетное отношение к классике, чем для охотчих до экспериментов столиц. И Федоров, и Бунин над этими экспериментами посмеивались, даже писали совместные пародии на новых поэтов, хотя Бунин, судя по всему, признавал культурную значимость нового литературного явления. Это подтверждает то, что такой значительный для него сборник как «Листопад» он выпустил в символистском «Скорпионе». И даже его разрыв с Брюсовым был вынужденным – первым от этой дружбы отказался Брюсов, объяснив это чисто эстетическими соображениями – стихи Бунина, по его мнению, были «вчерашним днем литературы»².

Из чего следует, что к оценкам Горького или Брюсова о вторичности поэзии Федорова или Бунина не следует относиться как к истине в последней инстанции. Что действительно отличало Бунина от Федорова, это то, что Иван Алексеевич был, как теперь сказали бы, перфекционистом. Федоров был в этом плане его антиподом. Он легко находил оправдание своим недоработкам и в поэзии, и в прозе, ссылаясь на изматывавшую его газетную поденку, необходимость зарабатывать на хлеб насущный. Чехову он сообщал, что сдает рукописи с еще непросохшими чернилами. Отсюда масса стихов проходных, неряшливых, не отшлифованных, присутствие в тексте слов, придуманных самим автором, неверных ударений. И тем не менее, в этом потоке есть свои жемчужины. В последние годы жизни Федоров подвел количественные итоги своего творческого пути: шесть опубликованных в России поэтических сборников. Написано в Болгарии более 250 сонетов и около 500 стихов. Но сколько их нужно, чтобы оставить свой след в истории литературы? Десяток? Два десятка? Они у Федорова есть.

Революционную тему в поэтическом творчестве Федорова 1905 года завершила публикация в Санкт-Петербургском журнале художественной сатиры «Жупел». Его создателем и редактором был художник-карикатурист Зиновий Гржебин, сумевший привлечь к сотрудничеству Горького, Бунина, Бальмонта и Куприна. В числе оформителей журнала были Серов, Билибин, Кустодиев. На обложке первого номера была помещена работа Бориса Анисфельда «Чудовище, шагающее по трупам». Жесткая черно-красная графика вызывает ассоциацию с гойевскими *пинтурас неграс*. В поэтической подборке на третьей странице первого номера: «Ормузд» И. Бунина, «Вниз по матушке по Волге» А.М. Федорова, «Мидас» С. Гусева-Оренбургского и «Притча о черте» Константина Бальмонта.

Никто из коллег не мог соревноваться с Федоровым в плакатной прямолинейности, в наибольшей степени отвечающей задачам революции.

Погибал народ безвольный,
Беззащитный, подневольный,

¹ Бунин И.А. Письма 1905–1919 годов. . С.12.

² В.Я. Брюсов. Аврелий: Рец. на кн.: И.А. Бунин. Новые стихотворения. М., 1902 // Новый путь. 1903. №1. С. 194.

По темницам.
Голодал по бедным селам,
Изнывал под произволом,
По столицам.
День настал и Русь вздохнула,
Затряслась земля от гула,
Задрожала.
И распались оковы,
И исчезли злые совы,
Легче стало¹.

Власти закрыли журнал после выхода всего трех номеров – двух в декабре 1905 года и одного – в январе 1906 года. Деятельного Гржебина это не остановило, в том же году он создал вместе с Соломоном Копельманом издательство «Шиповник» – трибуну русского символизма. В числе первых авторов нового издательства оказался и Федоров, хотя символистом он не был. Связи тво-
рят чудеса!

В 1920 году Гржебин покинул Россию.

Революционные стихи Федорова занимают в его наследии приблизительно то же место, что и РОСТовские куплеты в творчестве Маяковского. Это – ремесленничество на заказ, демонстрация лояльности своей среде или системе. В числе первых это заметил Корней Чуковский:

«И почему г. Федоров, поэт даровитый и чуткий, рвется в ту область, где он и бессилен, и груб, и даже безграмотен...?»²

Почему? Ответ кажется очень простым. Но перед тем как дать его, хочется процитировать письмо самого Федорова от 10 июня 1894 года. Оно было адресовано будущему секретарю Ильича – Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу. Тот располагал собственной типографией в Москве, где в феврале того же года был напечатан первый поэтический сборник Федорова. Нам неизвестно, при каких обстоятельствах познакомились Федоров и Бонч-Бруевич, но известно, что последний посоветовал молодому автору писать стихи большей гражданской значимости. Федоров ответил:

«...Ваше доброе и понятное желание видеть во мне гражданского поэта, желание, к которому я отношусь с глубоким уважением, вряд ли когда-нибудь осуществится, не потому что я презираю этот род поэзии, совсем нет, а просто потому, что я не боец по природе, что вследствие чисто индивидуальных свойств моего скромного дарования, оно более отзывчиво к красоте в ее разнообразнейших проявлениях, чем к призывам на битву против зла и несправедливостей»³.

Как же так? В 1894 его привлекала только красота во всех ее проявлениях, а в 1905 он, все же, вступил в битву против зла. Теперь ответ и Чуковскому, и читателю этого текста: к 1905 году Александр Митрофанович Федоров приобрел достаточную дозу профессионального цинизма, чтобы писать стихи на злобу дня, если за эти стихи платили. Как абсолютно точно подметил Александр Сергеевич Пушкин: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». Революционные стихи Федорова, написанные в 1905 году, появлялись в периодике вплоть до 1917.

Тут мне вспоминается один из моих первых учителей журналистики, корреспондент одесской газеты «Моряк» Александр Кноп, милейший человек и настоящий профессионал, он говорил: «Журналист должен быть мичуринцем. Каждое семя должно дать несколько ростков». В смысле одну и ту же статью – с разными заголовками и переставленными абзацами, следовало пристроить в несколько изданий. Александр Митрофанович тоже принадлежал к «мичуринской» школе, по-

¹ Жупел: Журнал художественной сатиры. СПб. 1905. №1. С.3.

² К. Чуковский. Революция и литература // Собр. соч.: В 15 т. М.: Изд-во «Терра-Книжный клуб», 2002. Т. 6. Литературная критика (1901–1907). С. 389.

³ <Федоров – Бонч-Бруевичу> / Из писем А.М. Федорова // Федоров А.М. Степь сказала. Уфа. Башкирское книжн. изд-во, 1981. С. 261.

стоянно переливая журналистику в прозу, прозу в драматургию и драматургию в прозу, что уже говорить о возможности продать несколько раз одно и то же стихотворение – особенно когда его актуальность год от года только растет!

Реальное отношение Федорова к революционному бунту не вписывается ни в его плакатную поэтику, ни в модную в то время марксистскую теорию классовых отношений. Когда революционный пафос перестает его «нести», Федорова словно подменяют. Совершенно другие мотивы, другая логика слышна в разговорах героев его романов. В их отношении к революции явно прослеживаются три составные.

Первая: русская аристократия отжила свое, отсюда такая безжалостность автора к умершему от тифа герою романа «Земля» Михаилу Останкову или к покончившему с собой князю-банкроту из романа «Бумажное царство». Оба были людьми во всех отношениях симпатичными, но, по мнению автора, – лишними.

Вторая: революционный порыв, героический поступок привлекателен своей эстетикой, неважно, какими будут его последствия. Об этом много говорят персонажи романа «Подвиг».

Третья: здоровый скептицизм много повидавшего на своем веку человека. Федоров, всплывший к успеху с самого дна российского общества, знал свой народ несопоставимо лучше любого теоретика марксизма. Именно поэтому его сюжетами движет не идеология, а другие, более понятные ему силы: романтическая влюбленность и похоть, жадность и властолюбие, а главное – судьба.

В производственном романе Федорова «Бумажное царство» есть одна занятная сцена. Разбогатевший сборщик ветоши Мойша Зельцер приезжает на фабрику своего партнера. Сын владельца Влас Полунин – образованный человек либеральных взглядов – делает все, чтобы усовершенствовать технологический процесс производства бумаги, сделать его менее вредным, улучшить жизнь работников. Тем не менее фабричный народ волнуется, дело идет к беспорядкам. Видя это, Зельцер замечает:

«Ну, будь они евреи, я бы понял. Еще Мойсей хорошо знал, что на этот народ ничем нельзя угодить <...> Что им нужно? Они хотели восьми часов рабочего дня, им дали здесь восьми часов рабочего дня. Ну... им дали школу и еще какие-то там ясли, чтобы матери имели где оставлять своих детеныш, а сами работать... и им дали казармы, где жить, и столовую, и баню, и потребительскую лавочку. <...> И еще построили церковь, чтобы они помнили о Боге, а они желают каких-то негодных прокламаций, где требуют того, что у них уже есть, и еще того, чего нет не только у них, но и у нас с вами»¹.

Размышления еврейского бизнесмена завершаются ссылкой на ветхозаветную историю странствий его народа в синайской пустыне. Всевышний являет одно чудо за другим, но народ ропщет на лишения и возмущается: «Есть ли Господь среди нас или нет?» На что рассердившийся Господь отвечает: «Клянусь, вы это узнаете!»

Роман «Бумажное царство» был впервые напечатан в журнале «Современный мир» в 1911 году и потом дважды издавался книгой – в 1911 и 1916 году. Я затрудняюсь назвать хотя бы одного русского автора, который в 1911 году догадывался, что деятельность преобразователей российского общества может обернуться катастрофой. Впрочем, это предсказание прозвучало даже раньше – в 1908 году – в романе «Подвиг». Но перед тем как обратиться к нему, хотелось бы сделать важное добавление к характеристике «Бумажного царства» как производственного романа. В этом, несомненно, есть натяжка, и вот почему. Действие романа происходит на производстве. Основные его герои – владельцы этого производства. Но в основе сюжета все же – обычная для Федорова любовная драма. Роману не хватает одного очень важного компонента – других участников этого производства с их отношением к своей жизни на нем.. Но для этого, видимо, мало было опыта и основанного на нем житейского прагматизма, нужна была социальная теория, которой автор пользовался бы как одним из своих инструментов. Примером такого подхода может послужить Айн Рэнд, автор романа «Атлант распрямляет плечи». Не довольствуясь существующими теория-

¹ А.М. Федоров. Бумажное царство. Московское книгоиздательство, 1916. С. 155.

ми о производственных отношениях, она создала свою, благодаря чему ее производственный роман не теряет своей актуальности по сей день.

«Подвиг»

«Подвиг» был впервые опубликован в Санкт-Петербургском журнале «Современный мир» в 1908 году – через три года после описанных в нем событий, в частности мятежа на броненосце «Потемкин» и беспорядков, охвативших в это время Одессу.

Мятеж на корабле вспыхнул 14 июня (по старому стилю), а 19 июня Федоров писал Бунину:

«Милый Иван Алексеевич, я должен написать тебе об этом событии хоть два слова. В настоящее время в Одессе стоит самый лучший броненосец “Потемкин”, команда которого (800 человек) возмущалась, частью убила, частью перевязала офицеров; завладели броненосцем и объявили себя свободными русскими гражданами. Маленькой искоркой, вызвавшей этот бунт, было убийство матроса старшим офицером за то, что матрос от лица всех товарищей пожаловался на то, что им дали борщ с гнилым мясом.

Разумеется, это только продолжение прошлогоднего матросского бунта, который, кажется, охватил всю эскадру. По крайней мере, вот уже пять дней, как “Потемкин” свободно разгуливает возле берегов Одессы или стоит на рейде.

Освещенный заревом колоссального пожара, охватившего весь порт, он гордо стоял на рейде, освещая прожектором эту невероятную феерию из крови, огня и залпов.

Над трупом матроса, положенного на мол с прокламацией на груди, говорились речи. Депутация из матросов с “Потемкина” отправилась к воинскому начальнику, требуя похоронить его с соответствующим герою достоинством. Им разрешили, обещая неприкосновенность провожающих, но после похорон трое матросов были убиты казаками, а остальные арестованы. Тогда броненосец стал бомбардировать город, выпустив два снаряда, один из коих разбил крышу дома на Нежинской улице. Угроза подействовала: арестованных отпустили обратно. Явившаяся из Севастополя эскадра оставила им “Георгия” (броненосец) и удалилась куда-то...»¹.

Как это нередко бывает, в горячие репортажи с места событий вкрадываются неточности. Вакуленчук, например, был убит не после того, как пожаловался на несвежее мясо, а после того, как убил своего командира – лейтенанта Л. К. Неупокоева. Но эта, и другие неточности для нас несущественны. В целом история, которая сначала переключалась в газеты, а затем в учебники советской эпохи, основывалась на записке, которая лежала на груди матроса Вакуленчука, чье тело было выставлено для прощания на Новом молу. Записка эта гласила:

«Одесситы, перед вами лежит труп зверски убитого старшим офицером броненосца “Князь Потёмкин Таврический” матроса Вакуленчука за то, что осмелился заявить, что борщ никуда не годится. Товарищи, осените себя крестным знаменем и постоим за себя! Смерть вампирам, да здравствует свобода! Команда броненосца “Князь Потёмкин Таврический”. Один за всех и все за одного. Ура! Ура! Ура!»

Этот текст был сохранен для истории газетой «Одесские новости», где трудился Александр Митрофанович.

У Федорова было более чем достаточно времени, чтобы осмыслить события, потрясшие город и страну, а также проанализировать вызванные революцией общественные перемены. За это время он даже успел побывать в Америке, где увидел общество нового для него типа. Как это отразилось в его романе?

Симпатии старшего поколения героев «Подвига» – сверстников Федорова и людей его круга – явно не на стороне восставших. И описание революционного погрома, который переживает Одесса, не оставляет сомнений в негативном отношении к нему самого автора. «Зря», в смысле «зря», говорит простой одесский ямщик по поводу охвативших город беспорядков. Но ощущение такое, что это говорит не ямщик, а сам автор.

¹ <Федоров – Бунину> / Из писем А.М. Федорова // Федоров А.М. Степь сказала. С. 266.

Дебютировав в журнале, «Подвиг» вышел в 1909 году отдельной книгой в санкт-петербургском издательстве «Общая польза».

Сюжет таков. На приморскую дачу университетского профессора Георгия Алексеевича Алексина, где тот живет с женой Анной Гавриловной и 18-летним сыном Николаем, приезжают гости – художник Сергей Александрович Верховский, его сестра – бывшая актриса Рита и ее дочь – 17-летняя Дина.

Появление Сергея Александровича – неприятная неожиданность для Анны Гавриловны. Она ждала в гости лишь подругу с дочерью. Скоро из ее разговоров с Верховским выясняется, что он – настоящий отец Николая, и приехал именно с тем, чтобы заявить свои права на сына. Пусть даже это разрушит семейное счастье Алексиных.

Ревность Верховского – по отношению к Николаю – подогревается тем, что у того замечательные, доверительные отношения с Алексиным. Парень явно вовлечен в некую тайную деятельность и профессор, не настоящий отец, поддерживает его.

Между тем лето в разгаре, дачники купаются, обедают на веранде, луна наполняет сад волшебным сиянием. Дина влюбляется в Георгия Алексеевича; Рита соблазняет Николая; подруга Дины оказывается в объятиях Сергея Александровича; Сергей Александрович терзает Анну Гавриловну разговорами о своих правах на сына; Анна Гавриловна пишет мужу письмо, в котором открывает свою страшную тайну. Сюжет достигает кульминации, когда либо Верховский должен сделать свое заявление, либо же Алексин узнать обо всем из письма жены.

Но взрыв происходит в другом месте, а именно в порту, на рейде которого появляется мятежный броненосец. Николай оказывается среди восставших. Сергей Александрович бросается в бурлящий город, чтобы спасти сына, туда же бросается Георгий Алексеевич. Кончается тем, что пьяная толпа сжигает порт, а Николай, не попрощавшись с семьей, уплывает на парусной лодке, чтобы присоединиться к экипажу революционного корабля. Живи А. М. Федоров на сто лет позже, быть ему сочинителем телесериалов.

В романе, который плачет по жесткой редакторской руке, есть тем не менее своя, сразу узнаваемая, «фирменная» образность Федорова, в основу которой положена одесская топография: дачная местность в 15 верстах от города – не названный им Большой Фонтан; глинистые береговые склоны; каменистые пляжи; руины водонапорной башни Ковалевского; трамвай, соединяющий дачную местность с городом; порт с его эстакадой; каменная лестница – будущая Потемкинская. Его одесская проза, пропитанная жарким солнцем, ласковым морем и сложными личными отношениями героев, вызывает неожиданную ассоциацию с другим приморским романом – «Ночь нежна» – Скотта Фицджеральда. Хотя как стилист американец, конечно, посильнее.

Но «Подвиг» не только о страстях плоти – без которых Федоров не Федоров. В этом романе автор касается вечной темы – отношений отцов и детей, выражая собственное отношение к социальным преобразованиям через своих «стариков». Алексин объясняет влюбленной в него Дине:

«Положим, положим – ужасно, невозможно жить и наслаждаться, когда рядом невежество, насилие, голод... все эти гнусные уродства. Но излечит ли кого-нибудь, насытит ли, спасет ли от нового, еще более подлого насилия ваша самоотверженность? <...> Нет, нет, говорю вам, нет!»

Свою же готовность поддержать сына, вступившего на путь борьбы с «гнусными уродствами», Алексин объясняет так:

«Приветствуя подвиг, я приветствую его не из-за его благих последствий для таких слепых, слабых, ради которых он проявился, а только из-за него самого. Из-за его великолепия. Из-за того, что он для меня – воплощение стыда за людей, *безумно (выделено мной. – В.Я.)* прекрасное стремление оправдать человечество»¹.

Это не первый случай, когда автор объясняет свое отношение к подвигу как к явлению эстетического характера. Героиня его пьесы «Обыкновенная женщина» Наташа еще за два года до бунта на «Потемкине» предвещает Алексина: «Сам подвиг важнее его последствий!»²

¹ А. М. Федоров. Подвиг. СПб.: Издание Т-ва «Общественная польза», 1909. С. 104-105. (Далее – Подвиг.)

² А. М. Федоров. Обыкновенная женщина. СПб.: Изд. О.Н. Поповой, 1902. С. 52.

Перефразируя светлейшего князя Потемкина-Таврического: «Умри, Митрофаныч, лучше не напишешь!» Эх, сколько их, либеральных интеллигентов с профессорскими должностями, приморскими дачами, женами, любовницами и прислугой бросилось в революцию из-за ее «великолепия»? Сколько перемолотых ее кровавыми жерновами барчуков повторили слова 18-летнего Николая, озирающего панораму разграбленного и сожженного пьяным сбродом одесского порта:

«Время ли теперь заниматься психологией. Тут бойня. Тут жгут... расстреливают людей. Те, – он рванул в направлении голубого луча (*луч прожектора «Потемкина» – В.Я.*), – идут, жертвуют собою. Кто смеет проклинать их... тех... что делает человека великим! <...> Только петля может остановить меня»¹.

Внутренний конфликт автора «Подвига» очевиден – с одной стороны, он выносит совершенно безжалостный приговор революции, с другой – симпатизирует свободолобивой юности, которая эту революцию делает. Закончив роман в 1908 году, зная, какая судьба постигла бунтовщиков с «Потемкина» и других примкнувших к броненосцу кораблей Черноморского флота, Федоров завершает роман отправкой своего юного героя на парусной лодке к мятежникам. Понимая, что остановить его нельзя, он как бы провожает его со вздохом: «Ну, что ж, пусть сильнее грянет буря, я тебя предупредил...»

Описание массового психоза, вызванное в городе появлением «Потемкина», можно отнести к самым ярким и динамичным страницам федоровской прозы. Здесь, конечно, проявляется его многолетняя журналистская практика, навыки репортера, хотя утверждать, что он сам был очевидцем беспорядков в порту – 15-16 июня – мы не можем. Он мог побывать там через три-четыре дня, когда в городе был восстановлен порядок, но руины портовых сооружений еще тлели. Восстановить все по горячим, буквально, следам ему было несложно.

В день появления на городском рейде броненосца читатель оказывается вместе с рассказчиком с теми, кто устремляется по «каменной» лестнице в порт, он находится на пирсе, где лежит в палатке убитый матрос, чувствует запах его разлагающегося на солнце тела, он видит разграбление складов со спиртным, поджог пакгаузов и стоящих у причалов пароходов, пылающую на воде нефть, обугленные трупы – «цукаты», метания обезумевших людей в блокированном войсками порту.

Федоров очень точно описывает появление в толпе горожан представителей той уголовной закваски, без которой не обходится ни один бунт, ни одна революция:

«Среди рабочих и горожан тревожными пятнами мелькали фигуры, не пристававшие ни к одной из групп; как крысы сновали туда и сюда; собирались иногда в кучки, шептались о чем-то и опять рассыпались во все стороны. Одетые в рубище, с испитыми, дергающимися лицами, с развинченными движениями, беспокойно шмыгающими глазами, они казались зловещими тенями на этом пестром и ярком фоне»².

«Под вечер все чаще и чаще на глаза попадались те зловещие тени, которые так робко сновали поутру. С закатом солнца они стали смелее, и та отравя, которою были охвачены все, сказывалась в них дикими, часто непристойными выходками, направленными, главным образом, против женщин <...>

Верховский то и дело видел оборванцев с бутылками в руках; они пили прямо из горлышка, тут же разбивали пустые бутылки о камни, и осколки стекла валялись на каждом шагу, с обрывками этикеток дорогих заграничных вин»³.

Федоров был, конечно, натурой увлекающейся, но, словно зная об этом своем качестве, он в конечном итоге отстранялся от собственных восторгов и с присущей настоящему репортеру наблюдательностью обозначал механизмы, которые приводили в движение историю не менее эффективно, чем модные философские течения. Это – уголовный сброд в «Подвиге», это – бродяга-поджигатель в «Земле». И он предвидел, что за подвигом последует большая кровь. Поэтому со страниц его романа часто звучит слово «безумие».

¹ Подвиг. С. 183.

² Там же. С. 169.

³ Там же. С. 174.

Эти колебания – от первого восторга к излюбленной теме рока – хорошо прослеживаются в стихах Федорова 1905-1906 годов. Одно из них звучит так, как будто его произносит в камеру уплывающий от семьи Николай:

Нам ночью снится свист ремней,
И гул машин и пар,
Но наяву еще страшней,
Еще больней кошмар.
Неужто также в кабале
И нашим детям жить?
Коль правды нет в родной земле,
Пора ее добыть.
Поили потом землю мы
И кровью напоим.
Тот победит упорство тьмы,
Чей дух непобедим.
Прости мой дом, прости семья,
Бог весть, вернусь ли вновь.
Свободе – жизнь и кровь моя,
А вам – моя любовь¹.

Проходит меньше года и Федоров, находящийся на палубе парохода, везущего в Америку еврейских беженцев, возвращается к теме подчиненности человека своей судьбе.

И ночь и шторм... Пустыня океана...
Людское стадо в трюме корабля.
Ты, нищета, страшнее урагана.
Ты злее тьмы, родная им земля.
Судьба на крыльях ужаса и горя
В железный край несет их тяжело.
Что слабых ждет за мутной далью моря?
Все тот же гнет, быть может, то же зло.
Кто жил рабом, кто все сносил на свете,
Того везде преследует судьба.
И в рабских ласках зачатые дети
Унизят жизнь покорностью раба².

Америка

28 (15) октября 1906 года московская газета «Русское слово» сообщила:

«Первым беспересадочным рейсом отошел сегодня из Одессы в Нью-Йорк океанский пароход “Григорий Мерк”, зафрахтованный русским обществом перевозки в Америку. Эмигрантов отправилось до 800 семейств, преимущественно евреев с юга и запада России, из городов, переживших погромы. Преобладает рабочий люд и молодежь. Среди эмигрантов находится значительная партия крестьян Черниговской губернии, отправляющихся в Калифорнию искать заработков на золотых приисках, а также немцы колонисты Херсонской губ. Путешествие до Америки продолжится 24 дня. Рейсы устанавливаются ежемесячные».

¹ А. М. Федоров. Мой путь. С. 132-133.

² Там же. С. 147.

Вместе с беженцами на борт «Григория Мерка» поднялся и Александр Митрофанович, получивший отдельную каюту на спардеке, т.е. самой верхней палубе, рядом с капитанской. Он планировал рассказать о тех, кто решился разорвать связь с родиной, а главное, выяснить, на что они могли рассчитывать в Америке.

Впечатления от этой поездки вошли в книгу «За океан», выпущенную санкт-петербургским издательством «Прометей» в 1909 году.

С первых страниц Федоров представляет себя бывалым путешественником – значительная часть книги посвящена описанию встречающихся по пути следования парохода мест, где автор уже побывал: Турция, Греция, Италия. Живописные виды перемежаются рассказами попутчиков о пережитых ужасах, и читатель, знающий склонность Федорова к мелодраме, может подивиться тому, насколько он сдержан в передаче историй беженцев. На одну из причин он указывает сам – газеты изобиловали такого рода материалами, поэтому тема при всей своей драматичности избита донельзя. Выделяется своей ироничностью лишь одна история семьи, которую спасла от погромщиков непроходимая грязь возле их лавки. К тому времени, когда грязь высохла, погромщики протрезвели в прямом и в переносном смысле. Отстраненное отношение к объекту журналистского исследования позволяет предположить, что главный интерес Федорова вызывают все же не беженцы, а страна, в которую они отправляются.

Читая сегодня книгу, которая увидела свет более ста лет назад, можно только подивиться тому, насколько не изменились ни взгляд на Америку новых иммигрантов, ни взгляд американцев на новоселов.

«Григорий Мерк» ошвартовался у бруклинского причала в середине ноября. Город вызвал у Федорова бурю эмоций, разобраться с которыми он так и не смог, пока готовил книгу к изданию. Его привела в восторг Статуя Свободы, встречающая иммигрантов, но страшно удручили «плоские» небоскребы и поезда, которые с грохотом неслись перед ним по земле, под землей и по воздуху. Грохочущие рельсы окружали его повсюду. Александр Митрофанович не смог по достоинству оценить гений создателя американской сталелитейной промышленности Эндрю Карнеги, благодаря которому страна покрылась сетью железных дорог и приблизилась к небу построенными из металлических конструкций высотками. Путешественник поражается изобилию магазинов, движущимся в них лестницам, нарядно одетым дамам и их раскованности, а также школам и библиотекам, которые выглядят как дворцы. Его потрясает сообщение о том, что родителей наказывают, если они не отправляют детей на занятия. Кондуктор подземки боксирует с пассажиром на остановках. Пару ударов – и оба возвращаются в вагон, чтобы возобновить поединок на следующей остановке. Пассажир утирает разбитый в кровь нос, но не сдается. Изумленный гость напоминает персонажа из романа Жюль Верна, попавшего на другую планету.

В то же время он отмечает механистичность человеческих отношений и остекленевшие взгляды пассажиров подземки. Он безапелляционно заявляет, что в таком городе нет места романтике. С рассказом О.Генри «Дары волхвов», опубликованном за год до его появления в Нью-Йорке, он, видимо, еще не знаком.

Федоров рассказывает о визите в Нижний Ист-Сайд, куда стекается российское еврейство. Он отмечает, что дома новых американцев каменные, то есть добротные, хотя живут они тесновато. Он посещает местный политический клуб, где ему показывают Матюшенко – беглого матроса с броненосца «Потемкина». Тот кажется ему разочарованным, потерявшим себя человеком. По иронии судьбы борец за свободу кует на чужбине решетки. Автор добавляет, что к моменту издания его книги Матюшенко вернулся на родину, где был повешен. Это позволяет предположить, что ньюйоркская встреча – сочинение автора, не остерегающегося опровержения со стороны казненного. Только что начавшийся в клубе политический диспут завершается требованием: «Вам нечего делать в нашем клубе, идите в свой!» Свобода, отмечает наблюдатель, превращает этих людей в бессмысленных доктринеров. Это наблюдение не теряет своей актуальности поныне.

Гость города поднимается по Бродвею к знаменитому Троицкому храму (Trinity Church) с зататым со всех сторон небоскребами приходским кладбищем. Сам бы он никогда не согласился

найти последний приют в таком шумном месте. От обилия публики на улицах, звона трамваев, грохота надземных поездов, клаксонов авто, криков возниц голова его идет кругом. Рассматривая *безвкусные* особняки Пятой авеню, гость добирается до Центрального парка. Здесь он переводит дыхание и на минуту-другую приходит в себя. Вечереет. Загораются фонари. Последние листья облетают с голых ветвей. Эта картина напоминает ему дом, Одессу...

Федоров многократно обращается к теме того, что работодатель в Америке выжимает из своих подчиненных последние соки. Да, работают здесь не так, как в России, но платят хорошо. И в конечном итоге это определяет отношение человека и к работе, и к стране. Если ты умеешь и хочешь работать – ты здесь не пропадешь! Именно по этой причине трое матросов с «Григория Мерка» принимают решение остаться в Америке. Surprise! Surprise! – как говорят в таких случаях американцы.

Очень интересной в книге «За океан» кажется тема взаимоотношений иммигрантов и американцев. Речь идет об угрозе со стороны европейского социализма главным американским традициям – личной свободе, ответственности и свободному рынку.

В начале XX века главным носителем социалистических идей была приезжающая из России еврейская молодежь. Хотя в Америке не было царя, мир представлялся им полем бесконечной борьбы угнетаемых и угнетателей. Один из таких борцов с несправедливостью, перед тем как сойти с борта «Григория Мерка» на бруклинский берег, говорит Федорову:

«Америку, такую, какова она теперь, создали эмигранты. Эмигранты же должны ее сделать и такой, какой она должна быть. Вы подумайте! Сотни тысяч народа ежегодно приливают сюда из всех стран света. И какого народа! Большинство несет в себе ненависть ко всякому гнету: будь то гнет власти, или гнет капитала. Кому же как не нам бороться за идеи социализма, за светлое будущее человечества! ...я, все равно, не стану буржуем. Ведь через эти пять лет я уже сделаюсь полноправным гражданином и в состоянии буду участвовать в управлении страны»¹.

Этот текст способен вызвать и сегодня возмущение у миллионов американцев, в том числе еврейского происхождения. Эти видят аналогичную угрозу американским ценностям исходящей от хлынувшей в США легальной и нелегальной иммиграции из стран Латинской Америки: Мексики, Колумбии, Сальвадора, Гондураса, Венесуэлы... Не говоря о новоприбывающих из стран арабского мира, Африки, Азии.

Что правда, миллионы других американцев описанного Федоровым российского социалиста поддержали бы, как говорится, обеими руками. Такой сторонник социализма и эмиграции обнаруживается и в его книге. Это – инженер, проводящий инспекцию судна перед его выходом в океан. Интеллигент, дипломированный специалист, гуманист. Его оппонент – простой угольщик, «ред нэк». Все как сегодня.

По крайней мере, в рамках этой книги совершенно очевидно, что и Александр Митрофанович искренне загорелся мечтой о светлом социалистическом будущем мира. Революция, которая в России привлекала его лишь своей героической эстетикой, в изобильной Америке обещала более зримый результат – справедливое перераспределение реальных плодов труда между всеми, кто был вовлечен в их производство. Здесь было что делить.

Очерк заканчивается на высокой оптимистичной ноте:

«Социализм растет вместе с ростом эмиграции.

Еще в 1988 г. в Америке было всего 2 068 избирателей социалистов.

А к 1904 г. цифра эта возросла до 600 000.

Таким образом, в течение 7 лет число социалистов избирателей увеличилось почти в 300 раз.

Цифры красноречивее восклицательных знаков, и я заканчиваю ими эту главу»².

Когда книга «За океан» готовилась к изданию, социализм должен был представляться Федорову лишь увлекательной теорией преобразования мира. Впереди Александра Митрофановича и его семью ждали практические занятия.

¹ А. М. Федоров. За океан. СПб.: Прометей, 1909. С.131.

² Там же. С. 145.

Тучи над Иерусалимом

«Было что-то тяжелое до жуткости в этих тучах, которые неслись над Иерусалимом. В поздний ночной час над спящим древним городом, в тучах как будто оживают сумбурные кошмары прошлого и носятся его мрачные тени.

Сильный северо-восточный ветер гонит и сталкивает их. Но кажется, что этот ветер поднимают они своим стремительным движением, и от них тревожный шум и свист в узких изломах улиц, где осклизлые черные камни и железо отвечают им печальными голосами неумирающих тайн.

Мой кавас Савва косится на небо и боязливо говорит, покачивая головой:

– Э, что теперь делается в море!

Его слова падают на меня, как холодные капли дождя, срывающиеся с туч».

Так начинается рассказ А.М. Федорова «Чудо», опубликованный в 1910 году и относящийся к группе текстов, написанных после или во время посещения Святой Земли. Эти несколько абзацев, а главное – ключевые слова «Иерусалим», «город» и «туча», неожиданно вызывают в памяти оказавшиеся более долговечными в читательском сознании строки:

«Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сарай, переулки, пруды...

Пропал Ершалаим – великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях. Странную тучу принесло с моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана».

На связь текстов Федорова и Булгакова обратил внимание автор «Булгаковской энциклопедии» Борис Соколов. Но Соколов указывает на другой федоровский текст в качестве отправного для Булгакова.

«При описании гибели И<уды> из К<ириафа> автор романа “Мастер и Маргарита” использовал целый ряд деталей из очерка русского писателя Александра Митрофановича Федорова (1868–1949) “Гефсимания”, опубликованного в апреле 1911 г. в петербургском журнале “Новое слово”.

Здесь переданы впечатления от посещения Федоровым Гефсиманского сада в лунную весеннюю ночь, причем упоминаются многие реалии, отразившиеся в булгаковском романе: турецкие казармы на месте дворца Пилата (у Булгакова рядом с дворцом расположены римские казармы); караваны арабов-паломников на верблюдах, ничуть не изменившиеся со времен Христа; ворота и стены Гефсиманского сада; переправа через Кедронский поток. В саду автора “Гефсимании” подкарауливали двое разбойников, и лишь присутствие проводника спасло его»¹.

Напомним, что предлагая свою версию гибели Иуды, Булгаков тоже вводит в сюжет двух немых убийц, зарезавших Иуду по дороге в Гефсиманский сад. История о самоубийстве возникает позднее. У Булгакова ее предлагает сделать официальной начальник секретной стражи Понтия Пилата, «заказавший» предателя.

Соколов указывает на первую журнальную публикацию «Гефсимании» 1911 года, но этот очерк переиздавался еще по меньшей мере дважды – в книге «Солнце жизни», вышедшей как 7-й том собрания сочинений А.М. Федорова в 1913 году, и затем отдельной книгой под тем же названием в 1917 году. То есть названный очерк не был одноразовой, быстро исчезнувшей из обращения публикацией.

Рассказы Федорова о поездках по местам, где расположены святыни христианства, читаются с интересом и сейчас, когда жанр путевых очерков пал жертвой интернета и телевидения. Перечитывая «Гефсиманию» о ночной прогулке путешественника в знаменитую масличную рощу за

¹Б.В. Соколов. Булгаковская энциклопедия. М.: Локид, Миф, 2000. С. 227.

городом, постоянно сталкиваешься с той образностью, которая явно присутствует в булгаковской прозе.

«Ветер дул сразу как будто со всех сторон, бросался назад, заставляя ежиться от холода, и взмывался до самых туч, разрывая их с бешеным беспокойством».

«Слышно было, как ветер выл и свистел, проносясь по узким и кривым улицам Иерусалима, заражая их мрак и опустелость своей мятущейся тревогой»¹

«Луна поднялась выше, продолжая свою фантастическую игру с тучами, которые меняли каждый миг свои очертания и мрачным полчищем надвигались на Иерусалим»².

«Иерусалим, над которым теперь низко нависли тучи, сам кажется сейчас темной, свалившейся тучей; сквозь нее едва пробиваются, как звезды, редкие ночные огни»³.

В «Мастере и Маргарите» Соколов находит следы не только описанной Федоровым иерусалимской топографии.

«Внимание Булгакова привлекли также слова Федорова о том, что “в продолжение двух тысячелетий на землю эту упали ливни крови: кости сваливались, как хворост, и дикие бури-войны бушевали во имя Христа. Иерусалим разрушался и возникал много раз, но в Гефсиманском саду растут те же сизые маслины, те же красные цикламены качаются среди камней, как огненные бабочки. И люди остались те же”. У Булгакова первые капли крови, которые пролились в Гефсиманском саду после гибели Иешуа Га-Ноцри, – это капли крови И. из К. (*Иуды из Кириафа – В.Я.*) Данному месту созвучны и слова Левия Матвея Понтию Пилату о том, что «крови еще будет», и заключение Воланда на сеансе черной магии в Театре Варьете о том, что со времен Иисуса люди мало изменились».

<...>

«Эпилог булгаковского романа созвучен воображаемому вознесению Христа из очерка Федорова: “Туча и луна придают еще более очарования тому, что я вижу, угадываю, почти постигаю. Шире раздалось серебристо-голубое пространство между землею и тучами; бесконечно длинной полосой, изломанной со стороны неба и земли, сияет оно и как бы течет, как светлая река. Слева, под этой рекой света, еще более яркое пространство, которое все фосфорится и блещет, точно зеркало луны, где она отражается из-за туч”. В эпилоге “Мастера и Маргариты” во сне Ивана Бездомного бывший поэт, ставший профессором истории, видит вознесшегося Иешуа, мирно беседующего с Пилатом, “тогда лунный путь вскипает, из него начинает хлестать лунная река и разливается во все стороны. Луна властвует и играет, луна танцует и шалит. Тогда в потоке складывается непомерной красоты женщина и выводит к Ивану за руку пугливо озирающегося обросшего бородой человека” – Мастера. Эти двое утешают бывшего поэта, после чего “луна начинает неистовствовать, она обрушивает потоки света прямо на Ивана, она разбрызгивает свет во все стороны, в комнате начинается лунное наводнение, свет качается, поднимается выше, затопляет постель. Вот тогда и спит Иван Николаевич со счастливым лицом”»⁴.

Война

Уже через месяц после начала войны Александр Митрофанович отправился в сторону фронта. Путь его лежал из Одессы в Петроград, оттуда – через Псков, Вильну и Гродно – в Варшаву. Здесь 25 сентября он примкнул к группе журналистов из «Ле Журналь», «Дейли Мэйл», «Нью-Йорк Сан» и «Асахи Симбун». Из своих собратьев по перу был В.И. Немирович-Данченко. С этой группой – в поезде или предоставленном журналистам трофеем «Бенце» Федоров провел вблизи фронта три месяца. Он описывал настроения в войсках, красоты польских городов, героизм рус-

¹ А.М. Федоров. Солнце Жизни. Московское книгоиздательство, 1917. С. 57.

² Там же. С. 67.

³ Там же. С. 68.

⁴ Булгаковская энциклопедия. С. 227.

ских солдат, самоотверженность медсестер, усеянные трупами поля сражений, работу госпиталей и организацию помощи беженцам. Очерки эти печатались в газете «Киевская мысль» – наиболее многотиражной на юго-западе России.

Года не прошло, как Федоров издал свои корреспонденции 430-страничным томом «С войны», предварив их словами о том, что выпускает свой труд с сомнениями и колебаниями. Причиной было то, что успешно начавшаяся на юго-западном фронте кампания к моменту издания книги обернулась миллионными потерями в российской армии и сдачей врагу Варшавы, Бреста, Вильнюса, всей Галиции.

Точно так же, как Федоров извинялся за отсутствие времени на редактирование своих текстов перед Бунинным и Чеховым, он привычно покаялся в том же прегрешении перед читателем.

«Трудно требовать художественных достоинств от статей, написанных под грохот орудий, под стоны истекающих кровью, под вопли обездоленных и осиротелых. Приходилось писать чаще всего как в лихорадке, то в радостном подъеме по поводу наших побед, то в мучительной тоске, с болью и слезами при виде наших тягостных поражений и утрат; то в номере гостиницы, то в грязной халупе, то в вагоне поезда, а то так и просто на дороге, во время вольной и невольной остановки. Где уж тут было следить за художественными достоинствами! Хотелось поскорей оповестить читателя о стремительно меняющихся событиях, где все было так необычно, так страшно и, вместе с тем, величественно, так зверски низменно и мрачно, и порой так возвышенно и трогательно.

<...>

...все происходившее и переживаемое представляло настолько громадный психологический, бытовой, а главное – исторический интерес, что каждый миг наблюдений и впечатлений в этой всемирной войне должен быть важен и для нынешнего общества и для потомков, которые будут искать в малейшем свидетельстве очевидца отражений кровавой эпохи, несомненно – самой кровавой от века веков и доньше и несомненно неповторимой во веки веков и впредь»¹.

«Громадный» интерес публики к Первой мировой давно уже перестал быть громадным, что касается книги «С войны», то и ее не отнести к лучшим произведениям военной журналистики. Главная причина в той ремесленнической легкости, с какой автор генерировал свои тексты на однородном материале. Тем не менее у книги есть своя ценность. Она зеркально отразила настроения образованного общества в первые месяцы после начала войны. Привычный читателю пафос Федорова, который слышен в оценке обрушившегося на мир бедствия, органично сливается с хором литераторов, чей вкус и литературный слух нам кажутся безукоризненными.

Федоров пишет:

«Зверство и самоотверженность, жестокость и милосердие. Я убежден, что в этой войне особенно ярко сказались все возвышенные свойства народной души, инстинктивно чувствующей, что она борется с губительным и растлевающим злом, провидящей за всеми бесценными жертвами, приносимыми ею родине, новую светлую жизнь.

Уже и в отражениях войны проблескивают эти светлые, почти священные черты. Что же творится там, где, как одна сила, одна душа, наш народ борется с врагом мирной трудовой и прекрасной жизни, где солдаты идут в огонь, защищая процветание и благоденствие не только своей родины, но и – можно сказать – всего мира, где не только они, но и доктора и сестры милосердия под огнем выносят на своих руках раненых»².

А вот как звучит голос Леонида Андреева в статье «В сей грозный час»:

«И, борясь за Россию против могущественной Германии, сознательно стремящейся к порабощению всех других народов и рас, мы боремся не только за те временные и преходящие формы, в каких отлилось настоящее нашей родины, но и за все те возможности, которые лежат в основе нашей молодой культуры и пророчески предугазаны нашими духовными вождями. Не за Россию эмпирическую и сухую, а за Россию мыслимую, желаемую и возможную поднял оружие русский народ.

¹ А. М. Федоров. С войны. Московское книгоиздательство, 1915. С. 3-4.

² Там же. С. 126-127.

Начав войну, мы доведем ее до конца: до полной победы над Германией; и здесь не должно быть ни сомнений, ни колебаний»¹.

Бунин в открытом письме деятелей культуры объясняет читателю:

«Солдаты Германии как бы взяли на себя низкую обязанность напомнить человечеству, что еще жив и силен древний зверь в человеке, что даже народы, идущие во главе цивилизующихся народов, легко могут, дав свободу злой воле, уподобиться своим прашурам, тем полунагим полчищам, что пятнадцать веков тому назад раздавили своей тяжелой пятой античное наследие: как некогда, снова гибнут в пожарищах драгоценные создания искусства, храмы и книгохранилища, сметаются с лица земли целые города и селения, кровью текут реки, по гудам трупов шагают одичавшие люди...»²

Все эти тексты словно написаны одной рукой. Ура-патриотическое настроение коллег задают тон военным очеркам Федорова. Солдаты и офицеры охотно идут на фронт, осознавая благородство своей миссии. В эшелонах, забитых эвакуирующимися и солдатами, царят любовь и галантные манеры. Офицеры умны, культурны, уверены в себе и в победе. Наши доблестные воины уничтожают врага тысячами и тысячами берут его в плен, где демонстрируют чудеса милосердия. Мудрое командование выше всяких похвал. С совершенно искренним подобострастием Федоров описывает встречу корреспондентов с верховным главнокомандующим – великим князем Николаевичем.

«Великий Князь строен и высок <...> Окинув нас внимательным и строгим взглядом, Великий Князь подает поочередно всем руку и затем отходит опять на прежнее место.

Только тут я разглядываю его удлинненное острой седоватой бородкой выразительное лицо, в чертах которого сказывается и царственная порода, и железная воля.

Как это ни странно, мне кажется, что Великий Князь слегка взволнован; конечно, не тем, что перед ним представители шестой державы – печати. Как полшутя мы называли себя перед этим, живые рупоры России, Франции, Англии, Америки и Японии. Скорее всего, это понятная нервозность, неизбежная при том страшном напряжении сил и энергии, которых требует великое, сложное и глубоко ответственное творческое дело войны.

Великий Князь обращается к нам с речью, которую уже все знают по телеграммам. Он говорит просто, с той ясной искренностью, которая чувствуется не только в словах, но и в голосе, и в каждом взгляде, и в каждом движении лица. Иногда в этих властных чертах вдруг засветится улыбка, и от нее лицо особенно оживает и становится приветливым»³.

На пике журналистского восторга, Александр Митрофанович начинает называть Великого Князя Великим Вождем.

Восторги в адрес своих солдат и офицеров – на каждой странице.

Пленный немецкий солдат из очерка «В Колышках» говорит голосом Федорова:

«О, русские солдаты это совсем особенный народ. Когда они дерутся – дерутся как герои, а когда мы теперь видим их рядом с нами, мы, пленные, должны сказать, что они относятся к нам как братья, и ведут себя как святые»⁴.

В 1914 году автор этих слов не мог представить в самом страшном сне, как изменят пять лет войны этих святых, оказавшихся в тех же самых краях, но уже в составе Первой конной Буденного. Он не мог предвидеть и более близких событий – отстранение от должности Великого Вождя, оказавшегося главным виновником хаоса и чудовищных потерь на фронте.

Зато как достается от Федорова немцам! В числе особо ненавистных ему представителей врага – бомбометатели, сбрасывающие свой смертоносный груз на мирное население, в том числе

¹ Леонид Андреев. В сей грозный час. М.: Прометей, 1915. С. 6.

² И. Бунин. Газета «Русское слово». 1914 г. № 223. 28 сентября. Цит. по: А. Бобореко. Бунин: жизнеописание. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 210.

³ А. М. Федоров. С войны. С. 83.

⁴ Там же. С. 289

на детей. В очерке «Дети» пострадавший от бомбы ребенок выглядит как ангел с викторианской открытки:

«Девочка лежит неподвижная и худенькая, на ее щеках уже сквозят землистые тени. Глаза ее полускрыты, а когда она открывает их, темные длинные ресницы поднимаются, как два слабых крылышка жизни, которая вот-вот отлетит от них, и тогда эти крылышки-ресницы упадут, бес-
сильные, на зрачки ее глаз, которых злодейски коснулся призрак войны.

Мать смотрит на нее неподвижными глазами, в которых сквозит такое беспредельное горе, для облегчения которого нет ни слов, ни звуков, ни молитв.

Если бы этого немецкого летчика могли судить за его, может быть, неумышленное убийство, пусть бы его заставили в наказание взглянуть в эти невыразимо страдальческие глаза матери; в них прочитала бы приговор его собственная совесть¹.

То, что Митрофаньча заносило, заметно не только с расстояния в сто с лишним лет. В очерке «Смерть шт.-кап. Гурдова» – о героическом командире подразделения «автомобильных пулеметов» – автор рассказывает о посмеявшемся над ним читателе:

«Вспоминаю как после моей статьи о подвиге Гурдова, напечатанной в “Киевской мысли”, – какой-то господин из “Киевлянина”, за подписью Артиллерист, поместил письмо в редакцию, где вышучивал не то меня, не то самый подвиг Гурдова. Я описывал его, основываясь на документальных данных.<...> И все это г. Артиллерист из “Киевлянина” назвал измышлениями бар. Мюнхгаузена, подражанием выдумкам Уэллса и т.д.»²

«Киевлянин», издававшийся историком Виталием Шульгиным (отцом Василия Шульгина), считался газетой правой, и ее авторы нередко пикировались с либеральными коллегами из «Киевской мысли».

Не знаю сколько современников Федорова улыгнулось или расхохоталось, читая его вдохновенные строки о медсестре Тимощенко из очерка «Сестры», спасавшей от холода раненого солдата.

«Теплого ничего не было, если не считать пальто, которое было надето на Тимощенко. Она сняла это пальто и накрыла им раненого. Но раненый все дрожал от озноба. Тогда она сняла с себя кофточку и осталась в одной кисейной блузке»³.

Как бы назвать этот стиль? Патриотическая эротика?

«Киевская мысль» и ее корреспондент А.М. Федоров подняли еще одну популярную в первый год войны тему – защиту еврейского населения от поднявшейся в стране очередной волны антисемитизма. Причиной ее было подозрение в том, что евреи являются коллаборантами немцев. В январе 1915 года начальник штаба Верховного Главнокомандующего Николай Янушкевич разослал циркулярное письмо по всей линии фронта, в котором разрешалось выселение «евреев и подозрительных личностей» из всех районов военных действий. Но депортация еврейского населения началась уже осенью 1914-го, и за год было переселено порядка одного миллиона евреев. С одной стороны, это спасало их от оккупантов, с другой – масса людей, оторванных от своих хозяйств, оказалась без средств к существованию, без крова над головой. В наши дни это бы назвали гуманитарной катастрофой.

В очерке «Исход» Федоров рассказывает, как его автомобиль встречает на дороге многокилометровую процессию беженцев.

«...у некоторых мужчин и женщин на руках опять-таки дети – это уже совсем младенцы. Они завернуты в тряпки или в теплую шаль. Кроме этой ноши, редко у кого есть какой-нибудь груз – узелок или чемоданчик. Большинство идет с пустыми руками, идет молчаливо и угрюмо по широкому шоссе и только при виде автомобиля испуганно отходят в сторону. Подвод очень мало. Тянутся пешком.

<...>

¹ А.М. Федоров. С войны. С. 361.

² Там же. С. 378.

³ Там же. С. 88.

Я не знаю еще, откуда, куда и почему идут эти несчастные, нищие, жалкие люди, но чувствую, как что-то начинает стискивать мне горло»¹.

На глазах Федорова совершается страшная несправедливость, поскольку в этой войне евреи несут те же тяготы, что и русские, проявляют такой же героизм и жертвенность. Известно, что в российской армии к концу войны служило полмиллиона евреев. Многие были награждены за героизм Георгиевскими крестами, многие сложили свои головы. И это не говоря о принявших православие и дослужившихся до генеральских чинов. Тема добровольного, добросовестного и героического служения евреев своей стране – проходит красной нитью через всю книгу Федорова. Вот сцена из очерка «Раздача Георгиевских крестов»:

«... и опять торжественно-строгий голос начальника:

– Ефрейтор Сергей Бланк!

В строе происходит некоторое замешательство. Кого-то бережно выпирают вперед, а тот не решается, не веря своему счастью.

– Тебе! Тебе! – слышится шепот вокруг него. – Слышал: – Бланк.

Приземистая, скромная фигура еврея выступает вперед, еще раз нерешительно оглядывается на товарищей и движется по направлению к начальству.

– Ефрейтор Сергей Бланк, поздравляю тебя с Георгием за твой геройский подвиг! – говорит командир...»²

Еще один герой-еврей появляется в очерке «Раненые»:

«Черная борода еще больше оттеняет почти мертвенную бледность его интеллигентного лица. По профессии он провизор. <...> У него от самого плеча – нет левой руки.

– Отбило шрапнелью? Или отхватил саблей кавалерист?

– Нет, – слабо шевеля губами, отвечает он. – Отрезали здесь, в госпитале. Началась гангрена»³.

Корреспондент выясняет, что солдат был ранен в бою при Голдапе, попал в плен. Отсутствие медицинского ухода у немцев стало причиной гангрены. Его спасло то, что русские отбили город у врага.

Федоров прервал свою поездку в декабре 1914 года, объяснив это тем, что разбился в автомобиле. Полученные им травмы были, видимо, несерьезными, поскольку 5 января находившийся в Москве Бунин записал в дневнике, что проводил Федорова на Николаевский вокзал. Тот ехал в Петроград, а оттуда снова в Варшаву. Ехал наверняка в качестве корреспондента, продолжая писать военные корреспонденции. Одним из заказчиков были «Одесские новости». Его статьи с фронта появлялись в газете вплоть до декабря 1915 года.

В 1916-м его отношение к событиям на фронте, надо понимать, изменились. Александр Митрофанович устал от собственного патриотического угара. Он не был одинок. 5 апреля 1916 года Бунин записал в дневнике:

«Все думаю о той лжи, что в газетах насчет патриотизма народа. А война мужикам так осточертела, что даже не интересуется никто, когда рассказываешь, как наши дела. “Да что, пора бросать. А то и в лавках товару стало мало. Бывало зайдешь в лавку...” и т. д.»

В 1916-й год Федоров вступил с новыми стихами, работой над очередным романом и переизданием трех старых: «Бумажное царство», «Его глаза» и «Камни». Последний переиздавался уже четвертый раз. Ему также нужно было хлопотать о сыне, призванном на военную службу.

Виктор на военной службе

Поступив в Одесское художественное училище, Виктор смог проучиться всего несколько месяцев. В первых числах января 1916 года его мобилизовали и отправили в Одесское артиллерийское училище.

¹ А.М. Федоров. С войны. С. 177-178.

² Там же. С. 194.

³ Там же. С. 23.

В письмах Катаеву на фронт Александр Митрофанович рассказывает, как сын проходит курс шестимесячной подготовки: тяжелая работа, присяга, практические стрельбы, назначение в тяжелую артиллерию и произведение в прапорщики. По этой воинской специальности его призывают на службу и в годы Второй мировой.

В этой напряженной атмосфере экзаменов, занятий, войны, ожидания мобилизации Виктор влюбляется. Его пассия – соседка Надя – дочь Леонида Ковалевского, у которого был куплен дачный участок. Отец не дожил до свадьбы младшей дочери полугода. После его смерти, по словам Александра Митрофановича, Надя почти что жила на их даче. В июле 1916 года молодые обвенчались. Виктору было 19 лет. Его супруге – 20.

В 1917-м у них родился первенец – Леонид, в семье его звали Лекой, а в 1918-м – Вадим или Вадя.

Виктор провел несколько месяцев на Румынском фронте, где получил чин подпоручика. Последним местом его службы стала прожекторная команда 2-го Артиллерийского участка береговой обороны. Она располагалась на Большефонтанском мысу, и на выходные он приходил ночевать домой. Это были праздники для родителей, дом наполнялся музыкой и пением.

Как могло случиться, что Виктор получил такое блатное, как теперь сказали бы, место? Скорее всего, что стараниями отца. Работа военного корреспондента могла свести его с теми, кто помог в устройстве его мальчика.

Надя Ковалевская рассказывала сыновьям, что Александр Митрофанович был лично знаком с военным министром Временного правительства А.И. Гучковым. Знакомство могло произойти еще до Февральской революции, на фронте, где Гучков служил в качестве представителя Красного Креста. Хорошо знал Гучкова и коллега Федорова – В.И. Немирович-Данченко. Мы не знаем, позволило ли именно это знакомство устроить Виктора, но оно позволило Федорову ходатайствовать за осужденного на смерть преступника, чье имя сохранилось в истории лучше имени самого Федорова. Речь идет о Григории Котовском.

Котовский

Хотя Александр Митрофанович был простого происхождения, проще, собственно, некуда – дед пастух, отец сапожник, – по роду занятий он принадлежал к той самой либеральной интеллигенции, которую одни считают совестью народа, другие – виновницей всех его несчастий. Правы, конечно, и те и другие. Как истинный сын своей среды, к тому же поэт, Федоров идеализировал бунтарей и в знаменитом бессарабском налетчике видел не обычного бандита, а шиллеровского Карла Мора.

Летом 1916 года Котовский был схвачен и приговорен Одесским военно-окружным судом к смертной казни. В ожидании казни узник жадно читал прессу, активно обсуждавшую его судьбу. Видя, что у него есть сторонники и, стало быть, дело его не безнадежно, Котовский написал письмо супруге генерала А. Брусилова с мольбой о помощи. Брусилов был в это время командующим Юго-Западным фронтом и одесский суд находился в его юрисдикции. По одной версии старый генерал уступил молодой жене, заменив казнь бессрочным заключением. По второй – грянула февральская революция, отменившая смертную казнь. Избежав петли, Котовский, естественно, озабочился сокращением срока, а то и обретением свободы. В кампании за освобождение благородного бандита активное участие принял и Александр Митрофанович.

Об этом подробно рассказал писатель-эмигрант Роман Гуль в вышедшем в 1933 году в Берлине сборнике «Красные маршалы». В главе о Котовском описана встреча последнего с Федоровым в камере смертников одесской тюрьмы. В качестве источника информации Гуль назвал статью самого Федорова «О разбойнике-генерале». Не располагая оригиналом, мы не можем обвинять Гуля в нарушении копирайта, но в репликах героев угадывается помпезный слог самого Федорова.

«Над Россией разразилась революция, буревестником которой был Котовский.

Уж отрекся царь, уж опустел Зимний дворец, власть над Россией взяли в свои руки русские интеллигенты. Но Керенский еще не успел отменить смертную казнь, и петля висела над Котовским.

За дело помилования взялся теперь известный писатель А. Федоров. Федоров Котовского не знал, но, вероятно, как писателю – Котовский был ему интересен.

Федоров вошел в небольшую узкую камеру, где сидел закованный Котовский.

<...>

Федоров увидел мускулистого силача, с красивым, немного грустным лицом и острыми пронизательными глазами. Когда Федоров сказал, что хлопочет перед Временным Правительством не только об отмене смертной казни, но и об освобождении Котовского, тот улыбнулся и ответил.

– Я знаю, что вас интересует во мне. Вы интересуетесь, как я представляю себе свою жизнь, сейчас, после революции? Да? Я скажу вам прямо, я не хочу умирать и хочу милости жизни, но я хочу ее, пожалуй, даже не для себя, я могу обойтись без нее. Эта милость была бы показателем доверия и добра, но не ко мне одному... Впрочем, – улыбнулся Котовский, – я бы постарался оправдать...

– Конкретно, – проговорил Федоров, – что вы хотите?

– Свободы! Свободы! – вскрикнул Котовский, зазвенев кандалами, – но свободы, которую я бы принял не как подарок, а как вексель, по которому надо платить. Мне тюрьма теперь страшнее смерти...

Котовский, задумавшись, помолчал. Потом заговорил, как бы сам с собой:

– Я знаю свою силу и влияние на массы. Это не хвастовство, это знаете и вы. Доказательств сколько угодно. Я прошу послать меня на фронт, где благодаря гнусному приказу № 1 делается сейчас черт знает что! Пусть отправят меня на румынский фронт, меня все там знают, за меня встанет народ, солдаты. И вся эта сволочь, проповедующая бегство с фронта – будет мной сломлена. Если меня убьют, буду счастлив умереть за родину, оказавшую мне доверие. А не убьют, так все узнают, как умеет сражаться Григорий Котовский.

Котовский говорил без рисовки, со спокойной твердостью.

– Нет, теперь умирать я не хочу. И верю, что не умру. Если смерть меня так необычайно пощадила, когда я уже был приговорен к казни и ждал ее, то тут есть какой-то смысл. Кто-то, судьба или Бог, – улыбнулся он, – но оказали мне доверие, и я его оправдаю. Теперь только пусть окажет мне еще доверие родина, в лице тех, кто сейчас временно ее представляют, – и не возвышая голоса он вдруг добавил:

– Мне хочется жить!

И с такой внутренней силой, которая почувствовалась в мускулах, в оживших темных, тяжелых глазах.

– Жить! Чтоб поверить в людей, в светлое будущее родины, которую я люблю, в ее творческую духовную мощь, которая даст новые формы жизни, а не законы, и новые отношения, а не правила.

Впечатление Федорова от посещения Котовского было даже сильнее ожидаемого. Хлопоты об освобождении пошли полным ходом. В “Одесских новостях” Федоров напечатал статью “Сорок дней приговоренного к смерти”. Статья прошумела и создала широкую волну за Котовского.

А когда в Одессу, проездом на румынский фронт, прибыл военный министр А.И. Гучков и здесь же был морской министр А.В. Колчак, в гостинице “Лондонская” Федоров добился с ними свидания. Министры отнеслись скептически к ходатайству писателя, но Федоров указал, что казнить нельзя, ибо революция уже отменила смертную казнь, оставить в тюрьме бессмысленно – все равно убежит. И министры согласились, что единственным выходом из положения является освобождение. К Керенскому пошла

телеграмма, и от Керенского вернулся телеграфный ответ: революция дарует преступнику просимую милость.

Прямо из тюрьмы освобожденный Котовский приехал к Федорову. Вздвигаясь от сжав его руку, глядя в глаза, Котовский сказал:

– Клянусь, вы никогда не раскаетесь в том, что сделали для меня. Вы, почти не зная меня, поверили мне. Если вам понадобится когда-нибудь моя жизнь – скажите мне. На слово Котовского вы можете положиться»¹.

Гуль – не историк в строгом смысле слова, на его тексты нельзя смотреть как на литературно обработанные документы. Но в данном случае Гуль использует статью самого Федорова об обстоятельствах знакомства с Котовским.

Котовский был официально помилован 6 мая 1917 года. От других 90 тысяч уголовных «птенцов Керенского», вышедших на свободу месяцем ранее, его отличало то, что распоряжение Керенского об его освобождении могло быть персональным.

В действительности Котовский вышел на свободу за несколько недель до официального освобождения, поскольку в одесской тюрьме случился бунт и охрана попросту разбежалась. Этому предшествовала серия указов Временного правительства, по сути ликвидировавших правоохранительные органы страны.

В день помилования Котовский появился в одесской Опере, где произнес пламенную революционную речь, сорвал бурные аплодисменты и на волне этого бешеного успеха продал свои кандалы. В аукционе, сообщает историк Э. Бурда, победил купец Гомберг. Он приобрел реликвию за три тысячи рублей.

Одесский краевед А. Розенбойм рассказывал, что в разговоре с ним В. Катаев сообщил, что Котовский действительно прятался на даче Федоровых, и «об этом все знали». Автор «Реального комментария к повести» Сергей Луцик со ссылкой на рукописные воспоминания одесского журналиста Алексея Борисова, в ранней юности знавшего А.М. Федорова, сообщает, что, действительно, в период Интервенции Котовский несколько недель прятался у того на даче, делая оттуда вылазки в город.

Вполне возможно. Французские войска появились в Одессе в ноябре 1918 года и покинули ее в начале апреля 1919-го. Из биографии Котовского известно, что он приехал в Одессу из Москвы в июле 1918-го и находился здесь на нелегальном положении вплоть до апреля 1919-го.

После демобилизации

Военная служба Виктора завершилась в апреле 1918 года. Попрощавшись с сослуживцами из команды маяка, он пошел домой. Его ждала большая любящая семья: родители, молодая жена, сыновья – и любимые занятия.

Апрель – особое время для Одессы. Весна начинает набирать силу, земля, окончательно избавившись от остатков грязного мартовского снега, словно делает первый влажный вдох. Солнце, ясное голубое небо, морской простор, пение птиц, легкая сыпь первой зелени – обещали новую жизнь, которую Виктор мог теперь всецело посвятить живописи. Уход большевиков только укреплял его надежду. Город в это время был занят австро-немецкими войсками и войсками Центральной Рады.

И действительно – осенью Виктор вернулся в училище, приступив к учебе в классе Кириака Костанди. Он также принял участие в выставках двух основных художественных групп Одессы – Товарищества южно-русских художников и их оппонентов – Независимых.

В этой насыщенной событиями жизни у Вити внезапно обнаружился еще один талант – вокальный. С помощью друзей семьи он попал в ученики звезды местной оперы, тенора Виктора Селявина. Без толики иронии того называли одесским Собиновым. Артистом тот был действительно

¹ Роман Гуль. Котовский. Анархист-маршал. Нью-Йорк: Мост, 1975. Цит. по электронной версии в Б-ке М. Мошкова: <http://lib.ru/RUSSLIT/GUL/kotovsky.txt>

выдающимся – в его репертуаре было 80 партий, и если кому-то из коллег случалось заболеть, он выходил на сцену без подготовки. Отец был в восторге. Увы, это счастье было скоротечным.

С осени 1918 года Одесса пережила безостановочную смену властей. С ноября по декабрь в городе официально три власти: польская стрелковая бригада; петлюровские части под командованием генерала Бискупского и Добровольческая армия под командованием адмирала Ненюкова. В декабре поляков и петлюровцев сменили французы. В апреле 1919 года французы, сославшись на проблемы с доставкой провизии оккупационному контингенту, покинули город, и в Одессу ворвались передовые части атамана Григорьева, за которым появились большевики.

В доходном доме Ждановой – это дом 16 на Екатерининской площади – расположилось ЧК. На город обрушилась волна террора. В числе первых жертв – 712 городских юристов, арестованных и тут же расстрелянных. С правосудием старого образца было покончено. Началось строительство нового мира.

Последняя одесская любовь Митрофанюча

Страница одесского журнала «Огоньки» от 27 (14) июля 1918 года отдана сообщению: «Наши писатели на отдыхе».

«Одесса в данное время стала местом, куда съезжаются на отдых наши любимые популярные писатели. За 16-й станцией, у монастыря, на даче живет целая литературная колония.

Здесь краса и гордость современной литературы: академ. Иван Бунин, и автор нашумевшего «Бирючьего острова» Ал. Кипен, и акад. Д.Н. Овсянко-Куликовский, и популярный А.М. Федоров, и начинающая молодая писательница Л. Знойко. Вместе на одной фотографии сняты талантливый С. Юшкевич и выдающийся еврейский поэт Х. Бялик».

На журнальной странице шесть фотоснимков названных авторов. На нижнем справа – молодая женщина у самовара – Л. Знойко. У нее узкое лицо, копна темных волос, полные губы, большие глаза. Ей должно быть около 30.

Первые ее публикации, которые мне удалось найти – в журнале «Нива». Рассказ «В подворье» за 1917 год и «Курсистка» и «Звезда» – за 1918 год. В том же году – шесть публикаций в одесском журнале «Жизнь», и еще одна – 1919 года, в одесском же журнале «Огоньки». Чем не начинающая и, добавим, плодовитая писательница?

О ее появлении в жизни Митрофанюча мы узнаем из дневника Веры Буниной в записи от 3 июля 1918 года:

«Федоров влюблен в писательницу Знойко и считает ее лучшей из всех писавших на земле»¹

Продолжение темы – 12 июля:

«Вчера Митрофанюч читал много стихов. Он сделал большие успехи. Сильный в нем ток напечения. Главное в стихах – любовь к Знойко. Вот вечно юный. Ян очень радовался его стихам. Все были довольны. Как приятно, когда автор читает хорошие вещи».

19 июля Федоровы отмечают двойной праздник, и присутствовавшая на нем Вера Николаевна записывает:

«Вечером у Федоровых – рождение Ал. Митрофанюча и день свадьбы Вити.

Ал. М. сегодня 50 лет. Что же сделано им за полвека? Написано много стихов, рассказов, драм, романов. Лучшее у него – стихи, но тоже не первоклассные. В этом году он сделал большие успехи в сонетах и других стихах, хотя тема одна – любовь. Но в этом он неиссякаем, тут такое напряжение тока, что дай Бог молодому.

Теперь он уже дедушка, имеет отличный дом, сад, перед глазами море. Сын – талантливый подающий надежды художник. Жена деятельная, энергичная женщина, отличная помощница в жизни и литературе, а он все же душой, всем сердцем не дома, так и рвется в Монастырь, но не для размышлений, а для любви...»

¹ Здесь и далее фрагменты из дневника Веры Буниной 1918-1919 годов. Русский архив библиотеки университета города Лидс. Великобритания. (Далее – РАЛ.)

Речь об Успенском монастыре, «огнистый крест» которого хорошо был виден из дома Федоровых. Действительно, замечательное место для романтических свиданий, а главное, идти до него недалеко – не более четверти часа. Но постепенно страсть разгорается до того, что свидания перемещаются из монастырского сада в собственный.

Возлюбленная приезжает даже на именины Александра Митрофановича, т.е. она вхожа в дом, хотя Лидия Карловна не может не догадываться о ее роли в жизни супруга.

23 октября подруга семьи – одесская писательница Елена Васильевна Недзельская приезжает к Федоровым и, направляясь через сад к дому, о ужас-ужас, обнаруживает, что хозяин «нажигает в кустах Знойку», – именно так описала эту сцену в своем дневнике Вера Николаевна, предоставляя своим будущим читателям возможность самим разбираться со значением глагола, которым она решила воспользоваться для описания любовной сцены.

Тут представляется уместным сказать несколько слов о Елене Васильевне, которой предстоит появиться на страницах этой истории. Она – еще один бесследно исчезнувший автор начала XX века, сидевшая за одним столом с великими современниками и надеявшаяся остаться в истории вместе с ними, причем не в качестве участницы веселого застолья.

Портрет Недзельской, правда, не назвав ее по имени, нам оставил Катаев – в «Траве забвения».

«Она была не только толстая. Она была мощная, могучая. Щекастая. С круглыми мускулами по сторонам небольшого ротика. С твердым яблочком подбородка. Черноволосая, чернобровая, с калеными щеками, властная и в то же время так мило, чисто по-женски млеющая между двумя знаменитыми академиками»¹.

Эти академики – Бунин и редактор «Вестника Европы» Овсяннико-Куликовский, бежавшие в Одессу от красных в 1918 году.

Бунин говорит о ней: «Вам, Елена Васильевна, не хватает маленьких черных усиков, и вы – вылитый... Петр Великий».

Катаев находит еще один способ уколоть писательницу, чей рассказ был опубликован в престижном «Вестнике Европе»:

«Теперь она уже как следует вошла в русскую литературу и чувствовала себя прекрасно.

Я, например, не вошел, а она вошла!»

В катаевском тексте очевиден временной сдвиг – рассказ Недзельской «Слепая» был опубликован в названном издании в 1915 году, а действие «Травы забвения» происходит в 1918-1919. Но с полувекового расстояния трехлетний зазор не кажется автору значительным, ему важна не дата публикации, важно показать собственную ироническую оценку ее успеха в виде юношеской зависти – я еще не вошел в литературу, а она вошла!

О, эта зависть! О, роковая эфемерность публикаций в престижных журналах! О, эта головокружительная мечта о писательской вечности пушкинско-шекспировского образца!

Задолго до того, как Катаев позавидовал Недзельской, последняя дико позавидовала Знойке и возненавидела Федорова. Почему? Да по той же причине. Вера Николаевна рассказывает в своем дневнике, как возмущается Елена Васильевна по поводу того, что Федоров представил Знойку в местном журнале как его сотрудницу! Боже мой, но почему?! Почему ее, эту девчонку, представил, а ее – Елену Васильевну – нет?! Какая чудовищная несправедливость, особенно остро ощутимая для читателя этого текста, до последних минут не знавших о существовании ни Л. Знойко, ни Елены Васильевны Недзельской, ни об одесских журналах «Жизнь» или «Огоньки», тихо истлевающих на архивных полках Одесского литературного музея. Последних живых свидетелей кипения редакционных страстей. Даже удивительно, что при таком их накале наградой подавляющему большинству их участников служит безвестность, а не бессмертие.

Вера Николаевна над этой любовной ситуацией, кажется, посмеивается, видя в ней пищу для досужих дачных пересудов. И она, и это даже странно, не замечает другого – чувств Лидии Карловны, чувств обманутой на глазах у всех женщины. Хотя она замечает, что та – отменная хозяйка и верная помощница мужа в его литературных делах. Митрофаных же для нее просто герой-любов-

¹ В. Катаев. Избранное. С. 124.

ник, над которым можно посмеяться, но не осудить. Она рассказывает, как, возвращаясь со своей спутницей из райских кущей на балкон, где, очевидно, находятся другие гости дома, Митрофаныч поправляет рукой роскошную шевелюру и замечает: «Какая гроза!»

Еще одна анекдотическая сцена, описанная в дневнике от 4 февраля 1919 года.

«Вчера были у Недзельских, застали у них Федорову. Она третий день там, так как трамваи не ходят. Федоров пишет роман. Героиня – Знойко. Девушка-курсистка, которая хочет быть профессором.

– Это – банально, если она чистая девушка, – сказал он, обращаясь к жене во время работы, – не лучше ли, Лида, сделать, чтобы у нее было падение, это усложнит ее душу.

– Нет, это еще банальнее, у кого теперь нет падений, – возразила Лидия Карловна».

Могла ли любовная связь с Лидией Знойко стать причиной того, что Александр Митрофанович покинул семью? Могла. А возможно, это Лидия Карловна попросила его уйти из дому, устав быть посмешищем в глазах близких ей людей: Буниных, Недзельских, Нилуса, многих других. Более чем посмешищем. Муж поставил ее перед мучительной необходимостью документировать свои похождения в своих художественных произведениях. Какая женщина способна выдерживать такое так долго, как это выдерживала личный секретарь Митрофановича – его несчастная супруга?

Отъезд отца

Интересно вот что – бурный роман Митрофановича и Знойко развивается, что называется, на фоне исторического катаклизма. Судя по дневниковым записям Веры Николаевны, роман по меньшей мере длится с июля 1918 года по февраль 1919-го. За это время в Одессе побывали австро-германцы, войска гетмана, войска Директории и, наконец, французы! Да что Одесса, империя рушится, а мой герой приятно проводит время в кустах с молодой любовницей. И ведь ненастья эпохи не обходят его стороной!

19 апреля 1919 года Бунин делает запись:

«Был А.М. Федоров. Был очень приятен, жаловался на свое бедственное положение. В самом деле, исчез последний ресурс – кто же теперь снимет его дачку? Да и нельзя сдавать, она теперь “народное достояние”. Всю жизнь работал, кое-как удалось купить клочок земли на истинно кровные гроши, построить (залезши в долги) домик – и вот оказывается, что домик “народный”, что там будут жить вместе с твоей семьей, со всей твоей жизнью какие-то “трудящиеся”. Повеситься можно от ярости!»¹

Иными словами, Федорова уплотнили, как попытались в то же время уплотнить самого Бунина. Ивану Алексеевичу удалось избежать этой напасти благодаря вмешательству жившего в это время в Одессе Максимилиана Волошина и связям Петра Нилуса. Они открыли в особняке, где квартировали Бунины, детскую художественную школу. Вера Николаевна стала ее заведующей, художники – педагогами, учениками – дети друзей и знакомых.

Вопрос о трудоустройстве стоял остро перед всеми, поскольку речь шла о жизни на советский паек или голодной смерти. Нилус пытается оправдать готовящийся поход за работой в Агитпросвет: «Искусство выше всего, и нельзя отказываться от того, что возвышает жизнь!» Бунин дает ответ, который впоследствии цитировался как стандарт отношений художника и власти: «Уж если нечего есть, так служи где-нибудь писцом или чем хочешь, но отдавать им самое дорогое – никогда!»

Узнав, что от сотрудничества с большевиками отказался его приятель Александр Абрамович Кипен, Бунин приходит в восторг: «Вот молодец! Да, если бы побольше таких, то не так легко было бы нас завоевать!»

30 мая Вера Николаевна делает запись в своем дневнике о том, что Нилус и Юшкевич едут на лошадях к Федорову, уговаривать его пойти на работу к новым хозяевам. «Лошади» – важная деталь. При новой власти электрический трамвай не ходит. Но искусство не трамвай, поэтому Нилус продолжает настаивать на том, что долг художника продолжать трудиться при любом режиме.

¹ Иван Бунин. Окаянные дни. Лондон: Заря, 1977. С. 58-59.

«Вечером Нилус рассказывает о своей поездке к Федорову. Ехали в отличном экипаже. Федоров сначала колебался, но под давлением жены согласился»¹.

2 июня Вера Николаевна сделала новую запись:

«Рано утром у нас взволнованный Федоров. Пришел пешком с Фонтана, чтобы отказаться от поступления в Агит-Пролетар.

– Нет, не могу, потерял покой после того, как согласился, – говорит он волнуясь. – Лучше голодать, чем работать с ними! Все равно толку у них не выйдет. Лучше идти на техническую работу, по крайней мере, ответственности не будешь нести.

Ян одобряет и поддерживает его».

Федоров снова появляется в дневнике Веры Николаевны 24 июня. Он приходит рано утром в дом на Княжескую, 27, и вместе с Буниным они выжимают только что выстиранное Верой Николаевной белье – быстро и весело. Вера Николаевна делает запись о Федоровых: «Они не голодают. Жена целый день занята хозяйством».

Из того же дневника мы узнаем, что Бунины живут почти впроголодь, один день у них на обед отварные кабачки, на другой – картофель с муляями, так Вера Николаевна, на французский манер, называет черноморские мидии. Город живет сообщениями о расстрелах. В числе жертв новой власти – судейские, ученые, медики, чиновники. Рассказывают о чудесных спасениях, в частности, о художнике Петре Ганском – его выкупили из ЧК за 70 тысяч рублей. Вести о еврейских погромах чередуются с вестями о восставших под Одессой немецких колонистах, которые встретили с оружием красноармейцев, прибывших к ним за лошадьми и зерном.

С первых чисел августа город наполняется слухами о готовящейся высадке добровольческого десанта и эвакуации красных.

Десант Добровольческой армии высадился ранним утром 23 августа. Легко представить семейство ошарашенных Федоровых, наблюдающих, как колонна освободителей проходит по люстдорфской дороге мимо их дома. Днем добровольцы вошли в город. Красные бежали, не оказав сопротивления. Наконец-то Бунин, Федоров, Нилус и многие другие авторы нашли работу по сердцу – в добровольческом варианте Агитпросвета – газете «Южное слово». Став редактором ее литературного отдела, Бунин, кажется, сполна получил за свои страдания, на работу его теперь возил персональный шофер в авто с триколором у ветрового стекла.

Счастье было недолгим – через два-три месяца в городе начались разговоры – куда бежать: в Крым, на Балканы или в Париж? Странно, но в этой трагической атмосфере работали театры, собирались литературные кружки, авторы читали свои произведения. В ноябре газеты сообщили о создании комитета по подготовке празднования 25-летия творческой деятельности Семена Юшкевича. В состав комитета вошли Бунин и Федоров. Торжество состоялось 19 декабря. Сообщение о нем – последнее документальное свидетельство об одесском периоде жизни А.М. Федорова. Недели не прошло, как он поднялся на борт болгарского парохода «Витязь», навсегда простившись с городом, в котором прошли самые творчески насыщенные годы его жизни. Вместе с ним ехал Петр Нилус.

Началась массовая эвакуация. Целью жизни стало приобретение места на пароходе союзников. Бунин описал один из этих пароходов глазами очевидца, в рассказе 1921 года «Конец»:

«...кого только не было на нем! Были крупнейшие мошенники, обремененные наживой, покинувшие город спокойно, в твердой уверенности, что им будет неплохо всюду. Были люди порядочные, но тоже пока еще спокойные, бежавшие впервые и еще не вполне сознавшие всю важность того, что случилось. Были даже такие, что бежали совсем неожиданно для себя, что просто заразились общим бегством и сорвались с места в самую последнюю минуту, без вещей, без денег, без теплой одежды, даже без смены белья, как, например, какие-то две певички, не к месту нарядные, смеявшиеся над своим нечаянным путешествием как над забавным приключением. Но преоблада-

¹ Устами Буниных. Посев, 2005. Т.1. С. 213. Цит. по электронной версии в сетевой Б-ке М. Мошкова: http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1810-1.shtml

ли все же настоящие беженцы, бегущие уже давно, из города в город, и, наконец, добежавшие до последней русской черты»¹.

По крайней мере, частичное объяснение поспешного бегства Федорова и Нилуса сводилось к банальному опасению за жизнь. Все то время, пока город находился под контролем Добровольческой армии, Александр Митрофанович с присущим ему страстным пафосом клеймил большевиков. Его внук Вадим со слов деда знал, что тот выступал под псевдонимом Маленький Барабанщик, но кто скрывался за этим псевдонимом, тайны не представляло. Нилус тоже проявил себя. Если весной он принимал участие в украшении города к Первомаю, то в сентябре активно участвовал в подготовке празднования Дня Добровольческой армии. Местная пресса отметила среди других хорошо потрудившихся художников Петра Александровича, автора эскиза плаката, вывешенного над городской Оперой – «Сила большевиков – ложь!»

Федоров и Нилус отбыли в Варну 25 декабря 1919 года, по новому стилю – 6 января 1920-го. Бунин с Верой последовали за ними через месяц – 24 января 1920 года на французском пароходе «Спарта».

Нам неизвестно, как Александр Митрофанович простился с семьей. Неизвестно, было ли прощание.

Косвенно версию о семейном разрыве подтверждает, во-первых, то, что в порту Александра Митрофановича, кажется, не провожал никто из его родных, во всяком случае, Вера Муромцева не упоминает никого из них; во-вторых, он уехал из Одессы в последних числах декабря 1919 года, а его связь с Лидией Карловной установилась только в августе 1920 года. Это восемь месяцев молчания!

Пожалуй, мы не рискуем сильно ошибиться, сказав, что оставляя в Одессе 53-летнюю супругу, 51-летний беглец смотрел на эмиграцию как на новый, не обязательно трагический, поворот судьбы. В конечном итоге он был популярным литератором, полным сил и уверенности в себе.

Есть еще одно косвенное указание на семейный разрыв. В сентябре 1921 года Елена Васильевна Недзельская с мужем и дочерью бежали в Бессарабию и осели в Кишиневе. Финансовое положение их было отчаянным. На одном из их писем В.Н. Буниной есть приписка о том, что письмо было отправлено с двухнедельным опозданием «по бедности», т.е. не было денег на марку. И тем не менее в мартовском письме 1922 года Недзельские пишут, что хотят вытащить из Одессы Лидию Карловну Федорову. Александр Митрофанович в это же время получал стабильное жалованье, но ни разу такого пожелания не высказал. Хотя прекрасно знал, что той грозит голодная смерть. История о том, что-де та осталась спасать дом, кажется весьма сомнительной. Никакой дом не спасают ценой жизни.

Но бежал ли он со своей Знойкой, как бежал герой Катаева – отец художника Димы – со своей «красоткой из “Альказара”»?

Мы можем ответить уверенно: нет. Красотка осталась в Одессе. Подтверждений этому не сколько.

Нилус, поднявшийся с Федоровым на борт «Витязя», а затем деливший с ним крохотный номер в варненской гостинице, где их поселили по прибытии в Болгарию, ни о какой спутнице Федорова не говорит. Они все время были вдвоем. А вот в дневнике Веры Буниной есть короткая, но очень важная запись, датированная 18/31 январем 1920 года – «У Знойки умер отец». И это – последнее, задокументированное событие из жизни писательницы Л. Знойко, из дошедших до нас.

Через неделю Бунины навсегда покинули Россию. После месячных мытарств в Константинополе они приехали в Болгарию, где их встретили Федоров с Нилусом. В Болгарии Бунины пробыли совсем недолго, отсюда они направились в Белград, а в конце марта уже были в Париже. Нилус часто пишет другу Ивану, рассказывая о своей жизни в Болгарии. 20 июня 1920 года он сообщает: «...Федоров, как ты говоришь, “подосрлся”, изменил Знойке, дефлорирует двух курсисток, препоганых»².

¹ И. Бунин. Конец. Цит. по электронной версии Б-ке М. Мошкова: http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_2010.shtml

² Письма Нилуса Буниной. РАЛ.

Как говорится, любовь прошла. Трудно сказать, кто остыл первым – Митрофаньч или его Знойка. Остыл ли он еще до отъезда из Одессы, поэтому и не прихватил ее с собой? А может быть, хотел прихватить, да она не могла уехать? Планировали ли они встретиться за границей позже – и встретились ли? Мы не знаем.

В Болгарии

После Одессы спокойная и изобильная Болгария показалась Федорову и Нилусу землей обетованной. Приняли беженцев как настоящих братушек, даром что совсем недавно болгары воевали против них на стороне кайзера.

Федоров и Нилус оказались в кругу ведущих болгарских литераторов, театральных деятелей, художников и ученых. В это время Федоров сдружился с директором национальной библиотеки Болгарии писателем Стилияном Чилингировым, ставшим одним из его настоящих ангелов-хранителей.

В Софии Федоров снял комнату в доме полковника Желязова, получил должность преподавателя русского языка и литературы в гимназии, читал лекции в военном (юнкерском) училище. На одной из таких лекций его слушателем был сам царь Борис III.

Начало иммигрантской жизни Нилуса было еще более успешным. Уже в апреле в стенах столичного художественного училища состоялась его персональная выставка.

Два его майских 1920 года письма Буковецкому – добросовестные отчеты, которые должны помочь оставшемуся в Одессе другу составить четкое представление о том, на что он может рассчитывать в Болгарии. Второе письмо завершается выражением надежды на скорую встречу. Здесь же мы находим информацию о Федорове.

«Судьба связала меня с Митрофаньчем, который *несмотря ни на что (курсив мой – В.Я.)*, товарищ неплохой, и поехали мы вместе на пароходе, и в карантине, и в Варне рядышком, потом жили в отеле в одной комнатке, величиной с обеденный стол. <...> Митрофаньч стал учителем русского языка в гимназии и получает 1000 левов в месяц – кое-как жить можно... <...> Митроф<аньч> очень тяготеет уроками, впрочем ему обещают синекуру, он будет причислен к городской библиотеке, а директор библиотеки отпустит его на свою вольную работу – только, мол, не уходите от нас. <...> Митрофаньч имеет большой успех как поэт и особенно тчец, но денег за свое искусство почти не получает»¹.

Подробно сообщая о собственных заработках, в частности о том, что лишь одна выставка – из пяти картин побольше и пяти маленьких – принесла ему 48 тысяч левов, Нилус заключает:

«Как видишь, я оперился и, кажется, являю собой всеобщую зависть среди “русняков” т.е. русских; конечно, я в лучших условиях, чем многие из них – имею в руках ремесло, по крайней мере, временно дающее деньги, но что будет впереди, когда вся Европа на дрожжах, не может успокоиться... Все было бы хорошо, если бы я не чувствовал, что страдаешь ты, сестра и друзья. От этой тяжести я, кажется, никогда не избавлюсь»².

Письма Нилуса Буковецкому совершенно откровенны, и он, в частности, не скрывает от друга, что у них с Митрофаньчем «уже есть приятели-пьяницы», с которыми они по преимуществу и общаются. Тем не менее в освещении именно этой стороны их иммигрантской жизни Нилус проявляет деликатную сдержанность. Совершенно иначе выглядит отчет, который Нилус шлет в Париж другу Ивану в июне 1920 года:

«Поведение и мое и Федорова улучшилось, меньше пьем, но одно время у него нога распухла и посинела как х_й и проступили на щеках кровавые печеночные прожилки. (Он тоже собирается в Прагу ехать. На каникулы.) Хотя Федоров, впрочем, как ты говоришь, “подосрался”, изменил Знойке, дефлорирует двух курсисток, препоганых. Я же чист, как алмаз, раз, впрочем, и я чуть не наделал глупостей. Собираемся мы по субботам у Попицини. Федоров читал стихи Майкова, Фета

¹ Петр Нилус. Письма из эмиграции. Одесса: Optimum, 2007. С. 44.

² Там же. С. 46.

и Тютчева, три вечера. И этот сукин сын имеет наглость доказывать, что театр пошлость, что песю можно только читать, а что все лицедеи извращают писателя.

А стихи! Вот уж подлинно, это то, чего читать публично ни под каким видом оправдания нельзя: автор читает, это другое дело. Самое интимное и драгоценное куда-то проваливается, и остается чтец, который своей спермой и обмазывает автора, и чем лучше чтец, тем хуже для автора. Я его, сукиного сына, жестоко изругал.

Митрофаныч пописывает стихи и довольно часто. Раз приносит стишки в строк 200... Сюжет: плач по покинутому дворцу, гениальному сыну и проч. И хоть бы на медный грошик страдания, истинной тоски! Что это значит? Ведь не в Митрофаныче дело, а в том, что все иеремиады журналистов, писателей, все, что писалось и пишется о войне и большевизме, о гибнущей России, лишено истинного негодования, скорби; даже лучшие, талантливейшие люди ничего не могут поделать.

Живем мы здесь не худо. Митрофаныч и я заказали себе по летнему костюму, я даже купил себе новую, отличную шляпу и ботинки. Впрочем Митрофанычу со мной не равняться, я – *nouveau riche*. Устроил выставку, и продал на 48 тысяч левов картин, причем еще 3 (лучших) остались! Правда, эти левы, как проворные тараканы, быстро разбегаются – вот была целая куча и уже немного осталось; но все же я чувствую почву под ногами. Впрочем, не все деньги и получил, сильно задерживает музей, да один заказ, а это составляет 16 тысяч, если не дополучу – будет весьма и весьма тошно.

Пока что, от непрерывных пьянств – была такая серия – дает себя знать подагра, нужно ехать лечиться, а на лучших курортах жизнь очень дорога; есть надежда, что на курорте можно написать “излюбленные” виды и отбить затраты на лечение, во всяком случае, я хочу с этой целью ехать на самый дорогой курорт, куда съезжаются только богатые “софийцы”. Устроил я для болгарских и русских друзей пикник, который очень удался. Мы отправились пешком в Княжево, пировали там до поздней ночи, устроили манифестацию какому-то кучеру, потом не нашли ничего лучшего, как (в два ночи) пойти на вечеринку и там танцевать.

<...>

Наконец я нашел воистину прекрасное вино – пазарджицкое (город Пазарджик), которое не уступит многим европейским безбукетным винам. Только в том кабаке несвежая еда; раз отравился один полковник, до того, что упал без чувств и даже ранил нос, а потом и я “весь позеленел” – сказал Митрофаныч, мало того, скажу я, “покрылся предсмертным холодным потом”... но через час мы сидели уже в другом кабаке и пр. Вот так мы проводим наши “досуги”. Особенно был отвлечен один вечер, когда я поужинал 3 раза...»¹

Отрезвление

Загул Федорова и Нилуса завершился в августе 1920 года, когда последний в поисках более дешевой жизни и новых заказов отправился из Болгарии в Австрию. Накануне отъезда друга Федоров пишет Бунину:

«О своей семье до сих пор ничего не знаю, и эта неизвестность сводит меня с ума. Если бы можно было уехать в Одессу, я бы поехал, несмотря ни на что.

Напиши, что ты делаешь, как здоров. По-видимому, дела твои поправились, что очень нас с Петром радует. В Софию ты, конечно, не приедешь. Уедет Петр и я останусь в одиночестве. Помогите мне вырваться в Париж»².

Одна фраза в этом письме кажется не вполне искренней: «Если бы можно было уехать в Одессу, я бы поехал, несмотря ни на что». А что, собственно, останавливало? Пароходы ходили постоянно. Наверное, в Париж все же хотелось сильнее.

Теперь мы возвращаемся к вопросу: что стояло за восстановлением его связи с Одессой только через восемь месяцев после отъезда? Да, связь с Одессой была ненадежной и письма, бывало, про-

¹ Письма Нилуса Бунину. РАЛ.

² РАЛ.

падали, но связь была, что подтверждает сохранившаяся переписка Нилуса и Буковецкого. Почта тут ни при чем. Нам остается лишь предположить, что Лидия Карловна сама разыскала мужа, когда ситуация в Одессе приобрела драматический характер – арестовали Виктора и ей нужна была помощь. Нужны были деньги, и она обратилась к тому единственному человеку, который всю жизнь исправно обеспечивал ее – мужу.

С августа 1920 года между Одессой и Софией устанавливается относительно регулярная переписка. Выясняется, что Витю арестовали в середине июня 1920 года. Александр Митрофанович узнал об этом в августе, сообщив об этом Нилусу, который тут же передал известие Бунину:

«Получил письмо от Митрофаньича. Оказывается Витя сидит в тюрьме в качестве заложника, что конечно обязывает Митрофаньича к молчанию – одним политическим работником меньше...»¹ 10 октября Федоров пишет Бунину:

«Ты м.б. знаешь от Нилуса, что Витя у большевиков заложником. Два раза он был накануне смерти и два раза Бог чудом спасал его. Я имел неделю тому назад письмо от семьи. Там, видно, голодают»².

С большим опозданием Федоров-старший узнает, что июньский арест – второй. После первого – февральского – Виктора освободили благодаря вмешательству Котовского.

10 декабря 1921 года он докладывает в Париж новые подробности:

«Я уже писал тебе, что Витя дважды был накануне расстрела: один раз его сказочно спас Котовский, другой раз одесские профессора и художники, которые подали в ЧК петицию и его помиловали, как выдающегося художника. Все же он в их власти, лишен свободы и я с ума схожу вот уже два месяца в тревоге за него и за всю семью, которая голодает»³.

Надя Ковалевская о первом аресте мужа

В 80-х годах прошлого века сын Виктора Федорова – Вадим решил записать воспоминания матери – Надежды Леонидовны Ковалевской на магнитофонную пленку. Она сохранилась в семейном архиве. Из этой записи следует, что после возвращения Добровольческой армии поручик Виктор Федоров мог быть снова мобилизован или же приписан к какому-то воинскому подразделению на случай активных военных действий или эвакуации.

Эвакуация началась 6 февраля 1920 года и продолжалась еще две недели. Армию вывозили в Крым. Виктору и его подразделению места на отходивших из порта судах не хватило.

Как рассказала Надежда Леонидовна, она, дети и Лидия Карловна жили в это время на Соборной площади, занимая квартиру друзей семьи – Ценовских. Глава семьи Антон Антонович был известным медиком, журналистом и музыкальным критиком. Из Одессы он уехал в Москву, где с 1923 года работал в качестве музыкального критика в газете «Труд». А в феврале 1920 года в квартиру на Соборной пришел посыльный, сообщивший, что поручик Федоров не попал на пароход и со своей частью направляется в Румынию. Вместе с Виктором был и его шурин Сергей Хрусталев – муж Марии (Маруси) Ковалевской – старшей сестры Нади.

В семье быстро сообразили, что отступающие пойдут по Большефонтанской дороге и должны будут миновать дачу!

Надя, неоднократно проходившая от городской квартиры на Соборке до дачи, зная, что у нее уходит на 15-верстную дистанцию четыре часа, бросилась за мужем. Несмотря на то, что она была тепло одета, пока добралась до дачи матери, промерзла до костей – с моря дул ледяной ветер.

Мать сообщила, что отряд прошел час назад. Надя отказалась от предложенного чая и настигла мужа в Люстдорфе. Здесь же были Сергей и Маруся. Они провели вместе не более четверти часа, перед тем, как отряд возобновил движение.

¹ РАЛ

² Там же.

³ Там же.

Виктор посетовал на то, что впопыхах забыл перчатки. Надя сняла свои, но они были ему малы. Она тогда отдала ему шерстяные чулки.

Сестры вернулись к матери, где и заночевали.

«Очень грустно было, – вспоминала Надя. – Но мы были уверены, что скоро они вернутся и выбросят красных».

Месяц семья не знала о судьбе Виктора и Сергея. По слухам, они перешли Днестр в районе села Троицкое. Впоследствии Виктор рассказал ей, что румыны их приняли, накормили и устроили на ночлег, но в 4 утра всех подняли и сообщили, что отряд должен вернуться в Россию. Почему?! Румынские власти остерегались, что беженцы могут принести с собой тиф или холеру. Отряд двинулся на Тирасполь.

В дороге колонна подверглась нападению красных. За призывами сдаться без боя и обещанием помилования последовало ограбление. Снимали обручальные кольца, Виктору предложили на выбор – отдать либо бекешу, либо китель на меху.

Отряд – уже под конвоем – довели до Тирасполя. Здесь задержанных посадили в теплушку и отправили в Одессу. В дороге Хрусталеv рассудил, что если им не удастся бежать, то в Одессе их ждет ЧК и расстрел. Виктор вспомнил, что на одной из станций – по пути их следования – живет доктор, который был дружен с отцом и бывал на их даче. Он мог укрыть их. Им удалось выбраться из вагона и, когда состав ушел, разыскать доктора. Доктор направил их к себе домой, поручив работам супруги. При виде беглецов та всплеснула руками: «Виктор, ты? Но почему такой вид?!»

Последовали объяснения, купание, облачение в докторские вещи, беглецов накормили.

Вернувшийся медик сообщил, что их новый постоялец – комиссар расквартированного на их станции отряда красных под командованием Котовского.

«Если вы столкнетесь с этим комиссаром, – спросил доктор, – как вас представить ему?»

Виктор ответил, что им нужно только одно – встретиться с Котовским лично.

Комиссар, порядочный и симпатичный, по пересказу Нади Ковалевской, человек, эту встречу устроил. И Котовский выдал Виктору и Сергею отпускные в Одессу как бойцам своего отряда.

Описанные события происходили в феврале-марте 1920 года. В это время Котовский командовал кавалерийской бригадой 45-й стрелковой дивизии. По словам Нади, именно с его помощью Виктор вернулся на старое место службы в прожекторную команду. Вместе с ним к этой же команде были приписаны Сергей Хрусталеv, младший брат Нади – Андрей и сама Надя – в качестве машинистки канцелярии. Из всех, кажется, только Хрусталеv попал на свое место – по образованию он был инженером-электриком.

Есть еще одно свидетельство, подтверждающее то, что Виктор попал в прожекторную команду, т.е. вернулся на старое место службы возле дома, благодаря Котовскому. Об этом говорится в показаниях арестованной в 1937 году Лидии Карловны.

Лушик, получивший в 90-е доступ к архивам КГБ, сообщает, что в протоколе допроса Лидии Карловны, написанном рукой следователя, говорится, что Котовский «встретил ее сына в растерянности в период отхода белых и помог ему устроиться в прожекторную команду»¹.

Это произошло в феврале 1920 года.

Все сходится.

Второй арест Виктора

Весной 1920 года Виктор с Надей, детьми и Лидией Карловной вернулись на Дачу Ковалевской. Маруся с Сергеем и двумя дочерьми жили рядом – на даче бежавшего миллионера Севастопуло.

Службу рядом с домом, действительно, можно было получить, только располагая влиятельным покровителем.

Не все было совершенно гладко, поскольку приписанный к команде комиссар заявил, что муж и жена – он имел в виду Виктора и Надю – на одном военном объекте служить не могут. Как же

¹ С.З. Лушик. Реальный комментарий к повести. Одесса: Optimum, 1999. С. 189.

быть? Ведь речь шла не просто о службе, а о пайке – бесценном в это голодное время. Виктор тогда предложил Наде развестись. В ЗАГСе Надя объяснила, что решила расторгнуть брак, поскольку муж оказался пьяницей. Комиссар, получив справку о разводе своих сотрудников, ею вполне удовлетворился.

Бедой пришла летом. На даче появились двое мужчин для конфиденциального разговора с Виктором. Одного из них Надя встречала на Фонтане и даже помнила фамилию – Крыжановский. Второго, темнолицего, похожего на румына, видела впервые. Виктор был еще на службе, и она предложила им дождаться его в беседке. Они дождались его и долго говорили о чем-то.

Когда ушли, Виктор объяснил Наде, что гости связаны с белым подпольем и по их данным в районе скоро будет высажен новый десант. Нужна помощь – отключить прожектор во время высадки. Предложили деньги, но Виктор вызвался сделать это бесплатно.

Надя бросилась за Сергеем, который, услышав этот рассказ, схватился за голову: «Как ты мог?! Ты их вообще знаешь?!»

Семья замерла в ожидании.

Тут уместно сообщить, что происходило в Одессе, оставленной в начале февраля того года белой армией и союзниками-французами.

3 марта в Одессу прибыл отряд чекистов в составе 79 человек под руководством Станислава Реденса. Заместителями Реденса стали Макс (Мендель) Дейч и Леонид Заковский. Задачей чекистов была ликвидация в городе всех, кто мог поддержать высадку еще одного десанта, если таковая будет иметь место.

Одесское губстатбюро опубликовало статистические данные за 1920 год. За 11 месяцев советской власти в Одессе в 1920 году ЧК было арестовано 10225 человек. Из них: расстреляно – 1418, отправлено в концлагеря – 1558, освобождено – 4644 человек. Об оставшихся – 2605 душах – в отчете ничего не говорится. На конференции одесских чекистов, отчитавшихся за годовую работу, прозвучали более скромные цифры «За первые 8 месяцев работы арестовано 8000 человек, из них 700 человек расстреляно с формулировкой “контрреволюция и белогвардейщина”, 3000 отправлены в лагерь».

Красный террор в Одессе поддержал гость города – нарком просвещения Луначарский. В письме Ленину он попросил того прислать в Одессу Дзержинского и поддержать своим «огромным авторитетом» местную ЧК. Дзержинский отреагировал на просьбу наркома, написав Реденсу: «Всё, что я слышал о вашей работе, свидетельствует, что вы полностью на месте...».

Дзержинский лично прибыл в Одессу в июне 1920 года и потребовал от местных товарищей «активизации борьбы с контрреволюцией». Отвечая конкретными делами на призыв начальника, одесские чекисты, как вспоминал зам. ГубЧК тов. П. Подзаходников, «уничтожили многочисленные контрреволюционные организации с сотнями членов».

Террор принял такие масштабы, что конференция беспартийных, проходившая в октябре 1920, потребовала ликвидировать ЧК. Ответ на требование был напечатан в одесских «Известиях»: «Говоря о смертной казни, тов. Дейч указал, что фактически в рамках работы ЧК нет смертной казни, а есть расправа с теми контрреволюционными элементами, которые стоят на пути строительства рабочего государства... о необходимости гласного суда тов. Дейч указал, что в настоящий момент это невозможно».

Дело о «Врангелевском заговоре на маяке», к которому оказались причастными Витя Федоров и его шурин Сергей Хрусталева, могло быть подарком одесских чекистов начальству. Эту версию в свое время предложил Лушчик.

В своих аудио-мемуарах Надежда Ковалевская вспоминала, как ее разбудил поднявшийся с постели Виктор. На часах было 5 утра.

- Что-то случилось? – спросила она.
- За мной пришли, – ответил Виктор.
- Кто?! Где?!

Виктор кивнул в сторону открытого окна: перед домом стояла группа красноармейцев с винтовками.

13 и 14 июня 1920 года была арестована вся прожекторная команда и члены их семей. Вместе с поручиком Федоровым из дому вывели Надю и Лидию Карловну. Детей пришлось оставить с садовником. По мере того, как конвоиры вели их в сторону 16-й станции Большого Фонтана, к ним присоединили арестованного Андрея Ковалевского, а затем и Сергея Хрусталева с Марусей. Первая остановка была на 16-й станции, где их допросили. Допрос вел чекист Вадимов, в котором Надя узнала артиста местной оперетты. Высокий, статный, в шинели до пола и в буденовке, он и в новой должности походил на опереточного героя. После проверки списков арестованных, женщинам разрешили вернуться по домам, а мужчин – порядка 40 человек – повели в город.

Осенью того же года признанные виновными по делу о «Врангелевском заговоре на маяке» были расстреляны. Ни Витя Федоров, ни его шурин в их число не попали. И это странно.

В 1996 году ветеран КГБ Марк Штаркман рассказал о своей службе в Одесском ЧК в 1920 году¹. Первым его заданием было внедрение в качестве рядового работника в прожекторную команду. Согласно его отчету, Сергей Хрусталева действительно занимался преступной деятельностью. Он был либо членом белогвардейского подполья, либо соучастником контрабандистов. При нем прожекторы работали со сбоями. Виктор Федоров был связным. После ареста всей команды работа была налажена. Если верить воспоминаниям Штаркмана, Виктор и Сергей должны были быть расстреляны. Но они уцелели.

Надя Ковалевская вспоминает, что после июньского ареста Витя и Сергей провели месяц и три недели в концлагере под Одессой. Скорее всего, речь идет о лагере в селе Березовка. Его пришлось создать после того, как узники заполнили до отказа городской, созданный на территории Кадетского корпуса, – всего несколько лет назад Виктора обучали здесь артиллерийскому искусству. В этом лагере содержалось 1200 заключенных. В Березовку Надя и Маруся возили мужьям продукты, но свидания были запрещены.

Если Виктор Федоров и его шурин были арестованы в середине июня 1920 года, значит, следуя воспоминаниям Нади, Виктора освободили в первой половине августа, а Хрусталева задержали еще на полтора месяца. Надя объясняла задержку тем, что чекисты хотели склонить Хрусталева к сотрудничеству.

И снова Александр Митрофанович узнает об освобождении сына с опозданием. 13 марта 1921 года он пишет в Париж:

«Милый Иван Алексеевич, спешу поделиться с тобой и В.Н. моей радостью. Сейчас получил телеграмму из Варны с парохода, пришедшего из Одессы. Витя на свободе, живет с семьей на даче»².

Через месяц следует более подробный отчет:

10 апреля 1921 г.

«Милый Иван Алексеевич, я слишком поспешил поделиться с тобой моей радостью. Из полученного от Л.К. письма я узнал к сожалению, что Витя был освобожден уже с надломленным здоровьем и, хотя он на свободе, после перенесенных потрясений и воспаления легких, у него кажется начался туберкулез. В доме нищета и голод, хотя Витя и состоит заведующим художественной секцией ибо от военной службы он по болезни освобожден. Л.К. пишет, что он мог бы поправиться, но необходимо хорошее питание, а «дома как будто крысы выели», продавать больше нечего»³.

Осенью 1921 года в письме Вере Николаевне Александр Митрофанович рассказывает:

«Л.К. с детьми осталась на даче. Витя прикомандирован (?) к консерватории и живет с Надей в городе. Как будет дальше, выдержат ли эту зиму при тяжелых материальных условиях – не знаю.

¹ О. Ибрагимов-Капчинский. От «Рыси» к «Зеленому черту» // Новости разведки и контрразведки. М., 1996. №17 (74). С. 3.

² РАЛ.

³ Там же.

Прошлой зимой еще было топливо и рубили деревья, а нашу часть вносили мы на топливо мебелью. Хотел бы успокоить и ободрить Вас, но никак не могу»¹.

Соболь

Для сюжета катаевского «Вертера» было вполне достаточно одного ареста и одного спасения главного героя. Но в жизни Виктор Федоров дважды оказывался в ситуации, которая могла для него окончиться расстрелом. Первый раз его спас Котовский. Кто же был его вторым избавителем от верной смерти в страшном гараже одесской ЧК?

По словам Александра Митрофановича, его мальчика спасли подавшие в ЧК петицию одесские профессоры и художники. Сам Виктор, спустя много лет, вспоминает мать, вымолившую его спасение у престола Господня. Но Катаев, в чьей повести, кажется, нет случайных персонажей, рассказывает, что помощь пришла от другого человека – бывшего политкаторжанина, писателя Серафима Лося, хорошо знавшего главу одесской ЧК Макса Маркина. К Лосю пришла с мольбой о спасении сына мать художника Димы.

В Одессе первым назвал прототипа Серафима Лося Евгений Голубовский. Им был популярный автор начала 20-х Андрей Соболев. Догадка подтвердилась, когда С. Лушник получил доступ к рукописи «Вертера». Первоначально Катаев называл этого персонажа его реальным именем!

Соболев относится к той же категории забытых авторов начала XX века, что и Федоров. Можно было бы сказать «незаслуженно забытых», но, согласитесь, как упомянуть и сохранить их всех, если на уцелевших, хрестоматийных, времени в наш стремительный век не остается? Что ж, тем интереснее открытия!

История жизни Андрея Соболева самым органичным образом вписывается в наше исследование, он – плоть от плоти своего века, его жертва, как и Федоровы.

Андрей Соболев, он же Юлий Михайлович Соболев, он же Израиль Мойсеевич Соболев, родился в 1908 году в Саратове. В 18 лет от вступил в группу сионистов-социалистов, был арестован, судим и приговорен к четырем годам каторжных работ на «Колесухе». Так называлась Амурская колесная дорога, построенная для грузовых транспортных перевозок между Хабаровском и Благовещенском. Здесь он сблизился с видными эсерами, здесь заболел чахоткой, отсюда бежал в 1909 году за границу. Первая мировая застала его в Париже. В 1915 году он вернулся в Россию, работал военным корреспондентом на Кавказском фронте, в 1917 стал комиссаром Временного правительства при 12-й армии, защищавшей Петроград.

До революции выпустил несколько книг прозы, но известность ему принесла повесть «Салон-вагон», которая вышла в 1922 году. В том же году он занял пост секретаря Всероссийского союза писателей. Его подпись стоит на членском билете С. Есенина.

На фото в Википедии – молодой человек с узким лицом, полными губами и шевелюрой Блока. По словам Катаева, профиль его напоминал лосиный – отсюда имя в повести – Лось.

С юности подверженный депрессиям, несколько раз пытавшийся покончить с собой, Соболев, в конечном итоге, преуспел в этом 8 июня 1926 года, застрелившись под памятником Пушкину на Тверском бульваре. Он выстрелил себе в живот, и в фольклорной традиции это было истолковано как последнее подражание поэту, скончавшемуся от аналогичного ранения.

Соболев не подражал Пушкину, хотя место для сведения счетов с жизнью было выбрано знаковое. Его проза была самобытной, живой и яркой, какой была в то время проза многих молодых литераторов, приехавших в Москву с юго-запада страны.

«Поезд, прорезав лесок, выплыл в степь, и вскоре июльская ночь полной горстью бросила в окна запахи трав и жарко распустившихся цветов, бросила щедро, богато, расточительно, как расточительна бывает только после дневного зноя летняя ночь, опоясанная степью»².

¹ РАЛ.

² А. Соболев. Салон-вагон. Цит. по электронной версии в Б-ке М. Мошкова: http://az.lib.ru/s/sobolx_a/text_0010.shtm

Катаев очень хорошо знал Соболя. В течение 6-7 лет жизнь двух молодых литераторов двигалась по одному маршруту из Одессы – через Харьков – в Москву. Именно близкое знакомство позволило Катаеву ввести в повесть даже такую небольшую деталь из биографии товарища, как его знакомство с начальником одесской ЧК по Колесухе. «...я не посмотрю, что мы когда-то вместе были на колесухе. Мы враги»¹. – говорит Маркин Лосю.

И даже повесть «Салон-вагон» отразилась в «Вертере». Рассказчик трагической истории художника Димы, как и герой Соболя – комиссар Временного правительства Гиляров, движется в прошлое на поезде-воспоминании. Их вагоны, покачивающиеся на ходу, постукивающие колесами, погружающие читателя в гипнотическое состояние, как будто находятся в одном и том же составе.

Характер писателя всегда присутствует в его тексте. И в готовности вчерашнего революционера Андрея Соболя вырывать из рук соратников по борьбе старых товарищей по литературной жизни, мы можем увидеть ужас комиссара Гилярова перед кровавым революционным террором, за который он несет личную ответственность, жертвой которого становится сам.

Со ссылкой на воспоминания воронежского театрального художника Николая Данилова, Лущик рассказывает, что Соболев, в 1919-20-е годы находившийся в Одессе, хлопотал о попавших в ЧК товарищах, пользуясь личным знакомством с начальником этого учреждения Максом (Менделем) Дейчем.

Среди спасенных Соболев был и сам Данилов. В 1919-20-е годы он учился в Одесском высшем художественном училище, то есть был соучеником Вити Федорова! Данилов писал стихи, проводил много времени в кругу молодых литераторов, где и познакомился с Соболевым.

Знал ли Виктор Андрея Соболя – неясно, но мы можем с большой долей уверенности говорить, что Соболев был знаком с Федоровым-старшим. Эта уверенность зиждется на том, что общность опыта обычно привлекает людей друг к другу. Соболев был земляком Александра Митрофановича, оба много скитались по миру перед тем, как осели в Одессе, в годы Первой мировой оба были военными корреспондентами.

Летом 1920 года, в своих метаниях между старыми друзьями семьи, несчастная Лидия Карловна могла узнать о чудесном спасении Витиноного соученика. Она встретила с Даниловым и, после разговора с ним бросилась к Соболеву, в котором увидела свой единственный шанс спасения сына.

Как легко эта последовательность событий укладывается в простой жизненный сюжет, не правда ли? Отсюда, кстати, и упомянутая Александром Митрофановичем роль соучеников в освобождении Виктора.

Побег Виктора

История бегства Виктора Федорова из Одессы пестовалась его детьми, которые эту историю многократно слышали от матери – Надежды Ковалевской.

Лущик нашел последний документ о пребывании Виктора Федорова в Одессе, датированный 7 октября 1920 года. Дата и автограф стоят на эскизе агитационного плаката из фонда Одесского историко-краеведческого музея. Эта дата логично вписывается в хронологию событий Н. Ковалевской, из которой следует, что муж, арестованный в середине июня, мог быть освобожден в августе, а в октябре «малевал плакаты» в одной из художественных мастерских города.

Мы можем даже предположить, в какой именно мастерской. Осенью 1921 года А.М. Федоров сообщает Бунину, что сын прикомандирован к консерватории. Что значит прикомандирован? Наверное, это следует понимать, как то, что он служит при консерватории художником, изготавливая для нее транспаранты, лозунги, афиши, все то, что зовется наглядной агитацией. Такие художники были при всех советских учебных заведениях, учреждениях и производствах. Как он получил эту работу – мы не знаем, но знаем, что в это время в консерватории преподавал его старый педагог – Виктор Селявин, известный своей готовностью помогать людям.

¹ В. Катаев. Избранное. С.57.

Но вот когда Виктор бежал из Одессы? В своих воспоминаниях Надежда Леонидовна говорит о переходе Днестра поздней осенью 1921 года.

«Но сначала они попались, – вспоминала Надежда Леонидовна. – Они шли к плавням через фруктовые сады. Осенью там масса ворон, и когда кто-то идет, они взлетают и кружат в воздухе со страшным карканьем. Они шли ночью, и вдруг эти вороны поднялись и начали каркать. На шум пришли пограничники и стали выяснять, кто они. Витя от отчаяния, на этот раз его бы точно расстреляли, стал так орать на пограничников, с матом: мерзавцы, вам что не сообщили, кто будет переходить? Короче, взял их на арапа, убедил их в том, что он – большой начальник. И те таки откозыряли и ушли. Так Витя оказался в Румынии».

Возможно Надежда Леонидовна ошибается. В автобиографии, которую Виктор писал для устройства на работу уже в Румынии, он указал, что перешел границу в 1922 году в районе Тигина – так назывались тогда Бендеры. О появлении Виктора в Кишиневе сообщают в письме Вере Николаевне Буниной ее старый одесский приятель Владимир Осипович Недзельский – супруг хорошо известной нам Елены Васильевны Недзельской. Письмо датировано 21 мартом 1922 года.

«Пока с нами живет Витя. Я в него немножко влюбился – так он мил, прост, красив, очарователен. Но очень слаб, мягок, мало годен к той тяжелой жизни, что суждена теперь нам всем. Даже большевистский ад не дал ему закала. Легко падает духом, смущается пред каждым. Мы уехали оказывается из рая еще, теперь там ужас, уже и нам непонятный. Рассказы Вити – а Вы знаете, как он краток и бледен в рассказе – приводят меня в трепет. Господи, слава тебе, что вывел меня и моих! Теперь у меня задача вывезти Л.К. Надю, детей и Кипена. Кажется, можно будет это сделать»¹.

Это же письмо Недзельского Вере Николаевне Буниной содержит деталь, которая может объяснить несовпадение во времени перехода границы, указанное Надеждой и Виктором. Недзельский сообщает, что перед переходом Днестра они с супругой и дочерью два месяца жили в Григориополе, расположенном на берегу Днестра – в 150 километрах от Одессы. Это позволяет предположить, что переход был не очень простым делом – приехал и тебя перевезли. Перевозчики должны были выбрать момент для переброски клиентов, возможно, согласовать это с пограничниками, стерегущими границу по обе ее стороны. Пока они выжидали этот момент, их заказчики жили у них дома, готовые в любой момент к переправе. Если это так, то и Виктор мог уйти из дому в конце ноября – начале декабря 1921 года, а переправиться в феврале-марте 1922. Несовпадение дат укладывается в те же два-три месяца.

18 апреля 1922 года Александр Митрофанович жалуется Бунину:

«Изболелось сердце о семье, голодающей в Одессе. Витя в Кишиневе, имеет большой успех, как певец и художник. Имеет хорошие заказы на портреты и остается покуда там, чтобы вырвать семью на зарабатываемые им деньги»².

Насколько реальны успехи Виктора в Кишиневе, судить по письму его отца нельзя. Александр Митрофанович, мы знаем, склонен к неадекватной оценке своего мальчика. Но, как следует из автобиографии Виктора, его художественная карьера в Румынии была настолько же успешной, насколько и неожиданной – в 1922 году он рисовал портреты на кишиневской улице, в 1923 был художником-декоратором в провинциальном театре живописного городка Крайова, а в 1924 году его нанял на работу Национальный театр в Бухаресте.

Такое стремительное развитие карьеры не редкость в жизни иммигрантов, особенно молодых, не обремененных обязательствами, готовыми работать до седьмого пота.

Одесса. От террора к голоду

В мае 1922 года Василий Недзельский пишет Буниным об оставленной им Одессе:

«Улицы переполнены голодными, так наз. “ревунами” – “я голодный, я хочу есть, спасите”. Дети бегают за проходящими с криками: “папочки, мамочки, есть хочу, хлеба, хлеба, хлеба”. Трупы

¹ Письмо В.О. Недзельского В.Н. Буниной. РАЛ.

² Письмо А.М. Федорова И.А. Бунину. РАЛ.

валяются по улицам совершенно голые. Даже в центре. На Преображенской, против дома Папудовой, (напротив Соборной пл.) несколько дней лежала одна голова с седой бородой и с отъеденными собаками ушами и носом. Гриценко видел на одном квартале Прохоровской восемь трупов. Один уже без пальцев на ногах – собачье съело. Люди ходят на сумасшедших, исхудалые, ободранные, с безумными, блуждающими глазами. Продают вещи все, даже советские баловни, вроде тенора Селявина, у которого чекисты расстреляли сына, а его самого через неделю заставили дать концерт в чека. Хоронить своих покойников никто не может: похороны стоят 25-30 миллионов и теперь это дело государства. Трупы выставляют на обочины тротуаров, и они там лежат, пока не дойдет очередь очищения от трупов данного участка. Это показания беженцев, а вот из писем. Пишет Л.К. Федорова: “Умер от тифа Сережа Хрусталева (муж Надиной сестры). Люди умирают молниеносно. Голые трупы лежат по всем улицам. На Пасху у нас был маленький куличик и 15 шт. крашенных яиц. Это на шесть человек. (Дети Хрусталева живут у Федоровых). Хотела купить фунт творогу – невозможно – фунт стоит миллион. Масло 1.200.000”. Надя Фед. пишет Вите на первый день Пасхи: “не знаю, почему мне так грустно? М. б. потому, что думаю, что никогда не увижу тебя или потому что на улицах слишком много трупов?” И это на Светлое Хр. Воскресенье в Одессе на Соборной площади!»¹

Сергей заболел во время поездки в деревню за продуктами. Это случилось незадолго до Пасхи и, вероятно, по этой причине на праздничном столе была невиданная по тем временам роскошь – 15 яиц-крашенков!

С несколькими товарищами Хрусталева арендовал для поездки в деревню теплушку. Перед отправкой ехавший с ними врач-ветеринар продезинфицировал ее. Обычная мера в годы Гражданской, когда тиф выкосил три миллиона человек. Поезда были одним из главных механизмов по переноске тифозных вшей. Экспедиция была удачной с коммерческой точки зрения – привезли муку, сахар, масло, но Сергей уже приехал с высокой температурой.

«Это был страшный 21-й год, – надиктовывала в стоящий перед ней микрофон Надежда Леонидовна резковатым старушечьим голосом. – Во всей России был голод. В Одессе – сыпной тиф, люди мерли как мухи. Гробов не было. Человек умирал, отдавали шкафы, чтобы делать гробы. Люди пешком носили гробы на кладбище. Мы с Марусей, моей сестрой, пошли за Сережиным гробом. Шесть человек пришли и понесли гроб. Из шкафа. Они уставали, останавливались. Перекуривали. А мы стояли и ждали. Снова несли, снова перекуривали. Прошли мимо Чумки.

Трупы складывали как дрова штабелями, если не было гробов. Страшно было смотреть. Сыпнотифозных и мертвых, умирающих складывали в помещение за городом, где были выбиты все стекла. Клади на пол. Были полуживые и мертвые. Рядом ходили голодные собаки и ели трупы. Отвезли человека, думали мертвый, а он лежал и через два дня кто-то его нашел еще живым. И он выздоровел, и рассказал об этом. Посылали людей с тачками, и они на них возили трупы к ямам, и там тоже скакали собаки. Посыпали известкой, потом, когда яма наполнялась, ее засыпали.

Один раз я шла и увидела что-то на рельсах. Показалось, что телячья голова или большая собачья. Был закат, и рельсы были красные. Страшновато было. Пустынная дорога. Вдруг вижу, идет человек с тачкой. Высокий, плечистый, рыжие от солнца волосы. В тачке трупы. Остановился и говорит: вот до чего дожили, и показывает на голову. Я: это собака? Он: нет, человечья голова.

Как-то на базаре покупала картошку. Рядом женщина говорит: смотрите, по картошке ползают вши. Эту картошку возят на тех же тачках, что и тифозные трупы.

¹ Письмо В. Недзельского В. Буниной. РАЛ. При присоединении Бессарабии к СССР в 1939 году Владимир Осипович Недзельский был арестован и расстрелян. В годы оккупации Одессы Елена Васильевна и ее дочь приезжали в оккупированную Одессу. Е.В. Недзельская в то время печаталась в одесских изданиях, а в 1943 году здесь вышла книга ее рассказов. После занятия Советской армией Молдавии и Румынии Е.В. Недзельская и её дочь Ирина были арестованы и приговорены к длительным срокам лагерей. Е.В. Недзельская умерла в заключении. Ирина вышла на свободу и возвращалась в Одессу, чтобы разыскать старых друзей семьи, бывала на Даче Ковалевского. Упомянутые в письме Л.К., Надя и дети – Лидия Карловна, супруга Виктора – Надежда Ковалевская и их дети – Леонид и Вадим. Кипен – одесский ученый, специалист по виноградарству и виноделию, писатель, друг Бунина и Федорова.

Голод был, и денег не было. Торговали вещами. Перед тем как купить хлеб, я брала какую-то простыню, скатерть, платье, пальто и несла продать на базаре. Перекупщики все покупали у интеллигенции и возили эти вещи в деревню. Первый, кого ты встретишь, дает всегда небольшую цену, но лучшую, чем остальные. Но ты надеешься, что продашь дороже, а следующие дают все меньше и меньше, и в конечном итоге продаешь за гроши. Но хватает хоть на кусок хлеба. Для взрослых был хлеб с гороховой мукой или еще с какими-то отрубями. Сыроватый такой. Для детей покупали серый хлеб качеством чуть получше. Я покупала фунт. Довесочки давали, чтобы вес был точный, крохотные кусочки.

Бабушка Лида сажала Леку, ему было 4 года, и Вадю, ему было 2,5 года, на подоконник и говорила им: посмотрите, там лошадки бегают, собачки, – что угодно, только чтобы отвлечь их от мыслей о еде. Я приходила, варили морковный чай, или яблочный, или мятный, ели хлеб.

Идешь по базару и только слышишь: я голодный. Мамаши сидят на полу с детьми, как скелетики. Плачут, протягивают руку, дайте копеечку. И так изо дня в день. Идешь на базар, продаешь что-то, покупаешь хлеб.

Иногда я предпринимала дальние прогулки. У нас была дача на берегу моря. Я выходила рано утром из дому и шла на дачу. Приходила на дачу уже в сумерках. На соседней даче жили мой брат и мама. Я ночевала у них, а потом шла на нашу дачу и выискивала, что еще можно было продать. Срезала обивку с дивана, с кресел. Это был плюш. Складывала в рюкзак и шла с ним обратно. Прошлась с мамой. После этого я могла несколько дней не ходить с мелочевкой, с простынями.

Бабушка пошла как-то в город, увидела – лежит на тротуаре девочка, прикрытая какой-то тряпкой. Женщина подошла, приподняла тряпицу, говорит: умирает уже второй день, все никак не умрет. Родители вынесли ее из дому, думали, что она умерла. Родители не стали вносить: все равно умрет.

В это время (1921 год) в городе были мы: бабушка Лида, Витя и я с детьми. Мы жили тогда на Соборной площади¹. А на Гулевой улице (*Льва Толстого* – **В.Я.**), которая вытекает из Соборной площади, жила моя сестра Маруся с мужем Сережей, двумя дочками Ирочкой и Милочкой и с его матерью. А моя мама и старший брат Митя жили на даче. Брат Андрияша к этому времени уже умер».

Побег Нади с детьми

Из письма А.М. Федорова И.А. Бунину мы знаем, что первую попытку перехода границы Надежда Ковалевская предприняла 2 июня 1922 года. Спустя 60 лет с небольшим Надежда Леонидовна оставила подробный рассказ об этом.

«Мы узнали, что в Одессе есть человек, который за деньги переправляет людей в Румынию. Нашли его, сговорились и назначили день. Нас повезли в пограничный город. Это было село Троицкое. Ночью за нами пришли два солдата и перевезли нас на румынский берег. Путешествие это окончилось неудачей – румыны вернули нас на русский берег, так как в Одессе была холера. Румыны боялись пускать людей, зараженных холерой. Посадили меня в ЧК. Это была не тюрьма, а нормальный, просто очень большой дом, под которым были большущие подвалы. В подвалах арестованные сидели до первого допроса. После допроса их отправляли либо в тюрьму, либо отпускали. Там были большие пустые комнаты, светлые, потому что это были полуподвалы. У нас была комната узкая и длинная. Маленькая. Когда нас туда привели, нас было трое. На полу уже сидели две женщины. Мы познакомились с ними. Одна оказалась еврейкой, магазинной воровкой, очень интересно рассказывала, как она воровала материи всякие. Другая – проститутка. Рядом с нами была умывалка, в которую мы могли свободно ходить. Это было жаркое лето. Нас поразила

¹ Надя говорит о квартире друга семьи Федоровых и Буниных – Антона Антоновича Ценовского в доме №2 по Соборной площади. А.А. Ценовский – врач, журналист, театральный критик. Двоюродный брат Анны Николаевны Цакни. Покинул Одессу и с 1923 года работал театральным критиком в московской газете «Труд».

чистота. Пол блестел. Оказалось, что они два три раза в день моют пол, чтобы было прохладно. Мы просидели там неделю, через неделю нас отправили в тюрьму. Мы маршировали через весь город в тюрьму под конвоем, прямо как настоящие преступники.

В тюрьме у нас была совсем маленькая камера, это были одиночные камеры. Там стояли привинченные крохотные табурет и стол. И потом была кровать, чугунная решетка, пристроенная к стенке. И только на ночь ее опускали и клали матрас. Пришли мы туда и поселились в этой комнате. И пробыли там вдвоем около месяца. В тюрьме была холера, рядом с нами в камере заболела женщина. Ее увезли, и сразу пошел разговор, что она не вернется, потому что умрет. Выпускали нас на прогулку два-три раза в день. Бабушки, которые сидели там за воровство и убийство, голодали, потому что давали два раза в день какую-то баланду. Они рвали какую-то траву, бутылкой на полу ее растирали и ели, как салат. Но от этого салата они заболели холерой. Потом к нам посадили четвертую женщину, которая пришла с прогулки и принесла с собой яблоки. Они там нападали в садике, и она их подобрала. Мы умоляли ее не есть их, потому что они зеленые и она может заболеть. Ее посадили к нам накануне нашего вызова в суд. А наутро ее увезли в больницу. Она кричала-упиралась: “я не хочу умирать”, но ее увезли, а нас – на суд.

В суде у нас оказался судья, два его ассистента, прокурор и даже адвокат, мы этого не знали! Адвокат сказал, что мол такие времена, и у них мол родственники за границей и их надо понять. Прокурор сказал, что если бы это были не три женщины и это был бы 19-й год, а не 1921-й, то я бы потребовал высшей меры наказания, но сейчас я прошу дать им три года условно. И нас отпустили.

Мы приехали домой, отдохнули, и я сказала, что уже ни о каких побегах думать не буду. Было лето, и у нас жила моя подруга Леля, с которой я должна была бежать первый раз, и ее девочка. Ее дальняя родственница жила уже в Болгарии, и она все время хлопотала, чтобы Лелю и ее девочку выписать. И Леля все время поджидала, что за ней кто-то придет. И кто-то приезжал, но все время неудачно. Потом Леля поехала в Одессу и вернулась в тот же день страшно взволнованная и сказала, что за ней приехал какой-то офицер. Он берет ее, ее тетю и дядю и везет в Болгарию. Попросила меня помочь ей уложить вещи, потому что в 11 часов вечера они придут за ней.

В 11 часов вечера их не было. Она начала волноваться – как всегда будет неудача, значит никто уже не придет. Я говорю: “Идем, выйдем на дорогу и посмотрим, может быть они идут”. Только мы вышли, я вижу – идут три фигуры. Один из них – этот офицер, и с ним два парня. Они объясняют, что это рыбаки, которые приехали с ним. Их ждет шаланда и надо ехать. Леля спрашивает: а тетя и дядя сидят в лодке? Они говорят: нет, они отказались ехать, они боятся. И он спрашивает, а нет кого-то желающих поехать в Болгарию? Леля поворачивается ко мне: “Ты поедешь?” Я говорю: “Нет!” Она: “Ну и дура!” Я говорю: “Едем!”

Я вернулась в дом и говорю бабушке, надо детей собирать. Она всполошилась: “Ты же говоришь, что уже не поедешь никуда?” – “Нет, я поеду”. Мы быстро собрали узелок, я взяла икону, какие-то вещички для детей, кусок хлеба, конфеты и яблоки. Собрались и пошли. Была лунная теплая ночь. Видно как днем. Конец августа. Мы шли: эти трое мужчин, я, бабушка, Леля, трое детей и еще наша соседка-приятельница. Десять человек. Мы шли такой цепочкой вниз.

А у пограничной стражи в этот день был какой-то праздник, и в доме, где они были, шла страшная пьянка. И это было на наше счастье. Мы идем, а Лека плачет: “Я больше не хочу к папе ехать”. Прodelав то путешествие, он больше не хотел ехать. А Танечка громким голосом говорит: “Лекочка, почему же ты плачешь, мы же едем за границу!” А ей тоже было 4 года. В общем мы сели в шаланду и поплыли. И мы плыли, плыли, плыли, а я думаю: где же эта моторная шхуна, дубок, который должен нас подобрать? Они расхохотались: “Это и есть дубок. Если бы мы вам сразу сказали, что предстоит плыть на шаланде, вы бы не поехали”.

И в этой шаланде были два офицера, мальчик одного из офицеров 10 лет и невеста одного из рыбаков. Всего девять человек. Когда берег исчез, они повернули направо и поехали вдоль берега. Ночь быстро прошла, утро было замечательное, мы уже подплывали к румынским берегам, они достали мангал, кастрюлю, сварили картошку, чай, и так это все было вкусно, и возле нас стали плавать и кувывраться дельфины, и мы им бросали еду.

Шли под парусом, день был чудный. Рыбаки сказали, что идем в Констанцу, где нас ждет карантин из-за холеры. К вечеру вдруг поднялся ветер и началось волнение. Мы были убеждены, что утонем. А я говорила раньше, что по морю не поеду, потому что утону. И тут я подумала: вот я говорила, и я таки утону. Парус тут же сняли. Волны были как горы. Они вынули руль, чтобы не было никакого сопротивления. Лодка лезет-лезет в гору, потом – бац! Вниз, как в пропасть! Мы мокрые, из щелей – фонтаны!

Когда волны улеглись, они говорят: “Если бы это был дубок, он бы не выдержал, а шаланду швыряло как щепку, и поэтому мы спаслись”.

Моряки говорили, что 10 лет не видели такого шторма. Ужас. Волна за волной. Офицер все время вычерпывал воду. Один на веслах, второй на руле. Кончилось волнение, наступила ночь, начались видения. Это был кошмар. Рыбаков было двое. Старший Пимен, младший Васька. Пимен говорит: “Иди, ляг отдохни”. Вдруг Васька вскакивает: “Куда ты правишь?! Смотри, там же камни!” И мы все видим камни. Пимен говорит: “Молчите, камней нет”. Потом я слышу, как вода льется. Пимен говорит: “Васька, посмотри”. Васька: “Все в порядке”.

Утром мы приплыли к Варне. Нас закрыли парусом. Проплыли под мостом в озеро. На понтонном мосту были наблюдатели, поэтому нас закрыли парусом. Но те говорят: а чего у вас компас? А те забыли спрятать. Они говорят: “Был шторм, поэтому нам нужен был компас”.

Пимен ругал Ваську. Въехали в канал, в озеро. Офицер, который был с нами, повел нас в какой-то дом, и хозяин увидел, что мы странно одеты. Вадик был в бархатной шубке и в шапке. А был август. Стал расспрашивать: кто вы? Офицер сказал, что мы из какой-то местной деревни, но кто-то сказал, что мы из России. Леля встретилась с родными, но от нас потребовали, чтобы мы прошли карантин. Они с хозяином чуть не поссорились. Нас хотели накормить, а он грозил вызвать полицию, потому что такой был закон. Хорошо, мы поедем в карантин, но сначала они поедят. И тут открываются пакеты, и тут тебе и ветчина, и булки, и пирожные, все, чего мы не видели уже много лет.

После обеда нас отвезли в карантин, какой-то огромный забор, кладбище. Мы едва достучались, говорим: возьмите нас в карантин. Они говорят: вы откуда? Мы из России. Не может быть. Из России приезжают морем, а вы сами пришли. Уходите. Кое-как мы им объяснили, кто мы, нас приняли. А у них в карантине не было ни одного человека. Это были очень чистые бараки. Они выходили на берег моря, и там был фруктовый сад. Мы там жили как на даче. Потом приехал доктор. Нам дали пробирки для сдачи анализа на холерную бациллу. Кто-то из детей сел на горшок. Мы взяли из этого горшка и заполнили пять пробирок, написали на них разные фамилии и сдали. Потом пришли результаты. Оказывается, у меня, у Лени и у девочки все в порядке, а у Вадика – холера! Леля с Таней уехали, а мы там остались, ели яблоки и груши, ко мне приезжали гости, друзья дедушки, привозили пирожные и сладости, и в конце концов нас выпустили. Кто-то из дедушкиных знакомых снял для нас комнату в Варне в доме полковника Околовского. В день нашего приезда его жена сделала болгарское блюдо гювеч. И вот мы сидим, разговариваем, я восторгаюсь тем, как это вкусно, и вдруг – стук, входят двое полицейских и спрашивают госпожу Федорову. В чем дело? Она должна вернуться в карантин. Мне позволили доесть, и я снова с двумя детьми через всю Варну под стражей отправилась в карантин.

На следующий день появился доктор и, страшно извиняясь, рассказал историю о том, что в газете появилась статья, что из России приехала богатая дама, больная холерой, но за взятку доктору ее выпустили. Нас продержали в карантине еще два дня. Когда мы приехали, мы уже встретились с дедушкой».

Как Федоров не попал в Париж

Русская эмиграция, хлынувшая на Запад после большевистского переворота, двигалась в Белград, Прагу, Париж, Берлин.

Осевший в Софии Александр Митрофанович быстро осознал, что оказался на отшибе, хотя в бытовом смысле устроился так, что иной мог бы ему позавидовать. Семья Желязовых, сдавшая

ему комнату, окружила его такими теплом и заботой, что их дом по сути стал его домом. С помощью директора Национальной библиотеки Болгарии Стилияна Чилингирова он получил работу преподавателя русского языка и литературы в гимназии, а также читал лекции в Высшей военной академии, которую называл в своих письмах юнкерским училищем. В 20-х доход его был небольшим, но стабильным. Никакая иммигрантская пресса не могла дать аналогичный. Как отозвался Петр Нилус, «жить можно». Пока эта работа у него была, Александр Митрофанович не переставал на нее жаловаться, но когда в 33-м году ее не стало, он сообщил Бунину, что его постигла катастрофа.

Оторванность от именитых коллег, ощущение того, что жизнь уходит, подогревали стремление Александра Митрофановича перебраться в Париж. Его письма изобилуют горькими жалобами Буниным: «мне тяжело и тошно жить здесь», «живу я по-прежнему мученической учительской жизнью, бедно и нудно», «почти ничего не пишу: руки опускаются и живется тяжело, страшно однообразно: нигде, ни у кого не бываю». В одном письме он сравнивает свою судьбу с судьбой библейского Иова: «Дух мой расстроен. Мои дни угасают. Гробы предо мною». Понятно, что Париж манил, поскольку там жили близкие ему Бунины, другие, хорошо знакомые еще по Одессе, Москве и Санкт-Петербургу литераторы, и он считал себя вправе рассчитывать на их помощь с получением визы и устройством на работу.

Впервые Федоров обращается к Бунину с просьбой походатайствовать о французской въездной визе в августе 1920 года, – накануне отъезда Нилуса из Софии в Вену.

«Милый Иван Алексеевич, ради Бога, ответь, есть ли надежда устроиться как-нибудь в Париже, работать там в каком-нибудь издании, или продать свои сочинения, если не все, то хоть избранное. <...>

Я истерзан до последней степени и учительство держит меня в нищете, из которой не видно никакого выхода. <...> Уедет Петр и я останусь в одиночестве. Помогите мне вырваться в Париж»¹.

В декабре 1920 года новая мольба Федорова о спасении:

«У меня как у чеховской сестры (Три сестры) постоянно от утомления болит голова и я чувствую, как тупею день ото дня от этой плодотворной просветительской деятельности и от тех непомерных страданий, которые терзают мое сердце в связи с общими событиями и с моим мальчиком из тюрьмы. Милый Иван Алексеевич, я с ума сойду здесь или покончу с собой, если попытка моя будет продолжаться. Думаю, что в Париже мне все же было бы легче, а заработать столько же, сколько я зарабатываю здесь, чтобы не умереть с голода, я думаю я мог бы и в Париже. Поэтому прошу тебя, постарайся исхлопотать мне визу и я оставлю свое мучительство-учительство и выеду из Болгарии в Париж, где мне несомненно будет все же легче дышать.

Целую тебя, твой А.Федоров»².

В письме от 2 февраля 1921 года Федоров снова напоминает Бунину о стремлении переехать: «Если виза возможна, ее надо приурочить к июню, концу летних занятий»³.

8 февраля 1921 года Бунин отправил Федорову ответ, лаконичный и довольно прохладный: «В Париж теперь попасть *невозможно*, никого не пускают, да и жить здесь тяжело ужасно»⁴.

В письме от 3 марта того же года Бунин добавляет:

«О Париже и не думай – легче на небо влезть, чем получить визу, кроме того, умрешь здесь с голоду. Прости за топорность и краткость, крепко целую»⁵.

Проходит полтора года, и с той же просьбой – поспособствовать с переездом в Париж – к Бунину обращается Нилус. Пожив и поработав в Софии, Вене, Бухаресте и Белграде, внезапно для старого холостяка женившийся, он теперь ищет постоянное пристанище. Письмо, отправленное Нилусом из Бухареста 24 октября 1923 года, в полной мере передает его настроение и планы:

¹ РАЛ.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Письма Бунина к Федорову 21-23 годов. Публ. А. Бабореко // Наше наследие. 1994. № 32.

⁵ Там же.

«Теперь я как блядь, сижу на выставке и смотрю на обувь; хороший гость – хорошие ботинки... А господ с хорошими ботинками почти нет. Здешняя богатая публика идет только на сугубую рекламу. Замечательное дело, всем, не имеющим хороших ботинок, мои картины нравятся больше, чем нужно.

Так вот, что я выдумал: если вывернусь, еду в Париж, это единственный город, где кое-как можно теперь жить. Много иностранцев... Взять подмышку две-три акварели и пойти по отелям на охоту...

Да, сделал я большую глупость, нужно было в 20 году прямо ехать в Париж. Скитания по разным странам стали невольготу; не иметь своего угла, хотя бы темного, это какое-то путешествие с приключениями, а я этого терпеть не могу.

Итак, если можешь – выручай <...>. И будь добр, достань визу, при твоих могущественных связях это возможно, да ты как-то ее обещал.

Целую крепко, П. Нилус»¹.

Ответ Бунина, от 31 октября, полная противоположность тому, который он дал Федорову и которого упоминает:

«...если твердо решишь ехать в Париж, сообщи и я начну хлопотать о визе. Достать ее очень трудно и поэтому, повторяю, я буду ее доставать только в том случае, если ты непременно приедешь, а не подведешь меня, как недавно подвел меня Зайцев: просил достать визу, а когда я достал, он не воспользовался ею и уехал из Германии не в Париж, а в Рим!

Видел ли Федорова? Не говори ему, что я буду доставать тебе визу, а то и он начнет просить, тоже вздумает ехать в Париж.

<...> я постараюсь достать тебе из «Комитета помощи писателю» франков 500. Вообще сделаю для тебя все возможное. У нас лично на этот год надежды плохи, но думаю, что Бог спасет как-нибудь. Во всяком случае на проезд до Парижа я с великой радостью вышлю тебе из собственной казны. У нас в нынешнем году квартира будет меньше прошлогодней, но, конечно, первое время ты можешь пожить у нас. Кстати, ты должен говорить при хлопотах о визе, что едешь к нам, что, значит, у тебя есть пристанище в Париже – иначе не пускают.

Целую тебя и ждем ответа.

Твой Ив. Бунин.

P.S. Подумал и еще раз говорю: рискни, рискни на Париж! Уехать из Парижа куда-нибудь всегда можно»².

И еще одно письмо от Бунина, датированное 14 ноября:

«Спешу сообщить, что хлопоты о визе начал через Mr. Eugene Petit секретаря Мильерана. Денег тебе сегодня выслал 500 фр.»³.

Это «ничего не говори Федорову» дает достаточно ясное представление об истинном отношении Бунина к старому знакомому, хотя в письмах к Александру Митрофановичу постоянно присутствует и тема помощи с публикациями, и звучит искреннее сочувствие его несчастьям:

«Дорогой, всегда очень больно, когда пишешь про свое учительство, про Витю, про Лидию Карловну. Дай тебе Бог сил, обнимаю тебя сердечно»⁴.

Больно-то больно, но не настолько, чтобы помочь с переездом.

Нилус переехал в Париж в конце 1923 года и поселился в том же доме на ул. Жака Оффенбаха, где квартировали Бунины. В этом доме он скончался весной 1943 года, здесь осенью 1953 его вдова Берта Соломоновна, «товарищ Берта», как он ее иронически называл, помогала Вере Николаевне обмывать и обрывать тело Ивана Алексеевича.

Это – дружба.

¹ Письма Нилуса Бунину. РАЛ.

² РАЛ.

³ Там же.

⁴ Письма Бунина к Федорову 21-23 годов. Публ. А. Бабореко // Наше наследие. 1994. № 32.

Ольга Решетникова пишет в объемной статье об А.М. Федорове «Я в чужой земле затерян»¹, что-де его удержала в Болгарии любовь к хозяйке дома, в котором он нашел приют – Невене Желязовой.

Другая исследовательница – Лиана Владева сообщает в статье «Журналистская и литературная деятельность белой эмиграции»², что Федоров остался в Болгарии по рекомендации патриарха болгарской литературы Ивана Вазова.

Мы знаем теперь, что названные факторы могли иметь место, но не были решающими.

Личная жизнь и творчество А.М. Федоров в Болгарии

Наиболее подробное исследование болгарского периода творчества А.М. Федорова провела доктор филологических наук, профессор университета Велико-Тырново – Маргарита Каназирска.

«Первые годы эмигрантского пребывания Федорова в Болгарии были насыщены до предела, – рассказывает М. Каназирска. – Многочисленные выступления, лекции, благотворительные и поэтические вечера, обеды и ужины с деятелями болгарской культуры, поездки по Болгарии, встречи, дружеские беседы за стаканом вина в софийских ресторанчиках. Русский писатель входил в болгарскую культурную среду; он не просто выучил болгарский язык, но со временем стал понимать его до тонкостей. В отличие от П.А. Нилуса, которому скоро пришлось покинуть Софию, жизнь А.М. Федорова выглядела более чем благополучной. Писатель преподавал в Первой и Третьей софийских мужских гимназиях, получил лекционные часы по русской литературе в Высшем военном училище, которое он в письмах называет Юнкерским, и Высшей кооперативной школе. Жизнь налаживалась и в материальном отношении.

<...>

Он интенсивно печатался в болгарских газетах и журналах, в местной эмигрантской печати («Россия», «Свободная речь», «Балканский журнал», «Русское дело» и др.), за границей («Общее дело», «Возрождение», «Русская мысль», «Руль», «Сегодня», «Русские записки» и т.д.). Все более тесными становились и контакты с болгарской культурой. Федоров составил «Антологию болгарской поэзии» со своими переводами, изданную Министерством народного просвещения и великолепно оформленную его сыном-художником»³.

Два слова об этом сборнике переводов болгарских поэтов. Хорошо оплаченный труд Федорова-переводчика не привлек к себе особого внимания – ни специалистов, ни широкой аудитории. Болгарская и русская литература живут по сей день как добрые соседи, не особенно вникая в личные дела друг друга. Парадоксальным отчасти образом проделанная Федоровым переводческая работа хорошо оплачивалась и помогала выживать поэтам в той стране, из которой сам он так поспешно бежал. Силами лучших своих поэтов официальная советская культура поднимала на уровень самых высоких требований русской литературы произведения периферийных, если так можно выразиться, народов. Так в русскоязычную советскую литературу вошли литераторы не только республиканского, как это раньше называлось, значения, но и совсем малых народов.

Завершив работу над переводами болгарских поэтов, Федоров с присущим ему трудолюбием и целеустремленностью приступил к переводу болгарского фольклора, но это предприятие оказалось неудачным. До издания книги дело так и не дошло. Неудачной оказалась и попытка повторить этот же опыт с румынскими поэтами.

Работа Каназирской позволяет представить себе неутомимого и, главное, востребованного труженика литературы, беззаветно преданного высоким идеям просвещения. Но только переписи

¹ Ольга Решетникова. Я в чужой земле затерян. Электронная публикация на сайте «Фонда имперского возрождения». 10 нояб. 2008 г.: <http://www.fondiv.ru/articles/3/305/>

² Лиана Владева. Журналистская и литературная деятельность белой эмиграции // Новый журнал. 2007. № 247. <http://magazines.russ.ru/nj/2007/247/v115.html>

³ М. Каназирска. Вдали от берегов. // Новый журнал. 2011. №265. С. 89. <http://magazines.russ.ru/nj/2011/265/ka9.html>

ска Александра Митрофановича со старыми друзьями и переписка этих друзей друг с другом дают полное представление о болгарском периоде его жизни. Письма И.А. Бунину содержат безостановочные просьбы помочь с публикацией его рассказов или переиздания книг, а главное – безостановочные жалобы на то, что печататься нигде, а там, где печатают – не платят гонораров.

Вот отрывки из писем 1930-1931 года:

«Хочется написать роман и даже не один, задумано много, и как подумаю, что печатать нигде, руки опускаются – и то у меня мертвым грузом лежит 6 больших рассказов и не плохих, а стихов новых хватило бы на целую книгу».

«Ах, если бы я мог издать хоть одну из моих книг. Главные рассказы, стихи, или в одной книге “Бадеру” и “Чудо”! А то совсем оказываюсь я за флагом, руки опускаются, а кажется, никогда не писал так, как теперь бы мог писать».

«Напечатал 5 больших рассказов в “Руле” и немного стихов – и ни гроша. Писал им и все напрасно – вот тут и пиши».

«Литература мне почти ничего не дает: вот 2 года печатали в “Руле”. Задолжали они мне за это время более 20 тысяч лев. До последних дней Гессен все обещал расплатиться и все ухнуло. Monde et l'Art тоже за 3-й номер не высылает ничего, несмотря на мои письма»¹.

Надо сказать, что невозможность публиковаться, тем более зарабатывать литературным трудом, не остановили Федорова. За год до ухода из жизни он переслал внукам в Америку папку со стихами, и в ней – список своих произведений. В нем значится 60 (!) неопубликованных рассказов и около полутысячи стихов. В папке даже оказалась рукопись сценария для балета! Очевидно, что занятия литературой оставались для него своего рода психотерапией, формой эскапизма.

Как обстояло дело с публикациями в русскоязычной болгарской прессе? В период с 1921 по 1939 год в Болгарии выходило более 80 русскоязычных изданий. Александр Митрофанович был несменяемым председателем Союза русских писателей и журналистов в Болгарии, что, наверное, открывало ему дорогу к публикациям. Приносили ли эти публикации заработок? Скорее, гонорарными были тексты Федорова, которые С. Чилингиров переводил на болгарский для болгарской периодики. Да и сам Чилингиров нередко открывал свой бумажник, чтобы помочь своему несчастному другу².

Главной и, может быть, единственной удачей А.М. Федорова на болгарской земле стала его встреча с семьей Желязовых. Перебравшись в Софию, Александр Митрофанович снял комнату в их доме. Скромного учительского жалования хватало на ее оплату. После смерти хозяина вдова Невена и ее дочь Лиляна заменили ему семью, благодаря чему в беспомощной и нищенской своей старости он не оказался на улице.

Какими были их отношения?

В письме Бунину, датированном 22 мая 1929 года, Федоров сделал трогательное признание:

«...страшно я здесь одинок и, вероятно, спился бы, если бы не прекрасная женщина-македонка, которая полюбила меня, как, может быть, никогда еще никто меня не любил и вот 10 лет почти около меня, как мой ангел хранитель»³.

На характер отношений с женщиной-македонкой – речь идет о Невене Желязовой – проливает свет последний роман Федорова «Плеяды». Как и в других своих произведениях, автор не просто использует в качестве прототипов хорошо знакомых людей, он создает их копии, сохраняет реальные или близкие к реальным имена: сына, невестки, жены, знакомых и друзей. Вымышленная фамилия в романе только одна – писателя Александра Виссонова – альтер эго Федорова. Это исключение позволяет автору максимально облагородить характер главного героя – создать лучший вариант самого себя. Это не вполне получается, потому что по мере продвижения к финалу своего магнум опуса автор становится все менее адекватным участником реальной жизни, тайные фантазии царят в голове и на бумаге, от его искренности коробит.

¹ РАЛ.

² Лиляна Владева. Журналистская и литературная деятельность белой эмиграции.

³ РАЛ

Сообщив читателю страшную тайну – дочь домохозяйки – Лиляна – его дочь (!), Виссонов-Федоров объясняет, почему он не может открыть ей это и «освятить узы» их отношений:

«...он мог бы обвенчаться с ее матерью, но именно мать ее, из непонятного страха, оправдываемого отчасти лишь тем, что выходя замуж, она теряет пенсию, получаемую после мужа, а материальные обстоятельства их ухудшались день ото дня...»¹.

Роман, конечно, не жизнь, но если твои прототипы так узнаваемы и так благородны по отношению к тебе, стоит ли унижать даже их литературное подобие?

Он бы сам давно освятил эти узы, но «именно мать ее из непонятного страха», отказывается сделать это. Полноте, страх матери понятен – семье грозят абсолютно реальные нищета и голод! Как же не отдать должное практицизму приютившей его вдовы, ему – иждивенцу?!

Но в этой жалобе можно усмотреть и простое следование сложившемуся механизму художественного мышления и наработанной образности Федорова. Софийская сожительница Виссонова – родная сестра сожительницы Стрельникова из одесского романа «Его глаза»: «Уже немолодая и даже некрасивая, с злым извилистым ртом, но была умна тем звериным женским умом, который при любви становится гибок, чуток и цепок, как щупальца».

Можно предположить, что у этих женщин есть один главный прообраз – Лидия Карловна, живя с которой под одной крышей, Александр Митрофанович писал:

В глухую ночь, тропой знакомой,
Сошел я на берег морской,
Меня давили стены дома
И их удушливый покой².

Поэт, конечно, существо вольнолюбивое, но не всегда являющее собой образец благородства.

Прошел год после признания Бунину об ангеле-хранителе, как главное место в его сердце заняла дочь ангела – та самая Лиляна. Лирик. Начинаящая балерина. В письмах Бунину он намекает на то, что именно она стала его *femme fatale*, с которой он занимается живописью, фотографируется, учит русский язык и читает вслух стихи самого Ивана Алексеевича.

Как это в духе Митрофаныха! Точно таким же мудрым наставником юной девы был упоминавшийся выше Стрельников – его литературный двойник.

Но в письмах Федорова Бунину можно прочесть большее. Все известные нам пассии Федорова-страшного были служительницами муз: Анна Горенко, Лиза Дитерихс, Лидия Знойко. Искусство, сопричастность к нему, были той питательной средой, в которой расцветали романтические чувства поэта, в которой его сердце ударяло чаще и тревожней. И в случае с Лиляной он, может быть даже неосознанно, создавал ту поэтическую атмосферу, в которой мог любить по-настоящему, как это было в его прекрасном прошлом. Отсюда чтение вслух стихов Бунина. Отсюда любование интересом девушки к творчеству живого классика. Трудно сказать, что сдержало его – отношения с матерью Лиляны, опасения скандала и выдворения или общее состояние стареющего организма, но ощущение такое, что чувства эти в какой-то момент подошли к опасной грани.

Уже после смерти А.М. Федорова Лиляна, ставшая балериной в Софийском театре оперы и балета, говорила, что считает себя его приемной или духовной дочерью. Для нее он был выдающимся русским писателем, которого ждало на родине литературное воскрешение. Для ускорения этого процесса она привезла в Москву остатки его архива, передав Российскому фонду культуры. Очевидно, что Лиляна была менее требовательна к своему великовозрастному воздыхателю, чем юная Анна Горенко.

В семейных альбомах сохранилось несколько фотографий Александра Митрофановича с приемной дочерью, и ни одной – с ее мамой. Он, как всегда, в ладно сидящем на нем костюме или

¹ А.М. Федоров. Пляды. Главы из романа // Новый журнал. 2011, № 265. С. 138.

² А.М. Федоров. Мой путь. С. 83.

пальто, с тростью, она – юная, хрупкая, улыбающаяся, годящаяся ему во внучки. В этом видна приверженность идеалу: поэт стареет, идеал – нет.

В 1950 году С. Чилингиров написал воспоминания о Федорове, которые не внесли много нового в картину его жизни на чужбине.

«Последние годы Федоров совсем остался без работы и его содержание полностью приняла на себя семья, в доме которой он нашел приют. Правда, он получил крупную сумму денег за перевод народных песен, но он вложил их в ремонт дома хозяев, очень пострадавший от варварских бомбардировок англо-американцев»¹.

Интересно упоминание бомбардировок. Авиация союзников бомбила Софию в 1944 году, стало быть, невзирая на потерю педагогического места и отсутствие других, по крайней мере, значительных, доходов, какие-то средства у Федорова оставались.

Источник средств, на который указал Чилингиров, мог быть не единственным. В феврале 1934 года Александр Митрофанович оказался в числе русских писателей, которым Бунин оказал финансовую помощь, получив Нобелевскую премию. Сумма вспомоществования нам неизвестна, но февральское письмо 1934 года позволяет предположить, каким мог быть ее объем. Федоров пишет:

«Деньги из твоего фонда я получил и, так же, как ты, получив болгарские 2000 франков, заскрежетал зубами: ведь это первая благотворительная помощь за 14 лет моего пребывания в Болгарии. Видно, от сумы да от тюрьмы не отказывайся. Денег этих я разумеется и в глаза не видел, они сразу ушли на покрытие части моего долга за эти 5 тяжких месяцев без службы»².

Александр Митрофанович упоминает те 2000 франков, которые он помог Бунину получить от Министрства народного просвещения Болгарии в 1931 году. В письмах того времени он упомянул, что 2000 франков равны 10000 болгарских левов. Получив помощь от Бунина, он говорит, что денег не видел, поскольку все они ушли на покрытие *части* долгов, возникших за пять месяцев без работы. Это позволяет предположить, что бунинская помощь не превышала той, которую он сам получил из Болгарии двумя годами раньше, но и не была меньше обычного пятимесячного жалования Федорова, то есть 5 тысяч лев.

Как бы ни распоряжался Федоров своими более чем скромными доходами, понятно, что бесконечные заботы о заработке, мизерные гонорары и случайные уроки делали его существование мучительным, сам он неоднократно говорил о его униительности. Но, как показывает жизнь, людям, постоянно находящимся в отчаянно стесненных обстоятельствах, удается отложить на черный день больше тех, кто благоденствует. Что и позволило Федорову помочь семье Желязовых с ремонтом дома после бомбардировок 1944 года.

Отдушиной в его болгарских буднях были встречи с внуками, приезжавшими к нему на летние каникулы из Чехословакии. Он вез их в село Калиште, куда каждое лето выезжал с семьей Желязовых. Село находилось в двух с половиной часах езды на поезде от Софии. Чилингиров замечает, что село было совсем непримечательным, но Федоров был привязан к нему всем сердцем. В воспоминаниях Вадима Викторовича Калиште – волшебная страна, где все им с братом казалось совершенно необыкновенным: соломенные крыши и земляные полы крестьянских домов, арбузы и тыквенная каша, прозрачные воды Струмы, сушка конопли на речном берегу для изготовления из нее веревок, занятия деда живописью на пленере. Одно воспоминание с возрастом становилось все ярче – улегшись на траве в тени яблони, дед, сладко потягиваясь, стонал: «Ах, какое счастье, какое счастье...»

Не в эти ли минуты абсолютного блаженства, мог всплыть из сладкой полудремы образ любимой когда-то женщины:

Ты стоишь в ароматном саду.
Все кругом тебя в вешнем чаду,

¹ Воспоминания об А.М. Федорове. Рукопись. Цит. по переводу мемуаров С. Чилингирова, сделанному М. Каназирской.

² РАЛ.

В блеске солнца, в мечтах, во хмелю,
И не знаю, кого я люблю:
Белорозовый сад-ли, тебя-ль,
Для кого мой восторг и печаль.
Я не знаю, где ты, где цветы.
Та же нежность и те же черты.
В ком весь зов этот вешний, весь хмель...
В этом белом раю-ли в тебе-ль
Не пойму я, и в толк не возьму,
Как все спуталось вдруг, почему?
Где глаза твои, вздох твоих уст?
И не ты-ль этот розовый куст,
Что с улыбкой мне дышит в лицо?
Не на ветку-ль надел я кольцо
Иль на перст твой с сквозным ноготком
Нежно-алым живым лепестком.
Пчел ли это гуденье, иль звон
Струн встревоженных ветром сквозь сон...
Божьих арф – белых яблонь и слив,
У которых верхушки их гриф?
Да и сам-то не знаю кто я:
Твой поэт или арфа твоя¹.

Л. К.

К своему герою – художнику Диме – Катаев относится снисходительно-высокомерно: барчук, не очень талантливый художник, мямля. Его отец – представитель ушедшего мира, которому просто нечего делать в новой стране. Но его сострадание к матери Димы, брошенной мужем и сыном, совершенно неподдельно. Сила этого чувства, наверное, объясняется тем, что Лариса Германовна/Лидия Карловна состарилась и обнищала на его глазах. Совсем недавно еще она была похожа на императрицу Екатерину Великую, царившую в знаменитом своей хлебосольностью доме, теперь Катаев не узнает ее, так она постарела, унижается, плачет...

Соседка Федоровых по даче – Екатерина Гавриловна Довгань (урожденная Бовшик) рассказала в 1980 году Лушику, что как-то поздней осенью 1921 или 1922 года она не смогла вернуться в город из-за метели и решила остаться ночевать у Лидии Карловны. Она застала у нее Катаева, который пришел проститься перед отъездом из Одессы.

Скорее всего это был 1921 год, когда Катаев уехал из Одессы в Харьков.

Можно предположить, что картина вырубленного сада, разоренного дома и оставленной мужем и сыном Лидией Карловны произвели на него впечатление, которое осталось с ним на всю жизнь.

Судя по письмам А.М. Федорова в Париж, положение Лидии Карловны после его бегства из Одессы было совершенно отчаянным.

10 октября 1920 г. «Получил письмо от семьи, там, видно, голодают».

6 февраля 1921 г. «Жизнь предана моим мукам о своих и тоске и беспокойству о моей несчастной семье, которая верно, умирает от голода».

10 апреля 1921 г. «В доме нищета и голод, хотя Витя и состоит заведующим художественной секцией ибо от военной службы он по болезни освобожден. Л.К. пишет, что он мог бы поправиться, но необходимо хорошее питание, а “дома как будто крысы выели», продавать больше нечего».

¹ Стихи 1934–1948. Архив А.М. Федорова в библиотеке рукописей и редких книг Байнеке в Йельском Университете. (Далее – Архив Байнеке.)

Апрель 1923 г. «Лидия Карловна в Одессе, была больна. Вырваться ей оттуда почти невозможно».

Апрель 1924 г. «...у Л.К. отняли бесповоротно дом и выгнали ее без права пользоваться даже на летние 1-2 месяца хоть маленькой комнаткой при кухне. Летом сдача дома давала ей кое-какое подспорье для зимы. Теперь она и этого лишена».

10 июня 1929 г. «...мои денежные дела у-у-жас-но плохи: приходится выплачивать здесь долги Лидии Карловны, которые она делает в Одессе, родственникам живущим в Софии».

1 января 1930 г. «...приходится уплачивать долги Лидии Карловны людям живущим здесь, а родные, у которых Л. К. занимала деньги, живут в Одессе. Одинокая, больная и страшно несчастная, она к тому же очень нуждается, хотя и работает (шьет) с утра до ночи».

17 октября 1931 г. «Л.К. нездорова и живет в Одессе мученицей. (Неразб.), чтобы сохранить дом для деток».

Июнь-сентябрь 1931 г. «...ты себе представить не можешь, как эта заячья жизнь измотала мне нервы. А тут еще невозможность регулярно помогать моей старухе, которая изнемогает от лишений в Одессе».

17 января 1932 г. «Л.К. прямо изнемогает от лишений и я бессилён помочь ей, как надо».

1 апреля 1934 г. «Л.К., которая бедствует в Одессе, хотя служит в библиотеке, да и Витя ей немного помогает. Ее месячного жалования хватает на неделю жалкого существования»¹.

Ко времени последнего упоминания Лидии Карловны относится стихотворение «Женщина седая», в котором автор представляет брошенную им в Одессе супругу:

Нет, никогда я не пойму,
Хотя бы мозг сгорел, страдая,
За что, зачем и почему,
Одна в покинутом дому –
Вся в черном женщина седая.
Не спит все ночи напролет.
Как скорбен лик ее бескровный.
И ходит-ходит взад-вперед –
Вдруг остановится, замрет
И все петливый шаг неровный.
О скалы бьет морской прибой.
Седая женщина все ходит
И говорит сама с собой,
И взор, сгорающий мольбой,
С икон к портретам переводит.
Подходит молча к одному,
К другому – и потом, рыдая
Глядит в окно сквозь дождь и тьму.
Одна, в покинутом дому.
Вся в черном женщина седая².

Трудно представить, что Александр Митрофанович не понимал, почему именно седая женщина осталась одна в покинутом дому. Ответственность за это лежала в первую очередь на нем. Но стихотворение это в большей степени говорит о состоянии автора, чем о положении его героини. Лидия Карловна, конечно, не могла не горевать об оставивших ее сыне, внуках, а может быть, по старой памяти – и о муже, но, ссылаясь на воспоминания соседей Лидии Карловны по даче, Луцкий рисует ее совсем не такой, какой ее изобразил Александр Митрофанович.

¹ РАЛ.

² Архив Байнеке.

Пользуясь тем, что при покупке дом был записан на ее имя, Лидия Карловна с 1926 года превратила его в пансион. Инерция старых знакомств определила характер ее заведения – здесь продолжали останавливаться деятели культуры, теперь уже советской. Поэтому ситуация ее не была критической.

Лушник сообщает, что Всеволод Мейерхольд с женой-актрисой Зинаидой Райх и пасынком – Костей Есениным проводили летний отпуск на федоровской даче в 1926, 1929, 1933 и 1935 годах. В августе 1930-го у Лидии Карловны останавливалась семья Олеси. Здесь отдыхали с семьями поэты Владимир Нарбут и Эдуард Багрицкий. Стол был обильным, но не дешевым. Вспоминается характеристика, которую дал Лидии Карловне Нилус – «баба дошлая», и аналогичная Веры Муромцевой – «женщина оборотистая».

И все же: как могло произойти, что она, единственная из семьи, осталась в Одессе?

Здесь уже говорилось, что в начале 1922 года жившие в Кишиневе друзья Федоровых – супруги Недзельские – хотели вывезти Лидию Карловну из Одессы. Но собиралась ли уезжать сама Лидия Карловна? Готова ли была к такому рискованному предприятию? Нелегальный переход границы требовал физических сил, которых у 56-летней женщины могло не быть.

Стоит ли тут обратить внимание и на слова Александра Митрофановича о том, что супруга осталась в Одессе, чтобы сохранить имущество семьи, которая могла еще вернуться домой?

По мере того, как становилось все очевиднее, что советская власть воцарилась надолго, переход границы становился все менее реальным, а возраст брал свое, Лидия Карловна, видимо, смирилась со своим положением и занялась делом. Она принимала постояльцев с 1926 по 1936 год. Когда ей исполнилось 70, она решила, наконец, отдохнуть и сдала дом в аренду Укрлитфонду. Она сохранила за собой комнату, и симпатизировавшие ей постояльцы продолжали относиться к ней как к хозяйке, хотя всем была понятна ее новая роль. Она была еще в ясном уме, о чем можно судить по прекрасным воспоминаниям о Чехове, написанными ею в 1936-м году. В отличие от супруга, она писала ясно и просто. Сохранив в памяти массу мелких подробностей своих встреч с Антоном Павловичем, она создала замечательно живой документ. Эти воспоминания являются также подтверждением того, насколько цельным и волевым человеком она была – на стиле ее письма никак не отразилось многолетнее печатанье под диктовку стихов и прозы мужа.

В 1937 году дирекция одесского Дома творчества начала агрессивную кампанию по расширению площади вверенного ей учреждения за счет окружающих дач. Чтобы избавиться от мешавшей начальству старухи, на Лидию Карловну написали донос, в котором говорилось, что она поддерживает связь с находящимися за рубежом сыном и мужем белоэмигрантами, получает от них валюту. Это косвенно подтверждает, что Виктор действительно поддерживал ее материально.

Лидию Карловну арестовали 14 октября 1937 года. Она была признана виновной в контрреволюционной деятельности и 29 октября того же года, по постановлению тройки УНКВД Одесской области, расстреляна. Лушник уточняет – застрелена. Ей был 71 год.

Из последнего автобиографического романа А.М. Федорова «Плеяды» следует, что его герой – писатель Виссонов узнает об исчезновении жены через живущего в Париже родственника, у которого осталась сестра в Одессе. У Федорова в Париже родственников не было, но в Париже жила Ирина Буковецкая – дочь оставшегося в Одессе Евгения Буковецкого. Он первым мог узнать об аресте Лидии Карловны, сообщил об этом дочери, а от нее уже весть добралась до Александра Митрофановича.

Для героя романа начинается время жутких предположений и слухов. 14 ноября 1937 года (это ровно через месяц после ареста!) его посещает страшное видение. На ночной улице Софии он слышит пронзающий сердце крик пролетающей над ним тени. Вернувшись домой, он пишет сонет, своей жутковатой образностью напоминающий стихи Эдгара По.

Глубокой осенью, в час полночи железной,
Когда скзвостистый мрак бездушен и студен
И весь как бы пронзен алмазной нитью звездной,

Я мимо башни шел, тоскою изможден.
 Внезапный плач иль стон, томящий и бесслезный,
 Остановил меня. И к месту пригвожден,
 Я, как слепец, себя почуявший над бездной,
 Весь замер. Надо мной, виденье или сон,
 Бесшумно промелькнул какой-то призрак странный
 И поднял волосы движеньем крыл едва.
 Дух ночи? Нет, всего сова, сова, сова.
 Но сердце мне пронзил вещатель окаянный.
 Я понял, что она, далекая, мертва
 И с ней все умерло. Одна лишь скорбь жива¹.

В последних своих стихах Федоров еще раз обратился к образу жены. Несмотря на то, что последние 28 лет жизни он провел в семье Невены Желязовой и был близок с ней, в его персональном поэтическом пространстве места для нее не нашлось. В письмах Бунину он отзывался о ней с благодарностью: если бы не она, он бы спился и умер. Это похоже на правду. Но в последнем автобиографическом романе Федорова подруга героя-писателя, прототипом для которой послужила та же Невена, наоборот, предстает в самом неприглядном свете: некрасивая, недобрая, неумная. В стихах же до последних дней царила его Лидия, постоянно напоминая о себе даже из другого мира. Думается эту запоздавшую любовь подогрело ощущение вины.

Уж ты давно в земле истлела,
 И вдруг твой образ, как цветок,
 Расцвел, и душу мне и тело
 Воспоминанием зажег.
 То, что ты взял от нас, о Боже,
 Что уж испеплилось в золе,
 Душе становится дороже
 Всего живого на земле.
 Так от звезды, давно погасшей,
 Лишь через много много лет
 Доходит в ночи жизни нашей
 Благословляющий привет².

Трава забвения

Последнее из хранящихся в Русском архиве Лидского университета писем Федорова Бунину датировано апрелем 1934 года. Есть еще одно без даты, но вряд ли оно написано намного позднее, в нем автор продолжает радоваться за друга и жаловаться ему на то, что сам тонет. Бунину оставалось жить еще 19 лет, Федорову – 15. Почему прервалась их переписка? А по сути – дружба, которая насчитывала без малого 40 лет! Неужели зарос-таки травой забвения тот уголок в сердце Ивана Алексеевича, где навсегда и «несмотря ни на что», было гарантировано место другу Митрофану?

Конечно, Иван Алексеевич мог просто устать от назойливых жалоб Митрофану на жизнь, звучащих особенно удручающе для человека, который сам едва сводит концы с концами. Потом в жизни двух авторов почти одновременно произошел радикальный перелом. Нобелевская премия принесла Бунину достаток и вывела на новый уровень всемирного признания, а значит и на новые переводы и гонорары, короче, на все то, что дает повод для уверенности, как это называется, в

¹ А. М. Федоров. Пляды. С. 131.

² Архив Байнеке.

завтрашнем дне. Федоров же окончательно потерял педагогическую работу и скромный доход, который она ему приносила. Жизнь развела их по двум не соприкасающимся вселенным. Из-за чего Александр Митрофанович и решил больше не беспокоить старого товарища. Быть бедным среди бедных несложно, быть бедным перед богатым – стыдно. Даже на расстоянии.

Да, но ведь прошло не очень много времени, и старый товарищ вернулся в ту же вселенную, где прозябал Федоров. В годы войны дела его пошли так худо, что Ивану Алексеевичу приходилось буквально драться за картофелину со своим протеже и литературным секретарем Леонидом Зуровым. Но его дружба с Федоровым не воскресла. Конечно, тут можно сказать, что старость заставляет экономить усилия, в том числе и эмоциональные, круг контактов сужается. Но дело не только в этом.

Вселенные, в которых оказались старые друзья, не характеризовались лишь признанием и материальным достатком. Федоров, несмотря на почетный пост председателя союза писателей и журналистов Болгарии, оказался вне силового поля иммигрантской прессы Берлина и Парижа. Периодика двух основных центров русской эмиграции первой половины XX века дала возможность своим авторам остаться частью развивающегося литературного процесса, сохранить собственную актуальность. В этом отношении даже литературная вражда была так же полезна, как и литературная дружба. Бунин находился в гуще этой жизни. Он был одинаково хорошо знаком и со старой литературой, и ее нарождающимися на родине и в изгнании звездами. К этому следует добавить еще одну важную деталь: после прозвучавшей в 1919 году в переполненной аудитории Новороссийского университета лекции «Великий дурман» у Бунина возникло осознание своей особой роли в русской литературе. Своего, как сейчас бы сказали, лидерства. Слова слышавшего эту лекцию академика Н.П. Кондакова «Иван Алексеевич – выше всех писателей» упали на благодатную почву.

В Софии, равно как и в Одессе, центром мира Александра Федорова был он сам и его семья. Его мир сотрясали не идеи века, а его собственные страсти. Именно поэтому его любовная лирика, постоянно подпитываемая свежими чувствами, продолжала пользоваться спросом. Недаром его стихи постоянно присутствовали в коллективных сборниках рядом с именами лучших поэтов его времени. Как например в вышедшем в 1921 году в пражском издательстве «Кремль» – 500-страничном «Сборнике стихотворений известных русских поэтов». Увесистый том, видимо, должен был заменить иммигрантам оставленные на родине библиотеки. В него вошли 300 стихотворений 85 авторов – от Пушкина до Федорова.

Иное дело – проза. Иногда кажется, что Федоров, литератор прагматичный, допустил ошибку, которая во многом поспособствовала его забвению. Он, если так можно выразиться, не перестроился на более ходовой для тех условий прозаический формат – короткого рассказа с выраженными документальными свойствами. К каким можно отнести, например, бунинский «Конец» – историю бегства автора из Одессы в трех микроглавах – идеальный формат для газетной страницы.

Федоров это понимал, жалуясь Бунину на то, что он-де «скакун на длинные дистанции» и не способен к производству, как он выражался, «семечек» «с современным нервом». Но понимание своей творческой проблемы не привело к ее решению. Рассказы, опубликованные в 1920-х в берлинском журнале «Сполохи», в парижских «Перезвонах» и, видимо, последний, опубликованный в 1939 году рассказ «Жемчужина» в парижских «Русских записках» утомительно неторопливы и неактуальны. Возможно, проблема могла решиться, если бы рядом с Митрофаньчем была его Лидя, его первый редактор, литературный секретарь, дельный советчик.

Митрофаньч, как говорится, отстал от жизни. Поезд русской литературы ушел, оставив его в полном одиночестве на платформе софийского вокзала. Все, что у него оставалось, это его семья со всеми ее достижениями и несчастьями, говорить о которой его парижским друзьям попросту неаскутило. У них были свои заботы, их увлекали другие события.

Время, говорят, все расставляет на свои места. Места пребывания и окружение способствуют этому тоже.

Сестры Барло

Надя с детьми вырвалась из Одессы в августе 1922. Александр Митрофанович, узнав новость, тут же бросился в Варну. Конечно, он был ближе Виктора к невестке и внукам. Но Виктор в Варну не приехал вообще. В его жизни появилась другая женщина – Вера Барло-Якубович.

Известно о ней совсем немного. Она была на десять лет старше Виктора. Она, как говорится, окрутила и поработила его – слабохарактерного, отобрала у семьи и, возможно, сыграла свою роль в его аресте. Несмотря на частые скандалы, они прожили вместе два десятка лет, и в документах о месте жительства в Бухаресте она проходит по фамилии Федорова.

Впервые мы узнаем о ней из письма Елены Васильевны Недзельской от 21 июня 1924 года, отправленного из Кишинева в Париж – В.Н. Буниной:

«Витя сейчас здесь. Отдыхает с женой у тестя. Выглядит погано. Жизнь его мерзкая, в другом, нежели наша, смысле. Типично современная. Жизнь международных больших городов. Сегодня шла я по улице. Они со своей женой впереди. Оба модные, типично порочные. У него жена. Они бездетны. Как? Витя Фед<оров>? Да ведь у него двое маленьких детей. Еще так недавно все это было. И теперь другой. Детям и на детей он ничего не может посылать. Не хватает. Они живут в Бухаресте постоянно в гостинице. Так шикарнее. Платят 4500 за комнату, а в семье можно иметь комнату за 2000. Но это бы не шло к его ультрамодному пиджаку и утрированной простоте ее костюма и прически. Это не шикарно. Нет. И у него и у нее темные под глазами круги. И оба они похожи на героев мрачной кинематографической драмы. Наиболее частое выражение лиц таких героев – деланное спокойствие, жадность и безразличность ко всему, что не в их вкусе.

Но этот Витя знает, видел, был в нашей прошлой жизни, и мы не можем оторвать его от сердца и бываем ему рады. А когда он уходит, мне постоянно хочется плакать. Ожидается Митрофаных. С тем будет трудно. Теперь разводит лимонад о Витиной гениальности и пр. Да и сам он, не поумневший, как видно из его произведений с пафосом – мучителен»¹.

Нилус пишет Бунину 23 октября 1924 года:

«Получил от Митрофаныха твое письмо, оказывается он в это лето был в Румынии, и вдребезги рассорился с Витиной красавицей»².

Где и как встретились Витя Федоров и Вера Барло-Якубович? Частичный ответ дает биография ее сестры – Елены Барло. О ней известно больше, в частности из двухтомной Энциклопедии румынского театра, где ее имя постоянно упоминается вместе с именем Виктора Федорова.

Елена родилась в Житомире в 1905 году. Отец – Владимир Барло-Якубович (по словам детей Виктора – генерал в отставке), жил с Еленой и ее старшей сестрой Верой в Кишиневе, когда там появился Виктор. Если представить, что они встретились в 1922 году, то Виктору в это время – 25, Елене – 17, Вере – 35.

Профессиональные биографии Виктора Федорова и Елены Барло тесно переплетены.

В 1923 году Елена и Виктор дебютируют в качестве художников в Национальном театре живописного городка Крайова (Teatrul Național din Craiova), что в двух сотнях километрах на запад от Бухареста.

В 1924 году Виктор получает работу художника-постановщика в Национальном театре Румынии в Бухаресте. Елена получает здесь работу художника по костюмам в 1927.

В 1928 году министерство культуры Румынии командировывает Виктора на стажировку в Париж. Елена продолжает работать в Национальном театре до 1931 года и уезжает в Париж – в 1932, оставаясь там до 1934.

Виктор получает работу технического директора в Королевской опере в 1931 и работает здесь вплоть до начала войны. Елена появляется в Королевской опере в 1937 году и работает здесь до 1946.

Работы Елены Барло хранятся в музеях Бухареста и Кишинева.

¹ РАЛ.

² Там же.

Кажется логичным предположить, что знакомство с Верой состоялось через знакомство с Еленой, близкой ему профессионально. Но младший сын Виктора – Виктор-Анатолий, ссылаясь на воспоминания матери, утверждает, что Вера была уличной женщиной, которая привела Виктора в свой дом, где и удерживала два десятка лет. Источник версии об уличном прошлом Веры, признаемся, ставит под сомнение ее достоверность. А вот общность профессиональных интересов с Еленой Барло, действительно, могла укрепить его связь с Верой. Сестры были единомышленны в отношении к Виктору. Александр Митрофанович в письмах Бунину называет их «пиявками», подчеркивая, что обе видели в нем источник своего благополучия. И в записках своей молодой возлюбленной, которая появляется у него в конце 30-х, Виктор намекает на то, что находится под постоянным надзором. Этот надзор, надо понимать, осуществляла работавшая рядом с ним сестра Веры.

Наталья Георгиевна Федорова – вдову старшего сына Виктора Александровича, Вадима Федорова, – я впервые встретил в городке Амстердам, что на севере штата Нью-Йорк. У Федоровых здесь был ухоженный двухэтажный дом на заросшей старыми деревьями улице. Белый фасад, синие жалюзи, островерхая крыша, терраса под навесом, где когда-то собиралась большая семья. Амстердам – уютный городок старой Америки, который к середине 80-х стал одной из жертв глобализации. В лучшие времена он жил за счет местного ткацкого производства, где Вадим Викторович работал химиком. Потом производство закрылось. Старики ушли из жизни, молодежь разъехалась. Просторные и совершенно пустынные улицы исполнены очарования старых кладбищ.

Второй раз мы встретились весной 2011 года, когда округ Колумбия и соседняя Вирджиния утопают в розовых облаках цветущей вишни. Здесь, у сына Алекса, полковника Армии США, жила теперь Наталья Георгиевна. Ей было 89 лет.

Она занимала уютный, отдельно стоящий от основного особняка дом. На стенах ее гостиной фотографии родных и сразу же узнаваемый карандашный автопортрет Виктора Александровича.

Снова было чаепитие и долгий разговор.

В 1925 году Надежда Леонидовна с детьми переехала из Болгарии в Чехию. Переезду активно способствовал Александр Митрофанович. Его коллега – Евгений Николаевич Чириков, с которым он давал совместные лекции в Болгарии (принесшие им прозвище Кирилла и Мефодия), активно участвовал в жизни русской Праги и мог поспособствовать переезду.

Сама Наталья Георгиевна Федорова – внучка Е.Н. Чирикова.

В Чехословакии Надю нанял в качестве воспитательницы сына овдовевший русский иммигрант из Пильзена. Вадя с Лекой пошли в известную тршебовскую русскую гимназию-интернат в Моравии. Надя, получив стипендию чешского правительства, училась в русском кооперативном институте и получила диплом об его окончании. Диплом этот ей никак не помог, вся ее жизнь прошла в прислугах.

О Вере Барло Наталья Георгиевна знает от мужа.

Вера – красавица со светло-зелеными глазами. Нашла Виктора на улице в Кишиневе, привела к себе домой и больше не отпустила. Безостановочно терзала его своей ревностью. Отбирала все деньги.

Надя Ковалевская сама отказалась встретиться с мужем, узнав по прибытии в Болгарию о его романе с другой женщиной. Их первая после длительной разлуки встреча произошла летом 1928 года, когда Виктор приехал в Чехословакию, чтобы провести лето с детьми и с ней в деревне. Виктор приезжал к ним в летний отпуск трижды. Надя любила его всю жизнь и всю жизнь надеялась на его возвращение. Его попытки вернуться к Наде и детям всегда прерывались угрозой Веры покончить с собой.

Федорова-старшего нерешительность сына приводила в отчаяние, но и служила еще одним свидетельством его благородства.

В письме от 15 июня 1930 года Федоров-старший пишет Бунину о сыне: «...чувствует он себя несчастным, несмотря на большие успехи: опротивели ему его пиявки до тошноты, а бросить их

он не может: грозят самоубийством и проч. Тоскует о детях и мечтает вернуться к ним, а духу не хватает на решительный шаг. Начал попивать и это меня больше всего тревожит»¹.

Описание отношений сына с его подругой нашли отражение и в поэтической форме:

– Мой мальчик, что ты побледнел.
Кто выпил кровь твою.
– О, мама, я в груди согрел,
В груди моей змею.
– Мой мальчик, избранных творцом
Ждет слава и хвала.
– О, мама, голову венцом
Змея мне обвила.
– Мой мальчик, как ты мог уйти
От деток и семьи.
– О, мама, там мои пути,
Где след моей змеи.
– Мой мальчик, как тебе не грех
Забуть свой край родной.
– О мама, умер я для всех,
Жив для змеи одной².

«Тетя Надя», так Наталья Георгиевна называла свекровь, не была красавицей, но была пикантна и остра на язык. Некоторые ее высказывания навсегда врезались ей в память. Когда кто-то из детей, напроказничав, пытался подольститься к ней, она говорила: «Такой хороший, хоть до раны приложи». Характер у нее при этом был твердокаменный. Домашние в шутку называли ее «фюрером».

Когда Вадику было 17 лет, он провел летний месяц у отца. Он помнит его прекрасную квартиру в Бухаресте. Ссоры с Верой были безостановочными. Они отдыхали без Веры в районе Констанцы, где у друзей отца была яхта. Вадик вспоминал, как винт яхты запутался в рыбацких снастях и они ныряли, чтобы высвободить его. Вода была ледяной. Выручили их рыбаки – владельцы снастей.

Наталья Георгиевна утверждает, что в официальном браке Вера и Виктор не состояли. Последний раз она видела Виктора Александровича в 1944 году, когда тот приезжал в Прагу, чтобы расторгнуть брак с Надеждой Леонидовной.

Сын Вадим с молодой женой Наташей и первенцем, жившие в Праге в узкой подвальной квартире, которую они называли «щелью», знал от посещавшего их отца, что у того была турецкая виза и приглашение на работу в константинопольский театр. Он также говорил, что Александр Митрофанович уговаривал отца остаться и встретить русских. Федоров-старший все еще мечтал о возвращении на родину, обещавшее ему возвращение в русскую литературу. Он был уверен, что и Виктору с его талантом и опытом театральной работы найдется в России достойное место. Но здесь дело было не только в прагматизме, уверенности в том, что подготовленный на западе специалист не останется без работы. Когда Вите не было еще и года, Александр Митрофанович посвятил ему стихотворение, в котором были такие строки:

Заря твоей безвестной жизни
Ясна, светла, как рай,
Что дал тебе я – ты отчизне
Как долг святой отдай.

¹ РАЛ.

² Архив Байнеке.

И будет мне легко в могиле,
Коль заповедь мою
Исполнишь ты, покуда в силе...
Спи, баюшки-баю.

Эти строки были написаны задолго до революции и эмиграции, когда любовь Александра Митрофановича к родине, ощущение своей неразрывной связи с ее историей и культурой еще не были обострены возрастом и эмигрантской оторванностью – лучшей смесью для подпитки ностальгии. Эта любовь была абсолютно искренней. Но ощущая, что жизнь его на исходе, Александр Митрофанович считал, что триумфальное возвращение на родину, во всем блеске таланта и опыта, за него сможет осуществить сын.

У Виктора к родине было другое отношение. С ней у него ассоциировались смерть, голод, нищета. Заграница дала ему достаток и признание. По словам Натальи Георгиевны, в 1944-м Виктор Александрович выглядел как киноартист, ухоженный и прекрасно одетый. Весь его вид говорил, что война и принесенные ею бедствия его не касаются. В планах был переезд в Турцию, где ему предложили работу по специальности.

«Мы жили как иммигранты, – вспоминает она. – Он – нет».

По понятным причинам фотографий Веры Барло в семейных альбомах Федоровых нет. Но среди холстов отца, оставшихся у живущего в Женеве Виктора-Анатolia, есть один, на котором, как он считает, изображена Вера.

Узколицая женщина с закрытыми глазами, с зачесанными назад гладкими темными волосами, с покрытым прозрачной кисеей лицом проходит за окном мастерской художника. На заднем плане – голые черные деревья поздней осени. Мутноватые зелено-коричневые тона картины относят женщину в мир, где отсутствуют присущие жизни солнце и радость.

Герой без взглядов

Мы помним, как Катаев описал своего героя – художника Диму: избалованный, но добрый парень, художник, лишенный всякого таланта и – это очень важно – взглядов. Человек без взглядов в революционную эпоху, когда за взгляды умирали, казался аномалией. Эту свою «аномальность» Виктор в какой-то момент осознал и берег, признавшись своей второй супруге, что всегда стремился быть подальше от политики. Но Катаев говорил не об аполитичности Виктора, а, скорее, о врожденном отсутствии интереса ко всему, что находилось за пределами его личных художественных интересов. Это, конечно, занижало его творческие возможности. Задачи, которые он ставил себе, не могли идти дальше совершенствования техники, но его, видимо, это не беспокоило. И разве не принял бы он советскую власть, если бы та не предприняла нескольких попыток лишить его жизни?

В своей безыдейности Виктор, как говорится, был сыном своего отца – того, бывало, увлекали модные идеи, но в жизни он руководствовался здоровым практицизмом. Познав и отчаянную нищету, и громкий успех, он понимал, что не все в жизни человека зависит от общественного устройства, свою роль играют и талант, и трудолюбие, и умение приспосабливаться к обстоятельствам. Виктор, выросший в благополучной семье и с детства не знавший нужды, еще меньше был озабочен проблемами социального неравенства, чем отец.

За любовью Виктора к рисованию можно предположить еще одно качество – склонность к уединению и даже отсутствие навыка общения – не вполне ординарное свойство для человека, родившегося и выросшего в говорливой Одессе! И действительно, когда Елена Недзельская общается с Верой Буниной, что в их кишиневском доме остановился бежавший из Одессы Виктор, она напоминает той, как Виктор «краток и бледен в рассказе».

В письмах Бунину Александр Митрофанович неоднократно упоминает работоспособность сына, что наверняка способствовало его театральной карьере, но когда речь заходит о его отношениях с женщинами, жалуется на его нерешительность и раз, сорвавшись, называет тряпкой.

Безволие и доброта, по крайней мере – отчасти, могли объяснить и его очень ранний первый брак с Надей Ковалевской, которая была старше его на год, и мучительно-долгую связь с Верой Барло, которая была старше его на десять лет. Женщины легко подчинялись его своим интересам. О таких, как он, говорят – подкаблучник.

Но, как это нередко бывает, жертвы домашней тираннии на работе сами становятся тиранами. Копящийся подолгу пар всегда находит выход. Сын Виктора – Вадим вспоминал, что в театре отец не стеснялся своей власти, покрикивал на рабочих и, бывало, переходил на мат. Младший сын – Виктор-Анатолий рассказывал со слов матери, как однажды отец набросился на своего подчиненного с кулаками. Это произошло во время общего застолья, когда один из рабочих сцены предложил исполнить Интернационал. Виктор, видимо не справившись с нахлынувшими воспоминаниями молодости, повалил певца на пол и бил, пока его не оттащили.

Вспоминается еще один, более ранний случай, из рассказа Нади Ковалевской, когда Виктор набросился с руганью на пограничников. Это случилось во время его нелегального перехода границы в 1922 году. Он сыграл тогда экспромтом роль человека, о чьем переходе якобы знало начальство патрульных, но по какой-то причине не сообщило им о нем. И пограничники отступили.

Он был, конечно, подкаблучником, но в определенных ситуациях мог проявить характер.

Был ли он значительным художником?

Катаев писал о своем герое Диме: «...художником оказался не очень хорошим, дилетантом. Много ненужных подробностей»¹.

Последние, лагерные акварели, театральные эскизы декораций или карандашные автопортреты и портреты близких, сделанные еще в России, Болгарии и Румынии, – действительно кажутся работами старательного дилетанта. В них нет той стильной уверенности, которая всегда отличает мастера.

В Женеве сохранились работы Виктора Федорова, выполненные маслом. Очевидно, что Виктора увлекал сюрреализм, но его холсты не выдерживают сравнения с произведениями классиков жанра – по единственной причине, названной до нас Катаевым, – у их автора не было взглядов. Художник без взглядов – декоратор, и именно это свойство характерно для сюрреалистических картин работ Виктора – они декоративны. Но по меньшей мере одна из них интересна. Она написана в 1944 году и называется «Перевозчик. Беатриче и Виргилий спускаются в ад». На переднем плане – моряк с якорем в руках стоит у лодки со спущенным парусом. Его глаза закрыты. Это, надо понимать, Харон. На втором плане – группа людей, освещенных адским пламенем. На заднем плане мы видим две приближающиеся к переправе фигуры, мужскую и женскую. Мужчина в черном, женщина в белом, на руках у женщины черный сверток – это ребенок. С учетом того, что картина написана в 1944-м, Виктор мог в этой паре увидеть себя с Еленой и младенцем, которому еще только предстояло появиться на свет.

В реалистической манере написан портрет Елены Дину. Молодая женщина в легком платье с цветочным узором лежит, закинув руку за голову, в шезлонге. Автопортрет художника в белой рубашке с открытым воротом, с кистью и палитрой в руках кажется пафосным. Задник занимает нечто напоминающее большими отверстиями то ли орех, то ли швейцарский сыр.

Из переписки Федоровых мы знаем, что в летние месяцы Виктор выезжал на заработки в курортный городок Балчик. В Женеве остались сделанные здесь картины, или, скорее, картинки. На них – мощенные булыжником улочки, черепичные крыши, румынские крестьяне в национальных костюмах, товар, одним словом, для туристов.

В 1928 году румынское министерство культуры направило Виктора, в то время работавшего в Национальном театре, на стажировку в Париж. Это было очень большим событием в жизни театрального художника. Судите сами: уже на исходе, но еще не окончилась эпоха «Русских сезонов» Сергея Дягилева, который привлек к работе самых передовых артистов, музыкантов и художников своего времени. Декорации к его постановкам делали Жорж Брак и Андре Дерен, Наталья Гонча-

¹ В. Катаев. Избранное. С. 40.

рова и Михаил Ларионов, Макс Эрнст и Хуан Миро. Когда Виктор только собирался в Париж, очередную постановку Дягилева в театре Сары Бернар – балет «Меркурий» декорировал его кумир – Пикассо. Мог ли русский художник-постановщик, располагающий опытом работы в главном театре Румынии, не мечтать о том, чтобы оказаться в созданной Дягилевым гипер-концентрированной художественно-артистической среде?

Виктор, конечно, следил и за деятельностью Дягилева и за другими русскими художниками, оказавшимися в Париже. Известно, что Вера Николаевна Бунина отправляла ему страницы иллюстрированного журнала «Жар-Птица» с фотографиями декораций модных театральных постановок.

Поездке Виктора в Париж предшествовала возобновившаяся переписка Федорова-отца с Нилусом. Понятно, что Александр Митрофанович переживал за своего мальчика и надеялся если не на помощь уже утвердившегося в Париже друга, то, по крайней мере, на его советы. Из писем, которые хранятся в архиве А.М. Федорова в московском музее М. Цветаевой, мы узнаем, какие инструкции давал Нилус своему старому товарищу: чтобы прожить в Париже, нужно 2,5-3 тысячи франков в месяц, его (Нилуса) квартира стоит 1350. Ехать лучше всего одному, чтобы спокойно осмотреться и принять верное решение относительно дальнейшего устройства. Полагаться следует только на удачу. В качестве примера Нилус приводит московского художника Николая Милиоти, который попал в Париж через Софию и, видимо, был известен Федорову. Нилус указывает на то, что тот знал язык, что значительно помогло с заказами, а добавок был умен и привлекателен.

Милиоти, действительно, хорошо знал французский, и вот по какой причине: свое образование он начал на историко-филологическом факультете Московского университета, а окончил в Сорбонне. Живя в Париже, он учился живописи в Академии Жюльен, той же, где занимался Евгений Буковецкий. В 1906-м он был участником большой русской выставки в Париже, организованной С. Дягилевым, и действительным членом парижского Осеннего салона. Это он был учредителем «Мира искусств» в 1910 году и участником его выставок. Вернувшись в Париж в 1923 году, Милиоти снял мастерскую на площади Сорбонны. В ней бывали Поль Валери, Райнер Мария Рильке, Андре Моруа, Михаил Ларионов и Наталья Гончарова, с которой он работал в кукольном театре Ю. Сазоновой. В 1924 году он уехал на несколько лет в США. Нилус говорит, что его пригласили для писания семейных портретов знаменитые Марганы.

Нилус подчеркивает, что вначале Милиоти, как и он сам, прошел через период неопределенности, но потом фортуна улыбнулась ему. Это не совсем так. Милиоти был художником совсем не того калибра, что Виктор. Именно к таким, как он, можно отнести спортивную поговорку – везет сильнейшим. Но Нилус проявил типичную для него деликатность – он дал понять старому товарищу, на что его сын, не знающий французского, не имеющий связей и известности Милиоти, может рассчитывать в Париже. Исключительно на удачу.

К короткой справке о Милиоти следует добавить, что удача не сделала того богатым. Берберова писала, что в последние годы жизни – седой, беззубый, в дырявом пальто, он выглядел как клошар. Его спасали его бывшие подруги.

Виктор приехал в Париж один. Чего ему это стоило, можно догадываться. В апрельской 1928 года открытке старому другу Нилус не без иронии сообщает, что они с Виктором сидят в кафе, но тому кусок не идет в горло от мыслей о возвращении в Бухарест.

Судя по тому, что в Бухаресте продолжали выходить постановки с его декорациями, Виктор бывал в Париже наездами. И по пути в Париж, и обратно он стал заезжать к первой жене. Понятно, что его тянуло к подросткам сыновьям, но вернувшись к ним, он оказался в такой теплой, такой родной семейной атмосфере, что сердце его дрогнуло и в отношении Нади. Они, кажется, снова сошлись, во всяком случае семья была вместе, сняв на школьные каникулы детей дом в деревне. Надя, чья жизнь в Чехословакии была мучительно тяжелой, внезапно обрела счастье, о котором не осмеливалась мечтать. Невероятно гордая и независимая, по словам ее детей, могла ли она не думать о том, что вернувшийся муж, состоявшийся театральный художник, может избавить ее от унижительной работы прислуги в чужом доме?

10 июня 1929 года Александр Митрофанович пишет Бунину о находящемся в Париже сыне, «... где мечтает устроиться совсем. По пути он был в Праге у Нади и деток и, как пишет мне сейчас – и “Надей и детками совершенно зачарован” и, кажется, мечтает о восстановлении прежних семейных отношений, т.к. пьявку свою бухарестскую с ее сестрой совершенно возненавидел и только джентльменство удерживает его от окончательного разрыва (к тому же надо денег, чтобы откупиться от них); да, пожалуй, боязнь, что придется волочить за собой ему если не два их трупа в воспоминаниях, то один. Впрочем, я надеюсь, что он, в конце концов, решится»¹.

1 января 1930 года Александр Митрофанович докладывает Бунину:

«Витя все идет в гору как художник, но начинает иногда запивать жестоко, отчасти потому что возненавидел своих пьявок, а развязаться с ними не в состоянии. По характеру он порядочная тряпка. Впрочем и доброта и благородство мешают, но весной думает уехать в Париж, а по дороге поводить деток и захватить Надю. Он летом виделся с ними и решил опять вернуться в семью»².

Ни в Париж, ни в семью, как мы знаем, Виктор не вернулся. Но здесь речь о другом – его работе. Мы невольно переносим катаевскую характеристику профессиональных качеств его героя Димы на реального Виктора и видим в нем не очень талантливого художника. Но в Румынии Виктор преуспел не как художник в узком смысле этого слова. Его талант проявился в другом.

Академическая двухтомная «История румынского театра» представляет его как значительного сценографа, художника-постановщика Национального театра Румынии, где он трудился с 1924 по 1931 год. Из сезона в сезон он оформляет один-два спектакля:

1925-26 – «Женитьба» Гоголя и «Жанна Д’Арк» Шоу; 1927-28 – «Дикая утка» Ибсена и «Хозяин Маноле» Блага; 1928-29 – «Женщина с моря» Ибсена и «Турандот» Гоцци; 1929-30 – «Мера за меру» Шекспира и «Великий исповедник» Ефимины; 1930-31 «Ревизор» Гоголя.

Он также упоминается в качестве сценографа театра Марии Вентуры – известной актрисы, которая родилась в Бухаресте, получила образование в Париже и работала в Комеди Франсез, а с 1929 года ежегодно приезжала в Бухарест, где делала свои постановки.

В 1931 году Виктор перешел на работу в Королевскую оперу на должность технического директора.

Не нам судить о степени дарования Федорова-сценографа, отметим лишь, что его многочисленные работы в качестве художника-постановщика стали неотъемлемой частью истории румынского театра.

Лелюш

Молодая художница Елена Дину пришла в Королевскую оперу не позже 1938 года. Знакомство с Виктором началось с конфликта. Тот категорически отказался принимать ее на работу, сославшись на правило, по которому в его цеху работали только мужчины. Не исключено, что правило было введено Верой Барло.

Но у Елены Дину оказался влиятельный родственник в министерстве культуры, и под его давлением Виктор был вынужден отступить. Елене Виктор представлялся пожилым человеком, с которым ее не могло связывать ничего, кроме работы. Ему был тогда 41 год. Но очень скоро у них начался роман. В записках и письмах – он уже писал на румынском – Виктор обращался к ней «Дорогая Лелюш» или «Лелиора».

На фотографиях Елена Дину черноглазая, с облегающими голову гладкими черными волосами, уверенная в себе, улыбчивая женщина. Цыганского, можно сказать, типа. Вот она сидит у стола с сигаретой в руке. Было такое время – мало кто не курил. На другом снимке она сидит на борту яхты. Виктор стоит рядом. Оба во всем белом. Она – в выставочном зале у своих живописных работ – на холстах цветы.

¹ РАЛ.

² Там же.

Елену не назвать красивой, но ее молодость затмевала для Виктора все. Ситуация – банальней некуда, что не помогает преодолевать пытку вынужденной жизни врозь. Дома – ревность, взаимная ненависть, скандалы, угрозы покончить с собой. На работе – головокружительная близость молодой женщины.

По понятным причинам на записках, которые он оставляет ей, дат нет.

«Моя дорогая Лелиора, что означает твоё молчание? Мы не говорили так долго. Мне кажется, ты потеряла терпение и решила, наконец, прекратить свои страдания и забыть меня. Может быть, это и хорошо для тебя, но невыносимо грустно для меня. Но я надеюсь, что мои письма просто потерялись. На почте – хаос, все жалуются на потерянные письма.

<...>

Я не изменяю тебе ни в мыслях, ни на деле. Я намерен заработать много денег этой осенью и оставить богемную жизнь. И наша проблема должна быть решена, если ты все еще хочешь быть со мной.

Моя дорогая любовь, мои зеленые глаза, которые я целую каждое мгновение. Как бы я был счастлив, если бы ты могла быть здесь со мной. Очень тяжело без тебя. Я злюсь, когда мы ссоримся, а потом чувствую себя как собака. Я устал и морально уничтожен этой женщиной. Только проклятая жалость. Пожалуйста, уничтожь это письмо, эти безжалостные слова не должны достичь ее. Твои письма, как ты и просила, я порву тоже и развею над морем, над белыми холмами и прериями, вот почему мы, кажется, становимся единым, с маленькими частичками твоего существа – единственного, что способно сделать меня счастливым. Я целую тебя со всей своей любовью, моя маленькая Лелиора».

И еще одно:

«Дорогая моя, если ты расстроилась, это не так уж страшно, но я не хочу, чтобы ты страдала, вот почему я пишу тебе это письмо. Ты как ребенок, и когда ты расстраиваешься, я люблю тебя еще сильнее.

Жизнерадостные дети, такие как ты, в моменты своего одиночества страдают еще сильнее, и это создает для нас с тобой небольшие неудобства, но они не стоят того, чтобы превращать их в большие драмы.

Ты достаточно взрослый человек, чтобы подумать немного, оценить наши чувства и признать, что мои – так же искренни, как твои. Я могу сказать тебе, что и в моем возрасте, что еще более непростительно, я тоже ребенок и вместо того, чтобы молчать, рассказываю тебе обо всем, что происходило в моей жизни. Я – не серьезный человек. Прости меня. Я измучен и несчастлив, от того и ишу кого-то, кто может понять и простить меня, может помочь мне и разделить со мной мои печали. Их так много, что я не в состоянии вынести их один. Мои мысли могут показаться чудовищными и испугать тебя, потому что ты так молода и так неопытна. Но это что-то значит для нас и нашей близости, и поэтому не может быть просто так отброшено. Никакие страдания – большие или маленькие, никакая ревность – сильная или слабая, не должны заставлять нас ходить с угрюмой физиономией, как это делаю я, или показывать язык, как это делаешь ты. Ты принимаешь все слишком серьезно и расстраиваешься, а я пишу эти строки и не могу не смеяться, потому что прямо сейчас очень хочу поцеловать твой маленький язычок. Давай прекратим заниматься этой ерундой, помни, что я очень люблю тебя и только тебя, моя деточка, моя любовь. Приходи вечером мириться. Если ты не придешь, я буду считать, что ты бросила меня.

Целую».

И еще:

«Дорогая Лелюш,

Я должен увидеть тебя вечером. Вчера, учитывая обстоятельства, я ничего не мог сказать тебе. <...> Если не будет дождя, приходи в греческий ресторан за Кишмигу (*парк в Бухаресте – В.Я.*). Я буду ждать тебя между 7 и 8. Если будет дождь, я зайду за тобой около 8 или 8 с четвертью.

Целую»¹.

¹ Записки Виктора из семейного архива Федоровых в Женеве.

Эта пытка, наверное, продолжалась бы и дальше, если бы на помощь влюбленным не пришел Александр Митрофанович. Он был прекрасно осведомлен о сердечных делах сына, и в очередной приезд в Бухарест явился в его квартиру, решительно собрал его вещи в чемодан и увез в гостиницу «Континенталь». После этого он настоял на том, чтобы Виктор съездил в Прагу и получил у Нади согласие на развод. Та не возражала, их брак давно уже был формальностью.

Инициативность Александра Митрофановича была жестоко наказана. Вера Барло уничтожила все его рукописи, хранившиеся в квартире у Виктора.

Когда Виктор вернулся из Чехословакии с необходимыми документами, Елена Дину стала его законной женой и забрала жить в большую квартиру на ул. Данте Росетти, которую делила с сестрами. До свадьбы те наотрез отказались принимать Виктора в качестве сожителя сестры.

Почему, располагая турецкой визой, он остался в Бухаресте? Может быть, потому что Елена не хотела оставлять сестер. Может быть, потому что после того, как в Румынию вошли советские войска, выезд из нее стал невозможен.

Его новое семейное счастье было удручающе непродолжительным. 28 декабря 1944 года двое советских военнослужащих в сопровождении двух румын в форме появились в квартире на улице Данте Росетти и, предъявив ордер на арест, увели Виктора. Несчастная Елена, беременная их первенцем, начала многомесячный обход советских и румынских чиновников, пытаясь выяснить, что случилось с мужем. Никто ничего не знал.

В это время бежавшие из Праги Вадим и Наталья Федоровы жили в Регенсбурге. Здесь их разыскал американский офицер с письмом из Пильзена – от матери. В нем они нашли обрывок коричневой оберточной бумаги, на одной стороне которого был написан пильзенский адрес Надежды Леонидовны, на другой: «Я в лагере. Погибаю. Прощайте. Виктор».

Как это письмо могло добраться из СССР в Чехословакию и оказаться в американской зоне, никто объяснить не может. Доставивший его говорил по-русски без акцента. Молодые Федоровы, разговорившись с ним, узнали, что зовут его Уильям Коффин. Русский он учил в военной школе в калифорнийском Монтерее, затем доучивал в семье русских иммигрантов в Париже, от которых получил новое имя – Вася Коффин. Для полноты картины можно было бы русифицировать и его фамилию, назвав Грбовым. «Coffin» по-английски – гроб. После войны Коффин стал журналистом, а затем священником. В 60-е он был активным участником антивоенных протестов. Во Вьетнаме побывал тоже – в качестве корреспондента. В этой короткой биографии угадывается характер, склонный к перемене мест, неизбывному интересу к чужим судьбам. Такие люди не уникальны, и часто именно с их помощью в ходе случайных встреч, мимолетных контактов – из рук в руки – передается жизненно важная для кого-то информация.

Сын Виктора и Елены – Виктор-Анатоль появился на свет в июле 1945 года. По его собственным словам, он рос избалованным донельзя божком в женском царстве бесконечной любви и ласки. Помимо его собственной, у него было еще три мамы: Марго, Жоржета и Наташа. От матери он знал, что его отец был идеальным человеком. Ангелом. Мать проработала в театре 35 лет в качестве художника по костюмам. Вера Барло добилась от Елены Дину, чтобы та в течение года отдавала ей зарплату Виктора, которая начислялась ему, пока дирекция театра выясняла его судьбу. Точнее, когда он уже был в заключении.

Если судьба действительно может наказывать, то об этом можно судить по тому, как она обошлась с Верой. В семье Федоровых жила легенда о том, что после войны она уехала из Румынии в Америку. Такой переезд мог соответствовать ее хваткому характеру. Но это только легенда. В начале 80-х молодой румынский театральный критик Ион Казабан разыскал в Бухаресте исчезнувшую после выхода на пенсию Елену Барло, чтобы написать о ее былой славе художника по костюмам¹. Та жила в бедности, поразившей молодого человека. В крохотной квартирке лежала за ширмами, прикованная к постели, сестра Елены. Подключившись к воспоминаниям, она стала рассказывать о своем муже – знаменитом сценографе Викторе Федорове. Она по-прежнему считала его своим мужем. Казабан вспоминает, что эта встреча состоялась в 1983-84 году. Вере должно было быть тогда 96.

¹ Teatrul azi. 2009. № 8-10. Bucuresti, Romania.

После ареста Виктора Александровича Елена Дину замуж больше не вышла. Она умерла в 2008 году в возрасте 98 лет и похоронена на семейном участке Федоровых на женевском кладбище.

В причинах ареста Виктора Федорова не разобраться, не зная о его возвращении в Одессу в годы Второй мировой.

Возвращение в Одессу

В начале 1945 года Елена Дину начала поиски арестованного мужа и привлекла к этому дирекцию Бухарестской оперы, где работала сама и где еще месяц назад работал Виктор. Было составлено обращение к властям, включавшее его короткую биографию. Здесь была указана дата перехода Виктором границы в районе Тигины (Бендер) в 1922 году, работа с 1923 года театральным художником, получение в 1938 году румынского гражданства и служба в 1941-1942 году в Одессе в составе Второго полка тяжелой артиллерии Румынской армии.

Младший сын Виктора Александровича – Виктор-Анатоль рассказывал, со ссылкой на воспоминания матери, что до действующей армии Виктор так и не добрался. Связи позволили ему остаться в театре, где его опыт художника-декоратора мог принести больше пользы, чем опыт артиллериста. Именно это было учтено, когда Бухарестская опера отправила его в Одесскую в качестве своего эmissара. Тут необходимо уточнение. В командировку на восток Виктор поехал от театра, но по распоряжению, полученному от Министерства культуры Румынии, которое, в свою очередь, руководствовалось государственными интересами военного времени.

Можно предположить, что в Одессе его встретили как старого знакомого. Не могу удержаться, чтобы не представить себе появление Виктора в кабинете директора Оперного. Он входит. Из-за стола ему навстречу поднимается его постаревший педагог. 20 лет прошло!

– Виктор Александрович! – Федоров с присущей ему мягкостью, совсем не по-военному, прикладывает руку к козырьку.

Селявин надевает пенсне. Как знакомо ему лицо этого подтянутого красавца в румынской военной форме.

– Витя?! Какими судьбами?!

В самом начале оккупации Селявина избрали директором театра на общем собрании коллектива – как именитого артиста дореволюционных времен и опытного руководителя. В 20-е годы он был председателем одесского «Трудового оперного кооперативного товарищества», а в 30-е – депутатом горсовета. При этом ему удалось остаться беспартийным. К этому надо добавить дружелюбие и покладистость, нетипичные для артиста его ранга.

Теперь мы должны описать ситуацию, сложившуюся в оккупированной Одессе. Город, получивший после войны звание города-героя, проявил истинный героизм в дни обороны – летом-осенью 1941 года. Но после ухода Красной армии одесситы с энтузиазмом бросились в объятия новому городскому начальнику Герману Пынте, пообещавшему вернуть им все, отобранное большевиками.

Фамилия Пынты настраивает на иронический лад, между тем Герман Васильевич был человеком в высшей степени серьезным. Выпускник киевского юнкерского училища, участник Первой мировой, офицер царской армии, военный министр Молдавской демократической республики, он трижды занимал пост мэра Кишинева. В Одессе опытный и энергичный администратор в рекордные сроки вернул к жизни разрушенный бомбардировками город и порт, возобновил подачу электричества и воды, вернул в строй городской транспорт.

Историк Олег Будницкий сообщает, что к лету 1942 года городские власти выдали 3536 лицензий на торговлю и 926 – на открытие мастерских. В начале 42-го года в Одессе было зарегистрировано 1500 частных магазинов, в начале 43-го года эта цифра достигла 6-ти тысяч. В городе работало 560 ресторанов, кафе, закусочных и столовых.

Были возвращены права и имущество церкви, возобновил работу Новороссийский университет. Через 10 дней после ухода Красной армии в городе начала выходить ежедневная «Одесская

газета», за ней появились «Наши дни», «Колокол» и «Молва», еженедельный юмористический журнал «Смех» и «Детский листок». В годы оккупации здесь издавались сборники стихов Гумилева и Есенина, книги местных авторов, в числе которых оказалась и старая знакомая Бунина и Федорова – Елена Васильевна Недзельская.

Театральная жизнь достигла расцвета, невиданного ни до ни после оккупации. Открылись: Театр эстрады, Театр камерной оперетты «Гротеск», известный артист Василий Вронский открыл Театр русской драмы и комедии. Местный опереточный актер Анчаров открыл Русскую оперетту. Группа актеров, переехавших из Киева, открыла Романтический театр. Свою аудиторию собирал украинский драматический театр им. Шевченко. Начали работу Детский театр-сад, Театр обозрений, театр «Бомонд», Театр-аудитория, театр «Юность», Современный театр и эротический театр «Интим», где, говорят, играл бесподобный джазовый оркестр. Работала восстановленная киностудия. Легендарный певец Петр Лещенко открыл ресторан-кабаре «Норд», где сам и выступал. В этой театральной короне города первой жемчужиной был Одесский театр оперы и балета.

Будницкий сообщает, что он открылся через день после сдачи Одессы – 18 октября. Из других источников следует, что 13 декабря 1941 года. Первой постановкой стала опера «Евгений Онегин». Зал на премьере был забит до отказа. В репертуаре были восстановлены «Аида», «Тоска», «Риголетто», «Борис Годунов» и «Фауст», балеты «Лебединое озеро» и «Спящая красавица». По просьбе новых хозяев поставили оперу «Сон в зимнюю ночь» и балет «Свадьба в Карпатах» румынских авторов. Обе постановки успеха не имели. Аудитория предпочитала проверенный классический репертуар. Вполне достаточным проявлением лояльности режиму были афиши на румынском языке.

Опера постоянно принимала именитых гостей – знаменитого итальянского дирижера Молиари, тенора Луиджи Маджистретти и солистку Миланской оперы Неонилу Балиоз, приму Бухарестской оперы Марию Чеботару, других.

Будницкий нашел интересную запись рассказа Селявина о том, как жили артисты: «Материальные условия у них, у звезд театра, были блестящие. Они получали губернаторский паек в губернаторском магазине. Этот паек делился тоже на несколько категорий. Первый паек – 5 кило сахара, 5 кило масла и еще что-то. Потом стали уменьшать. Последний паек – кусок мыла и сода. В конце совсем прекратился этот магазин. Жалование труппе. Больше всех получал Савченко, солист – 2 250 марок». Будницкий добавляет: средняя ставка в хоре – 400 марок. Ведущие артисты меньше 600 не получали. Чтобы понять порядок цен на рынке – стоимость килограмма сахара составляла 20 марок.

Не кажется ли совершенно дикой абберацией массовое уничтожение одесских евреев на фоне этого неслыханного подъема культуры и благополучия? Причем главную ответственность за эти расстрелы несли не немцы, а именно «культурные» румыны.

Историк Одессы Олег Губарь прояснил ситуацию касательно расхожего образа румынского оккупанта в одесском послевоенном фольклоре – простоватого торгаша, готового освободить пленного за небольшую мзду:

«На счету немецкой зондеркоманды 116 из состава Einsatzgruppe – около 3000 расстрелянных. На совести румынских солдат и офицеров 10-й пехотной дивизии – 92 тысячи уничтоженных одесситов-евреев, не считая не евреев. На первом этапе массового террора в 20-х числах октября 1941 года румыны повесили более 400 одесситов, 23 октября расстреляли в порту около 19 000. Еще 9000 были расстреляны и сожжены в складах по Любдорфской дороге и в поселке Дальник. В селах Богдановка и Доманевка расстреляли еще около 30 000 из тех, кто был депортирован сюда в конце 1941 года из Одессы. В Березовке – около 35 000, депортированных в первой половине 1942 года».

Все это с трудом укладывается в сознании. Как эти оставшиеся в оккупации одесситы не были похожи на бессмертного героя Марка Бернеса, неунывающего исполнителя главного одесского шлягера про Костю-морняка! И как вернувшиеся с фронта или из эвакуации жили потом в одних дворах, в одних коммунальных квартирах с теми, кто оставался в оккупации? Понятно, что

не все выдавали евреев, но кто-то жил рядом с теми, кто выдавал, жал им руку при встрече, поздравлял с праздниками, улыбался, отправлял своих детей в одну школу с их детьми...

В своем одесском детстве я слышал о послевоенных самосудах, о том, как фронтовик доставал пистолет, обнаружив в своей квартире вместо исчезнувших родителей семью дворника, например... Я слышал, как в дворовых битвах звенело неясное для меня в детстве ругательство «румынская подстилка».

Но в целом все как-то в конечном итоге сгладилось. Жизнь – сложная штука, в ней сосуществует самое, казалось бы, несовместимое.

Вернемся в Оперный. Обращает внимание то, что на первое собрание творческого коллектива пришли почти все его работники – около ста человек. Были ли евреи среди них? Вопрос кажется риторическим. Петр Лещенко в своих воспоминаниях сообщает, что еврейкой была даже жена Виктора Селявина, но ее спасли поддельные русские документы. Такими документами Селявин якобы снабдил десятки своих знакомых. Рассказывали, что во время облав он прятал евреев в театре, а потом снабжал деньгами, чтобы они могли уехать из Одессы. Кто-то спасался, уезжая в дальние села области и нанимаясь там в батраки.

Поразительно, но, судя по всему, на Селявина никто не донес, хотя на доноительство, процветающее в сталинские годы, спрос должен был быть и при румынах.

А может быть, доносы и были, но румынские власти закрывали на них глаза, цenia работу театрального руководства? Такого рода исключения не были единичными даже в ходе эпохальной битвы за расовую чистоту. Как тут не вспомнить гениального цыганского джазмена Джанго Рейнхардта, собирающего полные залы в оккупированном Париже? И это при том, что нацисты объявили вне закона и джаз, и цыган.

Одесса, кажется, получила еще одну нетипичную для того времени поблажку – я слышал от старожилов, что местную молодежь не отправляли на работу в Рейх, и это во многом способствовало расцвету экономики и культурной жизни города.

Расцвет оккупированной Одессы, второй НЭП, как его называли тогда, не следует воспринимать как результат экспансии более высокой культуры, озабоченной развитием одной лишь культуры на новой территории. Нет, быстро восстановив Одессу, нормализовав ее жизнь, румыны проявили самый обыкновенный прагматизм – Одесса была важным транспортным и торговым центром Транснистрии, и он должен был действовать бесперебойно. Если для обеспечения этой стабильности требовалась научно-культурная инфраструктура, то румыны возродили ее с тем же вниманием, с каким они восстановили работу городского трамвая или телефонную связь.

Виктор направлялся в родной город с тяжелым сердцем. Он знал, что мать погибла, и надеялся разыскать ее могилу. Из повести Катаева мы знаем, что этот поиск оказался безрезультатным. Встреча со старым педагогом тоже была непростой. С одной стороны, оба относились к тем, кому повезло пережить красный террор начала 20-х. Обоим было о чем вспомнить, кого помянуть. Сын Селявина, например, был расстрелян в ЧК, из которой Виктор, как мы знаем, спасся. Но Виктора тяготило то, что на родину он приехал отнюдь не в качестве художника-декоратора, чей зарубежный опыт мог бы пойти на пользу Одесской опере.

В семейном архиве женеvских Федоровых есть интересный документ – копия расписки о приеме имущества Одесского оперного театра специальной комиссией министерства культуры Румынии. Виктор был членом этой комиссии.

Вот перевод этого документа.

*Румыния
Национальное министерство культуры
Главная дирекция театров
№2614
29 мая 1942 года
Квитанция-расписка*

Мы члены инвентарной комиссии, состоящей из П. Комарнеску, Траяня Корнеску, Виктора Бумбеши и Виктора Федорова с одной стороны удостоверяем, что изучили и оценили театральное имущество захваченное в Одессе и передали его сотрудникам Оперного театра в Бухаресте в составе: Г. Манеа, Д. Заводнику и В. Петеряну с другой стороны.

Общее число захваченных предметов – III, их стоимость составляет 174 914 лей. Их полный список прилагается к этой расписке и является частью данного документа.

Подписи сторон.

Это был самый обычный грабеж военного времени, и Виктор Федоров был его участником. Если мы скажем «невольным участником», это дела не изменит. И молодые румынские солдаты, участвовавшие в массовых расстрелах мирного населения Одессы, тоже были невольными участниками этих преступлений. Им приказали. А так никто из них, вчерашних виноделов и хлеборобов, почтальонов и механиков, поваров и докторов, никаких конкретных претензий к стоявшим на краю расстрельного рва женщинам и детям не имел. Так сложились обстоятельства. Время было такое.

Лиляна Шульц – «приемная дочь» Александра Митрофановича – вспоминала, что Виктор жаловался отцу на то, что на его долю выпало неприятное задание – забрать из Одесской оперы все ценное, что могло быть использовано в румынском театре или театрах. И он это задание выполнил.

Из составленной в бухарестской опере биографической справки Виктора следует, что он нес службу в Одессе в 1941-1942 годы. Но он возвращался в Одессу и в 1943-м. В приходской книге Успенской церкви С. Луцки нашел на странице с записью о рождении Виктора румынский штамп о выдаче ее копии. На штампе дата – 29 ноября 1943 года. Аналогичный штамп с датой 15 декабря 1943 года обнаружился в приходской книге Константино-Еленинской церкви против записи о его бракосочетании.

Эти штампы – не только документальное подтверждение его второго приезда в Одессу. Очевидно и другое – Виктору нужны были копии документов, в том числе документа о бракосочетании с Надеждой Ковалевской, чтобы этот брак с ней расторгнуть. В это время у него уже был тайный роман с Еленой Дину, но чтобы жениться на ней, ему нужно было оформить развод с первой женой.

Румыны вывозили имущество Одесского оперного театра в несколько заходов. Вышеприведенная справка указывает на то, что вывоз начался летом 1942 года и продолжался до 1944. В Бухарест отправили, помимо декораций, дорогостоящие костюмы, ткани, богатейшую нотную библиотеку, состоявшую из 100 опер и 16 балетов. Был увезен бархатный занавес с аппликациями, исполненными в 1925 году по эскизам выдающегося театрального художника Александра Головина. Его оценивали в 25 000 рублей золотом.

Советские войска, освободившие Одессу в апреле 1944 года, еще успели перехватить застрявший в районе станции Раздельная эшелон с частью награбленного имущества. Но это никак не сказалось на судьбах грабителей.

Пытаясь спасти Виктора, его жена доказывала, что он лишь выполнял приказ, а главное – все, увезенное из Одессы в Бухарест, было возвращено, да еще с «походом». На этот случай была получена справка, в которой упоминается расписка о передаче имущества в мае 1942 года и говорится, что часть вывезенного из Одессы имущества пострадала при перевозке, но потери были возмещены со складов Бухарестской оперы. На этой справке дата – 5 ноября 1944 года. То есть она была написана еще до ареста Виктора. Странно? Нет.

Дело в том, что 23 августа 1944 года, то есть в тот же день, когда кондуктор Йон Антонеску был отстранен от власти, новое руководство страны согласилось выполнить выдвинутые СССР требования, необходимые для заключения договора о перемирии. Румыния взяла тогда на себя обязательство «возместить Советскому Союзу ущерб, нанесённый военными действиями и оккупацией части советской территории».

После того как советские войска вошли в Бухарест, это случилось 31 августа 1944 года, масса румынских военнослужащих и чиновников озабочилась подготовкой документов, которые могли

облегчить их участь в случае, если победители выдвинут к ним какие-либо претензии. К этому готовились и в театре. И к этой, видимо, поре относится одно из последних, если не последнее, полотно Виктора «Перевозчик», которое упоминалось выше. Работа эта была написана для себя – трудно представить, что в такое время на нее мог быть заказчик.

В одесской частной коллекции сохранились два эскиза декораций к опере Фауст, под которыми стоит подпись Виктора Федорова. Они датированы 1943 годом. Мы не знаем, были ли сделаны эти эскизы в Одессе или привезены из Румынии, неизвестно, были ли они использованы в одесской постановке Фауста. Но мы должны понимать, что Виктора Федорова отправили в родной город не для выполнения художественных заказов.

От судьбы, говорят, не уйдешь, Виктор смог избежать смертельно опасной службы на фронте, но не избежал ответственности за ту службу, которая в годы войны могла показаться синекурой.

Лагерь

Катаев знал, что жизнь его героя окончилась в больничном бараке сибирского концлагеря, знал, что тот работал в лагерном театре, знал о брошенных им сыновьях, о возникшей под конец набожности.

«Вокруг него уже пахло лагерной дезинфекцией и сосновой смолой госпиталя, где он лежал на нарах один-одинешенек. В окнах, вделанных высоко под потолком и забранных решеткой, виднелось небо северной России, которая представлялась ему совсем чужой заповедной страной, виднелась хвойная зелень тайги.

На соломенном матраце возле него лежала коробочка детских акварельных красок, мензурка с бурой водой, кисточки и лист бумаги, где он начал и никак не мог закончить по-детски старательно вылизанный морской пейзаж с дачей на обрыве, маяком и большим облаком, как-то по-итальянски отраженным в воде. Дача была не вполне дописана, и сделать передний план у него не хватало сил. Он обливался потом.

<...>

Начальство относилось к нему неплохо. Будучи много лет театральным художником в эмиграции, он научился хорошо писать декорации и теперь оформлял спектакли лагерной самодеятельности.

Он часто вспоминал о боге, в которого опять верил, горячо, как в детстве. У него на груди, под бязевой рубахой на тесемочке, висел образок его ангела-хранителя. Он молился на этот овальный эмалевый образок и со слезами на потухших глазах целовал его. Он был уверен, что это бог карает его за грехи, и со смирением принимал божий гнев.

Он думал о своих брошенных мальчиках, которые уже теперь должны были быть взрослыми мужчинами, если они еще существуют. Где они теперь? Простят ли они его когда-нибудь? Знают ли они о его существовании?»¹

Как Катаев узнал об этом, да еще в таких подробностях? Или просто сочинил их? Московский писатель и журналист Сергей Александрович Бондарин родился в Одессе. В юности он писал стихи, печатался в одесской периодике, был активным членом «Коллектива поэтов», где встречался с Катаевым. В 1930 году Бондарин перебрался в Москву, начав зарабатывать на хлеб литературным трудом. С первых дней Отечественной войны он служил при Политуправлении Черноморского флота. В качестве военкора принимал участие в обороне Одессы и Севастополя, высаживался с морскими десантами в Крым, участвовал в десанте на Малую землю под Новороссийском. В феврале 1944 года Бондарина вызвали в Москву, где он был арестован, обвинен в антисоветской агитации и приговорен к восьми годам исправительно-трудовых лагерей и двум ссылки. Лагерная судьба занесла его в Мариинск – административный центр Сиблага, с 30-х годов – главного поставщика рабской силы для Главлеса. В систему Сиблага входило полсотни лагерей, через которые прошло порядка двух миллионов заключенных. В целях повышения их культурного уровня в Ма-

¹ В. Катаев. Избранное. С. 65.

риинске был создан театр. Его труппа состояла из профессиональных работников культуры. Были в нем актеры из московских и ленинградских театров, балерины из Вены и Варшавы. Бондарин вспоминал:

«По субботам, с баульчиками, мешками и подводой, на которую грузились громоздкие декорации, “артисты” пропускались через вахту из зоны, и шли километров десять <...> в Мариинск, на дебют. Шли в сопровождении автоматчиков и собак <...> А навстречу от домиков городка, уже показавшегося на путях, бежали дети, с утра ожидавшие небывалого зрелища, и кричали: – Артистов ведут!»¹

Бондарин прибил к этому театру в качестве артиста. В этом же театре оказался Виктор Федоров, став его главным художником. Но встреча их случилась не в лагере, а еще на Пресненской пересылке, о чем Бондарин сообщил жене в письме от 20 сентября 1946 года:

«Встретил здесь несколько человек знакомых по тюрьмам и пересылкам, среди них художник Федоров, сын писателя Федорова, друг детства В.П. Катаева»².

И позже, в письме от 5 мая 1948 года о своей дружбе с Федоровым:

«...мы вместе от самой Пресни. Еще там, на переполненных юрцах, осыпаемых клопами, мы лакомились и кормились из твоих ящичков – и я никогда не забуду его несчастного, смущенно-растерянного лица, неуверенных, медленных движений усталого, голодного и обласканного человека, деликатной, доброй улыбки...»³

Бондарин вернулся в Москву в 1954 году, а в литературу – в 1955-м с новой книгой «Мы идем в десант». Она была издана Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту. Была такая организация, занимавшаяся воспитанием советской молодежи.

Если не от Бондарина, коллеги и земляка, то от кого еще мог узнать Катаев о Викторе Федорове? Да мало ли от кого, но мы знаем только об одном возможном канале.

В середине 60-х Сергей Бондарин появился на Даче Ковалевского в надежде разыскать бывших соседей Федоровых. Через них он надеялся как-то передать в Бухарест фотокарточку сына Виктора, которую он хранил с лагерных времен. Такие нашлись, и через артистов, отправлявшихся в Румынию на гастроли, карточка вернулась ее отправительнице.

Но Елена Дину узнала о гибели мужа значительно раньше. В ответ на запрос, направленный в румынский Красный крест 15 октября 1956 года, она получила уведомление о том, что ее муж скончался 7 февраля 1948 года от остановки сердца.

Александр Митрофанович ненадолго пережил сына. 20 апреля 1949 года он вернулся с вечерней прогулки и упал на руки встретившей его Лиляне. У него случился инсульт. Через неделю его похоронили.

Чилингилов в своих воспоминаниях рассказывает, что его друга подкосили два известия. Первым был отказ печатать в Москве его воспоминания о литераторах прошлого – «Неугасимые маяки». За эти воспоминания он взялся по рекомендации советских писателей и журналистов, которые бывали у него во время советской оккупации Болгарии в 1945-м году и, судя по всему, наобещали ему золотые горы. Чилингилов называет в их числе украинского поэта Павло Тычину. Каназирска – известного специалиста по Лермонтову Исае Заславского. Забрав рукописи Федорова, последний улетел с ними в Москву. Публикация всего, что было написано за четверть века в иммиграции, обещала и возвращение в родную литературу, и гонорары, с помощью которых он мог бы расплатиться со своими благодетельницами. Казалось, удача, которую он ждал всю свою иммигрантскую жизнь, наконец-то пришла к нему. Он ошибся – рукописи, равно как и увезший их Заславский, исчезли. Федоров теперь чувствовал себя не просто забытым родной литературой, он был отвергнут ей.

Вторым ударом стало известие об аресте сына, которое он получил от Елены Дину из Буха-

¹ С. Бондарин. Капкаринские записки. Тетрадь 1-я. 1952 г. Публ. Анны Мисюк // Дом Князя Гагарина: Сборник статей и публикаций Одесского гос. лит. музея. Вып. 1. Одесса, 1997. С. 200-201.

² «Ты ждешь меня, и в этом моя сила». Публ. С. Калмыкова // Вечерняя Одесса. 1990. 12 июля. С. 3.

³ Там же.

реста. Эти события отразились в заключительной главе «Плеяд». Последнюю правку он вносил в него за две недели до смерти, и в романе его сын был жив, здоров и готовился к освобождению, чтобы еще послужить своей родине.

Финал этого романа представляет собой нездоровую смесь искаженных фактов и грез о будущем, иными словами – художественный вымысел. Из его текста следует, что Виссонов отправил письмо Сталину с просьбой об освобождении сына. Не исключено, что такое же письмо и тому же адресату отправил и Александр Митрофанович.

О чем Виссонов писал вождю, чье отчество так созвучно его фамилии, что в нем можно заподозрить готовность блудного сына броситься к ногам отца? Наверное о том, что он, конечно, виноват, но обстоятельства его бегства простительны, а преданность родине – безмерна. И все с это с типичным для Александра Митрофановича пафосом.

Виссонов ведет бесконечный спор с самим собой, взвешивает свои и чужие доводы «за» и «против» возвращения на родину. Бесконечные взаимоопровергающие аргументы не оставляют малейшей надежды на принятие какого бы то ни было решения, а только порождают все более и более невыполнимые условия. В конечном итоге Виссонов соглашается вернуться, но только в том случае, если вернутся все бежавшие из России деятели культуры. Если все, тогда и он.

Самого Александра Митрофановича, скорее всего, удержало от решительного шага отсутствие интереса к нему московских издателей.

Он был нищ, он был стар, ему больше нечего было ждать, никто не ждал его. Но кто мог помешать ему продолжать многолетний, как наркотическая зависимость, разговор о собственной судьбе? И он продолжает его в письме, якобы написанном ему его женой Лидией (в романе ее отчество Сергеевна) из Одессы еще в 1937 году:

«Мне думается и хочется надеяться, что его возвращение (*речь идет о возвращении А.Н. Куприна – В.Я.*) послужит примером и для других писателей поступать так же, как и он. Ведь они бежали, не считаясь с тем, что их народу, их родному государству нужны были, особенно в то время, культурные силы. Бежали постыдно от борьбы, в которой должен был возродиться и окрепнуть их дух для новой жизни, и предпочли жалкое, ничтожное и такое унижительное существование среди чужих им людей, законов и нравов.

Эти близорукие люди не поняли, не почувствовали, не угадали, что кровь, льющаяся во время революции, – спасительная кровь, вызванная самоотверженным стремлением к свободе...»¹

Спасительная кровь... Это ли не еще один случай гибели и сдачи российского интеллигента? Деградация иммиграции.

И в том же духе, безоговорочного – с повинной головой – принятия советской власти и оптимистического взгляда в будущее, сочинено письмо, которое Виссонов получает от сидящего в лагере сына Виктора:

«Родной мой, я жив, здоров, на родине, и это главное. <...>

Помнишь, в 42-м году, в год Сталинграда, когда ты гостил у меня в Бухаресте, я сказал тебе на прощанье, чтобы ты не беспокоился обо мне: я знаю, что теперь должен делать. Я решил тогда во что бы то ни стало вернуться в Россию и начать новую жизнь, посвятив родине все мои творческие силы, которые я почувствовал в себе, как никогда ранее. Мой искренний порыв оказался неосуществим. Но всякое достойное сильное стремление так или иначе должно быть осуществлено. Высший промысел иногда и по терниям приводит к истине, красоте и природе своих верных, а природа – нерукотворный образ искусства. Что не далось волей, далось неволей. Я не считаю себя перед родиной виновным ни в чем: я никого не предавал, никого не грабил и не убивал. Я виноват не в том, за что меня осудили, а в том, за что я сам себя осудил, не в том, что я совершал преступление или проступок против моей родины, а в том, что я не делал для нее в эти четверть века вдали от нее того, что мне надо было делать. Ныне надеюсь, что родина, которая покарала меня, поможет мне загладить свою вину перед нею за осознанный мной самим грех перед самим собой.

¹ А.М. Федоров. Плеяды. С. 124-125.

Покуда я отбываю свое наказание на родине, а где именно, по прилагаемому адресу ты разберешь на новой карте СССР, работаю не как пленник, но и не вполне свободный человек, по своей специальности художника-декоратора. Долго ли протянется мое зависимое положение, не знаю. Так или иначе, я не только не ропщу на то, что случилось, но вижу в этом высокий промысел и надеюсь, что рано или поздно мы встретимся свободные на свободной родине, и не только мы с тобою, но и с детьми, если мать их простит меня. Ожидающий тебя сын.

P.S. Люди здесь хорошие, новые для меня, и есть даже расположение ко мне как к человеку и художнику. Природа величественна, а это же много, так как природа всегда была моим сотрудничеством и другом»¹.

Этот текст об устройстве сына в лагере, его искренняя готовность посвятить родине все свои творческие силы, восторги по поводу окружающих его людей и природы является по сути развитием мысли, которую в сентябре 1946 года Александр Митрофанович высказал в письме Елене Дину, пытаясь утешить ее и вселить надежду на возвращение мужа. Это письмо хочется привести полностью, поскольку оно дает представление о том, чем жил и о чем думал в это время писатель. Судя по тону, автор кажется знал, что оно будет внимательно прочитано не одним человеком:

«Дорогая Лелюара,

Ваше письмо, прочитанное мне любезным Христу (*софийский знакомый А.М. Федорова, перекладывший ему письма невестки с румынского языка – В.Я.*), привело меня в такое светлое настроение, что когда я помчался по улице, у меня словно крылья выросли на ногах. Случайно я встретил на углу знакомого, которого не видел ровно 25 лет, он не только узнал меня и радостно замахал руками издала, но и заявил, что я за эти четверть века не изменился, только побелел немного, что при моих блестящих глазах и молодой фигуре и движениях даже идет мне. Я объяснил ему причину моего возрождения и мы обнялись и [нрзб] выпили по стакану вина за освобождение Вити и здоровье всей вашей семьи и за ее украшение – маленького Виктороша. Благодарю Вас за два милых его портрета, которые я нежно расцеловал.

Конечно, свобода Вити покуда относительная, но будем надеяться, что со временем она будет полной и мы там, иль тут, увидимся и это будет день великого счастья. А пока надо благодарить Бога, что он занят своим делом, что живет среди хороших людей, которые чтут его и как талант и как человека, что он не сидит на месте, а разъезжает по новому для него, сказочно ожившему краю и полон новыми впечатлениями и восторгом от величественной природы, которую я знаю и люблю.

Очень вы меня утешили сообщением, свидетельствующим о Вашей тонкой наблюдательности, что почерк последнего Витино письма тверд и четок, а тон спокоен: значит он перестал пить и поздоровел [нрзб]. Болезнь печени – результат неумеренного потребления вина [нрзб]). Это окончательно вылечивается при нормальном образе жизни [нрзб]. Как его почки? Ведь у него раньше проявлялись камни. Болезнь еще более неприятная и упорная, при которой надо соблюдать строгую диету. Не пишет ли он Вам, как питается. Край, в котором он живет, славится обилием дичи и всяких даров земных, вне всякого сомнения богатейший край. Желал бы я также знать подробно о его новых работах. Есть ли у него возможность работать не только для театра, но и для души, и может ли пользоваться этими работами как своей собственностью, продавать их и иметь заказы хотя бы на портреты? Интересно, куда делись его вещи, особенно его чудесные миниатюры, которые он показывал мне при последней нашей встрече? Большой удар для меня уничтожение В.В. (*Верой Владимировной Барло – В.Я.*) моего большого романа, который восстановить как следует чрезвычайно трудно. Да и взятые другие мои рукописи тоже ужасно жалко, но я все же их надеюсь отвоевать, тем более, что в них нет ничего одиозного.

На болтовню В.В. не обращайте внимания. Она особа, безусловно, была не вполне нормальная и раньше, хитрая, злобная и недалекая, и мне смешно было читать строки в ее письме о том, как она заботилась о развитии Вити.

Передайте Вите вместе с моими благословениями и любовью просьбу беречь себя и вести умненько. Неужели ему не разрешают писать мне и получать от меня? Посылку мою (1/2 кило папи-

¹ А.М. Федоров. Пляды. С. 145-146.

рос), посланную заказным пакетом по почте, вернули по почте обратно, также как и мое письмо Наде и ответ на ее письмо, посланное из американской зоны накануне ее ожидаемого отъезда в Америку.

Храни вас Господь от всего темного и злого, от всех бед и напастей. От всего сердца обнимаю всех и маленького целую всего от головы до пяток.

Ваш А.М. Федоров.

Я чувствую себя неплохо. Усиленно работаю над последним романом-трилогией и если, иныша Алла! скоро закончить, буду отдыхать и приводить в порядок мои рукописи для напечатания, и старые мои книги для полного собрания моих сочинений.

У меня уже советский паспорт.

18/IX.46»¹.

К этому же периоду относится еще одно письмо, полученное Александром Митрофановичем от Нади Ковалевской. Вот как она отреагировала на сообщение Сашеньки, как она называла Александра Митрофановича, об аресте Виктора:

«Какой-то роковой человек: сам страдает и с ним страдают все его близкие. И правду, Вы, Сашенька, написали, что даже талант его не дал ему счастья. Каждый день молю Господа, чтобы он дал ему силы перенести то, что положено и чтобы простил ему вольные и невольные прегрешения, и отпустил его к семье его. Может быть хоть маленький сынок его даст ему радость и утешение. Насколько после нашей последней встречи я его не любила, не жалела, настолько сейчас я ему от всего сердца простила и всем сердцем пожалела. Бог даст, его испытания кончатся и он скоро приедет»².

Нечаянно, но очень верно, Надя Ковалевская назвала своего бывшего мужа роковым человеком. Его, конечно, можно было обвинить в бесхарактерности, но не бесхарактерность была главным двигателем сюжета его жизни, а именно рок. Дав сбой в 1920 году в Одессе, он настиг его через четверть века в Бухаресте.

В письмах Елене Дину Александр Митрофанович неоднократно говорит о своих новых послевоенных связях и высказывает надежду на то, что готовящаяся публикация его последней книги в Москве, а затем и издание его полного собрания сочинений дадут ему возможность ходатайствовать за сына уже с помощью своих новых знакомых. И это снова возвращает нас к его связям с советскими военными.

Мне кажется позволительным высказать предположение, что именно эта «дружба» стала причиной ареста Виктора или по крайней мере ускорила его. Дело в том, что в 1944 году вместе с Южной группой войск под командованием маршала Толбухина в Румынию и Болгарию вошел СМЕРШ. Вадим Бирстейн сообщает в своем историческом исследовании названной организации³, что сразу после окончания войны в Болгарии и Румынии работали более 250 советских контрразведчиков. В их задачу входил поиск пособников нацистов, в первую очередь из числа белоэмигрантов. Эта задача рано или поздно могла привести их и к Виктору, но активные связи Александра Митрофановича с офицерами советских оккупационных войск облегчили их поиски. Федоров-старший был уверен, что советские гости проявляют к нему исключительно литературный интерес, но в действительности, будучи председателем Союза русских писателей и журналистов в Болгарии, где до войны выходило порядка 80 русскоязычных газет, он мог служить для них источником бесценной информации. В разговорах со своими гостями, можно не сомневаться, Александр Митрофанович часто рассказывал о своем мальчике, мог упоминать и его возвращения – военного времени – в Одессу. Сын Виктора – Виктор-Анатоль – знает со слов матери, что его отца арестовали именно сотрудники СМЕРШа. Но это лишь предположение, к которому следует

¹ РАЛ.

² Там же.

³ Vadim J. Birstein. SMERSH, Stalin's Secret Weapon. Biteback Publishing, London. 2013.

добавить еще одну семейную версию событий конца 1945 года: Виктор стал жертвой доноса брошенной им Веры Барло. Подтверждения этому у нас нет.

Зная страшную правду о положении сына, не пытался ли Александр Митрофанович отгородиться от нее своим сочинением? Обмануть себя? Может быть, но скорее всего, своим восторженным письмом-подделкой, якобы полученным Виссоновым из сибирского лагеря, он хотел продемонстрировать лояльность по отношению к тем, кто мог помочь в освобождении его мальчика.

До конца своих дней Елена Дину хранила лагерные письма мужа¹. Одно письмо и две открытки дают исчерпывающее представление об отнюдь не патриотическом настрое узника. Можно только поражаться тому, как эти типовые советские открытки смогли миновать лагерную и почтовую цензуру и добраться до Бухареста.

Первое из сохранившихся писем, на одном листе писчей бумаги, датировано 14 марта 1946 года.

«Любовь моя, Лелиора.

Это мое четвертое письмо к тебе, но очевидно безрезультатное, т.к. все никакого ответа нет и я так же не знаю, что с тобою, жива ли здорова, есть ли у нас ребенок, что с моими близкими? Сердце мое полно отчаяния и тоски неопишуемой. Я до сих пор не могу понять, сон ли все случившееся, бред ли больного, из которого я проснусь и выйду. Если бы не это ощущение, то я наверное сошел бы с ума, но Бог милостив и я чувствую, что он меня поддерживает и слышит мои безудержные молитвы. А то мне кажется, что это мать моя у Его престола молит о моем спасении и спасет, как и в далекой моей юности.

Я стараюсь, как можно занимать свою голову работой. Как я уже писал, я работаю по специальности, но в маленьком провинциальном городе. Отношение ко мне очень хорошее, что поддерживает морально, но работать мне трудно, т.к. я очень медленно отхожу из ужасного состояния истощения, в котором находился и еще нахожусь. Потеряно было 30 кг, а наверстано только 5. Но и это хорошо имея в виду отсутствие жиров. Конечно, мне было бы необходимо помочь, но что же если мои письма не доходят. В Венгрию писали и получили ответ и посылку, а к нам не доходят. В чем дело не знаю? Еще раз, что ли, перечислить необходимое, но уже прямо надоело и как-то совестно. Чтобы не обременять себя советую тебе продать мои вещи, носильные или другие, или, быть может, дирекция сделает жест и поможет тебе в этом учтя мою 20-летнюю службу. Если бы ты знала, как трудно мне писать, как трудно сосредотачивать свои мысли, все это дистрофия в сильной степени. Если бы ты меня встретила, то наверное не узнала, да и сам бы не захотел попасть тебе на глаза. Из здорового еще хорошо выглядевшего человека я стал стариком, отекившим и беззубым. Тянешь влачишь свои дни без надежд, без сил... Так рухнули надежды на помилование, на амнистию. Я не знаю хорошо ли я делаю что пишу тебе и возрождаю в тебе надежду, лучше бы и ты и все считали меня мертвым. Эта погребенность заживо страшней всего. Не знаю что у вас? Неужели все повернули мне спину, сочтя меня за действительного преступника. Как трагично, что человек всю жизнь стремившийся быть подальше от политики попадает в такое положение как я.

Моя глупая голова и ослабленный мозг ничего больше не понимают и считаю что мое несчастье заслужено перед Богом за мое недостойное поведение в личной жизни, женитьбы, дети и проч. все что ты знаешь о моих промахах и ошибках... [нрзб] еще раз перечислить тебе что мне нужно и чего у меня нет, а нету у меня ничего абсолютно, все пораспродано или украдено.

И так в смысле питательного – жира, сухая колбаса, сладкое, печенье. В смысле теплого: ...»

Второй лист, с перечислением необходимого, не сохранился.

Очередное послание (это – открытка) из Мариинска в Бухарест датировано 27 декабря 1946 года.

«Светик мой Лелиора! Я задыхаюсь без твоих писем и писать тебе мне так же трудно, не имея отклика. Опять одолевает меня чувство загробного мира и я больше не нахожу слов. Безусловно все твои да и мои надежды оказались тщетными, а без них так тяжело продолжать жить. Все же продолжаю надеяться надеяться и работать по прежнему, хотя и в работе все больше и больше

¹ Семейный архив Федоровых. Женева.

трудностей разного рода, в числе них зима с ее холодом. Всеми способами поддерживаю свое пошатнувшееся здоровье и не опускаю рук. Больше всего меня беспокоит то, что ничего не знаю о тебе и боюсь несчастий которые могли обрушиться на тебя, боюсь быть тому невольной причиной. Жутко думать о себе как о неудачнике, хоть и не один я. Найди способ сообщаться через приезжих. Почему то больше не вижу тебя во сне, потерял и это счастье. Мучительно и безнадежно люблю тебя и отсчитываю каждый миг близящийся меня к старости. Горько. Целую тебя <...> твоей всем сердцем я».

На лицевой стороне открытки в графе для адреса отправителя с рекомендацией «Пишите правдивые, точные и разборчивые адреса», вместо адреса еще четыре рукописные строчки:

«С какой болью смотрю на ваши карточки! Какой вопросительный взгляд у Викторашки. Удивление, ожидание, осуждение. Только пиши, добиваясь, не оставляй. Привет и целуй всех близких».

В открытке от 12 октября 1947 года, с красной первомайской символикой на лицевой стороне, последней, полученной Еленой из лагеря, Виктор пишет:

«Родная моя Лелушь,

Все по прежнему нет писем от тебя и я живу в тоске и тревоге. Пишу я на ветер и не знаю дойдут ли мои строки. Живу надеждой и детской верой в то что в 48 году мы будем вместе. У меня все по старому. Работаю очень много и даже несу физический труд. Сердце пока выдерживает все. В будущее смотрю со страхом но и с верой. Молюсь за вас ежедневно и все мое будущее это вы и искусство. Сохрани и ты эту веру и еще на год думаю не больше, соберись с терпением, любовью и верностью. Наша чистота да будет залогом будущего счастья. Целую тебя с безумной любовью и крещу вас обоих мои мечты».

По истечении лагерного срока Сергей Бондарин был отправлен в качестве ссыльнопоселенца в село Капкарино Красноярского края, где работал сторожем в местном продмаге. В свободное время он стал записывать свои лагерные воспоминания. Рукопись «Капкаринских записок» хранится в Одесском литературном музее. Есть в ней и о Викторе Федорове.

«Витя умер среди ночи в бараке лагерного стационара, куда я довел его, – у меня на руках. Теперь я понимаю, что умер он от инфаркта <...> Как я молчаливо возмущался, когда лагерная врачиха, подняв ему веки и заглянув в глаза, отошла и пробормотала про себя: “Этот уже не наш”. Она понимала то, чего не понимал я, а меня ужасала эта безучастность. На ноги умирающему вспрыгнула кошка; Витя, бормоча, махнул рукой, отгоняя кошку, – и это было его последнее движение. Мне он успел передать маленькую фотокарточку сына, родившегося уже без него: полный, черноглазый, каким был сам Витя, ребенок в рубашонке смотрит на нас долгим озадаченным взглядом.

Витю любила одна дама из наших актрис, любила молчаливо, нетребовательно и преданно. Она готова была отдать ему все на свете, но могла только одно: иногда подсунуть ему, почти всегда голодному, свою пайку <...> Дама эта была из беднейших, из неимущих, посылок не получала, ходила в грубых арестантских чунях и потому оживлялась только тогда, когда появлялась на сцене или за кулисами в театральном платье. В свободное время она часами незаметно стояла в углу сарая, где работал Витя. Но вот его на короткое время разрешили выставить в гробу в том же сарае. Она подошла к гробу с каким-то хилым, где-то добытым цветочком. Долго смотрела на покойного, сказала: – Боже какой красивый! Какой добрый! – и склонилась. И это был их единственный поцелуй»¹.

Нью-Йорк, 2018 год

¹ С. Бондарин. Капкаринские записки. Тетрадь 1-я. 1952 г. С. 197-198.

Сергей БОРОВИКОВ

ЛОДКИ

I

Я слышал, что по рисункам и чертёжикам, какие человек набрасывает просто так, между прочим, скажем, во время скучного заседания, или в раздумье о чём-то своем, что по этим наброскам можно определить его характер, даже шире – натуру.

Конечно, есть люди, которые ничего бесцельно не рисуют на подвернувшейся бумажке, разве что пишут какие-то слова или цифры, но и тогда от них можно перекинуть мостик к каким-то жизненным или житейским реалиям. Я вот выводил на разных бумагах и бумажках человеческие профили, прозрачные кубы и параллелепипеды разной конфигурации, а ещё обязательно пароходы и лодки.

Ну, с профилями ясно – сколько их в жизни насмотришься, лишь поясню, что я редко пытался воспроизвести реальное лицо, а больше фантазировал.

В пристрастии к прозрачным кубам и параллелепипедам видимо сказалось моё врождённое стремление к правильности, и ещё, м.б., аквариумные увлечения.

А пароходы, лодки...

Лучшие детские воспоминания связаны с водой. Есть фото: я стою со старшим братом на волжском берегу у сходней на пристань. Мне не больше пяти лет. Год, стало быть, 1952-й. Я помню, нет, прямо-таки живу в том солнечном ветреном дне, когда по Волге часто бежали некрупные волны, трепались во множестве украшавшие дебаркадеры разноцветные треугольные вымпелы, на белоснежных бортах пришвартованных пароходов плясали солнечные зайчики, стоявшие во множестве рядами по сторонам от сходней лодки равномерно раскачивало, пахло... Чем? Наверное, мокрым деревом, смолой от днищ там и сям лежащих на берегу лодок, пароходным дымом, подгорелым маслом из ближайших забегаловок, каких было множество на пространстве от берегового песка вверх к Миллионной улице. И самой Волгой, которая всегда пахнет собой и всегда по-разному.

А в лодке на воде впервые я очутился в том же примерно возрасте. Помню узкую протоку, через которую до какого-то островка нас переправил бородатый щупленький старичок. Его лодка была плоскодонка, узкая, с смолёными бортами. На песчаном берегу меня поразили россыпи жёлто-зеленых раковин, ярко блестящих на солнце. И я стал их собирать. Босой лодочник, присевший с сигаркой на борт, сказал:

– Зачем ты это? Говна-то!

Следующие детские воспоминания относятся ко времени, когда отец завёл лодку – деревянную гулянку.

Отца, надо заметить, никогда не предавался тому занятию, с которого я начал свой текст – набросать какие-то рожицы, фигурки, домики. Если уж рисовал, то пытался делать это, безо всяких на то оснований, как бы профессионально. Выписал многотомную «Школу изобразительного искусства», в которой поэтапно преподносились уроки рисовального, а потом и живописного мастерства. Он оттуда что-то копировал или рисовал из головы пейзажи. Наблюдать его за этим занятием было жалко.

Сперва были чертежи будущей лодки. Сбоку, сверху, в разрезе, с подробнейшими цифровыми выкладками длины, ширины, объёма и всей лодки, и отдельно кабины, рундуков, ящиков и ящичков, скамеек (банок), вёсел, якорей и т.д.

И лодочные чертежи преобразились в реальность, чего не стало с планами будущей дачи, о которой отец мечтал много лет, но не хотел купить подвернувшуюся дачу с возможной угрозой того, что дача не подойдет, придётся её продавать, искать другую, и т. д. Сама мысль о такой перспективе была для отца невыносима. К тому же его, мягко говоря, бережливой натуре претили цены на дачи. Нет, он непременно хотел осуществить мечту, пусть не собственными, разумеется, руками, но о строительстве под личным наблюдением той дачи, которая рисовалась в его воображении.

Однажды в конце шестидесятых вдруг замаячила такая возможность. Тогда ответственный секретарь Саратовской писательской организации Н. Палькин выбил для писателей три земельных участка в самом желанном и престижном месте – неподалёку от села Пристанное, на высоком правом берегу Волги, где внизу вдоль воды тянулась полоска чистой песчаной отмели.

Отец не без основания полагал, что может претендовать на один из трёх участков.

Один, понятное дело, возьмёт себе Палькин.

Кто ещё мог стать конкурентом Боровикову?

Главным писателем Саратова был романист Григорий Коновалов, но у него был там же, но поближе к городу, обширный участок не с одним даже дачным домом.

Старейшим писателем Саратова был драматург Смирнов-Ульяновский (до 1924 года Смирнов-Симбирский), автор пьесы о Чернышевском «Великий демократ», но он по возрасту и болезням ни о каких дачах не помышлял.

Был ещё в Саратове главный редактор недавно созданного журнала «Волга», переехавший из Рязани Н. Шундик. Но ему обком на всё лето предоставлял комфортабельную комнату с ванной, туалетом и лоджией видом на Волгу, с трёхразовым питанием, в пансионате издательства «Коммунист», там же, где и новые палькинские наделы.

Значит, остаётся Боровиков, известнейший после Коновалова, старейший после Симбирско-Ульяновского, и не имеющий, в отличие от Шундика, комнаты в обкомовском пансионате.

Но Палькин распределил три участка так: один себе, другой Шундику для его старшей дочери, а третий главному редактору Приволжского книжного издательства Владимиру Гришину.

Но вернёмся к теме.

Году в 55-м отец решил на лодку и заказал её строить какому-то мастеру в Энгельсе.

Тогда автодорожного моста через Волгу еще не существовало, и добраться до левобережного Энгельса было непросто. Я хорошо помню тогдашние летние переправы, паром «Персидский»¹, на обширных палубах которого размещались и грузы, и машины, и телеги, так что погрузка-разгрузка занимала куда больше времени, чем сам водный путь, и ещё два маленьких юрких пароходика «Саратов» и «Энгельс», перевозивших только пассажиров, помню и накатанную по льду зимнюю дорогу с оградительными вешками по краям.

Сейчас я, грешным делом, предполагаю, что отец не случайно нашел своего судостроителя в Энгельсе, подальше от дома. И годы спустя, купив «Москвич», он вроде бы пытался завести гараж поближе к дому, но в конце концов построил его в далёком Ленинском районе, где подолгу пропадал к маминому неудовольствию.

Отец строил так называемую *гулянку*. Я было хотел объяснить, что это за лодка, да оказывается, интернет и здесь успел, и всё там о гулянках можно найти.

Была деревянная гулянка, хоть и большая, но без каюты. Я был на ней лишь раз, ранней осенью, когда несколько дней жили в палатке на каком-то острове, где мать, зацикленная на моей возможной простуде, меня от неё предохраняла.

Пройдут годы, и основное место в маломерном саратовском флоте займут клёпанные дюралевые «Казанки», «Прогрессы», «Днепры» с подвесными моторами. А потом появятся водные чу-

¹Пароход носил имя одного из руководителей Республики немцев Поволжья, столицей которой был Энгельс, где и сейчас есть улица Персидского, в 20-е знаково переименованную удалением одной буквы из Троицкой в Троицкую.

довища с мощнейшими двигателями. Впрочем, сейчас и на прежних «казанках» всё больше стоят японские. Вот и у моего сына такой катер. Но сейчас уже не моё время, а я что-нибудь вспомню из своего.

2

В жизни я был владельцем двух лодок, точнее, совладельцем первой из них.

Когда, году в 72-73-м, мы решили с Валеркой Виноградским купить на двоих лодку, один мудрый человек сказал: поссоритесь и расплюётесь.

Так оно и вышло.

Покупали её, голубушку, в апреле, еще кое-где мелькали на воде небольшие льдины. Старик-хозяин, едва получив 400 рублей, исчез. Документов на судно не было, и даже номер на борту дед закрасил. Как мы эту лодку нашли? Искали по всем базам, расположившимся по берегу от Про-виантской до Улешей, а выбирали единственно по цене.

Шестиметровая деревянная гулянка с носовой каютой. Стоянка на базе у Дегтярного взвоза.

Вспомнить почти нечего из тех двух-трёх лет.

Рыбу ни разу не ловили, никакой снасти на борту не было. Выше Дубовой гривы и ниже Ка-зачьего не ходили.

Ну, естественно, выпивали. Ну, как-то удачно увезли двух девиц с городского пляжа на Сазан-ку. Ну, как-то другие девицы, натурщицы из художественного училища, где завучем была Валер-кина жена, нас продаинамили.

Лучшей для меня была поездка с Илюшей Петрусенко и Валерой Лисенковым. Затеяли вы-пить на Казачьем острове. Гурман Илюша не давал начать, пока не подготовил по своему тща-тельному обыкновению стол. Но и всё порезав и открыв, не позволял приступить, пока не взял с лодки большой квадрат пенопласта, положил на воду, осторожно разместил на нём закуску и предложил усаживаться вокруг на дно по горло в воде. Когда же мы подняли стаканы, он сказал, указывая на белевший в знойной дымке город: «В Европе за такое большие деньги надо отдать!»

Двигателем мы не занимались вовсе. А был он старенький Л-3, из популярной у лодочников серии движков-пускатей: Л-3, Л-6 и Л-12 (цифры обозначали мощность в л.с.). Мало что не зани-мались, как-то, безуспешно заводя (стартера не было, на маховик наматывали широкий тканый ремень и дергали), злбясь и матерясь, в накалённый до сумрака июльский полдень, догадались наконец заглянуть в бак, который оказался не то что пуст, но абсолютно сух.

Заправляться же тогда было просто: по берегу у воды стояли в разных местах цистерны на колёсах с самым дешевым оранжевым бензином А-66. Помню и его цену – 20-литровая канистра стоила рубль десять копеек, как бутылка самого дешёвого крымского «Ркацители».

А корпусом занялись однажды весной следующего, наверное, 74-го, года. Зимой мы продержали её недалеко от базы у горпарка, и там же надо было её подготовить к воде. С деревяшками это, как говорит молодёжь, был гемор.

Сперва корпус надо ободрать от прошлогодней покраски и засохших водорослей. А ещё меж-ду досками бортов вставлена треугольного профиля планка, которую прибивают вырезанными из жести ромбиками. И прошлогоднюю планку надо заменить новой. Мы приготовили инстру-мент, выстругали планки, вырезали ромбики и собрали компанию на «помочь»: мой друг Валера Лисенков и Володя Васильев с Геней Сычёвым из «Волги». Важничая друг перед другом трудо-выми навыками, мы рьяно принялись за работу, которая кипела до обеда с водкой. Потом сосед вспоминал: «Слышу: запели, всё, думаю, наработались!»

Больше «помочи» не было, мы спустили лодку, кое-как просмолив дно и покрасив, и она бес-пощадно текла. Мы перестали ездить на базу, кивая друг на друга, и когда однажды я спьяну при-гласил две пары жениных подруг с мужьями покататься, то застал нашу несчастную посудину полузатопленной.

И мой напарник разумно предложил продать её, тем более что на базе нашёлся покупатель, предложив 200 рублей. Это мне показалось досадно, и я отдал Валере по его (он врал, что не его, а жены) настоянию половину. И с помощью Лисенкова отбуксировал посудину, кое-как осушив, на Зелёный остров, где он который год строил собственный катер. Там мне один старик предложил 100 рублей, но тут вмешался тесть Павел Петрович. Он любил порыбачить на леща в компании друга, имевшего хорошую гулянку из нержавеющей стали, и мечтал о собственной. И мы отправились с ним на Зелёный смотреть лодку, которой он прежде не видел.

Видимо, к поездке тесть уже охолонул (лодочную мечту высказывал за праздничным столом), во всяком случае всю дорогу был напряжён и недоволен, что вылилось в слова, которые мы с Лисенковым потом не раз радостно гогоча вспоминали. Едва ступив на остров, сумрачно спросил: «Это что же, здесь везде так, песок?» И спустя несколько шагов: «Мне это сразу не понравилось!» Скажи это какой-нибудь москвич, дальше МКД не бывавший, ладно, но в устах урожденного волгара и рыбака сказанное означало, что дед давно решил отказаться, а сейчас ищет, к чему прицепиться. А искать было и нечего, лодчужка имела самый жалкий вид.

Потом я долго не выбирался на Зелёный, а когда на другое лето побывал, двигатель, бак и проч. металл уже унесли, да и корпус весь почти растащили на дрова.

3

Спустя много лет я опять купил гулянку, 9 метров, сварную, крашеную голубым, с каютой, двигатель от а/м «Москвич». Стоянка на островной базе «Рассвет» напротив Ангельса, куда от берега ходила перевозка. Была у меня с 1998 по 2003 год, для воспоминаний нужен целый очерк. Сейчас немного.

Рыбаком я и с этой лодкой не стал, хотя порой и закидывал удочки, баб уже не возил, осенью собирали по островам опять, компаний и выпивки было много, не одно лето провели с ризеном Шерой на базе «Факел» на Шумейском острове, свозили туда московских друзей Калединых, к тому же лодка стала внедрением на Волгу младшего сына, которому я доверял её лет с 16, а теперь у него и катер и подводная охота. Но много и нервов стоила мне эта, дважды тонувшая, лодка. Вот отрывочки из моего дневника.

10 октября 1998

Стало было холодать. Но вновь потеплело +10. Завтра надо ехать поднимать лодку. Как справимся?

28 августа 2001

Тот холод, которого так возжелал я. Но – лодка, надо отчерпывать воду, вытаскивать! Я трёкнусь-таки с ней.

9 сентября 2001

Вчера с Томой на «Рассвете». Ехал со страхом после 2-хнедельного отсутствия: утонула! Лодка в прежнем состоянии, но к воде, бывшей из течи, добавилась вода от дождей.

25 сентября 2001

Наконец отправился в Ангельс, узнал, что завтра будет Дрозд (заплачу) и Романенко – решил заплатить ему, чтобы вытащил. Ругаю себя, что в жару и сушь, скотина, не выбрался, а начались дожди, собрался.

30 сентября 2001

Позавч. Ан.Ив., гад, посмотрев мне корму (мы с Томой ездили) сказал: Григорич, не беспокойся, в Вс приезжай, мы с Петей будем, поднимем на понтоне и заварим. Сегодня к 10 приехал: ни Ан.И.,

ни Пети, ни Александра. Толя Романенко мне: на хуя тебе сварка, давай на понтон подними и т.д. Через минуту он уже махал с понтона: я здесь! Они – Вовик и Толя подняли корму на метр над водой, вмиг отхерачили крепление ловушки, но стабилизатор не пустил ее снять. Ох! Завтра еду продолжать.

2 окт. 2001

Вчера Толя, дай Бог здоровья, «помогал», т.е. я ему помогал. Ловушка на месте, 4-го должны подсоединить шланг. Дал ему 50 р.

4 окт. 2001

На Рассв. Толя присоединил шланг (я туда-сюда на карачках, отливал воду после дождя), в 2 уехал. Завтра поеду спускать на воду. День золотой, ярко-синяя вода с ровной рябью, листья, камыш стоит.

17 октября 2001

Вчера счастливый день: с Денисом и Ромой на Рассвет. Поначалу дождик, но не очень холодно. Вытянули родимую под руководством Анатолия, у которого купили за 20 р (+10) поллитра самона. С Вовиком и Серёжей в его сарае.

22 октября 2001

Резко похолодало, утром +1, а лодка, мука моя, не укрыта, завтра поеду – один?

24 октября 2001

Снег, увы, наводит не обычный при нём покой, а тоску и уныние: лодка стоит не укрытая.

6 ноября 2001

Вчера набрался духу (и выпил в Энгельсе), поехал один, почти сделал, укрыл, лишь кабину не обвязал. М.б. еще съезжу. День золотой. И – снежные темные тучи, приглядываясь, ходят над водным простором.

Сыро, тепло. Надо бы завтра окончательно укрыть красавицу. С Пн перевозка не ходит.

13 ноября 2001

11-го был на базе. Сперва студёный ветер (на берегу) и вдруг все замерло, вышло солнце, вода сделалась пронзительно синей и стало очень тепло. Продолжалось час.

Опоздал на перевозку (последнюю в сезоне!), возвращался за червонец (единственный) и пачку сигарет на огромном катере, грубом и прочном, точно военное судно.

10 июня 2003, больница

Данила очевидно прав: от лодки надо избавляться. Какой из меня лодочник теперь уже и физически – канистру поднять нельзя.

В августе 2002 меня стукнул обширный инфаркт. А последняя запись связана с подозрением на новый, который, к счастью, не подтвердился.

Лодку продал тогда же, в 2003-м, в силу безумия цен девяностых-двухтысячных не могу вспомнить, ни за сколько купил, ни за сколько продал.

Размышляя о лодках, я решил, что надо посмотреть, какое место они заняли в русской литературе.

И первым делом пришёл на ум Бунин, его рассказ «Руся», где, как я помнил, герой соблазнил девушку в лодке.

И что же? Да ничего! Что за лодка, какая лодка, не говоря уж её детальном описании, на какие таким мастером был Иван Алексеевич, ни слова. Три лодочных слова на весь рассказ – плоскодонка, весло, корма: «неизбежная плоскодонка возле топкого берега», «Весло нашлось только одно и то вроде лопаты...» и, наконец, «Он, с помутившейся головой, кинул ее на корму». В правдоподобности последнего должен выразить сомнение: прогулочная вёсельная плоскодонка неглубока, корма её весьма неудобна для соития, даже и в страстном порыве.

Но зато сколько в той же «Русе» сказано о вагонном купе! «Они затворились в образовавшейся тесноте купе, разделись и с дорожной отрадой легли под свежее глянцевитое полотно простынь и на такие же подушки, все скользившие с приподнятого изголовья»; «Сине-лиловый глазок над дверью тихо глядел в темноту»; «Всё так же неуклонно, загадочно, могильно смотрел на него из черной темноты сине-лиловый глазок над дверью, и все с той же неуклонно рвущейся вперед быстротой неся, пружиня, качаясь, вагон».

В цикле «Тёмные аллеи», куда вошла «Руся», других лодок нет и в помине, даже в «Речном трактире». Мельком упоминаются лодки преимущественно в «морских» рассказах.

Я знал, что Бунин обожал железную дорогу, вокзал и особенно вагон, но решил проверить наблюдение и был поражён. В «Жизни Арсеньева» железнодорожные сцены, путевые и вагонные подробности и чувства, ими вызываемые у автора и героев, составляют едва ли не десятую часть текста, да и в «Тёмных аллеях» вагонные события происходят в трех рассказах: «Кавказ», «Руся», «Генрих».

В целом лодке не повезло в русской литературе. Ни в текстах, ни в описаниях жизни русских писателей я ничего существенного не обнаружил.

Даже у Горького, где действие часто происходит на Волге, а в рассказе «Однажды осенью» герой впервые сходит с женщиной на волжском берегу под перевернутой лодкой, собственно «лодочного» почти нет.

А в поэзии? Есть целые поэтические антологии о лодках, в одной 237 стихотворений, но они собраны преимущественно лишь по одному слову, как «любовная лодка разбилась о быт» у Маяковского.

Иностранные писатели? Есть «Трое в одной лодке» – комические злключения закоренелых горожан на воде, но чужое всё насквозь, мне, волжанину, ненужное.

И остаются навсегда гениальные строки «Играют волны, ветер свищет, / И мачта гнётся и скрипит...»

Татьяна ГРАУЗ

ИМЕНА И ЛИЦА

(разрозненные заметки о некоторых особенностях заглавий в книге Владимира Аристова
«Открытые дворы»)

Солнечный снег. Стекланный воздух весны, до краёв наполненный синью и высотой – лёгкими спутниками счастья. Безымянные дни похожи на безымянные деревья. Иногда хочется называть их – по этим, ещё не оформившимся в имена словам любви и восхищения – и тогда, может быть, что-то в них и откликнется на твой пристальный взгляд, и ты сможешь притянуть к себе хотя бы на мгновение разветвляющиеся дни-деревья.

*

Лучше быть безымянным – и оставаться живым.

*

Неузнанность, неназванность в гнетущей темноте (пустоте) мира чаще всего охранительна. О ней стараются не думать женщины и ничего не знают дети. Дети всегда – «здесь», всегда – «имя», даже если это имя: «мой – моя – моё».

*

Книга Владимира Аристова «Открытые дворы» внезапно начинается со сниженной лексики не имеющего заглавия стихотворения: «Припёрся на конкурс Чайковского...». В этом своеобразном затакте намечены, как мне думается, основные темы книги (даю цитатами): 1) «Никто не знает, как звуки извлечь», 2) преобразование «в стадо немного уже неземных людей», 3) движение внутрь (туда в темноту где цветок / смотрели как будто бы в детский / чердак) и 4) – И вышел на миг и вошел сам друг темноты... Из стихотворения – как из точки – расходятся смысловые нити книги. А настоящее начало книги – стихотворение «Открытые дворы (невидимки)», совпадающее и не вполне совпадающее с названием всей книги. Это как бы другая – невидимая – створка, дверца названия книги. Стихотворение – как пробуждение после долгого сна, или как всё расширяющаяся тревога, или ещё более глубокое погружение в непробуждённость жизни, в её замкнутую увечность, когда в темноте-тесноте мира твоё внутреннее зрение похоже на слепоту. Это те пустоты памяти, где всё «твоё» будто утерало цельность, целостность, единство. Подзаголовок «невидимки» – ещё более усиливает потусторонний сквознячок, в котором так легко потерять себя и так трудно найти хоть какую-нибудь опору. Но постепенно – от текста к тексту – всё меняется, будто освещается. Из мерцающих затемнений возникает, складывается единое пульсирующее пространство, незаметно стираются границы (швы) между жизнью и смертью, и мы оказываемся в мире, где внешняя реальность сохранена и даже тщательно атрибутирована: от паллиативной, как бы устранивающей боль отчуждения, до той, не поддающейся фиксации реальности, куда мы переходим незаметно, как в *иную реку*¹ с замедленным глубоким течением событий, с многомерностью смыслов каждого, пусть даже самого малого и ничтожного явления.

¹«Иная река» – так называется одна из глав книги.

...И клубневая скорбная трава
Из пыльных пазух земли продленной
соберется
Из тех дней, где обронули мы
Гремящий мячик...¹

*

«Открытые дворы» Аристова густо заселены. Наименования, названия улиц, переулков, стран, государств, реальных и мифологических, континентов – таких, например, как «Воображаемая australia», в книге обозначены некими паролями (как цветными, трепещущими на ветру флажками) будто для того, чтобы наметить границы исторических, интеллектуальных пространств жизни, искусства, культуры. Весь мир со множеством зримых и незримых связей, откликающийся на имена – и именуемый, вероятно, для того, чтобы проявить неуловимый след, запах, цвет, темноту и свет этого мира, претерпевающего незаметные, но постоянные глубинные изменения.

*

В «Открытых дворах» имена близких и любимых людей (пусть и отмеченные иногда только инициалами) так же не отменимы и бережно зафиксированы, как и имена поэтов, художников, музыкантов, композиторов, актёров и режиссёров других времён и эпох.

Скрупулёзность фиксации и одновременно зыбкость этих именований напоминает прелюдии и фуги И. С. Баха, когда одна из тем уходит всё дальше и дальше в ту область, где звуки уже не нужны – уходит в некое сияющее пространство: в то неназываемое, что за любым пространством скрывается.

*

Детальная пристальная фокусировка и медленная медитативная расфокусировка взгляда, при которой частности так же важны, как тревожные границы яви и сновидения, как нежное (колышание) движение травы, когда тронешь ладонью юную зелень и ощутишь в ответ прохладное её прикосновение.

*

Во всём корпусе книги меньше половины поэтических текстов имеют заглавия. Остальные стихи – безымянные.

*

«Внутренний театр» и/или «внутреннее кино» – так можно было бы назвать то, что происходит в потоке поэтического бытия Владимира Аристова, куда можно войти как в приоткрытый для нас день, в пульсирующее поле реальности, плотно соединённой, спаянной с воспоминаниями, предчувствиями. И стоять, замерев, на ветру времени. Под ложечкой всё так же сосёт. Ты отзываешься на этот голодный зов жизни – и слышишь прежде неслышимую музыку, нежное жжение невидимой струны, у которой, быть может, есть имя – «3 мая в Милане», где тебе позволено увидеть нечто, прежде не замечаемое. И безымянные «он», «она», «оно», «они» собираются в единый сгусток памяти, где все соринки, песчинки – только болевые точки (токи) пространства, орнамент намагниченных слов.

¹ Из поэмы «Бессмертие повседневное».

*

Названия стихотворений не всегда совпадают с тем, что разворачивается в дальнейших строках поэтического текста. Так, в стихотворении «Пьеса» драматургия, безусловно, присутствует, но она не внешняя. Разыгрывается театральное действие, но театр этот – внутренний. Идею внутреннего театра Аристов развивает давно, начиная с документальной драмы «Театр одного философа (проект I устава)», основной герой которой философ Густав Шпет.

В «Пьесе» фиксируется событие одной исторической встречи, но событие это как бы выходит за границы реальности. Героинями оказываются две поэтессы, разыгрывающие знаковую встречу Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, которая состоялась 8 июня 1941 года на квартире Николая Харджиева в Марьиной роще, в Александровском переулке, д. 43, кв. 4.

Две поэтессы напротив друг друга
На табуретках
Покачиваясь

Изображая июньскую встречу
Ту полутайную
Перед самой войной
При немногих свидетелях
В комнате восьмиметровой

«Был ли паркет, это надо проверить
Или только партер марьино-рошинской пыли»...

Может быть, поэтому в стихотворении и возникает «двойная экспозиция»: обрастающее мифологемами реальное событие и внутренняя память – как властная режиссура, реконструирующая на свой лад прошлое. Память фиксирует фрагменты жизни, размыкает времена и пространства, чтобы произошло главное – встреча с подлинной реальностью, концентрирующей в себе всё мелкое и как бы незначительное – и всё значительное и потаённое, сходящееся в одну-единственную точку. Она-то – эта точка – раскучивается в стихо-творение – в творение стиха – мира пьесы (стоит упомянуть, что в XIX веке пьесой/пиесой называлось иногда само стихотворение).

...«Вы остановочный пункт... что вполне достаточно...
или безостановочный... времен
тот пунктир, откуда
исходят волны ветра
от ваших волос
в прошлое, к тому дню...
или в будущее»...

Одновременно «Пьеса» Аристова – стенограмма репетиции, в которой «режиссёр» – автор произведения – создаёт основное событие встречи – театр речи. И встреча эта – речь этой встречи – постепенно (как на допросе) толкает внутреннюю драму стиха к проявлению главного: к фиксации молчания.

*

В небольшой поэме «Кинорежиссёр» (памяти Андрея Тарковского) название профессии укрупнено до метафоры. В тексте, состоящем из семи планов-эпизодов, происходит своеобразная жанровая трансформация, когда на условный киносценарий ещё не снятого фильма (эксплика-

цию) наслаивается художественный портрет (образ) режиссёра Тарковского. Этот образ движется (течёт), подобно реке памяти, и проявляется в сложных медитативных раскладовках поэмы на эпизоды, полифонически соединённые друг с другом. Иногда стихотворные строки (токи, потоки) сходятся, графически запараллеливаются, образы как бы наслаиваются, набегает друг на друга.

4-ый план-эпизод

Здесь где свободна память

Звенит, звенит звонок...

Не школьный сумрак ли,
как наждаком
покроем парты

Там эта память свободна
Но скобка разбита,

5-ый план-эпизод

Я мог бы ждать
В ночном лесу
Когда очнутся лепестки
У сада, созданного на помосте

Потом планы (образы) расходятся, чтобы создать иную – просветлённую – реальность.

...Неощутимый свет
Под шум воды, струящейся под веками

Сожнем и вынем
Из наших глаз
Влажную рожь киноплёнки.

Это тот лед, это тот мед,
Что виден изо всех глаз...

*

Иногда стихи Аристовы чем-то напоминают картины Эдварда Хоппера – в них то же одиночество, правда, будто усугублённое «*частным безумием вещей*». Тревожная неприкаянность вещей.

*

Иногда кажется, что «холст» текстов Аристовых не до конца загрунтован, видны переплетения ткани, чувствуется дыхание другого – сумеречного или обморочного, чужого (родного) – пространства, которое не всегда можно безошибочно перевести на язык слов, но его можно «уловить», даже «увидеть» через усложнённую графику текста.

*

В одном из своих стихотворных «опытов» Аристов использует прозрачную плёнку, нанося на неё текст. И эта прозрачность, просвечиваемость слов и того, что за этими словами стоит, – и есть то существенное, что постепенно проявляется в поэтике Аристовых.

*

Кажущаяся простота (порой даже бедность) называний – как будто карандашом в записной книжке, «чтоб не забыть»: «1 мая в Милане», или «3 мая в Милане. Gallereia d'Arte Moderne», или «Из цикла “Московские мгновенные встречи” (12 час. 48 мин., 26-го сентября, Яузские ворота)». Простодушные¹, никому ничего не обещающие названия, возникающие, вероятно, чтобы приблизить совсем вплотную к себе этот трудно поддающийся именованию ускользающий миг; чтобы скупой точностью (12 час. 48 мин., 26-го сентября), неостывающими минутами заговорить его; чтобы *из нежных заводей крови*² выпрастывалось, выросло нечто новое; и чтобы встретившийся «вдруг» человек остался «реальным» хотя бы на листе бумаги – в скользящем беге букв, в чернильной зыбкости слов – остался нежной не зарубцовывающейся раной.

...встретился совершенно незнакомый человек
Несмотря на солнце, в капюшоне
Правой рукой опираясь на палку, шел наразмашку
В левой – с раскрытой книжкой в желтой обложке
взгляд его был, как пароль
И в лице непрочитанные морщины.

*

Названия ранних книг, ставшие названиями глав («Бессмертие повседневное», «Частные безумия вещей», «Имена и лица в метро», «Месторождение», «Иная река», «Реализации», «Холодная долина», «По нашему миру с тетрадью») – почти всегда метафоричны. Так, например, стихотворение, названное «Листок ивы и тополя Мандельштама вкладывая в книгу Ду Фу», предельно широко (но будто в рапиде) развёртывает простое, казалось бы, действие «вкладывать».

...именно потомки листы этой
а вернее единственный
лист, ладонью отколотый от ивы той, той ивы и тополя
положены между страницами –
влажен вложен и скрыт
между страницами
биографии века восьмого
танской эпохи
поэта в единственности своей тебе равного
также как эти друг другу скрытые уже от взгляда листки

*

Не сквозь тусклые стёкла видится в «Открытых дворах» мир, а – *во все стороны жизни*³. Перспектива в этом мире меняется, как будто мы идём всегда «тропою Рильке» (Rilke Weg)⁴, куда-то в гору идём (даже если блуждаем по долине воспоминаний). Иногда кажется, что поэзия Аристова – поэзия про движение, или про продвижение пространства в зону времени (и его отсутствия), где предметы и вещи замирают, застывают, лишаются неуловимого хода жизни.

¹ «По нашему миру с тетрадью. Простодушные стихи» (один из циклов В. Аристова).

² Стихотворение «Развалины урартского Эребуни».

³ Из стихотворения «Ты включил кондишн на полную мощь...»

⁴ «Тропою Рильке (Rilke Weg)» – одно из стихотворений В. Аристова.

...А здесь столы наполняются хлебом
это хлеб, что дремал в веках
Открываются темные дали...¹

*

Разветвляющееся пространство. Неоскудевающий рай реальности плотно переплетён с памятью и тоской по трудно фиксируемой и навсегда ускользающей жизни. Каждый фрагмент так же важен и значим, как целое, а целое восстанавливается (реставрируется) под ослепительной «лампой» смиренного взгляда.

*

Иногда названия стихотворений в поэзии Аристова похожи на фантастический алогичный, а потому, можно сказать, божественный монолог, к примеру, машины-танка в стихотворении «Осмысленные танки». Когда в вещи, кем-то почему-то назначенной быть орудием убийства, открывается иное – наивное и лишённое воинственности – начало. Уподобление машины-танка природе и живому, а не мёртвому и техногенному, неожиданно. На трагическом (и даже комическом) контрасте живого/неживого, на этом перевёртыше возникает неожиданный антимилитаристский пафос (хотя для поэтики Аристова слово «пафос», казалось бы, не вполне уместное; но пусть будет всё-таки этот греческий – πάθος – это страдание – мучительное, не знающее выхода).

...Мы не думаем, что можно иначе,
Ведь не может же
Лысоватый простой человек
Управлять траекторией атомов стали.

Танки неуправляемы,
Тонким клином уходят на юг,
Улетают на запад,
Будет жить в них мужская слеза,
Что запаяна в глубине их солдатского глаза...

*

Иногда в стихах Аристова ткань жизни будто растягивается и слегка трещит, но не разрывается. И сквозь волокна проходит (как в ночных окнах метро) уже другой свет. Никакого насилия. Только углублённое внимание и – понимание.

...Плавающие слева иль справа
сплавы их листьев
на лацканах
металлических

славы их глаз

Объемы их объёма их

листва живая

не говорили их глаза
но порознь каждый
жили...²

¹ Из стихотворения «Реставрация скатерти».

² В. Аристов «Лица в метро».

*

В стихотворении «Переулоч» пространство постепенно становится запечатлённым временем, или голосом, или шелестом голосов *на пороге осеннем*¹, когда всё простое усложняется, а всё сложное становится простым, но не упрощается, а доверительно передоверяется, как бы перепроверяется.

...направо ли – в Благовещенский
 где закрыв глаза снится все тихий утренний шелест сумки холщовой
 направо ли там где казармы и за стеклами лица безмолвны...

*

В поэтике Аристова многое построено (и одновременно органично прорастает) через инверсию и аллитерации. У некоторых слов будто есть «дизеи» и «бемоли», понижения и повышения не столько голоса – сколько шелеста и шёпота, которые будто выдыхает этот (или другой) трудно поддающийся фиксации переулоч.

*

Поэтические тексты Аристова будто переходят с одной стороны «улицы» (читай – жизни) на другую, обретая при этом новую оптику, новую чувствительность в *желчной желтизне* пространства. В художественном мире поэта всё сгущено и разрежено одновременно, но свет – сквозной и всемерный (четыре стороны этого света)² – не отменим в каждой строчке.

¹ Цитата из стихотворения В. Аристова.

² Мотив «четырёх сторон света» довольно часто встречается в поэзии В. Аристова.

Игорь КАРАУЛОВ

РАЗВОЗЧИК ТЕПЛА

Андрей Пермяков. Белые тепловозы. – М: СТиХИ, 2018. – 100 с. – (Серия «Срез». Книга восьмая. Книжные серии товарищества поэтов «Сибирский тракт»).

Новая книга стихов Андрея Пермякова называется «Белые тепловозы», а на обложке нарисован черный паровоз. В единственном числе.

Но это не имеет значения. Тех тепловозов, которые ездят по рельсам, в книге не больше, чем королей и капусты. А вот разных мест, куда ведут рельсы и куда они не доходят, в ней много. Андрей Пермяков, подобно фотону, не имеет массы покоя. Он известен своими травелогом в прозе, и в стихах он также работает в духе травелого.

Путешествие порождает тексты естественным образом; древний принцип акына – «что вижу, про то и пою». Неудивительно, что наша поэзия всегда была богата туристическими стихами. Маяковский на Бруклинском мосту, Мандельштам в Армении, посол мира и прогресса Евтушенко, метафизический скиталец Бродский; вспомним и Юрия Кублановского, чья очаровательная и почти забытая книга «С последним солнцем» была построена именно как травелог. Да и теперь, когда любой гражданин может просто взять и купить билет в любую точку земного шара, поэты норовят притащить из очередной поездки какую-нибудь итальянскую, перуанскую или непальскую тетрадь.

Но стихи Пермякова – это не туристические стихи. Поэт-турист ищет дикий и дикий и свидетельствует о чужом, внешнем, в то время как Пермяков разыскивает родное, пытается обыденное. Область своих разысканий он негативно очерчивает в форме центона – редкий для него ход:

*В Европе холодно, в Италии темно,
там хорошо, но мне туда не надо.*

Пермяков передвигается исключительно по Руси, мир за ее пределами его как будто не инте-

ресует. Но нельзя сказать, что стихи Пермякова «наполнены любовью к родному краю»; этот штамп совсем не годится для описания пермяковского мира. Какая уж тут любовь:

*Рельсы тянут паучьи конечности
к страшным схрамам в удмуртских лесах.*

Скорее речь идет о спокойном, стоическомприятии: ну что тут поделаешь, если наше – вот такое.

*Глядя сквозь рябину тугоплавкую
на страну, заросшую люпинами,
сном, борщевиком, автозаправками,
городами малопоправимыми...*

Россия Пермякова неказиста и однообразна: невысокие домики, придорожные шалманы, «дискотека с муцацкими танцами», серая вода рек. Это единообразие Пермяков намеренно подчеркивает. Даже имперский, единственный в своем роде Петербург на его взгляд – всего лишь еще один город на реке, пусть и «довольно большой». Фонтаны, львы и прочие растрелли – у кого угодно еще, но не у Пермякова.

Россия Пермякова однообразна не только в пространстве, но и во времени. Вечная, статичная страна. Тягучее, вязкое время. Рая не было, мы его не теряли, ностальгия неуместна. Жаль несбыточного, несбывшегося, а утраченного не жаль, потому что оно никуда не делось. Пишет ли он о семидесятых, которые едва помнит, или о совсем недавнем прошлом – всюду серый пейзаж и всеобщая нелюбовь, отчуждение, меняются только бытовые и исторические детали. Где-то пьют, где-то дерутся, а в остальном:

*Ничего и не происходило.
Ничего и не произойдет.*

Впрочем, в другом месте автор чуть подправляет эту грустную констатацию:

*На вокзалах что-то происходит.
Остальное так. Для красоты.*

Зачем тогда вообще нужны эти блуждания по стране? Может быть, это просто сложивший-

ся ритуал жизни? Бегство от самого себя, превратившееся в рутину?

Наверное, всё дело в людях. Города без людей не имеют смысла. А Пермьяков – самый общительный наш поэт. Не знаю другого автора, чьи стихи были бы столь же многолюдны, столь же диалогичны. Одних только посвящений – смотрите сколько: «Арсению Ли», «Павлу Тимофееву», «Е. Погорелой», «Юле Крыловой», «Мыше Чугуновой»... И это всё персонажи его стихов – а есть ведь и другие персонажи, посвящений не удостоившиеся, но живущие, действующие в стихах, составляющие их повод и придающие им смысл.

Возможно, есть не только железные тепловозы. Есть люди-тепловозы, которые развозят человеческое тепло по стране. Думаю, Пермьяков хотел бы быть одним из таких тепловозов. Но его КПД низок, теплопотери огромны, всех не согреть, не спасти, а то, что теплится у него в руке, больше похоже на фонарь Диогена.

Кого же он ищет? Думая о том, с каким из известных травелогов сравнить «Белые теплотходы», я прошел мимо «Москвы – Петушков» (слишком явная аналогия, тем более что в книге есть стихотворение «Петушки – Москва»), мимо радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву» и остановился вот на чем: Николай Некрасов, «Кому на Руси жить хорошо». Ну да, это поэма из школьной программы, она написана не так и не о том, но вообще-то так совпало, что ее название – главный вопрос «Белых тепловозов».

Пермьяков ищет счастливого человека, но ни в себе, ни вокруг себя такого человека не видит. Результат этих поисков – одна из самых депрессивных поэтических книг последнего времени. Вот только концовки стихотворений. Судите сами:

Хуже не бывало никогда.

*Кони гуляют красные,
смерти плывут неслышные.*

*В этом году фантастически
не получилось лето.*

*Зачем сажать свою дочь в аэроплан,
Названный именем самоубийцы?*

*Просыпаешься, а в доме твоём
зависены зеркала.
Да не очень-то и просыпаешься.*

В этой безысходности – надеяться на кого? На Бога? Но есть ли он во вселенной Пермьякова? По идее, вроде бы есть:

*О, Господи, какое страшное
Ты сделал, если не любя.
И беспроектное, кроменное,
смешное, гадкое, ненужное,
нечеловеческое, лишнее,
когда б все это без Тебя.*

А присмотреться, так и нет никакого Бога:

...как заступник, которого нет.

Вся надежда, получается, на тепловозы. На людей-тепловозов, которым в конце концов удастся согреть друг друга.

Поэт Андрей Пермьяков не испытывает формальных трудностей. Он уверенно себя чувствует в своей поэтике, которая практически не изменилась после выхода его предыдущей книги («Сплошная облачность», 2013 год). Основу его стиля по-прежнему составляет дольник, как правило, пяти- или шестиударный (стихотворений такого рода в книге около 40%). В связи с пермьяковским дольником я не буду вспоминать Иосифа Бродского и тем более Бориса Херсонского. Но однажды я наткнулся на одно любопытное место у Николая Байтова и был поражен чертовски знакомой интонацией:

*Я не знаю, с волосами – какими?
Мне неинтересно. Молчу.
Жёлтые бабочки мелькают в крапиве.
Дети пробежали к ручью.
Слепая ищет меня глазами,
умоляет не молча сидеть.
– Ты девочек вот с такими волосами
не видел здесь?*

Сравним с Пермьяковым:

*Мордовник – адамова голова;
Желтые пчелы живут в синей его голове.
Менее жёлтые пчелы гудят
в ординарной траве –
Бледные на зеленом, видимые едва.*

Присутствием желтых насекомых сходство тут лишь подчеркивается, но не исчерпывается. Оба стихотворения объединяет сновидческая суггестия. На примере текста Байтова мы видим, что Пермяков не одинок в использовании этого способа письма, однако именно Пермяков сделал его своей фирменной чертой.

Дольник дает Пермякову свободу построения нарратива, без которого его книга, возможно, утратила бы содержательное единство и рассыпалась бы на отдельные стихотворения с приметами места и времени. При этом у Пермякова присутствуют два ритмических ряда, смысловой и звуковой – две пластинки, которые он, подобно диджею, то замедляет, то ускоряет. Например, приемом замедления смыслового ритма служат повторы.

На Бауманской улице очень шумно.

Еще и друзья ругаются, все трое.

*Между собой ругаются, на тебя ругаются,
на погоду ругаются, так бывает.*

Или:

Ходила в синем и длинном, длинном и синем.

Эти повторы, как шарик на веревочке, вводят читателя в гипнотический транс, заставляя его, как это бывает во сне или в нетрезвом состоянии, концентрироваться на какой-то мелочи. А потом раз – и единой строчкой решается целая жизнь. Так бывает в эпосе.

Но для эпика Пермяков слишком сентиментален. Кажется, именно это он в себе ценит больше всего. Отчаяние, разочарование и безысходность для него – лишь кегли, которые он выставляет перед читателем, чтобы уверенно снести их шаром человечности. Так он поступает и в последнем стихотворении книги, где прием ритмической неравномерности и применен, и провозглашен открытым текстом:

Человек читает человеку –
дочке или присмотреть просили.
Запахавшись, точно после бега,
говорит на память, но с усилием.

Паузы совсем не там, где точки.
Так читает, как по лужам скачет.
Толстенький, в дублёнке, а вот дочка
плакала, теперь зато не плачет.

Он читает медленно и нудно,
ошибаясь пьяно, человечно:
«В небесах торжественно и трудно...»
Впрочем, и в иных местах не легче.

Марина КУЗИЧЕВА

СТРИЖ

Марианна Ионова. Мы отрываемся от земли. – М.: РИПОЛ Классик, 2018. – 229 с.

Третья по счету книга прозы Марианны Ионовой включает три повести, во всех трех речь идет о любви, и главная героиня – та, что любит, – будто рассыпана между автором и собой. Увидеть границу между ними – может быть, один из первых шагов к пониманию книги.

На первый взгляд кажется, что все это знакомый, старинный лад, – скажем, такой: темное платье, внимательный взгляд, перо в тонких пальцах, еще одна история счастья, ожидания, разлуки. Но, дочитав и закрыв книгу, понимаешь: для такого простого определения это повествование слишком заглублено в мироощущение в целом, в ощущение жизни – ее прерывистой длительности, ее шагами проживаемых (прошиваемых) пространств. «И даже протоптанный снег с бежевой сукровицей в следах красивый. Я не хочу говорить “мутная” об этой взвеси, которая по-старинному в улице, как в игрушке-кристалле со снегопадом, и не хочу говорить с л я к о т ь о коричневых и миндальных гребнях и проталинах, о вязнувшей на каблуках гуще воды».

Речь прирастает тем, что в мире. Здесь совсем нет тьмы, и все преобразено оптикой света – каким-то тихим лучом осмысленного внимания, благоволения, подчас тайны. Если читать медленно, можно заметить, как «световые насечки» наложены на текст.

Музыка фразы здесь также – важная часть ответа. Вопрос же – и тема всей книги – звучит как фоновый гул или рокот.

«Песня» (да не обманет нас простота названия) – многоголосая, цветная, вся – шаг сквозь и одновременно паренье над. В этой повести есть и мир провинциальной музейной усадьбы, и кусочек моря, и Москва – огромный и домашний город. Здесь пеший ход – бесценный дар, и этот дар всегда своеволен, цель же его – при-

общение к миру через найденное вдруг сокровенное. *«Помимо квадратного счастья от того, что иду, иду, еще видишь, бывает, перекресток с угловым домом 50-х, и кажется: вот. А что вот? Или стая голубей подыметесь над метро, и вдруг: вот».*

В «Песне» – дворы и улицы старых городских окраин, их неучтенное, рукодельное тепло. Город тих и жив, как ранним утром, в нем волны света омывают самую щербатую материю то щедро, то рассеянно-исподволь. Важен цвет, важна какая-то деталь крыльца, окна, крыши; так всматриваются в лицо прошедшего мимо в раздумьях пешехода. *«Словно грифель растерли и размыли, но откуда бежево-розоватый подголосок? Фасады. Перед ними деревья. Арка во двор».*

Героиня повести порой путешествует на трамвае. Вспомним из «Охранной грамоты» Пастернака: «Трамвай медленно взбирался на Швивую горку. Там есть место, где сперва правый, а потом левый тротуар так близко подбираются под окна вагона, что, хватаясь за ремень, невольным движением нагибаешься над Москвой...». Кажется, пастернаковское заглядывание на Москву, с вечным перемещением планов, воздуха, облаков, со световым таянием резко очерченных границ – в «памяти» городских пейзажей Марианны Ионовой.

И это школа не только виденья, но и языка. Эта речь растет из ткани русской классической прозы, в ее глубинно-родном изводе. Сцепление действия и диалогов свидетельствует о внутренней логике, чувстве текста как целого. При этом повествование в своей свободе иногда сгущается до тесноты стиха, звучит почти верлибром. *«И он закручивается, закручивается, закручивается в воронку, в точку с голосом нахохленным клювом миндалевидным глаз песней парусом остроконечным крылом, и я вижу на паранете стрижа».*

«Василий-остров» – иной мир. Он обличней, графичней, строже. И в этой повести моменты поэтического напряжения входят в сюжет как возвращающаяся тема. Но здесь они окна не в мир, а внутрь себя-голоса, – молитвы-размышления, похожие порой на маленькие

хоралы. *«Лица-листья. Прислушаться: улица Лестева. Прислушаться: в каждом имени улицы скрыто безымянное».* А во всей повести скрыто имя Россия, и о ней многое сказано, но так же непрямо, сокровенно.

Третья история – «Мы отрываемся от земли» – после «воздуха» первой и «вод-земли» второй, скорее, – «огненная», хотя и под обложкой отстраненного (в третьих лицах) повествования.

Он и она, и то, что между ними. Опыт боли и глубоко насущный вопрос о Христе среди нас, выросший не праздно, но из любви и страдания. Боль и вопрошание смогли перелиться в текст, встали не таясь лицом к лицу читателя со всеми приметам живой жизни (а не мертвого теоретизирования, не сахарной эротики) – событие, каких не много в современной прозе.

Снова вспоминается Пастернак, из «Доктора Живаго»: «Но иногда для того, чтобы вынести жизнь, требовалось, чтобы она шла в сопровождении некоторой внутренней музыки. Такую музыку нельзя было сочинять для каждого раза самой. Этой музыкой было слово Божие о жизни, и плакать над ним Лара ходила в церковь».

Как живут, о чем говорят между собой душа и дух человеческий, что происходит в их совместном доме, пока мы здесь? Перед нами попытка ответа, да мы и сами все время отвечаем об этом себе, другим, Другому, стараясь не прятать лица.

Вся книга названа по третьей повести: «Мы отрываемся от земли». То, что выговорено, уходит в сторону и смотрит на нас, как отошедшая эпоха. После трагедии приходит молчание, оно хранит семена слов.

«Если погасить речь внутри и только смотреть, переставешь понимать. То, на что смотришь, таинственнее и проще. Белое поле пруда с людьми. Через поле, мимо людей едет снегоуборочный комбайн».

Человек спит на корточках.

Декабрь. Машины выезжают из золотистой, прохладной кварцевой глубины».

Вячеслав ЛОПАТИН

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РАДИЩЕВСКОГО МУЗЕЯ

(Продолжение. Начало см.: Волга, 2017, № 11-12; 2018, №№ 3-4, 5-6, 9-10, 11-12)

Памяти Огарёвой Н.В.

1948 год

Капитальный ремонт, экспозиция снята (кроме января и февраля месяцев)

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева по Государственному бюджету на 1948 год

I. Научный персонал: 1) Директор музея. 2) Зам. директора по научной части. 3) Заведующие отделами – 2. 4) Научные сотрудники – 3.

Итого: – 7.

II. Научно-технический персонал: 1) Художник-реставратор. 2) Зав. фотолaborаторией. 3) Библиотекарь. 4) Секретарь-учётчик ценностей.

Итого: – 4.

III. Административно-обслуживающий персонал: 1) Счетовод. 2) Зав. запасником. 3) Дворник. 4) Уборщицы-вахтёры – 2.

Итого: 5.

IV. Пожарно-сторожевая охрана: 1) Сторожа – 4.

Итого: 4.

Всего: 20. Двадцать штатных единиц с фондом заработной платы одиннадцать тысяч двести двадцать пять рублей в месяц.

Директор: (Бурмистров) Счетовод.

Архив СГХРМ. Фонд 369. Опись 2. Ед. хр. 181.

СМЕТА

Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева на 1948 год (по Государственному бюджету)

1. Заработная плата (второй зав. отделом предусматривается с 1.VI) – 129,0 тысяч рублей.

2. Начисления на заработную плату – 7,0.

3. Канцелярские и хозяйственные расходы: а. Канцелярские расходы – 1,0; б. почтово-телеграфные расходы – 2,0; в. отопление помещений – 14,0; г. содержание помещений и владений (освещение, водоснабжение и канализация, натирка полов и др.) – 3,0; д. текущий ремонт – 14,0; е. содержание и наём транспорта – 4,0; ж. специальная и пожарная охрана – 1,0.

Итого по статье 3-й – 44,0.

В том числе заработная плата разным лицам за выполнение хозяйственных работ – 25,0.

4. Командировки и служебные разъезды – 4,0.

5. Научно-исследовательская работа и изобретательство: а. работа по тематическому плану – 3,0; б. научные командировки и экспедиции – 6,0; в. издательские мероприятия – ---; г. экспозиция и этикетаж – 12,0; д. фоторабота – 4,0; е. научная инвентаризация – 4,0; ж. культмассовая работа – 25,0; з. реставрация картин – 11,0.

Итого по статье 5 – 65,0.

В том числе заработная плата разным лицам за выполняемые работы – 40,0.

7. Приобретение книг для библиотеки – 5,0.

12. Приобретение и ремонт оборудования и инвентаря – 30,0

в том числе: заработная плата разным лицам за выполняемую работу – 12,0.

в том числе: заработная плата по капремонту и строительным работам (оплата проекта и смет) – 5,0.

В том числе зарплата внештатного персонала – 82,0.

Всего: – 434,0 (четыреста восемьдесят четыре тысячи рублей).

Директор музея /Бурмистров/ Счетовод.

Архив СГХРМ. Фонд 369. Опись 2. Ед. хр. 181.

ПРОТОКОЛЫ

совещаний научных сотрудников Радищевского музея. 1948 г. (продолжение)

Архив СГХРМ. Ф. 369. Опись 2. Ед. хр. 180.

Протокол № 8

8-го июня 1948 г.

Присутствовали: Оболенская, Бурмистров, Кожевников, Фомина, Гуцин, Смирнова, Ратнер, Саватеева.

Обсуждение экспозиционного плана второй половины XIX века и XX века, русского искусства
т. Оболенская – Товарищи, мы сейчас заслушаем т. Кожевникова о плане экспозиции Музея после капитального ремонта по русскому искусству второй половины XIX века и XX века.

т. Кожевников – Товарищи, при построении моего плана экспозиции у меня было только одно желание – показать русское реалистическое искусство со всей его полнотой. Всё, что есть ценного в нашем музее в этой области, я всё старался использовать, всё включить, всё донести до нашего зрителя. Прошу сейчас товарищей при просмотре моего плана дать своё мнение, заключение, подсказать мне, что ещё нужно, что дополнить, что изменить.

Участники совещания тщательно познакомились с планом экспозиции русского искусства второй половины XIX и XX века, после чего был обмен мнениями.

т. Оболенская – Товарищи, я считаю, что общая линия при построении плана экспозиции русского искусства второй половины XIX и XX века взята правильно. Есть кое-какие мелкие неувязки, но, я думаю, они будут изживаться на месте, уже в практической работе над залами, в основном всё правильно.

т. Фомина – Я присоединяюсь к мнению т. Оболенской, считаю, что план построен правильно.

т. Бурмистров – Конечно, уточнять ещё придётся на месте, в процессе работы. У меня будет только просьба к т. Кожевникову – зачертить весь этот экспозиционный план в тетрадь для того, чтобы удобнее было везти в Москву, в Комитет по делам искусств, для утверждения.

т. Оболенская – У меня есть вопрос к т. Кожевникову – как будем размещать скульптуры: Трубецкого, Конёнкова, Голубкиной.

т. Кожевников – Я думаю, там, где будет «Мир Искусства», т.е. в б. зале советского искусства.

т. Оболенская – Фарфор в большой зал будем вводить?

т. Кожевников – Да. Боюсь только, что это будет мешать общему виду; тут надо подумать о перестановке витрин и какие витрины ставить, но, моё мнение, фарфор включать надо во все залы.

т. Бурмистров – Мне хотелось бы слышать мнение научных работников – будем ли мы брать скульптуры, которые предлагают в Москве, из музея Голубкиной, например, Льва Толстого и друг.

Мнение коллектива – надо брать.

Заключение совещания по представленному плану экспозиции русского искусства второй половины XVIII века – XX века: признать общее направление при построении плана экспозиции – правильным, отдельные неувязки и неточности подработать на месте.

На этом совещание закрывается.

Председатель.

Протокол вела: /Сулье/.

Протокол № 9

24-го июня 1948 г.

Присутствовали: т.т. Ратнер Л.И., Оболенская Н.И., Никольская А.С., Смирнова О.И., Саватеева В.И.

Повестка дня:

Обсуждение лекции т. Ратнер о творчестве художника В.М. Васнецова.

Слушали: Лекцию т. Ратнер о творчестве художника В.М. Васнецова.

Замечания:

т. Никольская А.С. – 1) Следует подвести итог его работе, и чего он достиг. Какое значение этого периода творчества. 2) Больше сказать о северном периоде. 3) Подчеркнуть смерть богатырей, как смерть храбрых, погибших за родную Русь. Подвиг их бессмертен, он продолжает жить, о чём свидетельствует живая природа, радостная, торжествующая. 4) Дать подробный анализ «Трёх богатырям». Чтобы звучал народный патриотизм.

т. Оболенская – Какой отклик находит его творчество у народа прежде и сейчас? Чем он нам дорог сейчас?

Протокол вела /В. Саватеева/

Протокол № 10

31-го июля 1948 г.

Присутствовали: т.т. директор Музея – И.Д. Бурмистров; зам. директора по научной части – Оболенская Н.И.; хранитель музейных фондов – Фомина И.А.; научные сотрудники: т.т. Ратнер Л.И., Саватеева В.И. и Мощенко В.Ф.

Повестка дня:

1. О политико-массовой работе в период консервации Музея.

2. Подготовка экспозиции.

Слушали: Выступление т. Бурмистрова о работе Музея.

Поднять расшатавшуюся в последнее время дисциплину. Наметить план по политпросветработе. Следует заслушать Л.И. Ратнер по этому вопросу. И.А. Фомину о её работе – хранении фондов, готовность их к экспозиции. С 1.VIII – 48 г. ввести планы работы каждому научному сотруднику и отчитываться о работе каждому в конце недели – субботу. Быть внимательными к художественным вещам Музея, беречь их. Оформлять по-настоящему документы о проделанной работе.

Выступления:

...т. Фомина И.А. Реставрация живописи проделана почти полностью (за исключением 4-6 вещей). Важным вопросом является состояние рам, их необходимо быстрее реставрировать (114 рам); на них в большинстве случаев сложная лепка. Это может задержать развеску.

Люстры не готовы к развеске.

Заинвентаризировать рамы до развески.

Следует упорядочить фарфор, составить вновь карточки научного описания. Это на будущее.

т. Оболенская Н.И. – О планах экспозиции. В основном макеты и планы по экспозиции закончены. Дополнить портретами советский отдел. Посвятить теме «Отечественная война» отдельный уголок.

...Необходимо установить порядок, чтобы после пяти часов дня в здание Музея и из Музея пропускать только по специальным пропускам...

Постановили: Выполнить всё то, что было внесено т. Бурмистровым и другими товарищами.
...4. Считать необходимым для развёртывания массово-политической работы привлечь преподавателей, товарищество «Художник» и Саратовское Художественное училище.
...8. Приступить к монтажным работам в графике и живописи в течение августа месяца с.г.
Протокол вела /В. Саватеева/.

Протокол № 11

14-го августа 1948 г.

Присутствовали: Бурмистров И.Д. – директор; Оболенская Н.И. – зам директора по научной части; научные работники: т.т. Кожжевников Г.И., Никольская А.С., Ратнер Л.И., Фомина И.А.; Гуцин Н.М., Саватеева В.И., зав фотолабораторией – т. Труевцев Г.В.; техник-строитель Томников Б.И.

Повестка дня:

О планах научных сотрудников на июль-август месяцы: их выполнение и перспективы на будущее.

т. Бурмистров – Товарищи, я коротко хочу сказать несколько слов о положении с ремонтом нашего Музея. Ремонт на сегодня остаётся всё в том же положении, несмотря на категорическое предложение секретаря Горкома ВКП(б) подрядчику, т. Чикову, о немедленном окончании ремонта Музея. Т. Чиков до сих пор ничего не сделал, хотя, в каждом отдельном случае, когда его вызывают в вышестоящие организации г. Саратова по этому вопросу, он обещает приступить к ремонту немедленно, а потом начинает тянуть, ссылаясь то на отсутствие олифы, то, якобы, неправильное финансирование и т.д. и т.п.

Сейчас уже стало известно, что у нашего подрядчика нет достаточного контингента квалифицированной силы, отсюда и все трудности. Мы делали попытки отказаться от этого подрядчика и перейти на окончание ремонта хозяйственным способом, но здесь встречаются новые трудности: во-первых, надо расторгнуть договор, пересоставить смету и вновь посылать её на утверждение в Комитет по делам искусств при Совете Министров РСФСР. Помимо того, что на это дело опять будет затрачиваться время, мы тогда не уложимся в отпущенные нам средства, так как часть работ уже проделана и мы обязаны заплатить «Саратовстрой» и, во-вторых, расценки работ, проводимых хозяйственным способом, будут, безусловно, выше и, в-третьих, Госбанк не оплачивает работы, если цены выше установленных прейскурантом. Вот те трудности, с которыми мы сейчас столкнулись при окончании ремонта Музея.

Отопительная система уже закончена.

На остальные работы, по грубому подсчёту, остаётся затратить полторы-две недели. Сейчас вплотную вопросом ремонта заняты и горсовет, и райком, и горком. Всеми этими организациями дано категорическое предложение «Саратовстрой» – т. Чикову в срочном порядке заканчивать ремонт Музея. Если в эти дни Чиков опять не начнёт работ, я буду ставить вопрос уже перед обкомом партии. Вот всё, что я могу сказать о ремонте.

т. Никольская – Мы неоднократно говорили уже о том, чтобы иметь в Музее хотя бы одну комнату для проведения занятий со школьниками, учителями и вообще посетителями, но как я вижу, этот вопрос опять не будет разрешён при открытии Музея и комнаты опять не будет. Мы накануне учебного года, Музей будет ремонтироваться ещё полторы-две недели. Может быть, будет выделено временно какое-нибудь помещение для проведения работы со школьниками.

т. Труевцев – Мне кажется, что временно можно было бы использовать верхние три комнаты, в которых уже проведены малярные работы, а также и вестибюль.

т. Никольская – Конечно, временно, можно и на это согласиться.

т. Оболенская – Если ремонт в ближайшие дни возобновится и пойдёт быстрыми темпами, то говорить об этих комнатах совершенно бессмысленно, так как эти комнаты будут заполняться вещами из тех комнат, в которых будут проводиться малярные и штукатурные работы. Мне кажется, что надо говорить сейчас о постоянной комнате, т.е. об устройстве такой комнаты в подвальном этаже.

После этого переходят к заслушиванию отчётов по планам работы каждого научного сотрудника.

т. Фомина – Я беру период – июль-август месяцы. Первоочередная задача в июле была – проставить инвентарные номера на предметах прикладного искусства и скульптуре. Работа проделана. В этой работе принимал участие тов. Мощенко. Проставлено номеров на 2364 экспонатах, не закончено около 300 экспонатов; предполагаю эту работу закончить к 1-му сентября.

Проведена выверка экспонатов по инвентарным книгам. Записано 308 багетных рам: проставлен шифр, номер; работы осталось на 3 дня.

Составлен, с представителями товарищества «Художник», дефектный акт о реставрации рам художественного значения, с подробным описанием состояния их. Сейчас ремонт рам идёт удовлетворительно. Думаю, только сейчас надо будет установить, какие рамы нужно ремонтировать в первую очередь, чтобы по окончании общего ремонта Музея из-за рам не задерживать экспозиции зал.

Одновременно проводится ремонт мебели, отремонтирован 31 экспонат; добрались до мебели, находящейся в запаснике. Проведена проверка наличия экспонатов прикладного искусства; проверено 2361 экземпляр.

За это время мною проводилась работа 2 раза в неделю со школьниками Художественной школы: всего проведено 11 занятий. Занятия проводились на фондах Музея.

Записано 95 новых поступлений из Ленинграда; автолитографии, офорты.

Проведена предварительная подготовка к ремонту, своими силами, экспонируемых люстр (пробышка, сбор, навеска).

План на август, ориентировочно, выполнен на 95%.

В дальнейшем намеряю: навести порядок в картотеке по фарфору и стеклу и провести классификацию по странам, фабрикам и маркам, но для этого необходимо сделать стеллажи, надеюсь, что по завершении общего ремонта стеллажи будут сделаны.

т. Гуцин – художник-реставратор – Всё, что намечалось пропустить через реставрационную мастерскую, всё прошло; отремонтировано около 400 экспонатов из намеченных к экспозиции.

т. Ратнер – У меня по плану на июль намечалось: приготовить этикетаж на живопись, сделать афиши об открытии Музея и пригласительные билеты. Этикетаж сдан в заказ полностью, частично он уже выполнен; афиши и пригласительные билеты не выполнены из-за затяжки с ремонтом Музея. Написано 14 карточек научного описания художественных произведений; также велась работа по библиографии; точно не подсчитано, но сделано достаточно.

На август месяцы: проводила работу по подготовке методичек, подготовке лекций по обслуживанию населения за пределами Музея, писала карточки научного описания. Назначена была лекция 19.VIII-48 г. в клубе Камлесослава, но не состоялась, не собрались слушатели. По плану намечалось устроить выставку; с Парком культуры и отдыха не договорились из-за отсутствия соответствующего павильона; были во Дворце пионеров – то же нет места для этого. Мне кажется, что нам не мешало-бы сделать несколько вертушек – это дало бы нам возможность лучше приспособливаться с нашей культпросветработой за пределами Музея. В плане работ намечено издание справочника или иллюстрированного плаката, но для этого, видимо, сначала надо сделать совещание научных работников.

т. Бурмистров – Сколько обслужено за это время людей лекциями?

т. Ратнер – Человек 500, в среднем, я думаю, нам не мешало бы приобрести проекционный фонарь и диапозитивы.

т. Никольская – У меня по плану было намечено написать 25 карточек по живописи; выполнено 25; по рисунку выполнено 30. Часть времени уходит на организационную работу по проведению лекций. Лекций прочитано – 6, не состоялось две лекции из-за плохого сбора слушателей; помогаю по проверке сейфа т. Фоминой.

т. Кожевников – Я приступил к работе после отпуска с 8-го августа с. г.; по плану намечено 5 лекций; кроме того работаю над каталогом рисунка, сделано около 80%. Лекции не читал, ещё к ним

не подготовился. Работаю над оформлением экспозиции. Кроме того я работал над Боголюбовым. Мои перспективы: подготовка к экспозиции, работа над планом маршрута к новой развеске.

т. Саватеева – За июль мною написана лекция, на август конкретного плана не имею; работаю по проверке фарфора в сейфе; по проверке тканей; читала дополнительную литературу к русским художникам.

т. Никольская – Я здесь ставлю вопрос вот о чём: у нас для чтения лекций нет основных репродукций. Их надо приобрести.

т. Бурмистров – Надо написать на имя Третьяковской галереи письмо о высылке наложенным платежом необходимых репродукций.

Мне хочется, товарищи, здесь подвести итоги, что сделано нами за это время и какое движение вперёд. Моё впечатление сейчас, что все ещё научные работники не вошли в нормальное русло, работа планируется не так как нужно. Сейчас нужно конкретно договориться так:

1) Вести учёт проделанной работы, для чего каждому научному работнику надо иметь дневник.

2) На каждый месяц каждый работник обязан подготовить себе план, вместе с научной частью его подкорректировать и в конце каждой недели подводить итоги проделанной работы по своему плану, вот тогда, в конце месяца, будет ясна картина, а сейчас только видны недостатки.

Сейчас весь упор нашей работы надо перенести на обслуживание населения; в политико-просветительской работе надо сделать поворот, придать ей новые формы. Пока у нас идёт ремонт, мы не должны оставаться в долгу у государства; сейчас весь коллектив научных работников можно привлечь к политико-просветительской работе путём устройства для широких слоёв населения лекций, бесед, консультаций, экскурсий по памятникам и т.д. и т.п. Наладить связь с крупными предприятиями, связаться с уполномоченным ВЦСПС.

Прошу весь коллектив научных работников сделать упор на эту работу.

т. Никольская – Нам очень просто наладить связь с крупными предприятиями, для этого только надо пойти в Райсовет, там найдёте списки и госпиталей, и детсадов, и заводов и т.д.

т. Бурмистров – т. Ратнер, вы не пробовали наладить связь с жел. дор. организациями?

т. Ратнер – Нет.

т. Никольская – Я категорически протестую против чтения лекций в организациях и на предприятиях в обеденный перерыв. Это не даёт должного результата.

т. Труевцев – Прослушав всех научных работников, я пришёл к заключению, что всё что они делают и должны делать, это всё относится к периоду закрытия Музея, но мне непонятно, каковы планы у научных работников к периоду открытия Музея. Ремонт затянулся, а вот когда, через месяц, Музей откроется – будем ли мы к этому готовы? Готовы ли экскурсоводы, планы маршрута и всё другое, что потребуется в это время. Не застанет ли окончание ремонта нас врасплох? Меня интересует вопрос – пока Музей закрыт, разве нельзя бы устроить несколько передвижных выставок с мелкими произведениями, с лекциями.

Кроме того, я хотел бы несколько слов сказать о фотографии. Почему мы не можем использовать фотоснимки? Это пошло бы в помощь лекциям. Я думаю составить план своей работы, и также своей работой принимать участие в общей научной работе Музея.

Вообще, мне кажется, нам всем надо посерьёзнее отнестись к тому положению, в каком мы находимся.

т. Кожевников – По поводу выступления т. Труевцева. Я лично буду очень рад, если мы все будем меньше говорить, а сделаем всё как можно быстрее. Но для того, чтобы после общего ремонта быстрее проверить всю работу, которая встанет перед нами перед открытием, для этого надо заранее всё приготовить, т.е.: обеспечить проволокой, инуром для развески экспонатов, лестницами, а за рабочими руками дело не встанет, мы будем работать столько, сколько потребуется для быстрого открытия нашего Музея.

т. Бурмистров – очень лестна рвущаяся инициатива т. Труевцева. Но, знаете, т. Труевцев, перед Вами колоссальный участок работы по фотолaborатории. Вы себе даже сейчас не представляете всего объёма работы по фотолaborатории, а вам надо заняться этим вопросом вплотную.

Вот, насчёт замечания т. Кожевникова о заготовке всего подсобного материала для развески – совершенно верно. Сейчас этим надо заниматься по-серьёзному, чтобы не оказаться застигнутым врасплох, когда нужно будет уже открывать Музей. Цель нашего совещания – побольше чувствовать ответственности за свою работу, за те требования, которые предъявляет к нам государство, в частности наши партийные организации. Надо крепко помогать друг другу в повседневной работе. Периодически проверять свою работу, один-два раза в месяц проверять свой план, как он выполняется. Выносить практические предложения, это только будет обогащать нашу работу.

В отношении макета экспозиции. Работу над ним необходимо ускорить и быстрее его закончить.

Протокол вела: /Сулье/

Протокол № 12

27-20 сентября 1948 г.

Присутствовали: Оболенская, Никольская, Кожевников, Огарёва, Ратнер, Фомина, Саватеева, Смирнова, Труенцев.

Председатель – т. Оболенская Н.И. Секретарь – т. Ратнер Л.И.

Слушали:

1. Доклад Оболенской о техническом плане работ в связи с подготовкой к открытию Музея.

Постановили:

- а) Закончить полный ремонт рам и прикрепление этикетаж к 5.X-48 г. Отв. т. Фомина.
- б) Сдать весь этикетаж к 10.X-48 г. Отв. Ратнер.
- в) Сдать в печать иллюстрированный плакат к 5.X-48 г. Отв. Ратнер.
- г) Заказать эскиз для пригласительных билетов и на открытие Музея к 10.X-48 г. Отв. Ратнер.
- д) Закончить и проконсультировать аннотации к картинам с историческим сюжетом и сдать их художнику к 10.X-48 г. Отв. Огарёва.
- е) Сдать в печать справочник по Музею к 10.X-48 г. Оболенская и Ратнер.
- ж) Приготовить текст для рекламных щитов и изготовить щиты к 10.X-48 г. Отв. Ратнер, Огарёва.
- з) Изготовить план маршрута и номера зал к 20.X-48 г. Отв. Кожевников.
- и) Произвести монтировку графики для Советского отдела и частично для русского отдела к 20.X-48 г. Отв. Оболенская, Кожевников, Гуцин.
- к) Изготовить три витрины (вертушки) с фотографиями с лучших вещей Музея для установки их в театрах и кино к 1.X-48 г. Отв. Оболенская, Труенцев.
- л) Произвести реставрацию скульптуры Кибальникова к 1.X-48 г. Отв. Фомина.
- м) Привести в порядок люстру к 25.X-48 г. Отв. Фомина.
- н) Обеспечить доставку рам для отдела Советского искусства к 25.X-48 г.
- о) Устроить выставку в 1-ой женской средней школе «Художники – современники Гоголя» к 15.X-48 г. Отв. Ратнер.
- п) Устроить выставку в Доме офицеров на тему «Боголюбов» или «Бронников» к 1.X-48 г. Отв. Мощенко.
- р) Устроить передвижную выставку к 30-летию ВЛКСМ. План представить к 4.X-48 г. Отв. Огарёва.
- с) Устроить выставку, посвящённую 50-летию МХАТа на репродукциях к 25.X-48 г. Отв. Смирнова.
- т) Изготовить щиты для экспозиции к 20.XI-48 г. Отв. Томников.
- у) Завести новую книгу для записи посетителями. Отв. Труенцев.
- ф) Дать списки на остекление картин к 5.X-48 г. Отв. Никольская.
- х) Перед началом развески пригласить для просмотра экспозиции художественную общественность города. Отв. Оболенская.
- ц) Остеклить витрины к 10.X-48 г. Отв. Труенцев.

ч) Изготовить тумбы для скульптур и витрины к 25.X-48 г. Отв. Томников. Экспозицию отдела Советского искусства сделать в южных залах, отдельно большой зал для выставки прикладного искусства.

Экспозицию отдела Западно-европейского искусства сделать в северной части здания, заняв помещение бывшей выставки фарфора.

Председатель /Н. Оболенская/. Секретарь /Л. Ратнер/

Протокол № 13

13-го ноября 1948 г.

Присутствовали: т.т. Бурмистров И.Д., Оболенская Н.И., Огарёва Н.В., Никольская А.С., Ратнер Л.И., Смирнова О.И., Гуцин Н.М., Саватеева В.И., Кожевников Г.И., Фомина И.А.

Повестка дня:

1. Информация директора Музея о поездке его в Москву.

2. План работ по научной работе на ноябрь-декабрь месяцы 1948 г.

Тов. Бурмистров – С закрытием нашего Музея на капитальный ремонт, как мы теперь видим, затянувшийся и затянувшийся не по нашей вине, а по вине нач. «Гражданстрой» – т. Чикова, наша научная работа сильно пострадала от этого ремонта. Нужно откровенно сказать, что мы не сумели своевременно организовать нашу научную работу вне стен Музея, получилось снижение темпов в работе. Этим воспользовались некоторые люди и старались всячески усугубить наше тяжёлое положение, среди работников имела место растерянность, всё это было не плюс в нашей работе, а только одни минусы. И когда в эту последнюю мою – поездку в Москву, мне пришлось докладывать о нашей научной работе, то Москва, наша вышестоящая организация, как следует обрушилась на нас за эту работу. Мне пришлось основательно, с документами в руках, доказывать почему так получилось.

Во-первых, неповинность самого Музея в затянувшемся ремонте;

2. Строительная организация, проводящая у нас ремонт – «Гражданстрой», в частности т. Чиков, получил с нас деньги вперёд, а развернуть работу по ремонту Музея в своё время не сумел, т.е. тогда, когда ещё у него не было столько ремонтируемых объектов, т.е. до наступления сезона ремонта вообще, а у нас он начал ремонтировать в марте, когда ещё у него было хорошо и с рабочей силой, и с материалами.

В Комитете по делам искусств при Совете Министров РСФСР меня также крепко ругали за плохую работу с нашим каталогом. В Комитете был прямо поставлен вопрос, чтобы на оставшийся остаток времени – ноябрь-декабрь 1948 г. – всю научную работу перестроить на 100 %.

1. Организовать районные выставки.

2. Установить тесную связь со школами.

3. Сделать выставку в городе на графике.

4. Обработать экспонаты, сделать научное описание, закончить каталог, выслать методичку.

Наши музей, музей им. А.Н. Радищева, относится к категории ведущих музеев, финансирование его Комитетом не снижается, поэтому для Комитета непонятно, почему наш музей не планирует собственных тем, нет собственного комплексного материала, музей не созывает научных сессий.

...Вернусь сейчас, ещё раз, к нашему ремонту. Как обстоит вопрос с отоплением? Вновь устроенное центральное водяное отопление имеет дефекты – нет циркуляции. Была созвана комиссия из специалистов, где установлено, что стояк установлен другого размера, теперь нужно доставать котелок, чтобы можно было начать топить, котелок этот достать трудно, но обещают. Топливо через три дня будет; уголь обещают на 2-2,5 месяца. Если нас опять не подведёт т. Чиков, то в следующий четверг отопление начнёт действовать.

Теперь поговорим о нашем плане научной работы на ноябрь-декабрь месяцы 1948 г.

(Зачитывает план), а также зачитывает приказ Комитета по делам искусств РСФСР от 4. XI-48 г. «О политико-просветительской работе в музеях».

Вопросы:

т. Ратнер – Какие клубы мы будем намечать под передвижки?

т. Оболенская – Я думаю, что передвижку можно будет устроить на 3-й Дачной остановке.

т. Ратнер – Из каких фондов будем устраивать выставку?

т. Бурмистров – из запасных.

т. Кожевников – Как будет расклассифицирован фарфор?

т. Бурмистров – Нужно будет поработать над этим.

т. Ратнер – Куда будем приглашать Школьный совет?

т. Бурмистров – Необходимо его оформить юридически, провести организационное собрание, а по окончании ремонта позвать его к нам, в Музей.

т. Труевцев – Фотоматериалы получены или нет?

т. Бурмистров – Обещали.

т. Ратнер – Я хочу сказать о тематическом плакате. Он не выполнен только из-за отсутствия бумаги. Его теперь заменяем иллюстрированным плакатом, который также не печатается из-за отсутствия бумаги.

т. Бурмистров – Будем хлопотать.

т. Оболенская – Как быть с экскурсиями?

т. Бурмистров – Нужно проводить пока по-старому, это даст нам возможность внести коррективы.

т. Никольская – Я считаю, что на разработку методического руководства надо дать время.

т. Смирнова – Прослушав приказ Комитета по делам искусств при Совете Министров РСФСР от 4.X-48 г., я считаю, что наш Музей подходит под эту рубрику. Нам нужно перестроить свою работу, нужно упорно и настойчиво работать в области научной. Но беда ведь в том, Иван Дмитриевич, что зам. директора по научной части т. Оболенская Н.И. не по своей вине отрывается надолго от научной работы. Благодаря Вашим длительным командировкам в г. Москву, благодаря Вашей часто болезни, она вынуждена бывает надолго отрываться от ведения научной работы и с головой уходить в работу административную, в работу хозяйственную, тем более с этим затянувшимся капитальным ремонтом, когда так много неполадок и с отоплением, и с материалами, и с топливом и т.д. и т.п. Вот это положение нам также надо было доказать в Комитете по делам искусств, когда порицали, когда критиковали научную работу музея им. А.Н. Радищева.

Я считаю, что положение, которое создалось сейчас в Музее и с научной работой, и вообще со всей производственной жизнью, совершенно ненормальное.

А рабочее место научных сотрудников? Ведь это тоже что-то из ряда вон выходящее – там шум, там посторонние люди. Можно ли при таких условиях вести научную работу? Конечно, нет. Всё это надо как можно быстрее изживать и давать другие показатели своей работы.

т. Труевцев – Говорить можно много, в предлагаемом плане так много написано, а времени до конца года осталось так мало, что я считаю, что оставить в этом плане только то, что необходимо сделать к открытию Музея. У нас сейчас основная задача – это развесить экспонаты, открыть Музей.

т. Оболенская – С 15-го декабря каталог будет сдан в печать.

т. Кожевников – Я предлагаю зачитывать проект плана и каждый пункт обсуждать.

т. Бурмистров – Зачитывает план.

т. Смирнова – Разработку методички можно объединить т.т. Никольской и Ратнер.

т. Кожевников – Я считаю, что на методическую разработку нужно около 2-х месяцев.

т. Смирнова – Я считаю, что то, что пойдёт на периферию, по выставке, то обязательно нужно остеклить.

т. Огарёва – Говорить о выставке сейчас, по-моему, невозможно в связи с открытием Музея. О методичке – нужно писать по отделам. Выставка по графике, по-моему вещь нереальная. По-моему, сейчас надо приступать к развешиванию и писать методiku.

т. Кожевников – По поводу тех пунктов, которые касаются меня. Я не могу всё сделать, то, что приходится на мою долю. По каталогу живописи работы много. Экспозиция Музея лежит также на моих плечах. По каталогу графики много сделано, но много ещё надо сделать.

Если экспозицию сделаю к 15.XII – то сделаю и каталог графики. Я не считаю лекций, которые мне нужно ещё сделать. Каталог графики будет окончен не 2.I-49 г., а 10.I-49 н., надо уже так ставить вопрос, чтобы он был отпечатан и послан.

т. Фомина – Каталог графики надо сделать к 10.I-49 г., но классификацию фарфора сделать невозможно к этому сроку. Это большая и кропотливая работа.

т. Никольская – Методку по XVIII я закончу к намеченному сроку. В отношении метод-разработок, в целом я не возражаю разбить по разделам, необходимо конкретно указать? кому о чём писать.

Мой план на октябрь по исполнению: прочитано 9 лекций, 3 лекции не состоялись, не по вине Музея. Наши условия работы таковы, что дальше так работать совершенно невозможно.

Теперь, в отношении создания художественного совета, ведения кружковой работы. Как будет обстоит вопрос по созданию этого худсовета – принимаем здесь, у себя, или идём на места. Если принимать в Музее, то, спрашивается, где, когда нет ни одной свободной комнаты, ни одного свободного угла, кроме этого подвала, где мы все сейчас сидим и где совершенно работать нельзя, так как здесь разрешаются и все хозяйственные вопросы, и пиш. машинка здесь, и крупные разговоры со строительными рабочими происходят также здесь. Как можно здесь проводить какую-либо научную работу, кружковую работу. Должен быть систематический учёт этой работы, для этого, прежде всего, должна быть соответствующая обстановка, должна быть выделена комната, а что мы можем сделать в наших условиях?

т. Оболенская – Намечаемый план велик. В первую очередь надо выполнять пункты из годового плана. Годовой план выполним, к нему можно добавить графику и издательскую работу, остальное по возможности.

т. Бурмистров – Мне хочется сейчас слышать – кто из научных работников считает себя перегруженным.

т. Ратнер – Я считаю, что в моём плане очень много организационной работы.

т. Оболенская – т. Огарёва, ввиду её поступления к нам с 1.IX-48 г., не вошла в годовую план. Я считаю, что её можно привлечь к метод-разработке и поручить ей каталог графики.

т. Бурмистров – Надо сделать всё более кратко и по-деловому. Завтра же план напишем и раздадим на руки. Сейчас у нас главная задача – это новая экспозиция и открытие Музея. Выставками будут заниматься все, каждый научный сотрудник, освободившийся от более срочной работы.

Председатель – И. Бурмистов. Протокол вел: Секретарь Н. Сулье.

Протокол № 14

14-го декабря 1948 г.

Присутствовали: Бурмистров И.Д., Смирнов Ю.В., Кожевников Г.И., Никольская А.С., Оболенская Н.И., Смирнова О.И., Гуцин Н.М.

Повестка дня:

1. Сообщение т. Смирнова Ю.В. – представителя Русского Музея и Комитета по делам искусств при Совете Министров РСФСР.

2. О подготовке материалов к плану на 1949 год.

Слушали: Сообщение т. Смирнова Ю.В. – представителя Русского Музея и Комитета по делам искусств при Совете Министров РСФСР.

Задача моего приезда: Комитет по делам искусств при Совете Министров РСФСР командировал меня к Вам с целью ознакомления на месте с вопросом, как Вы подготовились к новой экспозиции, дачи некоторых советов в этой области и состояние Вашей научной работы.

За моё кратковременное пребывание в Музее им. А.Н. Радищева у меня сложилось о нём такое мнение.

Государственный Художественный музей им. А.Н. Радищева обладает прекрасными художественными коллекциями, и основная часть собрана из произведений русского искусства XVIII, XIX и XX вв.

Правда, эти произведения не дают полной картины развития русского искусства по восходящей, последовательно, XVIII, XIX вв., но зато они отражают большую собирательскую деятельность саратовского художественного музея, служат прекрасным образцом для политико-просветительской работы музея и других видов работы.

Мои замечания по поводу новой экспозиции саратовского художественного музея им. А.Н. Радищева.

Я считаю, что здесь сделано большое упущение – нет объяснительной записки к новой экспозиции, где необходимо было бы раскрыть экспозицию, насытив её теоретическим содержанием. Это, с моей точки зрения, большой минус – отсутствие такой записки.

Практически, по залам.

Я считаю, что в зале искусства XVIII века необходимо сократить иностранцев – Квадаля, Лямки, Рослена и дру.

Ввести – радищевские портреты, Рокотова, портрет работы Н.Х. из экспозиции Левицкого.

1-я половина XIX века:

Добавить Ник. Чернецова – пейзаж из фонда. Григория Чернецова – мужской портрет. Приблизить к этому разделу Зарянко.

Зал академического искусства:

Сократить Бронникова. Изолировать К. Маковского от Плешанова. Вывести из зала Боголюбова: Гуна, Орловского, Бегрова, Харламова.

Зал Боголюбова отдать полностью художникам.

Зал реалистического искусства:

Раздел Перова – ввести Крамского, рисунки Перова. Убрать Саврасова, Игорева. Раздел Поленова – убрать «Дорогу в Дельфы» Куинджи. Куинджи поместить отдельно, может быть, вместе с Верещагиным.

Зал искусства конца XIX века:

Изъять Милорадовича, Позднеева, Янова, Коновалова, Грандковского и некоторых других. Ввести: Браза, Малявина, Архипова, К. Коровина.

Западное искусство XX века: – Отобрать лучшие вещи художников «Мира искусств», Борисова-Мусатова. Добавить из фондов Добужинского.

Вот, в основном, мои замечания по сделанной Вами новой экспозиции.

т. Кожевников – Вы, т. Смирнов, ничего не сказали по поводу нашего раздела «Западное искусство»?

т. Смирнов – Ваши художественные произведения в отделе западного искусства – вещи случайные. Они не представляют последовательного развития западного искусства. Мне кажется, что Вам необходимо из всего у Вас имеющегося выбрать самое лучшее, соединив живопись, фарфор, скульптуры, и дать всё это в экспозицию как образцы.

т. Бурмистров – Что Вы можете сказать нам об экспозиции в коридорах?

т. Смирнов – Здесь, конечно, Ваши соображения, внутренние, лучше скажут, как экспонировать коридоры. Мне думается, что не мешало бы поместить в них скульптуры.

т. Бурмистров – тов. Смирнов, Вы, очевидно, познакомились с нашими запасами, поэтому хотелось бы слышать Ваше мнение – что можно ещё ввести в экспозицию из запасов?

т. Смирнов – Я не берусь решать этот вопрос, мне кажется, Вы, внутри Музея, сами лучше разрешите этот вопрос.

т. Бурмистров – Вы видели наши скульптуры?

т. Смирнов – Нет, не видел, они у Вас все закрыты.

т. Оболенская – Товарищи, меня одно беспокоит: если мы разбросаем все наши лучшие произведения по разным стенам, то, мне кажется, у зрителя не будет оставаться целостности впечатления о русском искусстве. Я считаю правильным мнение отдельных товарищей о том, что надо ввести в экспозицию все работы Радищева.

И ещё – по-моему, весь верхний этаж отвести исключительно под живопись, вклинивая сюда ещё фарфор и стекло считаю неудобным.

т. Кожевников – Я очень доволен и рад слышать мнение т. Смирнова о нашей новой экспозиции. Для нас так ценно мнение извне. Мы сейчас отошли, при нашей новой экспозиции, от традиций и подходим к этому вопросу творчески, и мнение такого человека, как представитель Русского Музея, для нас очень важно.

т. Никольская – Я также присоединяюсь к мнению т. Кожевникова и выражаю благодарность т. Смирнову за его указания по нашей экспозиции.

т. Смирнов – Разрешите мне, товарищи, теперь сделать ещё несколько замечаний относительно Вашей научной работы. Безусловно, Вами ведётся большая работа, но в ней есть большой минус – она плохо документируется. Все Ваши планы и отчёты не отражают целиком Вашей работы.

Вы имеете только годовой план, но детализации его у Вас нет. Мой совет – вести ежедневный учёт Вашей работы, суммируя её в конце месяца, и каждый из Вас, таким образом, будет видеть результаты проделанной им работы. Надо как можно больше фиксировать свою работу, освещать её в дневниках, иметь планы каждому научному сотруднику, тезисы, и всё это сохранять в научной части Музея, чтобы видно было, что работа ведётся.

Есть и ещё один недостаток в научной работе вашего Музея. У вас недостаточно ясно определены участки работы каждого научного сотрудника и это большой минус в научной работе Музея.

Не плохо было бы выпускать периодически вам, внутри Музея, бюллетень вашей работы, иллюстрируя его фотоснимками, отражая в нём, таким образом, часть вашей научной работы, что, безусловно, стимулирует каждого научного сотрудника.

Вот, коротко, мои замечания. И, если я немного вам помог кое-чем, так я очень доволен и рад это слышать.

т. Бурмистров – Деля очень мягкие и осторожные замечания, тов. Смирнов, на мой взгляд, стремится только к одной цели – как можно больше помочь нам. И прав тов. Смирнов, когда говорит, что мы не систематизируем свою научную работу, не анализируя её, делаем много, а документируем её мало.

Надо сейчас немедленно привести себя в порядок, с этой точки зрения.

Насчёт новой экспозиции. Правильно замечание тов. Смирнова об отсутствии объяснительной записки. Записку нужно иметь к экспозиции.

Жаль, что тов. Смирнов попал к нам в период ремонта. Будем просить Комитет по делам искусств при Совете Министров РСФСР, чтобы в дальнейшем практиковать такие поездки к нам хотя бы раз в год, чтобы получать и помощь и обмениваться опытом работы.

Постановили: – Принять к исполнению и реализовать все предложения и замечания то. Смирнова Ю.В.

2. Слушали: – О подготовке материалов к плану на 1949 г (доклад т. Оболенская).

Постановили: – Не позднее 12 часов дня 15.XII-1948 г. предлагается всем научным сотрудникам Музея представить свои соображения по плану на 1949 год научной работы.

Председатель: /И. Бурмистров/. Протокол вела: Секретарь /Н. Сулье/.

Протокол № 15

31 декабря 1948 г.

Присутствовали: т.т. Бурмистров И.Д., Оболенская Н.И., Кожевников Г.И., Смирнова О.И., Ратнер Л.И., Труевцев Г.В., Фомина И.А., Огарёва Н.В., Гуцин Н.М.

Повестка дня:

1. План научной работы на 1949 г.

2. Разное.

т. Оболенская – Товарищи, прежде чем начать говорить о плане, мне хочется пожелать всем научным работникам Музея чтобы наша работа в 1949 г. проходила с большей энергией и настойчивостью, нежели в 1948 г. и, начиная с 3-го января 1949 г. мы должны так построить нашу работу, чтобы не было никаких простоев в ней, никаких пробелов. А теперь заслушаем план (зачитывает план):

Вопросы:

т. Кожевников – Как обстоит с каталогом рисунка – будем его издавать, или нет?

т. Оболенская – Будем. Поищем на апробацию, напечатаем на пишущей машинке.

т. Кожевников – Из чего Вы исходите, предполагая организовать передвижные выставки в Аткарске, Ртищеве, Хвалынске?

т. Оболенская – Хвалынский уже давно нас об этом просит, во-первых, а во-вторых, это довольно крупные районные центры нашей области, а мы должны же вести работу в районах.

т. Бурмистров – В этом плане нет плана по библиотеке Музея.

т. Смирнова – У меня будет следующая работа: закончить инвентаризацию живописи, графики и периодически; литературное библиографическое искусство художественной промышленности на юге России; кроме того: работа с театрами, работа с дипломниками.

т. Бурмистров – Надо включить ещё – подбор литературы по юбилейным датам.

т. Смирнова – Это проходит как текущая работа.

т. Бурмистров – Надо включить в план работы.

т. Ратнер – На этом нашем совещании надо сделать упор на развитии нашей политико-воспитательной работы. Я была в Ленинграде, там много уделяли этому внимания. Например, горьковский музей делает так: берёт машину и частенько делает выставки в колхозах, у них нет собственной машины. У нас есть своя машина. Надо использовать её как можно больше на эти цели.

Также и в отношении кружковой работы со школьниками, нужно только как-то разрешить вопрос с литературой. Комнату, после ремонта, я думаю, мы сумеем оборудовать, у нас большой вопрос – это литература. Может быть, эту литературу можно будет получать из нашей библиотеки.

т. Смирнова – Может быть, нам нужно будет командировать представителя в Москву и приобрести там репродукции для таких выставок и занятий со школьниками. И второй вопрос – нам нужно как-то отметить дату Стасова – 125 лет со дня рождения.

т. Ратнер – Фоторепродукции мы можем также заказать в Русском Музее.

т. Огарёва – Относительно включения в план темы «по изучению произведений художника Бронникова» мало, что включили в план, надо, мне кажется, эту работу разделить между научными сотрудниками, дав одному биографический период, другому – творческий период, чтобы получилась коллективная творческая работа научных сотрудников Музея.

т. Кожевников – Я не согласен с точкой зрения т. Огарёвой насчёт коллективной творческой работы. Наоборот, подготовительную работу надо вести коллективно, а творческую – поручить одному. Может быть, даже в план 1949 г. эту тему и не надо включать. Я считаю, план удовлетворительный, вполне насыщенный и деловой.

Вот, по поводу юбилейной даты Боголюбова – 125 лет со дня рождения – эту дату нам необходимо оттенить, а также как мы будем отмечать дату Мухиной?

т. Оболенская – Дату Стасова мы будем отмечать. Дату Мухиной и другие будем отмечать по возможности. В этом году мы должны ещё как-то отметить дату Пушкина.

т. Смирнова – Я считаю, что план на 1949 г. вполне реальный, его надо только выполнять, покончив раз и навсегда со старыми формами работы.

т. Огарёва – Я также считаю, план выполним и нужно приступать к его выполнению.

т. Смирнова – Включено ли в план заполнение инвентарных карточек и их научное описание?

т. Оболенская – Включено.

т. Бурмистров – Если подходить внешне, план небольшой. Насчёт фондов – здесь предстоит проделать большую работу, и её надо проделать как можно более тщательно и точно. В вопросах реставрации у нас до сих пор довольно сильно хромала документация. Каждый научный сотрудник должен в этом принять участие. Очень много времени до сих пор тратилось на подготовку лекций и бесед. Лекции должны знать, а нужно вести основную работу, больше уделять ей времени. В области научно-исследовательской работы каждый должен дать в плане – над чем конкретно будет работать.

Нужна инициатива, любовь к делу, желание, только при этих условиях работа будет налажена. В плане должно быть конкретно указано – что и сколько времени будет каждый работать. Если бы работали по-любовному, мы сейчас имели бы конкретные сдвиги в работе. Надо нам больше уплотнять свой рабочий день. Я согласен с т. Огарёвой, что надо проводить коллективную работу, чтобы в общей работе была монолитность.

План надо выполнять с честью, разбив его на квартальные планы, а отчёты научные сотрудники должны давать ежемесячно.

Я считаю, что тему о Бронникове можно снять с плана, а тему о Боголюбове углубить.

т. Кожевников – Для новой, хорошей работы 1949 г. прежде всего надо создать условия. Надо форсировать окончание ремонта и изживать быстрее нашу тяжёлую обстановку.

т. Бурмистров – На преодоление трудностей, которые сейчас перед нашим Музеем стоят, в связи с затянувшимся капитальным ремонтом, я призываю помочь и научных работников.

т. Кожевников – Научные командировки планом не предусматриваются?

т. Оболенская – Если по работе кому-либо из научных работников понадобится командировка, будем содействовать.

т. Бурмистров – В порядке повышения квалификации будем планировать командировки.

Председатель – И. Бурмистров. Протокол вела: Секретарь – Н. Сулье

ОТЧЁТ

о работе Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева за 1948 г.

В течение 1948 г. Музеем обслужено 33.798 человек, по плану намечалось 45.000 человек, но в связи с проводящимся ремонтом Музея цифру эту не удалось выполнить, так как Музей для посетителей был открыт в 1948 г. только в течение января и февраля месяцев. За январь-февраль Музей посетило 2.914 человек и проведена 21 экскурсия. В числе экскурсантов входили, главным образом, учащиеся средних школ, вузов и рабочие заводов города Саратова.

Экскурсии разделялись на обзорные, охватывающие всё русское и советское искусство отделов Музея, и тематические, дающие более углублённое представление об отдельных эпохах и школах, как русского, так и западноевропейского искусства. Экскурсии проводились всеми научными сотрудниками Музея.

С марта 1948 г., в связи с закрытием Музея на ремонт, вся политпросветработа Музея сосредотачивалась главным образом вне стен Музея. Внемузейная политпросветработа составляется из лекций-бесед и выставок-передвижек.

В течение 1948 г. Музеем проведено 93 лекции по городу и области.

Всего обслужено лекциями 10.360 человек, из них вне города 4.545.

Лекции проводились на следующие темы:

1. Художники-лауреаты Сталинских премий. Работу проводила т. Ратнер.
2. Образы вождей в изобразительном искусстве. Работу проводили т.т. Ратнер Л.И. и Никольская А.С.
3. В.И. Суриков – великий русский художник. Работу проводили: т.т. Кожевников Г.И. и Никольская А.С.

4. Великие русские художники-реалисты. Читали все научные сотрудники. Текст был выслан.

5. Творчество В. Васнецова – 2 лекции. Работу проводила т. Ратнер. Текст был выслан.

6. Творчество Шишкина. Работу проводил т. Кожевников Г.И. Текст выслан.

Лекция «Образ Родины в изобразительном искусстве» заменена лекцией «Советская молодёжь в изобразительном искусстве». Работу проводила т. Огарёва Н.В. Текст выслан.

Вышеозначенные лекции читались в школах, Доме офицеров, в Институте повышения квалификации учителей, пионерлагерях и во время посевной кампании в колхозах Дурасовского, Широко-Карамышского, Баландинского и Лысогорского районов Саратовской области, всего обслужено 4 района.

Музей проводит спецзанятия по репродукциям с картин русских и советских художников с преподавателями и учащимися средних школ в помощь творческим сочинениям школьников.

Проведено 15 занятий с учащимися Саратовской детской художественной школы. Занятия проводились по русскому рисунку I и II половины XIX века и по советскому рисунку. Занятия проводила т. Фомина И.А.

Опубликовано в местной газете 11 заметок и передано по радио 2 беседы о творчестве В.И. Сурикова и Шишкина.

В целях популяризации Музея:

а) выпущены афиши о Музее: б) рекламы о читаемых лекциях (прилагаются); в) проведены беседы с директорами и завучами средних школ на городских собраниях директоров, на семинаре завкомов и месткомов предприятий города Саратова; г) ко всем проводимым выставкам в Музее изготовлены щиты-рекламы.

Составлен этикетаж (медный) в количестве 320 штук.

Библиотекой Музея обслужено за 1948 г. 3.000 человек. В отчётном году библиотека была закрыта на ремонт 68 дней, в связи с чем посещаемость библиотеки выполнена на 75%. Библиотекой систематически проводились консультации и подбор материалов к следующими спектаклям: «Летучая мышь», «Табачный капитан», «Пигмалион», «Фауст», «На всякого мудреца довольно простоты», «Овод», «Хижина дяди Тома», «Доктор Айболит», «Аленький цветочек», «Цель жизни» и целый ряд других.

II. Выставочная работа

За отчётный период было организовано 3 выставки в Музее:

1) «Жизнь и деятельность В.И. Ленина». Выставка открылась 21.I, закрылась 26.II. Работу проводила Оболенская Н.И. Макет был выслан с полугодовым отчётом.

2) Выставка, посвящённая творчеству В.И. Сурикова (на репродукциях). Выставка открылась 26.I, закрылась 26.II. Работу проводила т. Никольская А.С. Список репродукций выслан с полугодовым отчётом.

3) Выставка работ саратовских художников. Экспонировалось 127 произведений (живопись, графика, скульптура). Выпущен каталог (прилагается). Выставка открылась 5.XII, закрылась 26.XII. Работу проводили: Фомина И.А. и Оболенская Н.И.

Передвижные выставки:

За отчётный 1948 г. Музеем было проведено 8 передвижных выставок, из них 3 выставки были организованы в колхозах области.

Выставки были проведены на следующие темы:

1. Художники-лауреаты Сталинских премий;
2. Образы вождей в изобразительном искусстве;
3. Великие русские художники-реалисты;
4. Советская молодёжь в изобразительном искусстве;
5. Художники-современники Гоголя;
6. Выставка, посвящённая творчеству Левитана;
7. Великая Отечественная война в творчестве советских художников.

Выставки: «Художники-лауреаты Сталинских премий», «Образы вождей в советском изобразительном искусстве», «Великие русские художники-реалисты» – были проведены в колхозах Широкотинского, Лысогорского, Дурасовского, Баландинского районов Саратовской области во время посевной кампании. Выставки сопровождалась лекциями-беседами. Работу проводили Ратнер Л.И. и Никольская А.С. (с 25.V по 15.VI)

Выставка была организована к XXX-летию Комсомола. Выставка проведена в ТЮЗе, где в юбилейные дни проводился декадник, посвящённый Комсомолу. Выставка открылась 18.X., закрылась 17.XI. С 5.XI-48 г. данная выставка открылась в клубе имени Карла Либкнехта (клуб железнодорожных рабочих), где во время избирательной кампании по выборам нарсудей и нарзаседателей проводились лекции и беседы научными сотрудниками Музея. С 27.XII-48 г. по 10.I-49 г. на выставке проводилась работа со школьниками. Работу по выставке проводили Ратнер Л.И. и Огарёва Н.В. Текст лекций и список репродукций выслан.

Выставка «Художники-современники Гоголя» была проведена в школе № 1 (в связи с прохождением учебного материала). Выставка открылась 20.X, закрылась 5.XI. Список репродукций был выслан в ноябре с.г.

Выставка, посвящённая творчеству Левитана, была проведена также в школе №1 (список репродукций был выслан в ноябре). Выставка открылась 1.X., закрылась 15.X. Обе выставки сопровождались лекциями и беседами. Работу проводила Ратнер Л.И.

Выставка «Великая Отечественная война в творчестве советских художников». Выставка была организована на избирательном участке и затем переведена в школу № 9. Выставка открылась на избирательном участке 23.XII, закрылась 27.XII; в школе открылась 27.XII – функционирует до настоящего времени. Список репродукций прилагается. Работу проводила т. Никольская А.С. Всего выставкой было обслужено 20.524 человек.

Научно-исследовательская работа

Составлен план реэкспозиции Музея. Присланный план экспозиции был пересмотрен и в новой экспозиции русского отдела главное место отводится русскому реалистическому искусству. Из тёмного коридора произведения поздних передвижников и академиков переводятся в светлые залы, сокращены отделы: «Мир искусств» и «Голубая роза», а также сокращены работы иностранцев, работавших в России в XVIII и 1-ой половине XIX в.

По новому плану советское искусство переводится в залы первого этажа, где ранее помещался западноевропейский отдел. Таким образом советскому отделу в плане новой экспозиции отводится лучшее и большое помещение, чем было в прежней экспозиции. Работу проводили т.т. Кожевников Г.И. и Оболенская Н.И.

Составлен каталог графики. В настоящее время заканчивается редакция каталога и 15.I-49 г. каталог будет выслан в Комитет по делам искусств. Всего обработано 2.808 экспонатов. Работу проводили Оболенская Н.И., Никольская А.С. и Кожевников Г.И.

Составлено карточек научного описания 100 штук. Работу проводили Никольская А.С., Ратнер Л.И.

В связи с 100-летием со дня рождения В.И. Сурикова совместно с Союзом саратовских художников и Горотделом по делам искусств была проведена конференция, на которой заслушаны доклады:

- а) Жизнь и творчество В.И. Сурикова (доклад делала т. Завьялова В.Ф.).
- б) Произведения В.И. Сурикова в саратовском художественном музее им. А.Н. Радищева (сообщение Никольской А.С.).
- в) Суриков – великий русский художник (Председатель саратовского Союза художников т. Гуров В.Ф.).

Выпущен каталог выставки, посвящённой 50-летию Саратовского художественного училища (каталог был выслан).

В декабре 1948 г. в Музее было проведено обсуждение выставки работ саратовских художников, совместно с Горотделом по делам искусств и Союзом саратовских художников.

Учёт и хранение

1. Составлена вспомогательная картотека по разделам: живопись – 1.178 карточек; скульптура – 211 карточек; графика – 300 карточек; прикладного искусства – 1.130 карточек.
2. Составлены списки экспонатов, не имеющих художественного значения (для списывания их из инвентаря Музея, а также для обменного фонда). Всего выделено 1.513 номеров.
3. Погашены старые инвентарные номера и прибавлены новые инвентарные номера на экспонатах прикладного искусства (2.360 номеров) и скульптуры (211 экспонатов).
4. Заинвентаризированы рамы в количестве 628 штук (в экспозиции и запасных фондов Музея).
5. Проведена инвентаризация новых поступлений и частично старых, ранее неинвентаризованных экспонатов в количестве 395 экспонатов.
6. Произведено остекление экспонатов живописи в количестве 142 штук.
7. Прикреплён к экспонатам вновь изготовленный медный этикетаж в количестве 320 штук.

8. Проведены через реставрационную мастерскую 386 экспоната живописи, из них 281 очищены от общего загрязнения, промыты и освежены лаком, остальные экспонаты подверглись более сложной реставрации (устранены повреждения, разложение лака, стёртые места живописи, выпадение красочного слоя, царапины, прорывы и проч.)

9. Проведена реставрация мебели в количестве 132 экспонатов.

10. Проведена реставрация старых рам в количестве 114.

11. Проведена фотография новых экспонатов в количестве (?).

12. Составлена опись художественных тканей и ковров, хранящихся в запасных фондах Музея.

В связи с проводимым ремонтом Музея сотрудники Музея провели ряд работ, не вошедших в годовой план Музея, как-то: уточнены обмеры и описание обратной стороны картин больших размеров, а также картин, висящих по второму ряду.

Кроме того, в течение всего ремонтного сезона сотрудники Музея вынуждены были нести вахту во время производства работ в тех помещениях, где хранились экспонаты, а также проводить многократную переноску экспонатов из одних помещений в другие.

Помимо перечисленных работ Музеем произведены следующие работы:

Отремонтированы стулья с заменой обойного материала в количестве 2000 штук. Отремонтированы витрины 12 штук. Изготовлены багетные рамы для картин Советского отдела в количестве – 28 штук.

За отчётный год Музей приобрёл и получил от Комитета по делам искусств РСФСР и СССР произведения в количестве 109 экспонатов.

Кадры:

В истекшем году 4 научных сотрудника Музея им. А.Н. Радищева (Смирнова, Ратнер, Оболенская, Фомина) закончили 2-х годичный Вечерний Университет Марксизма-Ленинизма.

С 1-го сентября 1948 г. в Музее работает в качестве научного сотрудника Огарёва Нонна Валерьевна, окончившая в 1948 г. Ленинградский Университет, исторический факультет, искусствоведческое отделение.

Директор: Бурмистров И.Д. Зам. директора по научной части: Оболенская Н.И.

Архив СГХРМ. Фонд 369. Опись 1. Ед. хр. 186.

1948 год. Хроника (по А. и В. Леонтьевым)

...Серьёзный упрек райкому за забвение политической работы среди художников сделал делегат конференции тов. Замятин. В Саратовском обществе «Художник» имеется 12 коммунистов – сказал он. Но как живут коммунисты-художники, как они влияют на творческую жизнь коллектива, выполняют ли свою авангардную роль среди творческих работников – райком не знает... Партийная жизнь. Лучше руководить хозяйственным и культурным строительством района. С партийной конференции Фрунзенского района // Коммунист. 25 февраля 1948. № 40 (4055)

Доклад секр. горк. ВКП(б) тов. П.Т. Комарова.

Прения по отчётным докладам, горком ВКП(б). Вечернее заседание 6 марта. ...Делегат тов. Садковой – начальник городского отдела по делам искусств указал, что... отдел пропаганды горкома проходил мимо крупнейших недочётов в деятельности Саратовского отделения Союза советских художников, товарищества «Художник»... Коммунист. 9 марта 1948. № 49 (4064).

...по поводу 50-ти летия Русского музея; новая экспозиция; выявление «русского»; снятие с экспозиции «иноземщины»... Спец. корр. «Известий» (Ленинград) Евг. Кригер. Сокровищница русского искусства // Известия советов депутатов трудящихся СССР. 19 марта 1948. № 66 (9596).

Архив СГХРМ. Фонд Леонтьевых. Опись 1. Ед. хр. 42.

В Московском художественном институте воспитанием молодёжи занимаются малоопытные, недостаточно квалифицированные педагоги, люди ярко выраженного формалистического направления. Таковы А. Осмёркин, А. Матвеев и др. В докладе директора этого института С.В. Герасимова было много благодушия и неоправданного оптимизма. Между тем некоторые педагоги в этих учебных заведениях прививают молодёжи вредные, антинародные влияния. Как указали в своих выступлениях лауреаты Сталинской премии Е. Вучетич и З. Азгур, педагог Матвеев за 30 лет не выпустил ни одного ценного мастера. Его программа преподавания представляет собой, по выражению Е. Вучетича, «шаманство» и изобилует такими понятиями как «скульптурное видение», «способность объёмно-пластического видения» и т.п.

В Ленинградском институте создалось такое же положение, как и в Московском. Директор института А.Д. Зайцев недостаточно критически подошёл к оценке этого положения. Там господствует группа последователей и учеников Матвеева, ставших уже педагогами...

ТАСС. Закрылась сессия Академии Художеств СССР // Правда. 29 мая 1948. № 151.

Архив СГХРМ. Фонд А. и В. Леонтьевых. Опись 1. Ед. хр. 42.5. 1948 г. Выписки по периодике.

Культура и жизнь. 31 окт. 1948. № 31(86). С. 4.

По материалам газеты «Культура и жизнь» – «К новым успехам советского изобразительного искусства». Правление Московского союза художников, обсудив статью «К новым успехам советского изобразительного искусства» опубликованную в газете «Культура и жизнь» признаёт правильность и своевременность сделанных в статье указаний... При перечислении эстетов и формалистов упомянут – Цаплин.

Архив СГХРМ. Фонд А. и В. Леонтьевых. Опись 1. Ед. хр. 29.

О саратовских художниках

Данилов – «...весьма посредственные, случайные этюды и пейзажи, написанные вяло и примитивно («Вечер», «Этюд», «Волга. Серый день»).

Миловидов – «...только два натюрморта и несколько этюдов за 5 лет».

В среде художников города Саратова живучи ещё ложные понятия о «свободе» творческого развития личности художника, стремление отгородить искусство от политики. Эти противоречащие марксистско-ленинскому мировоззрению положения насаждались в Саратове на протяжении десятков лет несколькими поколениями формалистов и «голуборозовцев» – представителей реакционных течений в искусстве.

До сих пор ещё такие художники, как Б.В. Миловидов, И.Н. Щеглов, В.К. Данилов только снисходительно признают «некоторые» достижения в творчестве идейно-реалистического направления «передвижников», но преклоняются перед Борисовым-Мусатовым и с большим удовольствием смакуют «живописные достоинства» произведений Сезанна, Матисса, Ван-Гога и других «левых» художников Запада. ...Безыдейность, бессодержательность, вялость и малограмотность произведений отдельных саратовских художников – наследие и формализма и других извращений в искусстве, долгие годы существовавших в Саратове и, в частности, в его художественном училище Г. Кожевников. О саратовских художниках // Коммунист. 27 ноября 1948. № 235 (4250).

Редактору Саратовской областной газеты «Коммунист» тов. А.А. Лебедеву.

Уважаемый товарищ редактор!

В № 235(4250) от 27 ноября 1948 г. редактируемой Вами газеты помещена статья научного сотрудника Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева Г.И. Кожевникова «О саратовских художниках».

...о саратовских художниках он пишет не впервые. ...не было прежде тех обидных и несправедливых выпадов, которые есть в последней статье Г.И. Кожевникова...

Почему Г.И. Кожевников слово «ведущих» художников берёт в кавычки? Разве произведение И.Н. Щеглова не приобретено Государственной Третьяковской Галлерей? И разве это мало гово-

рит? Разве произведения Б.В. Миловидова не приобретались Государственным Музейным фондом?

Сильно, не по музейному, преувеличено мнение Г.И. Кожевникова о том, что «противоречащие марксистско-ленинскому мировоззрению положения насаждались в Саратове на протяжении десятиков лет несколькими поколениями формалистов и «голуборововцев».

Наиболее сильны формалисты в Саратове были в годы гражданской войны. Но и тогда им противостояла сильная группа реалистов. П.С. Уткин никогда не переставал защищать от нападков формалистов картину Айвазовского в Радищевском музее «Вид Трапезунда с моря», а А.И. Савинов никогда не уступал формалистам своих реалистических позиций.

И в годы гражданской войны в Саратовских Высших Свободно-Государственных Художественных Мастерских наряду с мастерскими левых художников: Ф.К. Константинова, А.Е. Карева, А.С. Кравченко, были и мастерские академика И.П. Степашикина, реалиста А.И. Савинова, декоративного реалиста П.С. Уткина и мастерская «независимых» – реалистов, воспитанников до-революционной Академии Художеств, а окна Саратовского Роста (А.А. Сапожников, Б.А. Зенкевич) не так уж уступали окнам Роста Маяковского.

...В статье не было поставлено вопроса о том, в чём причина, что основные мастера «Голубой розы» как бы мы к ней не относились в настоящее время, течения общерусского (Павел Кузнецов, П.С. Уткин, Петров-Водкин и скульптор Матвеев) – саратовцы? Не задумывается автор статьи над вопросом, не отразились ли саратовские впечатления в творчестве В.Э. Борисова-Мусатова. ...и не было ли чего общего в тех или иных группах художников, так или иначе связанных с Саратовом.

Архив СГХРМ. Фонд А. и В. Леонтьевых. Опись 1. Ед. хр. 133.

1948 год

...у нас свирепствует диктатура Сталина.
Да здравствует холуйство!!!

И.Н. Щеглов

К новым творческим достижениям

В.М. Молотов в своём докладе на торжественном заседании Московского совета 6 ноября 1947 года сказал: «Попытки обновить и возродить Россию не удались ни в революцию 1905 года, ни в февральскую революцию 1917 г. Только Великая Октябрьская социалистическая революция принесла долгожданное обновление и создала условия для могучего возрождения нашей Родины. Только советская, подлинно народная революция, во главе которой встала партия Ленина-Сталина, сделала страну той великой и передовой державой, какой она является в настоящее время. Величие Советского Союза создано благодаря социалистической революции и ныне признано народами всего мира».

«Советский строй, – говорил тов. Молотов, – обеспечивает полную возможность непрерывного подъёма производительных сил и непрерывного подъёма благосостояния трудящихся города и деревни, чего нет и не может быть ни в одной капиталистической стране». С. 6.

Наше искусство обогатилось рядом новых значительных полотен, воссоздающих образы великих вождей большевистской партии, основателей социалистического государства – Ленина и Сталина. В этих произведениях мы видим не индивидуальные портреты и не иллюстрирование отдельных эпизодов деятельности вождей советского народа, а сложные, капитальные многофигурные композиции, показывающие Ленина и Сталина в решающие моменты их революционной и государственной деятельности. В этих картинах Ленин и Сталин показаны в конкретной исторической обстановке, на фоне важнейших исторических событий, душой которых они являются, в гуще народа. В этих картинах раскрыта их неразрывная связь с широкими народными массами. ...Это «Ленин на экзамене в университете» В. Орешникова, «На У лондонском съезде РСДРП» И. Серебряного, «В.И. Ленин» В. Цыплакова, «Ленин провозглашает советскую власть» В. Серова, «Выступление И.В. Сталина на торжественном собрании, посвящённом 24-й годовщине Великой

Октябрьской социалистической революции» И. Тоидзе, «В Кремлёвском дворце 24 мая 1945 года» Д. Налбандяна, «За великий русский народ» М. Хмелько. С. 7.

Героический пафос наших дней звучит не только в фигурных композициях «Ленин» В. Боголюбова, «И.В. Сталин» Н. Томского, «Сталин» Г. Кепинова, «Сталин» З. Азгура, не только в проектах памятников выдающимся деятелям советского государства – Калинин, Дзержинскому, Щербакову работы М. Манизера, – но и в скульптурных бюстах-памятниках («Черняховский» Н. Томского, «Чуйков» Е. Вучетича, «Калинин» С. Меркулова, «Воронов» В. Мухиной и другие). ...В раздел исторического портрета должны быть отнесены бюст Чернышевского работы саратовского скульптора А. Кибальникова...

Публикуемое в настоящем номере журнала постановление ЦК ВКП(б) «Об опере “Великая дружба” В. Мурадели», осуждающее формалистическое направление в советской музыке как антинародное и ведущее на деле к ликвидации музыки, является новым сигналом партии о необходимости непримиримой и беспощадной борьбы с формалистическими извращениями в искусстве, с антинародными тенденциями, чуждыми народу и его художественным вкусам.

Это постановление встречено всем советским народом с огромным удовлетворением. С. 8.

К новым творческим достижениям. Редакционная статья // Искусство. 1948. № 1/ Январь-февраль.

Об историческом жанре

...ещё не изжиты пережитки буржуазной идеологии...

Советским художникам потребовалось длительное время, упорная и напряжённая борьба за то, чтобы возродить замечательные традиции исторической русской живописи, для того, чтобы возродить ликвидированную формалистами художественную школу, которая бы насаждала эти традиции. С. 38.

В нашей стране... предоставлены неограниченные творческие возможности и созданы все необходимые условия для подлинного расцвета культуры...

В произведениях И. Грабаря «Ленин у прямого провода» и М. Авилова «Приезд товарища Сталина в Первую конную армию в 1919 году»... мы видим в таких портретах А. Герасимова, как «Ленин на трибуне», «Сталин на XVI партсъезде», «Сталин и Ворошилов в Кремле», – тенденцию не только характеризовать в портрете внешний и внутренний облик изображённого, но и показать его деятельность, деятельность общественную, государственную, показать, как совершались революции в России и социалистическая реконструкция страны. Через изображение отдельных эпизодов деятельности Ленина и Сталина художники стремятся раскрыть в этих образах черты людей нового типа. С. 41.

Кибрик... Лист «Есть такая партия!» изображает Ленина на I Всероссийском съезде Советов, собравшемся в июне 1917 года в Петрограде. Ленин поднялся с места и произносит исторические слова о том, что есть такая партия, которая способна взять власть в свои руки и довести революцию до конца, – партия большевиков. Рядом с Лениным мы видим Сталина, дальше – Свердлова и депутатов-большевиков, с другой стороны – озлобленные лица меньшевиков, оглядывающихся на Ленина. Вдохновенная, устремлённая вперёд фигура Ленина вся озарена внутренним светом; в его смело вскинутой голове, во всём его облике чувствуется огромная воля, уверенность в своей правоте. В чётком профиле Сталина, в его позе повторено, только более сдержанно, то же движение. Сталин – это олицетворение спокойной решимости и стойкости. Эти две фигуры – центральная, лучшая часть композиции. С. 47.

Тема «Сталин-полководец» нашла достойное выражение в работе до сих пор совершенно неизвестного украинского художника М. Хмелько «За великий русский народ»... В картине изображён момент, когда на приёме командующих войсками Красной Армии 24 мая 1945 года в Кремле товарищ Сталин произнёс свой знаменитый тост за великий русский народ.

Нельзя было выбрать момент лучше, чтобы выразить своим произведением уверенность вождя Советской страны в своём народе и гордость народа своим вождём, чтобы показать чувство

сплочённости и единства, необычайно остро ощущавшееся всеми советскими людьми в дни Отечественной войны. Благородство замысла – вот первое достоинство картины Хмелько.

В картине множество портретных изображений, написанных очень правдиво. Художник не скрыл того, как изменились за годы войны знакомые миллионам советских граждан лица тех, кто принял на свои плечи главное бремя забот, не скрыл ни блеска седин, ни усталых морщинок. Тем ярче оттенил он то огромное, светлое чувство радости, которое объединяет их сейчас, которое захватывает и зрителя... Интимность и торжественность, человечность образов и величавость их соединены в картине так прочно, что в ней при всей её парадности нет никакой академической официальности. Это гимн в красках в честь народа – героя и победителя, в честь его замечательных полководцев, в честь великого вождя всего советского народа – мудрого полководца товарища Сталина. С. 48.

Впервые в истории человечества в нашей стране – стране победившего социализма – сам народ выступает вершителем своих судеб, сознательным творцом своей истории, сознательным строителем нового общества, где мечта и действительность выступают в нерасторжимом единстве. С. 49.

К. Ситник. Об историческом жанре // Искусство. 1948. № 1. Январь-февраль.

Искусство на службу народу

...устаревшие книги, или работы, освещающие вопрос с декадентских или вульгарно-социалистических позиций, дающие ложную, искажённую картину творчества выдающихся русских художников, истории русского искусства в целом. ...извращённое представление о значении русского искусства в общемировой художественной культуре, об огромном вкладе, внесённом русскими художниками в мировое искусство. Книги «История русской живописи» А. Бенуа, пятитомная история русского искусства под редакцией И. Грабаря (в особенности том, посвящённый русской скульптуре, написанный Врангелем), «История русского искусства» В. Никольского, содержат оценки русского искусства не только неверные, ошибочные, но и порою дышащие враждой и ненавистью к русской демократической живописи.

Искусство на службу народу. Редакционная статья // Искусство. 1948. № 2.

Основные задачи художественного образования

Формализм является законченной буржуазной реакционной системой взглядов на искусство. По мнению формалистов, ценность искусства не в богатстве и глубине содержания, а в так называемом «совершенстве формы». Не в связи искусства с жизнью, а наоборот, в отрыве искусства от общественно-политических задач, от психологии человека.

Отрицая познавательное значение искусства, придавая форме, то есть линии, краске, ритму самодовлеющее значение, формализм стал на службу реакционным классам, уводил искусство от действительности, затухивал значение классовой борьбы, явился законченной реакционной системой. Нужно ли говорить, что он является целиком враждебной системой, сущность которой так вовремя вскрыта постановлениями ЦК ВКП(б).

Б. Иогансон. Основные задачи художественного образования. Вторая сессия АХ СССР // Искусство. 1948. № 4.

Праздник советского искусства

Товарищ А.А. Жданов, касаясь развития советской живописи в своём историческом выступлении на совещании деятелей советской музыки, сказал: «...Партия восстановила в полной мере значение классического наследия Репина, Брюллова, Верещагина, Васнецова, Сурикова. Правильно ли мы сделали, что оставили сокровищницу классической живописи и разгромили ликвидаторов живописи? Разве не означало бы дальнейшее существование подобных «школ» ликвидацию живописи?»

...Сталинские премии за 1947 год – новое свидетельство расцвета многонациональной культуры нашей страны, новых успехов художников братских республик. М. Хмелько, Г. Мелихов,

В. Пузырьков достойно представляют искусство Советской Украины, её живопись, сделавшую в последние годы решительный шаг вперёд: Я. Николадзе и М. Тоидзе – искусство Грузии: З. Азгур – успехи Белоруссии. Среди награждённых мы видим и группу узбекских художников, мастеров декоративного искусства. Произведения лауреатов лауреатов Сталинских премий 1947 года характеризуют успехи в развитии всех основных жанров советской живописи, исключительное многообразие творческих исканий в ней, плодотворное соревнование мастеров различных творческих направлений, стоящих на единой платформе социалистического реализма.

Произведения живописи, удостоенные Сталинских премий, отличаются высокой идейностью, широтой охвата жизненных явлений, народность, глубокое чувство современности. Тесными узами связаны они и с прогрессивными сторонами искусства прошлого. В этих произведениях звучит как бы поступь истории, воспеваются величие и героизм советского народа и его вождей.

Не случайно, что значительное число награждённых Сталинскими премиями полотен посвящено Ленину и Сталину. Это образы, в которых советский народ видит идеальное воплощение лучших качеств нового человека, концентрированное выражение эпохи, символ её великих побед и достижений. В этих образах вождей нового типа советские люди видят воплощение морально-политического единства советского народа. Организация большевистской партии, подготовка и свершение Великой Октябрьской социалистической революции, положившей конец эксплуататорскому обществу на одной шестой земного шара, разгром страшнейшего врага человечества – немецкого фашизма, – все эти исторические победы советского народа неразрывно связаны с именами Ленина и Сталина. Жизнь и деятельность Ленина и Сталина являются неисчерпаемым источником творческого вдохновения для советских художников, темой, в воплощении которой с наибольшей глубиной и силой раскрывается народность советского искусства.

Советские художники показывают Ленина и Сталина в решающие моменты истории, революции, показывают их во главе народных масс как организаторов победы, как народных трибунов, сочетающих в себе революционеров-практиков и великих мыслителей, революционеров науки, великих государственных деятелей.

Это содержание диктует и особенности художественной формы живописных произведений, посвящённых Ленину и Сталину... Главное достоинство этих полотен – их историзм. Советским художникам не нужно приукрашивать, идеализировать историческую действительность, она настолько прекрасна, что чем правдивее она будет воспроизведена в искусстве, тем исторически точнее и документальнее запечатлеет эти события на своём полотне художник, тем ярче и значительнее будет его произведение. Не приукрашивание, не идеализация... Верность исторической правде – главная цель советского живописца...

Сталин показан как друг... заботящийся о расцвете социалистического искусства, своими гениальными указаниями освещающий путь его развития. С. 4-5.

...Советские художники оправдают то высокое доверие, ту высокую оценку, которые даны их деятельности партией и правительством, и будут неустанно работать над тем, чтобы в полной мере удовлетворить те возросшие эстетические запросы, которые предъявляет сегодня к искусству советский народ. С. 6.

Редакционная статья. Праздник советского искусства // Искусство. 1948. № 3. Май-июнь.

Художник – боец передовой линии идеологического фронта

Быть бойцом передовой линии идеологического фронта – таково первое требование партии большевиков ко всем работникам искусства, в том числе к художникам.

...в нашей стране... где художники наряду с писателями и работниками других видов искусства, по определению товарища Сталина, обязаны быть инженерами человеческих душ, художники должны находиться в передовом отряде строителей коммунистического общества... ..В противоположность буржуазному обществу, где, по определению Ленина, «свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания»... ..искусство социалистического реализма – открыто

тенденциозное искусство, борющееся за построение коммунистического общества, за освобождение человечества от ига капитализма, разоблачающее гнилой буржуазный мир и его реакционное, идеалистическое, порнографическое искусство. С. 10-11.

Особенностью искусства социалистического реализма, одним из признаков его народного характера являются также простота, понятность и доходчивость произведений... Владимир Ильич Ленин оставил нам здесь совершенно ясные указания. В беседе с Кларой Цеткин он говорил: «Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими». ...Ленин и Сталин указали нашему искусству, что для того, чтобы создать искусство новое, социалистическое, нужно взять всё, что было создано в предшествующие эпохи. Но взять... критически отбирая всё передовое, прогрессивное, могущее быть использованным в нашем искусстве, отбрасывая всё гнилое, декадентское, реакционное...

Русские революционеры-демократы XIX века указали путь развития современных им литературы и искусства. «Начиная с Белинского, все лучшие представители революционно-демократической русской интеллигенции, – говорил товарищ Жданов... – не признавали так называемого “чистого искусства”, “искусства для искусства” и были глашатаями искусства для народа, его высокой идейности и общественного значения. Искусство не может отделить себя от судьбы народа. Вы помните знаменитое “Письмо к Гоголю” Белинского, в котором великий критик со всей присущей ему страстностью бичевал Гоголя за его попытку изменить делу народа и перейти на сторону царя...». «Чернышевский, – по определению тов. Жданова, – учил тому, что задачей искусства является, кроме познания жизни, ещё и задача научить людей оценивать те или иные общественные явления... По Добролюбову, литература должна служить обществу, должна давать народу ответы на самые острые вопросы современности, должна быть на уровне идей своей эпохи». Искусство должно быть боевым, должно вести борьбу за лучшие идеалы народа – таким представляли себе искусство великие революционные демократы Белинский, Чернышевский, Добролюбов. За эти же идеи в изобразительном искусстве и музыке боролся выдающийся русский критик Стасов...

Нам хорошо понятна природа принижения значения русской классической живописи. Критики Пунин, Эфрос, Бескин, отрицательно оценивая русскую идейную живопись передвижников, всегда выступали апологетами французской формалистической живописи и русского декадентского искусства. К тому же они никогда не были оригинальными, поскольку пальма первенства в этом принадлежит идеологам русского реакционного направления конца XIX – начала XX века – «Мира искусства». ...Прикрывая своё идейное и моральное растление позоней за красивой формой без содержания, все эти символисты, «Бубновы вальтеры» и т.п. пытались лишить литературу её высокого, идейного и общественного значения, низвести её в болото безыдейности и пошлости...

«Все эти модные течения, – говорил товарищ Жданов, – канули в Лету и были сброшены в прошлое вместе с теми классами, идеологию которых они отражали».

...«Для упадка и загнивания буржуазной культуры, – говорит далее товарищ Жданов, – характерны разгул мистицизма, поповщины, увлечение порнографией... “Знатными людьми” буржуазной литературы, той буржуазной литературы, которая продала своё перо капиталу, являются сейчас воры, сыщики, проститутки, хулиганы».

...Моральная основа современной буржуазной культуры гнилая и тлетворная, ибо она поставлена на службу эгоистическим, корыстным интересам самой реакционной буржуазной верхушки общества. Вот почему наша партия, товарищ Сталин не раз указывали советским писателям и работникам искусства на необходимость решительной наступательной борьбы против всей этой буржуазной гнили, решительной и непримиримой борьбы против низкопоклонства и преклонения перед ней... С. 13-14.

Товарищ Жданов отмечает, что наши формалисты ориентируются на современное буржуазное декадентское искусство, то есть на искусство, которое находится «в состоянии упадка и деградации» и из которого «использовать нечего». В этой ориентации художники, носители формалистических тенденций, теряют национальный характер своего искусства, его национальный колорит. Так было, и частично продолжает быть, с группой наших московских художников, бывшими «бубновова-

летцами», рабски следовавшими за французом Сезанном. Так обстояло дело и с русскими импрессионистами, перенесшими в наше искусство французский импрессионизм. И те и другие ничего не создали русского, национального. Такое положение мы наблюдаем и в союзных республиках. Например, армянизированный (но не армянский) французско-декоративный формализм в творчестве Сарьяна и его учеников, формалистическое стилизаторство, подражающее древним персидским миниатюрам, в творчестве грузинского художника Гудиашили, формалистическое, экспрессионистическое увлечение группы украинских художников во главе с художником Толкачёвым.

Формализму свойственно одностороннее увлечение одним элементом искусства за счёт другого, нарушение единства формы и содержания... ..как это сделал на последней дискуссии художников Гончаров, когда так называемая живописная эмоциональность провозглашается единственной задачей живописи, как это не раз делал критик Бескин, тогда искусство, выполнившее эти формалистические требования, становится неестественным, искажённым, и такое искусство не может быть воспринято нормальными человеческими чувствами. Оно чуждо восприятию советского зрителя. И сколько бы формалистствующие художники и их апологеты ни говорили о новаторстве, им никогда не скрыть почтения к художественной моде, господствующей на Западе. С. 15.

...Отрицать большие достижения нашей живописи, скульптуры и графики невозможно. Советская живопись и скульптура действительно создали большое число произведений, достойных искусства социалистического реализма, произведений, посвященных вождям Ленину и Сталину, руководителям партии и правительства, героям гражданской войны и Великой Отечественной войны. Наши живописцы создали значительную серию картин, посвящённых революционному прошлому нашего народа. Десятки замечательных картин посвящены простым советским людям, их труду, отдыху и т.п.

Достижения нашего изобразительного искусства огромны. Эти достижения отмечены партией и правительством присуждением художникам Сталинских премий... Как во время войны, так и в послевоенном мирном строительстве наша партия, находясь на передовых позициях, ведёт народ от победы к победе, завоевав любовь всего народа. Создали ли наши художники хоть одно значительное произведение, изображающее роль партийной организации на заводе, в колхозе? ...долгов у советских художников перед народом очень много. С. 17.

Е. Меликадзе. Художник – боец передовой линии идеологического фронта // Искусство. 1948. № 6. Ноябрь-декабрь.

Ретроспектива

Неугасимый

*Мы знаем, что выросли с ним и пока
Над нами горит наше солнце, – нетленен
Века, и века, и века, и века
Невянущий, неугасаемый Ленин
Сиять и светить не устанет! За ним
Мы, к наипрекраснейшей цели стремимы,
Сквозь бури и грозы, и копать, и дым
Сражений и битв небывалых прошли мы
И взяли их, чтобы с орлиных вершин
Сегодня его ясновидящим оком
Великое то, что ещё совершим
Мы завтра, увидеть, немеркнувший, мог он!*

Валентин Ярыгин

30 января 1954 г., Туголуково

В кн.: Про поэта Валентина Ярыгина. Саратов – СПб: Красный матрос, 2016. С. 37.

Социализм

...объяснения, связанные со сложностью международной обстановки: несмотря на то, что мы живём в самой лучшей из систем, мы вынуждены, пока ещё не все на планете дошли до нашего уровня, обороняться от врагов и иметь тайны и секреты. С. 5.

...журнал «Время перемен», на обложке которого был изображён профиль Ленина. ...поскольку идеи социализма в массовом сознании связаны именно с именем Ленина, то его символическое изображение должно было настраивать людей... более спокойно и сигнализировать, что речь идёт о разработке круга идей, знакомых со школы... С. 80.

...о библиотеке Владимирской тюрьмы. ...там были уже остатки былой роскоши. Раньше там можно было брать книги, которые невозможно было обнаружить ни в одном открытом фонде СССР: Ницше, Шопенгауэра. Сидевшие во Владимире бериевцы не только не брали читать эти книги, но постоянно писали жалобы в верховные органы и прокуратуру, требуя изъять идеологически вредную литературу, и власти, к сожалению, на эти призывы откликнулись. Более того, бериевцы требовали, чтобы в тюремной библиотеке находились только труды Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, которого они особенно почитали и готовы были с утра до вечера читать и перечитывать. Разумеется, никто бы не мешал им это делать, поскольку нормальные люди считали, что каждый может сам выбирать себе круг чтения, но генералы-зэки умудрились и тут лишитъ заключённых большого числа книг, продолжая за решёткой ту же варварскую политику удушения свободы мысли. С. 99.

...концерты художественной самодеятельности на 1 мая, 9 мая и 7 ноября... хор полицейев исполнял со сцены «Ленин в тебе и во мне» или «Партия – наш рулевой». С. 100.

Александр Романов. Воспоминания. Саратов, 2017.

Куда девался левый крайний

О похищении тела Ленина.

Оно исчезло однажды декабрьской ночью из-под Кремлёвской стены (где покоилось в стеклянном саркофаге с 1924 года).

От похитителей не получили ни письма, ни весточки. И выкупа никто не требовал.

– Вот он был, – докладывал С. Олянский, начальник охраны мавзолея, – потом – р-раз! И нету его!..

– Я погиб, – скорбел И. Иванов, эксперт-некрокосметик, ответственный за текущий ремонт давнего отошедшего в мир иной, но вечно нуждающегося в починке возжя красных.

– Чем же вы намерены заниматься теперь, – спросили его, – когда вам не придётся уже месяц за месяцем, год за годом корпеть над бородкой, бровями, щеками и веками товарища Ленина.

– Предложения поступили уже через несколько часов, – вздохнул Иванов (...)

(...) Что же стряслось с Лениным? (...)

– Поговаривают, будто Ленина (...) заперли в бронированный вагон и под надёжной охраной отправили экспрессом в Париж.

– Не может быть!

– Как прибыл, так и отбыл.

– Кто же зафрактовал поезд?

– «Бринкс» – фирма по перевозке особо важных грузов.

– От имени?...

– «Сотбис».

– Той самой?

– Именно (...)

– Стартовая цена уже назначена!..

Рэй Брэдбери. Мы – плотники незримого собора: Сборник. М., 2017. С. 251–253.

Продолжение следует

Контакты:

Анна Сафронова (гл. редактор, проза): safronova-volga21@yandex.ru

Алексей Александров (зам. гл. редактора, поэзия, критика): alexandrov-volga21@yandex.ru

Алексей Голицын (документальные исследования): agolitzin@yandex.ru

Олег Рогов (архивные публикации, критика): rgv@mail.ru

Алексей Слаповский (проза)

Сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
<http://magazines.russ.ru/volga/>

Подписано в печать 30 января 2019 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.